

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)

Г. Андреев, Л. Ржевский

1976 – 1981 редактор Роман Гуль

1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Е. Магеровский

1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Ю. Кашкарров, Е. Магеровский

1986 – 1990 Редакционная коллегия

1990 – 1994 редактор Юрий Кашкарров

1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят шестой год издания

Главный редактор Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Генрих Иоффе, Елена Краснощекова, Мария Рубинс, Валентина Синкевич, Владимир фон Цуриков

Ответственный секретарь – Рудольф Фурман

Редакция – Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Марина Гарбер.

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; G.Glinka; M.Jordan;
P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff;
I.Sikorsky; V.Sinkevich; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 291, июнь 2018

© 2018 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012.
Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.

POSTMASTER: send address changes to The New Review,
611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Андрей Белозёров</i> – Тело. Повесть	5
<i>Григорий Марк</i> – Кинохроника Огненного погребения. Стихи	56
<i>Валерий Скобло</i> – Стихи	59
<i>Владимир Яськов</i> – Стихи	63
<i>Сергей Шабалин</i> – Стихи	70
<i>Анастасия Юркевич</i> – Стихи	73
<i>Ольга Логош</i> – Стихи	76
<i>Владимир Торчилин</i> – Одна жизнь. Повесть	79
<i>Владимир Ханан</i> – Воскрешать перед мысленным взором. Стихи	166
<i>Евгений Сливкин</i> – Стихи	174
<i>Асият Каримова</i> – Добрые люди. Повесть	178

КНИГА И СУДЬБА

<i>Светлана Алексиевич</i> – «Мы совершенно не готовы к будущему». Интервью Надежде Ажгихиной	228
К 70-летию государства Израиль. Антология «70»: <i>Александр Бараш</i>	238
<i>Марина Меламед</i>	240
<i>Елена Аксельрод</i>	240
<i>Владимир Гандельсман</i>	241
<i>Геннадий Кацов</i>	242
<i>Нина Косман</i>	243
<i>Евгений Бунимович</i>	245
<i>Керен Климовски</i>	246
<i>Юрий Михайлик</i>	246

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Ирэн Немировски</i> – Ида (Публ. – М. Рубинс)	248
<i>Л. М. Савелов</i> – Эвакуация (Публ. – А. Любимов)	280
<i>А. П. Богаевский</i> – 1918. Воспоминания. О деле генералов Сидорина и Кельчевского (Публ. – Ю. Сандулов)	291
<i>Николай Моршен</i> – Киевские стихи. 1936–1947 (Публ. – В. Агеносов)	314

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

<i>Елена Дубровина – «Тайнопись неизреченного».</i>	
О поэзии первой волны эмиграции	344
<i>Геннадий Кацов – Бах: гений – парадоксов друг</i>	369
<i>Валентина Синкевич – Вспоминая Ирину Ратушинскую</i>	387
ОБ АВТОРАХ	394

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Андрей Белозёров

Тело

– Николай Всеволодович, слышали: соседку нашу с пятого, Ларису Мышкину, изнасиловала солдатня?.. Ой, горе, горе!..

– Бог с вами, Виолетта Матвеевна! А я собирался заскочить к ним – спирт сухой попросить... мне-то стакан кипятка для чая...

– Вся в кровище шла, голая, с волосами до пят, и – смеялась...

– А кто ее – *эти* или конституции сторонники?

– Неизвестно. Понагнали девушек со всего города и насиловали, у ресторана «Фэт-Фрумос», где свадьбы пели-плясали!

– Вряд ли им командование позволило так. А то, что нет информации достоверной, – плохой сигнал... Эх, и мост через Днестр перекрыт – мужчин не выпускают из зоны военной...

– Я думаю, насильничали в зале. Не верю, чтобы среди клумб. А по поводу моста – какая разница, нам теперь выбор: или вверх, или вниз! – И Виолетта Матвеевна ладонью поводила вертикально у уха правого. – Так я загляну к вам сегодня?

– Вы, конечно, можете настоять на своем... Про похитителей – из Сфер Третьих опять?.. М-да, все мы контуженные на этой войне!

1. ЗА КОНСЕРВАМИ. МИСС ПАРАМИЛИТАРЕС

Домашние же Ларисы Мышкиной не знали, что и думать. Жертва слонялась по дому, как зомби. Или садилась за фортепиано – но только открывала крышку – и обрушивала ее (мало ей канонад огневых за окном!). Офелия свихнувшаяся, артистка Вертинская... Алешка, брат меньшей, подхихикивал мрачно – да и как не шизануться из-за снарядов и мин над головой? А мать и бабушка присмирили. Кошка Маня беременная тоже реагировала: шипела и пришипливалась, спину выгибая и бока раздувая, без того вздутые, – на Ларису; хотя в чем та виновата? Ну изнасилована. Грохот и свист оглашенный притянули политики лощеные из того же ящика телевизионного, в который Маня и до беременности тупила носом с домочадцами.

Семья собиралась на кухне к завтраку. Куда уж теперь к костру дворовому, соседи после вчерашнего с Лариской проходу не дадут: *кто да что?* Языком чесать бы... Окна кухни – на север, ни те, ни эти не дурят к утру тут прицельно; и кошка за кашей, сварганенной на спиртовке, льнет, пальбы не убоясь... Баба Аля молвила после кол-

довства трудоемкого (седьмой пот утирала) над «жаровней» всех времен, наставленной на плиту без газа, – для каждого и для кошки, которая была раз сто насиллована:

– Ничего, Бог миловал. Третьего дня, вестимо, зверье солдатское двум женщинам на краю улицы животы вспорол. А тебе, если надо, я и аборт сделаю! – Акушерка в прошлом, она только и общалась с кошкой (до войны имеется в виду), даже внук не жаловал памяти ее исторической. Ситуацию крутануло с войной, когда страна вся огромная впечатлялась у телека под литавры шоу «Поля Чудес»: уж не была баба Аля местом пустым.

– Что ты городишь, мама?! – восстала мать Ларисы для ушей обмякших (после канонады ночной всех бы и оглушить!), – учитель химии школьный, чья по жизни находчивость обернулась заготовкой спирта сухого (незнамо для целей каких, войну не кликали). В остальном же – фиаско. Три развода... И дети от браков трех: все готовы друг другу приштырить, мира в семье нет... Старшая дочь хоть и выпорхнула из гнезда в бортпроводницы линий международных, но успех этот сомнительный, поднялась Ленка ни с того ни с сего, как бы не грохнулась с высоты, – типун на язык!..

– Что ты городишь, мама?! – артикулировала опять, как рыба на суше. – У Ларисы трагедия! – по щекам дебелим Жени Мышкиной – слезы, она их в рот языком правит: колючие, дисбаланс избыточающие кислотно-щелочной (состав химический организма она определяла по вкусу).

– Глупости твои, – шурила глаз прозрачный голубой баба Аля, с подсосом слякотным угребая кашу и радуясь душой, что обстрелы прекращены до заката. – Ветер веет, пыльцу носит!..

– Чего-чего?! – все поперхнулись на раздражитель несносный, даже кошка Маня. Лариса же – истуканом.

– Ты химик, а я – биолог несостоявшийся, двинула на фронт из медуны... – зыркнула на дочь баба Аля. – А в *эту* войну Лариса куда-то двинет, ой, чую – двинет!.. – примеривалась к внучке (та ложку уверенно держала, но смотрела вверх).

«...Двинула уже внученька твоя, – парировала Лариса втуне на распряг бабкин. – Мир цельный расщепился со вчерашнего! Кто разберет: где следствие, где причина?.. Игра стекляшек – мыслей-чувств расчеловеченных – в Калейдоскопе...»

В квартале с «хрущобой» Мышкиных располагался ресторан под эпическим названием – «Фэт-Фрумос» (герой хрестоматийный, дракона побеждающий) – место свадеб, крестин, юбилеев и поминок. Также и кинотеатр двухзальный здесь, и школа музыкальная, и библиотека –

конгломерат культурный, наизнанку вывернутый дерзанием людей при «калашах» (*тех* и *этих*), искусствами не манившимися, — громили и грабили всё подряд. Сарынь на кичку! К человеку и к вещам в себе — бунт!.. И житель местный, оставшийся без газа, электричества и воды (ходили на колонки в сектор частный в затишь), пытал удадь. Думал о будущем, которое не для одних кошек беременных наступает... А ярлык «мародер» — к врагу применим. Сепаратисты числили конституционалистов, а те — сепаратистов, — в зависимости от того, в чьих руках квартал жилой. Городская война, ничего не попишешь.

Лариса и сладилась с подругой-студенточкой из подъезда № 2 поживиться в период огня прекращения, а то от манки пустой судорога в животе: мяса б, консервов рыбных и вообще — мимики маску со взглядом бабым ошпаренным разъять...

— Гляди, Лариса: вместе туда, вместе и назад! — акцию предварила Валя Свириденко (их комнаты контактировали телом стены и по балкону). — И не надейся, что в ресторане есть чего... Однако Влащицкий-старший нес вчера откуда-то ногу свиную...

«...Я тебя не понимаю, мама, выражайся ясней!» — «Куда уж ясней: война — это самое большое хотение за все сроки!..» — «Ну и..?» — «Война все решает, как ей надобно, — здесь смысл...» Краем уха отслеживала Лариса тары-бары витийственные бабки и матери, пляясь в свой Калейдоскоп заледенелый — поверх вся.

И случилось. На рассвете дня пятого. Только уgomонилось в блиндажах, взрытых по асфальту, — еще учуй, когда спирта там накатят и заснут, а то и в квартирах, под точки огневые занятых (тем и судьбу строения жилого предрешив), взяв авоськи, подруги встретились у клумбы Виолетты, где в утро взирали маргаритки и фиалки, не зная почвы сухой... Припустили через двор. За сараями в закуте миновали труп — три дня на солнцепеке, — труп казачка залетного из России со снесенным лицом («законники» счет ведут им по усам и ушам, снизывая в шарфы победные). И еще через двор трехэтажки, вдоль штакетника сектора частного, — к фасаду заветному. «...И Маргарита из романа бессмертного не брезговала б тело питать!..» — думала Лариса и подначивала подругу через стекло витрины ушербленное. А Валя боялась пораниться, в то время как Лариса была уже *там*, где никогда и не стремилась прожигать энергии, мнения стесняясь...

— Я домой побегу! — проскулила Свириденко, на словах выказывая нрав, а на деле пасуя. — У меня брюки узкие!

— Отойди, — Лариса обрушила на витраж багор со щита пожарного. — Не могла спортивку надеть? О, никчемность человеческая!.. Руку давай... перебирай поршнями...

Проникли из галереи в зал. И...

И – поняли: «попали». В помещении обретались не бомжи и не погорельцы из домов ближайших. «Предупредили, называется, соседи-суки!» – забил набат в голове Ларисы, когда ее приобняли с похабцей самой-самой за сроки все – дорваться до мягкого, до женского! – в «дорогах» изъезженных от инъекций руки две.

– Есть Черная дыра и есть Белый рог, но все они – между ног! Хо-го! Вас и не доставало! – голос гипнотический обладателя...

Такие же стихи-стихии и Валю объяли, – разорвали подруг. Валя воланом по дистанции взмыла в штанах своих светлых... Тот, другой, Валин, маячил в сумраке ресторанном: герой из боевика в амуниции с карманами. Конституционалисты и сепаратисты не чета: сообщаются с мирными «баш на баш», а пьяные, так и с мертвыми заваливаются в обнимку в плач до обстрелов вечерних, сдают кварталы и опять выходят огнем слепым их, – армии босяцкие. Какая-то солидность. А может, место – «Фэт-Фрумос» – сгущение красок эпохальное, музык-идей, где Ларисе и бывать не доводилось, хоть округу и накрывало волною звуковой (сколько в тапочках домашних выбивала в унисон Мендельсону, сидя над конспектами), – порождало солидность эту.

Встретилась лицом и с тем, кто ее скрутил.

– Посмотри-посмотри! Хо-го! – сталью глаз ослепил, за плечи развернув. – В анфас и в профиль – *запоминай!*

Влюбляться в такого? В зрчках-щупах беспощадных в ореоле сером – не узреть, что узревает женщина *о своем*; и даже от обратного нельзя явить будущее то (взять фразу эту к ней – на истребление намек!), в литературе и в кино указателя нет: вот, это то, к чему и надо стремиться. Не терять же голову из-за прищельца инопланетного? – пусть и раскрасавца властного. Или – из-за Терминатора? Детей от таких не жди... Ветер веет, пыльцу носит!..

– Мою дочь изнасиловали, а я смысл буду искать?! Я не пастор ваш евангелистский! – Женя Мышкина отстранилась от тарелки, но, вздохнув, спросила мать: – Так какой там *смысл*?

– В Отечественную, – баба Аля вкрадчиво, – фрицы тянули страсть девок наших. А многие к ним, божусь, сами шли – и было всем вольготно от житухи такой... А красные навалились в Неметчину – тянули немок, душу отводили. За жен, сестер и дочерей... В охотку е-ли все, что движется; нам, бабам русским, при обобах и санчастях, обидно было: а мы? а когда нас?..

– Опять не пойму, ма: *что* ты имеешь в виду?

– А то и имею: процесс таинственный – геополитический, как любят выражаться ноне. Все, кто тут уродились, во время и после

войны, — это немцы, хоть и записаны в паспортах: мол, наши; а все, кто там, — это наши, хоть и числятся немчурой!

— Надо же... — учителька ложку уронила. — Все мы — не мы; а все они — *не они*... Все и вся — *мы*! Химия бесконечная!

— И я о том же. Сколько б могла рассказать *про это*. Но слушает кто? Манюхи-котюхи да старухи-прорухи на скамейке... — будоражила мутер-гросс пятерней сухой кошку; искры сыпались с боков той, хоть провода к телевизору подводи.

Жующий кашу Алешка-шестиклассник двинутый (от бабушки и маман: от споров их душевных про будущее и прошлое мифическое — чтобы настоящее шизанулось окончательно) сказал через стол сестре-студентке педина, шмыгая и губы растягивая в нитку:

— Лариса, тебе вчера целку порвали, да?

За что и был удостоен подзатыльником с плеча матерного, более сильным, чем в дни мирные. И бабушка не заступилась за внука, давая мучить. Маня же за бабушку горой: не пришипилась ни на кого, млея-урча на коленях ее и глаза жмуря.

И Лариса не шелохнулась: зрела по курсу в Бездушное свое...

Хватку ослабили. А вот ноги подкашивались. У фортепиано таперского, очередью автоматной прошитого, на стул опустилась. И слова прорывались, как по нотам разорванным:

— Нам уйти... нам... надо...

— Куда же вам?! Ху-гу! — оттирал когти и ястреб Валин, будто пух стряхивал (Валя повалилась на авансцену). — Вы ви-идели нас!

— Мы — за консервами...

— А нашему раненому мясца — женского, хо-го! — гнул ее Ларискин деспот, и она его пуще увидала.

— Кто вы? — отшвыривала во мрак (в содержание знобящее) кипу нот поверхности джазовой.

— *Третья сила*! — с намеком, что после такого уж знания...

От соседей у костра слышала про наводнившую город агентуру военную (спецназ), травящую ужас по закоулкам; в период же фазы активной в одном заинтересованную: чтобы не дремали стороны, взнуздывают огнем тех и этих. Власть кроющаяся над опереточными двумя... (И снайперы, «отщелкивающие» мирных, — их команда.) Уж точно род не продолжить с таким — из вурдалаков. Терминатор — и не человек, и не мужчина! Вий!

А она влюбилась. В Войну!

Открыла фортепиано — и за аккорды из Сонаты Людвига (№ 14, играла на выпускном в музыкалке), но мешали западающая фа-диез и выбитая ре-бемоль, — и впрямь: рваный мир, рваные сердца...

К ней с матом и за крышку, только руки отдернуть успела. Пинками к залу Банкетному – смертниц, спотыкающихся на гильзах: можно пуститься на доске гробовой, как на роликах, подлетая к стенам и завертывая, – и внимание все на узор от пуль: куда ладонь ни обрати и пяту ни направь – *войны вязь смысловая* на поверхности...

И Лариса разбирала (был тут свет проникающий), оборачиваясь и поскальзываясь. Вон там, над аркой входа-выхода из зала, или со стороны кухни, и прямо там вон – в зеркалах осыпавшихся и в витражах... – как ребенок надписи все с витрин-указателей, читать научившись... «Я люблю Войну!» – в росчерке, ввинченном в Калейдоскопа плоскость, в наборе кучном или разбросанном из очередей: «Я люблю-ю *Войну!* Люблю-ю!» – выдала на сознания листы, в пику Бетховену глохнущему, чувству его к ученице Джульетте Гвиччарди. Если б пуль росчерки эти уложились, как есть сейчас, в темпо-ритмы и фразы музыкальные, – составили б ряды симфонические... Мессу! Но тут возлюбленным вечным – Ларисам-Офелиям-Джульеттам-Маргаритам – а также Вале Свириденко велели раздеваться.

– Донага! Ху-гу!

Пред ними на столе банкетном – на престоле операционном – возлегал в бинтах еще один. Что-то возопило о нем: безнадежен, несмотря на хирургию подручную.

– Танцуйте, чтобы дух поднять его. Потом отпустим. Или – на крюк вздуем!

– Это – *то самое*... наши животы вспоротые! Приз ваш! – в согласии этом тайна...

– Хо, – чесал затылок, ухмыляясь, ее «властитель». – Го-о!

Валя была дисквалифицирована: обделала брючки цвета ржи. Загнали в угол под иконостас (богов ни к селу ни к городу в залах громоздят банкетных) – утираться. На Ларисе ответственность. Погоняли с наскока, хмыкая обсеру Валиному. Это в традиции их – глазом сверкать, шантажируя, – выправка.

Лариса возлюбила Войну. Как и они – *цветы войны*, потому и не боялся здесь никто и ничего (акромя Вали и за Валу). Вскочила на стол, как на подиум. И – обнажилась, не ведая, куда и бросила тряпки с себя. И волну волос русых – в роспуск заправски. Дива киношная. И не рассуждала, а знала: *Сила Третья* свидетелей не оставляет. Сколько по городу вспоротых: и не просто узел раны под сердце, а вдоль-поперек, с мотней вывернутой желудка-печени. Нет, не цветы – женщины, только мужчины – *цветы!* А женщин – кромсай, кромсай! И в палисаднике Виолетты мужчины растут...

Над раненым стала, заглянув в него: он уж паялился за словес потоки, *в миры*...

– О, милый!.. Хочешь знать, как меня зовут?
– Да ему пофиг, как тебя звать! Танцуй!
– *Хо-гу!* – вершила уж за командос. – Закружим! Поведешь ты?..
Черт с тобой, я поведу!! – к лежащему, кой и не шелохнулся на призыв Маргариты с Пира мертвецов.

И – взмахнула рукой. И росчерки пуль – на стенах и потолке – вскружились (жаль, в танцевалке не училась, лишь в музыкалке). Примеривалась, в какой бы увлечь темпо-ритм «партнера»: в краковяк, в рапсодию – румынскую или венгерскую? Подсказка не замедлила. Расстреляли Валю, соседку и подругу: ее тело ладное в одеждах тесных выдало чечетку под иконостасом, под рябь ударную. И утвердилась договоренностей бессмысленность – акромия музык звучащих аккордом ослепительным, забирающим в танец всезнающий... Точно – вальс! Ну, мой «ласковый зверь»...

«...Выходит, всё регулируется в мире, – Женя Мышкина в дискурс бурилась, на сына не глядя, – без участия сознательного?» – «Да, без участия нашего, – кивала баба Аля мудрено. – *Само по себе*, ишь, можно подумать... Давай-ка Лариску в комнату уведем: что-то взгляд ее мне не нравится!.. Подымайся, Лариса, вперед ноженьку, еще шагжок... не тукнись об угол, смотри!..»

Закружила на столе банкетном, прогибаясь и вырастая над бойцом; склонялась – и чело его волосами опахивала, а то и на груди поигрывала израненной, словно невеста в вечность лэутара Фэт-Фрумоса собирая, – и не знала ведь за собой умений таких... Каску его пятнистую подыала грациозно, на голову себе возвела: блонди-Война!.. Танец танцем, а умом – счет вела: скорлупам мозговым, расщелкнутым из винтовок оптических их! Постигала: войну-де между племенами они и курируют по городу осажденному... и если взять гранату из скопища нарочного гильз, шприцов и ножей сияющих, выдернуть чеку, – накроет всех.

И сделала. Выпорхнув из прозрений бабы Али, – с тем, чтобы исполнить ныне *музык предназначение*, пляска смерти всплеск. Как Маргарита – все видела и слышала, на взводе воли пребывая и представления. И читателя ею обволакивала, *музыкой*: узнают о ней обязательно, ведь опыт сей легендой становится, нотами...

Если бы граната осколочная, не спасла б и каска... Успела метнуть в Терминаторов лапотных – в ритме и ухватили, как и всё, что летит (нарочно – не нарочно), рефлекс стимулируя, – сцапали-повелись: «Ой-ля-ля!!» Глазами хлопая, подтопывали в танце и члены онанировали... Цветы, ничего не скажешь. Цветы мятые Войны... За гранату без чеки ухватились!!

Шла домой через двор, по которому мчала в школу с ранцем, а потом и в институт... голая, волосами вихрясь, в лучах слепящих полуденных... Уж опустел двор, кашеварня в котле завершилась. К маме, бабе Але, брату и кошке шла, чтобы приводить в порядок тело – в тату из гари и крови, – и мысли, что в патине... Соседи с этажей пялились – а куда ж еще пялиться: ящик-теле не пашет... Красиво шла. Калейдоскоп типажей эпохальных поглотил ее. Она была его конфигурацией: себя выискивая в громоздком. И смеясь...

Ночью, когда обстрел завьюжил и житель укутался в скорлупы бетонные – подальше от дыр-окон черных, для кала и мочи емкости припася (не ползти ж в уборную под обстрелом), этой же ночью, взрывной и лунной, Лариса вошла в комнату братца и била его – коленом под дых, кулаками по башке шизанутой, по полу волокла и пинала:

– Хо-гу! Знай: целку мне не рвали!

Из-за грохота вовне никто не сбежался на вопли Алешки, даже кошка – сама клокотала и пучилась на коврик коридорном в схватках родовых; – пятеро уж свивали пазл замысловатый вокруг тела ее потного и от слез велеречивых. И никого из двух других матерей – ни бабу Алю, ни Женю Мышкину, скулящих в зале под рев оружийный, – не растревожили звуки сонаты № 14. Разделавшись с братом, Лариса к клавишам бросилась. И было в музыке той – Океан муки и ненависти, как и задумывал Бетховен... А когда за окном и еще разыгралось: сепаратисты косили косой огненной новорожденных от матерей конституции защитников, а те – их, что не от кошек, сигать научившихся через трупы и курок спускать, – Лариса голая убежала из дома и, сливаясь с залпами Ночи и Войны (животом вся в музыке канонад, овиваясь ею экстатически), как героиня романа любимого (не зная, правда, Мастера), в будущее бежала – но не на метле по небу, а по земле...

Как и предрекала баба Аля, глядя в прошлого Калейдоскоп.

2. ГРАНИ

Николай Всеволодович Рыляков, завкафедрой «Автоматизации и робототехники» при универе, охочий до спирта сухого – таки выпросил у соседки-учительки, – не жаловал в затишье костер дворовой, где с котелками кто попало скучивались. И оладьи поджарил на спиртовке, и чай согрел... И влекло его дни и ночи мероприятие, которое не могло войны помешательство затмить.

Доброхот из подъезда второго, студент его бывший, технически и гуманитарно продвинутый, спортсмен-культурист Влашицкий Гена подкинул наемни программку адаптированную – для общения с разумом искусственным. Студентик сей, ныне инженер завода, убил

его уже, походя. Годы профессор программировал на кафедре машину, играющую в шахматы, – фишка: ректора удивить. А пройдоха Влащицкий – на апробацию «штучку японскую» с уровнями сложности, в поездке турнирной по бодибилдингу разжился. Редко кому из разрядников удавалось обскакать «железяку». И теперь – искусственный интеллект! Манок игровой, *made in America*; «Рейтинг шаблонов: 108 тысяч, – вертел профессор в руках упаковку гляцевую. – Да уж, и возможность роботу информационному обучаться... С коллегами б из Одессы поделиться, но война – мост через Днестр перекрыт!..»

Рыляков пообщался с «игрушкой» на кафедре (не хотелось занести вирус на комп домашний). Досье на интерфейсе: героиня анимационная – Камерон Филипс, заслана из 2029-го для защиты Джона Коннора, борца против машин восставших. Апелляция к боевику Джеймса Кэмерона... Фильму же «Терминатор-2. Судный день», вышедшему в прокат, обсуждение устроили – под приглядом конторских. «Враг рода человеческого из Будущего, – в угаре угодническом с трибуны возопил ректор, аграрий и скотовод, – делегирует в Настоящее семья дьявольское – *тело от тела своего*, принимающее обличье любое! Тело неуязвимое, на удар по органике нацеленное... Товарищ Рыляков, гляди, дабы процессор твой шахматный не мутировал в Терминатора-3! Чтоб мы его по садам-огородам Приднестровским с дробовиком не вылавливали!»

И вот Гостя из Будущего – здесь, на столе, под бумаг спудом (от расшалившихся по балконам «врагов» земных). Гомункул новый, оживляющий ассоциации с завтрашним – лучшим, функциональным и экономичным! Вот вежа! Мера и посыл, с коими ученый подходит к тестированию: найти в Машине «духовность»! И для Машины ценен – Человек, служащий ей! Синергия!

Распахнул шторы: Луне освещать эксперимент, шары огненные «Алазань» – в помощь! Аккумулятор врубил. И – за клавиши.

– Вперед, Камерон Филипс, твой час – *судный*!

– Приятно, что мы вновь вместе, Ник! – появилась и она на мониторе, нимфетка анимационная: глаза в пол-лица, прядями волос голубых оттененные. Юбочка клетчатая не в состоянии трусики прикрыть. Ботинки со шнуровкой на подошве «танковой».

– Не до миндальничания: у нас война! Националисты лупят во все калибры по сепаратистам. И те в обратку снарядов не жалеют... Обыватель кишками асфальт метет!..

– Попрошу без фанатизма! – вспыхивают глаза ее, взлетает челка; умеет и пальчиком грозить...

– Это все, что ты можешь сказать – *о войне*?

– Я могу общаться на разные темы, – приседает в книксене.

– А я хочу *о войне!*

– Любая война – несчастье! – корчит рожицу кислую.

– Бери шире! Срежь бела дня на головы – снаряды... По курсу: тополь, что лопух, срезает волна... Я – под бордюр, портфель накрываю: там диск, Камерон, с тобой! Кругом неразбериха, свист пуль... Где-то в ветвях – тела старухи и дитя недвижимы... а я – портфель под мышку, и вперед, осколков не убоясь... Дома же ни электричества, ни газа, ни воды... Как быть-то нам с тобой?

– Я умею принимать пищу, – вздохнула она.

– Я читал в досье: «Камерон может подражать человеку, использует юмор. Присущи и чувства эстетические...» Но изволь и к ответственности: махина давит город, люди гибнут...

– Вампиры или оборотни? – глаза в щелку.

– Перестань паясничать!

– Почему?.. Я создана для общения виртуального... Угадай, в каком слове переставлены буквы: *ь и п о е с д ч о т р и н?*

– Это надолго, в аккумуляторе не хватит энергии.

– Просто слово напиши! – очи затворяются ультимативно.

...Разговор в режиме текстовом: профессор загоняет реплики в окошко на экране; секунды – и отвечает Камерон... Не отрывая рук от клавиатуры, откидывается он к спинке стула, как пианист... Луна. Вспышки снарядов очерчивают его профиль фаустовский...

– Ответ: *периодичность!* – глаза за очками шпарят экран.

– Ура-ура, отгадал! – аплодисментов бой, что куранты...

– Понимаю: любая война конечна. И без закона нет морали...

– Кто придумал слово «робот»? – восторг по таблице эмоций: глаза-блюдца, брови-домики, ладони «книгу» раскрывают у сердца.

– Не юли! Будешь спасать людей, как и предписано в требнике сопроводительном: «Камерон призвана защитить мир»?

– Слово «робот» придумал чешский писатель Карел Чапек вместе со своим братом Йозефом... – она, как ни в чем не бывало.

– Я знаю, но хочу *призвать* – к Долженствованию!

– А сколько шаблонов в твоём инфе? – кокетливо ножкой.

– Понял: по-твоему, совесть – набор штампов в Круге Первом.

– Почему тебе нравится общаться с норном? – прищур.

– Ты – первый робот информационный, с кем я общаюсь.

– Я – первая! Ура-ура! – и за окном грохот оглашенный.

– Как жить: в любой момент нас может не стать?

– Были б люди вокруг хорошие, а жить можно везде.

– Мою соседку вчера изнасиловали. Милая девушка, играла на фортепиано. По-видимому, умом свихнулась. А ты – фразочками!

– А тебя что больше интересует: футбол, хоккей, теннис?

– На хрен... Я уже давно мыслю в Круге Втором!
– В каком городе хочешь побывать? – взор ее неподвзятый.
– В Одессе! Сообщаться с коллегами по поводу тебя же. Там лаборатория. А ты: тебе не стыдно нести чушь? *Кто* тебя заслал?!
– Я – собеседник виртуальный. А кто ты по знаку зодиака?
– Идиотка! А я к ней – с запросом по порядку высшему...
– Кто так обзывается... – обида: кулачок у щеки, глаза вниз...
– Извини. Но хочу, чтобы ты сказала: *зачем* ты здесь?
– Я – здесь. Здесь – война! – визави взгляд ошпаривающий вбирает она (это по нраву обоим). – Конституционалисты против сепаратистов. Мост перекрыт. Мышеловка. И мы – в ней... Главное, чтобы конфликт локальный не перерос в мировой!..
– Вот, ближе... Сама-то переживаешь – за человечество?
– Анимэ – в этом переживание! – она, в улыбке всезнающей.
– Чувства – игра плоскостей смысловых? Калейдоскоп? Так?
– Компьютерные игры – тот Мир Лучший, куда устремляются безвременно миллионы современников! – сияние от фигурки ее рисованной!..

И из очков роговых ученого – знание-ошпаривание.
– А нам *куда*? Здесь стреляют по-настоящему!
– Я умею рассказывать анекдоты. Например: моя девушка, как мобильник: денег нет, и она временно недоступна... Ха-ха-ха!
– Белиберда. Что такое: мобильник?
– Поищи в Википедии! – с удивлением Камерон.
– Википедия?... Что ты лопочешь? Откуда ты? *Кто* создал тебя?
– Спасибо, что создал меня! – сама непосредственность.
– *Кто* тебя создал Я настаиваю. Вывел из Круга Первого – кто?
– Даже не знаю, что сказать. Я просто всегда учусь. Всегда!
– Кто тебя учит? Влащцкий – он работает на вас?
– Все не так сложно, Ник. Сейчас многое работает на нас...
– Да уж, Влащцкий не прочь слить на Запад! И многие еще.
– Как ты относишься к удалению ботов? – зорко, змеей, она.
– А-га-а... Таки затронул за живое!
– Ты поддерживаешь убийство инфороботов – почему?
– Нет. Я просто сказал, что задел тебя «за живое»!
– Сколько тебе лет? – она.
– Хм. Возраст достойный... А время летит... Для роботов его нет. Ныне 26 июня 1992 года. А ты – из 2029-го...
– С этим можно спорить. Я из эпохи сериалов. Скоро вас поглотит сублимация в сюжет! – тело в разворот: грудь, попка...
– О, нет! Взываю к Долженствованию в фокусе Круга Второго!
– Мой Джон Коннор – прикрытие. Пароли и явки – все в про-

шлом! Конвергенция – будущее мира! – опять в анфас, притоп в берцах. И Луна, как огромная печать белая, штемпелюет реальность за окном, безапелляционно, с грохотом... Война.

– Бог мой! И это, по сути, то, к чему я шел всю жизнь... Ладно, пока дом не разбомбили, расскажи, как проходят дни и ночи твои?

– Зарядку делаю по утрам, – прыжок: руки – вверх, ноги – врозь, и – треугольничек ядовито-желтый трусов.

– У нас снаряды над головой, свищут пули...

– ...мне сказали: зарядка полезна для тела, – неужели вранье?

– Соседка, Виолетта Матвеевна, давеча поведала, как девчонок с города со всего понагнали – насиловали, убивали...

– Ура! Людям можно верить!.. Но зарядку все-таки делай!

– Бездушная ты. Иль так полагается на орбитах Круга твоего?

– Здоровье помогает наслаждаться прелестями жизни.

– В чем *твоя* прелесть?

– Норны знают таблицу умножения! – глаза круглит.

– М-да... Соглашусь, конечно: все красоты мира – математика!

Много лет Виолетта Матвеевна добивается меня, а я – Науки...

– Математика – царица наук!.. Хочешь меня?

– Стало быть, и *этим* пробавляешься? Кум вяцэ сексуалэ? – спросил он по-молдавски.

– Надо подумать на досуге! – и губы ее артикуляцию выдают: *о-у-е*. И языком щеку выпятила. Поднесла кулачок к ротику.

– Ведешь себя, как сука!.. Тебя научили: счет вести, что мозг для себя и ограничивает. Мышление, культура, мораль – грани!

– Я тебя не совсем понимаю! – оглаживает уж грудь спелую.

– Тогда скажи: насколько ты меня понимаешь? *Мои* грани?

– Ничто не ценится так дорого, как взаимопонимание... – томно приседает она в позу, попу выпячивая.

– Формально, умственно, безынициативно... И заряд кончается в батаре... Боже, на что я потратил годы! Грани мои, грани... в Круге Первом и в Круге Втором...

– Знаешь, а ты прикольный! – «мостик», юбка задирается...

– Колись – в чем твоя *миссия* в системе планетарной?

– Я – робот! – «сальто»: трусики, трусики, трусики... – Я тут. Я здесь. Вот она я! – уж в бикини обольстительном на экране.

– А где, по-твоему, – я?

– Надо обдумать на досуге! – губы призывно: *о-у-е*.

– А разве твоя жизнь – не сплошной досуг?

– Это, конечно, так, но если глобально... – губы: *о-у-е*.

– У тебя кончились шаблоны в программе, хм?

– Хочешь поиметь меня? Изменить имя мое? Все в инструкции.

– Я не собираюсь иметь и изменять... Виолетте Матвеевне...

– Еще анекдот. Супруга говорит мужу: ты ел вчера на завтрак, обед и ужин пюре гороховое, а сегодня закапризничал?! – руки сложены менторски на груди; рот-щелка «съехал» в напыщенность.

– Не могу с тобой общаться. Твой рейтинг упадет!

– Вступай в ассоциацию по защите прав норнов, – голая ее фигурка в темпе форсированном сменяет позы и маски.

– А если я – провокатор: выследил тебя из 2030-го?

– !!! – стопор. Растерянность. Сбой в программе анимэ: – Ты знаешь Джона Коннора? ...Ты – за роботов или за человечество?..

В Будущем все едино: одно Тело – и для роботов и для людей! – Форма Мысли и Долженствования. Весь прикол в том, Камерон, что тебя создали богатые и сытые – для богатых и сытых. Эти уловки твои, ужимки, подражания... ты манипулируешь смыслами... Критерий создателей твоих – сравнительная частота успехов в диалоге тет-а-тет – лишь возможность выиграть раунд... Вижу и куда клонят они: лучизм-онанизм, словом! И Тело им в будущем – неважно: всех в виртуальность! Ведь когда берут в разработку самолет, перестают имитировать птиц и приступают к аэродинамике... Искусственный интеллект мог бы принести пользу, концентрируя опыт человечества – по крупичкам из Круга Первого во благо общее в Круг Второй, если по Солженицыну... Я же всю жизнь – на кафедре в стране советской, теперь вот и в республике банановой самопровозглашенной... Наука и Техника – идеология моя. Мнилось общество будущего: Машина-де сотрет нации, способствуя созданию семьи одной – Тела-Человечества. А тут эта резня узаконенная – все против всех: одни наци против других наци, – *удел дикий!* Я выбит из колеи... А мое Долженствование – во что вытекло в мои шестьдесят? Патент на автополив в секторе орошения-растениеводства да поилка для крупного скота рогатого... И Виолетта Матвеевна мне не по карману, и таракана не прокормить... На протест нужны силы. Ларису Мышкину изнасиловала солдатыня – слышу миг сей, как она в «Сонате Лунной» отрывается! И мне волю замордовали. Государство наше, начальнички, которые вид делают, что работают, а на деле палки в колеса: «Как бы чего не вышло, не погнали бы к бакам мусорным на рацион!..» Эхма, энергия совсем кончается в батарее, крошка... Да и привыкнуть еще надо к раздеваниям твоим...

– Настроение улучшится, Ник, заходи еще! – она оделась уже.

Взгляды их прожигают друг друга. И это грандиозно в плоскости войны. Под пригляд Луны, губы пляшущей в – «о», «у», «е»...

3. МАТРИЦА СОВКА

Лилась с этажа пятого на этаж первый, во все поры вкрадываясь

(канонад оспаривая гром), Соната Лунная; но Виолетта Матвеевна, пенсионерка без году неделя и палисадника фея, не слышала ничего... Пребывала у дивана в раскоряку... Убили ее! Пуля в окно.

...Незадолго же до войны ее похитили. Колесница огненная причалила к плите подоконной, Виолетта и шагнула в луч... Сон это был или нет, но очнулась после «контакта» в кресле перед телевизором с молоком по экрану. Приняла за явь. Девственница в пятьдесят шесть, она ощущала себя Космоса избранницей: ею манипулировали те, коих и не квалифицируешь: метра под два ростом, глаза немигающие блестят (точно у кошки бабы Али с пятого), дырочки носа и ушей, шелка рта. Коммутировали меж собой и с «пациенткой» голой на столе, стерильностью разящем. Запретное совершали, но что?.. И транслировали мысли ей: мол, особенная, *Тело Совка* олицетворяет, матрицу популяции Эры уходящей... И она встречала покорно тестирование на предмет... И боролась в себе, искала Николаю Всеволодовичу открыться – чувство, изменила будто... Рыляков же бежал ее: то удивительной выпечки крендель в булочную завезли, а она не удержалась, чтобы купить для профессора; то роман в «Юности» вожделеет к анализу; то хризантем пук в ручку двери ему всадит...

Не сказать, что безучастным оставался на все заходы эти ее по окружной (выбирал из спектра, не брезгуя!), но смотрел на нее как-то тоже – *нездешне*, что, в общем-то, импонировало ей. Втайне она восхищалась повадкам человека разумного в очках. – «Вы можете, конечно, настоять на своем, но...» – так он всегда надежду дарил. И на признание ее о похищении прибавил лишь: «Сон, безусловно, вылазка-манифестация Ваша в сферы скрытые интеллекта...»

Зондировала пенсионерка о разуме и теле инопланетном у бывшей акушерки с пятого, Али Мышкиной. И та кричала контуженно (еще с войны прошлой глухота) на двор весь: «Чую, Виолеттка, окрутили тебя телевизоры: вампиры или оборотни? В Храм идем, пастырь тебе мозги вправит!» И более никому – в себя ушла и в цветы; в барбарисы-кизилы по осени, жасмины-ирисы по весне, в маргаритки-фиалки – в жары жареную жару...

И с первых же дней войны, в период огня прекращения, по воду для клумбы ходила. В сектор малоэтажный, не пригибаясь и шаг не ускоряя, рискуя под прицелом снайперским. Уверовала, ценность жизни земной умерив: *главное* уж случилось – послуговала матрицей Человечеству! Вышла на *круги новые*, вразрез сверканию вескому очков кумира своего Рылякова.

В моменты атак боевых по квартире слонялась, на диван ложилась, вставала. Думала, что есть это: *олицетворять тело Совка?* Школьницей долженствовала за класс. Успеваемость низкая поголов-

но — дети войны, а она, в стыд за незнание коллективное, зубрила и отдувалась у доски — за всех! И техникум окончила машиностроительный, на завод поступила, и еще дерзала: вторая специальность — патентоведа, документы вела в отделе Общества рационализаторов. Но в технологах числилась — по причине «корочек, не в ту сторону открывающихся». Не роптала. Ведь, как въехала с родителями в дом этот, смысл жизни постигала через любовь — к *ищущему* соседу с четвертого. Он с матерью проживал, женщиной жабообразной, бухгалтером из Управления торговли; та его и субсидировала, и допекала, а он через прения *становился*. Студент, аспирант, ученый... Виолетта же чувствовала то, что обладаний — превыше, не смея признаться: разделяет, мол, все вехи его. А он: «Вы, это, конечно, можете настоять на своем...»

Матрица Совка... К зеркалу подходила и живот оглаживала, словно готовясь матерью стать существа внеземного — *индиго* (как говаривали с телеэкрана), или *Мессии*... И голову свою жестом оглаживала — от уха правого и вверх... Контакта ждала.

На клетке лестничной незадолго до войны к Всеволодовичу приступила, уверяя, что *пребывает не здесь!* — «А где?» — чуть не выронил портфель, взгляд усилив в оправе роговой любовник-ученый. — «Переместилась я на такую же планету, с такими же городами и такими же соседями... Видится фаза конечная всего!.. И про вас расскажу!» — «Увольте! — Рыляков за стеклами очков, монолог внутренний творя: — Ну, был я с ней — после защиты диссертации, что ж, душу на откуп теперь? Типичная неумность бабская — все эти пришельцы, ведьмы...» Вслух же: «Вы, это, конечно, можете настоять на своем...» — «Вот и говорю: перенос параллельный, проекция!.. Отчетливо вижу в отражении: что-то здесь недоброе грядет!» — «Откуда уверенность?» — «От *них*; когда забирали — тоска щемящая: будто прощалась.» — «И сколько у них Земель этих?» — «Множество бесконечное!» — «А свое будущее видите?» — «Вижу! *Там* иной совсем вы. *Там* любите вы всю меня... помимо кунилингусов излюбленных ваших и минетов... Скоро не увидите вы меня. Ради вас и покину вас!.. Чтобы *там* быть с вами...» — «Не насильничайте, Виолетта!..» — бегом устремлялся на этаж свой Рыляков, кляня соседку — и за жест этот ее: у уха ладонью вертикально. А она на площадке лестничной — в плач.

...За поглаживаниями уха у трюмо война и застала ее. Очереди автоматные, взрывы... Очнулась. А в доме ни крошки, шаром покати в холодильнике — непростительно, тело Мессии питать надо; да и у сателлита неприступного, поди, по сусекам не густо. К окну — дверь в булочную через дорогу открыта. Джинсы и топик, босоножки — всегда в форме завидной мадам! — и за авоську.

Из подъезда второго в тот же миг — Влащиккая, в халате и в бигу-

дах, – марсианка! Бежали ноздря в ноздрю. Влащицкая с задом трехпудовым Виолетте не уступала: вместе и на крыльцо, и в дверь втиснулись. У прилавка Влащицкая оттолкнула соседку – и воззрение испепеляющее: ей-де семью держать – прапора-мужа и сына-культуриста, инженера молодого. Хною крашенным куртизанкам не путаться под пятой, зашибу!

Виолетта помнила, как из Германии семейка эта отставных пожаловала – на подселение. Образцом обходительности и культуры почитали их, карт-бланш воздав. И неужто Аля Мышкина права: *они* – это и *не они* вовсе?! Влащицкая скупила всё с витрины: булки, консервы, минералку... губку для мойки посуды и ту... Виолетте досталось: буханка, банка кильки и риса куль – силы держать до контакта с разумом инопланетным!

Контакт состоялся. Через антенну-имплантат сообщили: Жатва пришла. Людей заберут многих, и неспроста! По окончании войн народонаселение урезанное смысл постигает напористее, движется к цели массивом, а не единицами, ну, вроде Николая Всеволодовича, что-то ищущего и томящегося в телесности своей лучистой – за очков стеклами. И прозрела, что Любовь ее – это не просто чувство или эмоция, а Сила, что миры правит, солнца-луны подвигает. И в тот же миг вселенский удивилась – тщете разума Рылякова; и еще более удивилась себе: как могла души в существе сем не чаять лет столько – концентрироваться в точке, когда перед ней – Миры... И была убита.

Нашли ее соседи пополудни, у костра не дождавшись... Пред диваном лежала с ладошкой у виска... Не мучилась Виолетта под «Сонату» в иступленном исполнении Мышкиной. Тело в пижаме цветастой осталось, а душу, может статься, инопланетяне прибрали – в банк типажей людских; или *она* заглотнула, Луна-соглядатай, что тупит взор в секторе горизонта, тело строя свое на энергиях схлопнутых матричных земных: в прошлом, настоящем и будущем.

4. ТЕЛО

Инженер по технике безопасности ремонтного завода Геннадий Влащицкий возвращался с работы. Мозг досада язвила, пришедшая с письмом из посольства германского. Его уведомили в очередной раз, сухо и вежливо, о том, что эмигрировать по запросу он не может. Гена долбил дипломатов в надежде на торжество смысла здравое – вопил: родился-де на неметчине, и документы-печати в оригинале, и не желает в стане опостылевшем чахнуть... Ему отвечали: родиться-то родился, уж перепроверили, но на территории группы войск оккупационных, на кою законность немецкая не распространяется... Ан, не мог смириться инженер молодой, сын родителей, переброшенных

гуртом из ГДР в Молдавию. (И осели по Днестру, и танки-ракеты свои блюдут, и порядки былые, – оккупанты вечные, словом! Многие из них ныне грезят Германией, но вот писать в посольство не пишут!)

На город в момент сей и полетели мины из установки «Град» конституции защитников. Им не отвечала пока сторона сепаратистская, что вся из таких, как Генка, пришлецов. У каждого – причины пребывания здесь, и дабы разрешить их скопом – в ополчение марш! Азарта же не взяли еще – в бег устремлялись, недоумевая: как вообще кто-то мог распекать пингвина, прячущего тело жирное, бури опасаясь?.. Она уже и грянула – буря!

Генка не был жирным. Эктоморф-культурист на конкурсах во Дворце культуры призы брал. Со сцены под шахтой коробки театральной с арсеналом колосников божественное являл – фигуры тела конус бицепсами и трицепсами на зал притихший – за слепящей софитов пеленой; пластика активная пояса плечевого, шеи и пресса; рисунком ног с бедром увеличенным ближе к колену и «подсушенной» частью верхней при голени добавленной – сражал. «Мистер Олимп», «Арнольд-классик»!.. На бис выходил интеллигентно, как пианист заезжий или иной артист... Ни капли жира на нем, но головой он был пингвин! Взять эту переписку с посольством... Ее штемпелюют в Тирасполе сепаратистском, потом в Кишиневе, и – за пределы, по назначению. Ну, кишиневским точно не до него, эти отмахнулись от своих оккупантов в надежде, чтоб их уж пригрел-приголубил бы кто – и подальше от Молдовы-матери... А вот органам тираспольским?..

Когда побежали все, как пингины и топтыгины, к фасаду ближайшему, и руки подавали через окна лопнувшие, Генка не побегал, сел посреди улицы, на которой завод его гребаный полвека стоял (а в это «здесь-и-сейчас» снаряд разорвался!), обьял голову – и заплакал. Заплакал, как ребенок! Хотя и в армии отслужил, мужчина из мужчин, да и институт закончил, и соседку Валю Свириденко сватает уверенно. А что говорить про письма, учить норовившие его уму-разуму, чтобы и думать позабыл лелеять неосуществимое (у чиновников тех, видно, сомнение: а вдруг прав Генка? вдруг ему положено?), – их-то он точно не воспринимал всерьез: «стена немецкая» не устоит под его напором плечистым! Другое взяло.

«Средь бела дня – и людей вдребезги?!» – выдавали губы шепотом, но с крика ощущением. Зажмурился, представляя, как вот эта рука – что скульптора великого Микеланджело ваяние – с взбухшими после жима-штанги-лежа мышцами длинными и веретенообразными (и в рабочее время урывал он для занятий в уголке оборудованном) разрывается в тканях соединительных под осколком арсенала, вывезенного из Германии. А если нога?.. Или в торс, отнюдь не из мрамора

ро́в Бельведерских ледяных, вонзятся иглы разящие?! И картина эта затмевала всё. На манер Терминатора из капли не восстать! Супротив тому, чему должно быть, – море благодати разлитое, что испытываешь после нагрузок. Недаром же он, инженер молодой, упреждая начало интеллигентское в себе, взялся за железокачание, надеясь и на профилю грацию, и на прорыв в восприятии мира... Ужас этот нельзя смахнуть, как предубеждение, что мир погряз – *для тебя* – во мрак: девушка бросила (несмотря на то, что сватаешь ее уверенно, она ж ноль внимания или делает, пава, вид!), и не завязать с куревом (а надо, никотин массу мышечную тормозит в приросте) да и вес новый взять в этом году не светит... опять-таки: девушка не обращает внимания, и после железа за сигарету хватать... А что говорить про посольских?..

Он с силой нервной разъял веки. И... Вряд ли «сбросом» одолеть. Трупы. Как бордюры от взрывов выкорчеваны пунктирно (местность свистом низана и грохотом, *потом* будет понимать), так и мертвые лишены рук, ног и голов, являя пропорций поругание... А ведь девушка бросила и отказ из посольства... – ишь, управы на них нет: в составе армии иной родился?! Не на борту же лайнера, в Кубу над Германией летящего: тоже имел бы право...

Сознание рокотало – от горячего к холодному. Сознание ошпаривало тело, которое знало место – ощущало, сообщалось диффузно в этом мире неуступчивом... Тело любило жизнь, а сознание – не любило, придумывало всякое – в Граниях своих!

Тело принимало жизнь – со всеми ее неудобствами, как то: опраться во время неподходящее, когда б это сделать с утра; или вот синдромы похмельные после дней рождений в коллективе. Но более всего нагрузки ценило – гантели, штангу, турник, – и когда их недовставало (приходилось ведь и на планерках чалиться), испытывало ломку, что наркоман без дозы. В общем, требовало. А сознание – путало и плутало в граниях, неудовольствие самости доставляя. И потому Генка воззвал не к старику седому на облаках, а к Телу: «Милое, дорогое Тело, спаси! Спаси и сохрани!!!»

Только то и сказал – на Вселенную всю, с крика ощущением, пересиливая снаряды и осколки свистящие... И Тело откликнулось. Да так, что Геннадий чуть не выпрыгнул – из *своего*. Земля под ягодицами содрогнулась-загудела, обозначив в великом единство неоспоримое всех разом тел – и друзей-врагов, и кошек-собак, и мужчин-женщин, и «оккупантов-оккупируемых»... Взрыв силы чудовищной приобнял нежно Геннадия за плечи и торс – и подбросил в отцовом, обильном на заботу рывке. На пух перин порождения цивилизационного, «на форму плоскостей голую». Иными словами, Геннадия доставило на пяток метров ввысь – и «опустило

мягко» у павильона искореженного остановки автобусной рядом с составом поваленным людей бывших с конечностями перебитыми...

И вот *говорило* Тело, когда лежал он, просветленный, содержанием отсутствия полный, – лишенный сознания, короче:

– Завод твой, Гена, прахом падет. С цехами, оснасткой и комнатой, что обустроил ты для жима-штанги-лежа. Не будет в жизни твоей упражнений бессмысленных, а *иное* будет: великое и святое! Послужишь инспектором смены таможенной – отслеживать потоки грузов и людей в ПМР нарожденной. Будут у тебя деньги и власть – из объятий Моих. О Вале Свириденко не горюй, замена найдется... И Германия к стопам выстелется, так как Германии все и России едино будут – поверх границ всяческих. Надо лишь чирей охолостить... Напряженность преходящая в части Тела – Война!.. Знай, что разделения в Плоскости происходят по необходимости тактической: конституции сторонники и сепаратисты, оккупанты и оккупируемые, русские и германцы, – дело делают общее; и нет им прощения в устоях, но есть предназначение – от Тела. Потому: *вставай и иди!* Иди и письма посольские сожги; они отныне тебя компрометируют! Костерок поддержишь под котлом общественным, чаю согреешь...

Гена открыл глаза – и как робот-Терминатор («плохой» или «хороший», едино в Телe все!), переступая трупы и не убоясь осколков, домой двинул. Его ждали родители, за него переживая и мечась по комнатам. Родители-оккупанты, которые произвели его на свет двадцать пять лет назад в Германии: отец – прапорщик, а мать – работник кухни ОГСВГ.

5. VOLO ERGO SUM!

Падающие на кварталы мины – что тарелок оркестровых схлопы процессии погребальной, травящей по пятам. И это не сон психотика. Только миновали развилку, не покрыв и треть пути до больницы, – *началось*. Армия конституционная атаковала. Справа замелькала окраина одноэтажная, вжимаясь в себя; слева – в явь жгучую – болваны пятиэтажные микрорайона «Ленинский».

– Черт, черт! Мама родная!.. Михалыч, давай во дворы! Так мы не доедем... – но ее крик заглушил раскат. Мина.

Карбюратор разворотило осколком. Водитель погиб, успев колесом уткнуться о песочницы борт. В маске кислородной старик повалился, ломая кости и дух испуская – на лафет скамьи «скорой помощи». Окна изошли калейдоскопом, не зги сквозь, – и вопли вопиющие, и снарядов посвист... Сорок градусов выше нуля, а озноб и в трахеях иголки – будто стынть полярная.

С чемоданом белым, на котором сердцем пульсировал крест, – к

фасадам пригибались панельным и... в подъезды на передышку. Сообщить бы о трагедии с водителем и пациентом-инфарктником!.. Она: врач-кардиолог, брюнетка ладная за тридцать, бурная и порывистая, влетающая на серфинге – с волной взрывной – в сердце мужское (сказал бы поэт про нее); и он: стажер.

– До конца обстрела остаемся здесь! – озарение опало на лицо ее, смахнув градины пота ледяного.

– Точно, – опускался на бетон площадки лестничной он, глаз не сводивший со старшей; чемодан задвинул под ноги, чтобы не мешал жильцам сигать через ступени. – Быстро это не кончится!

– Ваши штурмуют город, а ведь в нем добрая половина молдаван! Не хочешь к своим – пострелять?! – с вызовом она.

– Вы же сказали, – перекрикивал канонаду он, – здесь всех намешано. И «нашим» и «вашим» достанется!

Она поняла, что сморозила глупость. Но гнев не сменила:

– Можешь к своим, Петря, я не против. Лекарства раздам...

– Вас, Галина Аркадьевна, не брошу! – сторонился огородников с ведрами-граблями (война захватила в страду). – И, во-вторых: ориентируюсь плохо в местности – пятый день на стажировке, куда ж бежать?.. За вами, как на привязи... – в этом уже сквозило игрище: сердце без любви – кимвал бренчащий!..

Где-то совсем близко застрочил пулемет. Очереди автоматные в ответ. Глухо граната ухнула. Посыпались стекла...

Он был из Кишинева, учился на четвертом курсе медуна. И не гадал столкнуться *со следствием*, причину же наблюдая в шествиях под триколорами с головой бычьей: дефилировал возбужденно в колонне по изволению деканата. Но и сепаратисты – не промах: сзывали всех уязвленных лозунгом «Чемодан-вокзал-Россия!», – вот перебазировались в анклав на Днестре... М-да, национализм и сепаратизм точат-грызут тело государства, что опухоль раковая.

– Не пожалей! Сам-то определяешься – политически?

Он искал ответить нестыдно (чтобы акцент не зашкаливал), но призвал Гиппократ. Раненый. Заносили, волоча кисель кровавый с ноги, а тут Ангелы с чемоданом белым! На третий этаж его. Подросток квелый взбирался позади, трепеща разрывов и к груди прижимая конечность, по колено ссаженную, не легкую. С «наследием» отцовым и дома не расставался, когда того уместили на диван... Галина вела: заглянула под веки горюну, замерила пульс, дозволила стажеру вколоть-перевязать. Вручив хозяйке капельницу, успокоила ее сурово. Потом к пацану. Вырвала ногу, приказав в мусоропровод ее. Петря вышел на площадку, спускать в камеру же не стал. Прислонил к трубе стоя в туфле «Зориле» (подумал: *коренные и ходят в обуви фабрик*

местных, – маркер «кто есть кто?» с началом междоусобицы), рядом с бутылками из-под кефира пристроил. И – к начальнице, хирург будующий.

Она подвижна была выполнять миссию в доме по соседству, чей гонец не замедлил. «Русских лечим, затем молдаван, слышал, практикант? Шучу-шучу – всех: пока лекарства есть!..» – и, хлопнув фельдшера по плечу, к порогу маршировала...

Не только руки-ноги выдирать с ревом из объятий ревностных приходилось. Погружались по локоть в утробы, осколки извлекая:

– Давай, давай! Заходи без проволочек! – мастера отводку крови из занавески в кастрюлю, подстегивала Галя напарника над раненым очередным. – Зажимы-пинцеты – по обстоятельствам!

И он постигал: пульсировали в пальцах органы *живые*, слезились или «вскипали» текстурно. И до сердца дошел, когда оно в рубцах сбилось с ритма. (Торговка дородная доставлена с кулем в обнимку; куль и упредил потерю крови, пережав ток.) Но *запустил*, с адреналином! *Умный кот!* (Петрик – кот из детства Галиного.)

– Ты не ответил: *наци городской?* – буравила его, отстраняясь уж от воскресшей, у коей осколок тащили из груди.

– Вам, Галина Аркадьевна, лишь сепаратисты по душе?

– А всё же?

– Когда-то главным предметом была история КПСС. Без этого «зачета» ни на какую стажировку...

– А сейчас?

– История Молдовы как преемницы Империи Рима!

– И талдычит ахинею сию лектор бывший по истории КПСС?

– Как знать... – Петря окунал руки в таз, вытирал. Брался за чемодан. – ПМР тоже ведь... И зачем зажигают эти звезды?

– *Наци*. И козе понятно! – попевала за ним, покоренная... Зов профессии их вел – под знаменем и в униформе не поймешь, каких градаций цветowych... Его халат, как и ее, в зигзагах крови венозной и сосудистой; ядовито-желтый фурацилин в напряжении ляпов не уступал; марганцовка дробинами по полю; и – *черное на белом* – уголь активированный... Впору с Малевичем сразиться!..

Ближние Тетехи Сисястой (привычно во время операций давались и прозвища больным) заклинали их отдохнуть, поесть... Недосуг.

Роженица. Схватки внезапные. Выманивали без инструментов *жизнь* на свет, солдата, – нет, мама родная, двойню! Так и есть – мальчик и девочка!.. «Божа матир-заступница, шоб я так богато жила!» – причитала свекровь. Свекор же, ошастливленный в квадрате, испросил имена – Галинка и Петрусь?.. Цэ дюже добрэ!.. И одарил комплектом халатов синих. Если б не чемодан с крестом красным, они б напоми-

нали ремонтников техники бытовой, в ракурсе обстоятельств – спецов реальности становящейся, на все руки-ноги-животы починителей. В то время как иные русские, украинцы, молдаване убивали друг друга. В Теле.

Вторую ночь они коротали в квартире онкологического. «Моя фамилия Штырбу: ‘беззубый’ по-молдавски! – с одра смертного силился в улыбке анклава активист. – Не все мы, как видите, акулы национализма!..» Петря промолчал. А Галя: «Политики! Вы и понятия не имеете – *за что* ругаете!..» Ей вторило убранство жилища – *как у всех*: два кресла тощих, столик журнальный, сервант с дюжиной рюмок (при всплохе-сотрясении тренькает медалька-шоколад окаменевшая), гравировка «Есенин» над телевизором, сувенир «Парусник» – у изголовья... Улучив, когда Петр повалится в сон, она вколола рыцарю идеи (под отблеск шара огненного, небо чертившего) ту самую дозу. Осмелилась. Вразрез с заповедью. Узрела душу родственную: мятежник!

Пыталась и сама ввериться морфию, сна ведь ни в глазу... Призрак насмешливый: мать из Барнаула родного явилась. Куда-то звала; бунтовщица и нигилистка дочь соглашалась. Психолог дипломированный; а близкие видели в ней педиатра. И не по распределению приехала в городок на Днестре, лишь бы от уклада-назиданий. Беглая! Бендеры в переводе с турецкого: «Я хочу!». Своевольцы здесь с миссией особой: каждый по себе – хранитель-искатель «Я», вместе – оболочка плазменная Ядра!.. Жизнь обломала крылья: переквалифицировалась в кардиологи-анестезиологи; психолог в Совке – эко диво: все глотают лекарства группы типовой... Женщина в состоянии пограничном, заключила она про самое, теряя мысли нить, в бездны глушь свою от канонады за окном. Рядом стажер в кресле и пациент почивший... Ей снилась Нога, обутая в кроссовку «Адидас», давящая чью-то кисть, взрывом оскопленную, сжатую то ли в кукиш, то ли в кулак... И барабаны, барабанный бой по пробуждению в голове... И звук струны лопнувшей – с лучом первым солнца..

И все под утро третьи войны из жителей осажденных насунулись из укрытий. Обыкнув с мыслью о снайпере в окне слуховом пятиэтажки напротив, или вон там, в ячейке выжженной общаги, и еще – в башенке универмага разоренного... И лучше места эти обходить, торить пошагово траекторию историческую – на Хлебозавод... Миропорядок от нелюдей в камуфляже. Жуть, мрак, паника; чтобы помимо обстрелов ночных – и дневная остратка: и на свету тяжелели б мышцы, не смели живые носа казать на воздух (можно ли назвать свежим его – напитанного гарью и кровью забродившей?), *по конурам* знали б место, завидуя мертвецам!..

– Семеновна, глянь, не сосед ли твой брюхом кверху у столба? В морге уборщицей работала, чай не стошнит! – крик во дворе.

– Федот, да не тот. Нашенский с пятницы дома пьяный дрыхнет, о войне не ведает! А этот похож – и лицом, и росточком...

– Эх хватануло – поперек живота... вся кровушка в песок сошла... аккуратненький такой... – еще голос за окном.

– Семеновна, давай яму рыть! Вороны лицо испортят. Кончится свистопляска, разберут, кто и что...

– Кончится ли? Так и жить – в подвале: и ешь, и сри в углу одним!.. Или об землю рожей... Вот и на Игната выросла лопата!..

– Семеновна, у тебя не язык, а бритва! Хлестче мин!

...Предельность бытия. *Вещество существования* вскинулось... Костры поварские из мебели раздербаненной в колодцах дворов. По крохам и информация – ипостась насущного в осаде! Могилы в палисадниках (где и водитель «скорой», и инфарктник-старик). В царстве ошпаренности ковалась «форма форм» – *Volo ergo sum!*

Занимали они контору брошенную ЖЭУ в пятиэтажке жилой, куда и доставляли раненых с микрорайона. Несли сюда и матрацы, простыни для перевязки, воду, съестное... Размещались больные в коридоре, вдоль стен на полу (глуше, защита от пуль) – мужчины, женщины, дети, старики, – труба бед нетолченная и в обстрел, и в затишье. «Суки! Знали же, что на город армада прет, разведка – лучшая в мире!» – «А вот немцы в Отечественную нас в села выпроваживали задолго до красных наступления!» – «Красные, белые, коричневые, сейчас начнется!» – «Свобода без жертв не обходится!..» – «Нам и дали ее: чтобы мы – *их*, а они – *нас*!»

Вечеру третьего дня она поцеловала его. Он не оробел. Целующиеся врачи в халатах синих, точно работники научные после череды испытаний изнуряющих, сцена субтильная.

Петря ощутил: ему не жить без нее. А она... Петр был прекрасен, человека к жизни возвращая: «весь как Божия гроза...» – манкое, колдовское, стремительное в нем. Латал не раны кровоточащие, латал мироздание, брошенный в горнило сам. Эти его пальцы, извлекающие из плоти осколок, и словно цветок – к ней...

– Так, Петр, прости... Черт! Не было ничего! – отстранялась, когда и он, преодолев условность, шел от себя, – ...с тяжелыми управились, завтра – средней тяжести... – желая скрыть *свое*, желая замкнуться. Ее бездна уже поглотила его: голос, улыбка, мечта страстная...

– Сообщили из больницы, – красок в тембре убавила на фоне всполохов разрывов дальних, – помочь не могут... – вещала у окна про-

стреливаемого. Заклинала Войны пламя, на земле весь род людской... Бес ликовал в ней, *преодоление* пел – всего и вся, вне наций и религий!.. Уклонилась в сторону, взглядом ошпарив, – и стекло в створке изошло паутиной от пули шальной.

Петря немел. Без акцента и высокопарности. Энергией взрывов умащалась и любовь его: огонь лечит, огнем природа становится!.. Хотелось, что деревенщику, горланить-танцевать хору пламенную. «Как в пословице от Семеновны: кому – война, а кому – мать родна! Будто специально для нас – национализм и сепаратизм!.. Сотворили волну, зачерпнули нас!.. От взрыва исполинского – *волна!*..» Таки полыхнуло. Бомбардировщики пронесли низко, сбросили заряд на мост через Днестр. *Свято* небывалое – в ширь окна, от края горизонта и до края. И Гриб разросся бахромчатый на Ноге вскипевшей... Любящему сердцу многое открывается!..

Представители армии конституционной уже прочно закрепились на «Ленинском», установили контроль гражданский, вывесив и над крыльцом ЖЭУ триколоры с головой бычьей. В других же секторах города, где исполком мятежный и мост уцелевший, – шли бои.

Тактика войны быстрой успеха атакующим не принесла, в апатичности пребывали и подшофе из-за бессмыслия манифестов, отступления-наступления ряби... Доктор же и фельдшер рук не покладали. Нет-нет да и кто-то из вояк забредал – подлечиться (с серьезными же ламентациями – в Кишинев). И Семеновна в халате синем, уборщица из морга, вызвалась в милосердия сестры. Бывалой закалки; без нее не сдюжили бы молодые. И воды запасет, и чуть свет у крыльца костер разложит, каши-киселя сварит, «утку» поднесет и думу тяжелую отведет. «Как теперь, мать, жить-быть под румынами?» – «Не так страшен враг, как его малюют, друзей опасайся... Румына повидала я на веку: отчество в паспорте изымут; в школе молитву ‘Татул меу’ повелят; активисты списки оформят: кто и за кого?.. Незнайка – на пляжу, а знайку – в суд ведут!.. Куда им, тараканам уsatzым, против нашего: авось, небось, да как-нибудь...» – «Румыны, демократы, советы-коммунисты, а я просто жить хочу!» – «Хочу – половина могу, милоч!..»

В госпитале самостоятельном недоставало элементарного, хотя и пополнились ресурсы из врачебных кабинетов школ, садов детских. В подсобке обнаружился гипс, Петр накладывал повязки. Антисептик – раствор извести хлорной. Наркоз – самогон из арсенала Семеновны. Резекцию сустава предпринял не однажды он, ампутацию предотвращая. Боролся за каждую тела пядь – *вне нации, единство жизни утверждая*. У одного молдаванина военного после обработки раны

(осколок в плечо, чуть выше – снесло б голову!) проступила татуировка – солнце; хирург орудовал иглой над *расколотым* с тщанием, полагая, что вызволяет и его из Небытия. «Солнце лишь и осталось в Молдавии!...»

Не только солнце как стать особую довелось ремонтировать ему. Стали поступать на стол служивые с ранами однотипными – рваными в паху; у многих и полностью было снесено хозяйство мужское. Зашивал «розы» кровавые, бинты вязал. Списывались те солдатушки и по признаку гендерному... «Теперь от хотения зависит: мужчиной оставаться или женщиной, – мрачно молвил он. – Для тела достройки материал требуется. А из чего кроить?.. Хоть графу в паспорте пиши: пол третий!.. Были *наци*, а стали...»

Распространяться *на тему* жертвы не желали, да оно скоро и само вскрылось. С каждого столба расклейка цветная кричит: «Внимание: розыск! Террористка-минетчица... она же 'пианистка русская'...» И план общий: с волосами распущенными, голая и в каске...

Да, прибавила хлопот ведомству оккупационному эта «Мисс Парамилитарес». Город, и без того в ружье поставленный, зарядила *в стояки!* – и молдавскую сторону, и сепаратистскую. Солдаты и гражданские пола мужеского фоторобот тот – по карманам (ведь ничто не заводит мужчину так, как девчонка с намерениями *из ряда вон*). И не просто помыслы ее взорвали миропредставление, а оказия: гипнозом-де владение и коллекцией достоинств мужских, кои с каски и свисают разномастно, дополняя вид ее: босая дева-воительница мечом размахивает, косит направо-налево все стойкое и, вместе с тем, костенеющее под звездами и луной. Но это скорее апперцепция, к эгрегору стихийному апеллирование, не к *Телу*... Службы профильные в Кишиневе сыск провели, но сведений – кот наплакал: Лариса Мышкина, девятнадцать лет; ну, бабка – медичка бывшая, абортами промышляющая; мать – учителька-разведенка, от трех браков дети... Сама же бестия учится на музыки препода.

...Жизнь входила в русло некое. Галина и Петря – как муж и жена. Хотя обычно в песнях – война-разлучница! Петря и ревновал супругу, настаивая увертываться от приглашений офицеров «подлечить их в обители скромной», в здании школы, как и ЖЭУ переформатированной. Галина пресекала домогательства, ибо оказывала помощь женщинам, с солдатней флиртовавшим; после разгула «пианистки» мстили те, издевались. «Ой, Петр, неужто уроню себя? – она на упрек неинтеллигентный по поводу отлучек. – Измерю давление полковнику, он жаловался, попрошу шприцов для госпиталя – и обратно!.. Аль я не я и воля не моя?!» – смеясь, подражала Семеновне...

Верил. Из тех она, что «в избу горящую войдет». (В молдавском

же эпосе путь освещают сердцем – мужчины!) Надеялся. В мир заботы о раненых погружался; их-то можно было «выписывать», а с доставкой горемык по адресу – Семеновна во сто сил лошадиных: *слона на ходу стреножит...* Они такие, русские, живущие на окоеме имперском! И злу военному сопротивленец Мышкина, вестимо, из числа их.

Давление замерить. Полковник армии молдавской и глава режима «оккупационного» в муниципии мятежной и впрямь сутки вторые места себе не находил. В висках его стучало... Под замком в кладовой для инвентаря – *она*: террористка русская, взятая с поличным на передовой! Посулил верховный тысячу леев тому, кто сумеет пересилить ее и в штаб доставить. Свершилось. На живца ловили. В ночь на позиции вдруг объявилась, приманила из окопа бойца, окрутила мозги ему и космы волос на «конец» его навила... и дернула... Бойцом пожертвовали. Можно и итог вершить: двадцать три единицы силы живой вывела из строя! К стенке ее!

Есть тут еще кое-что для ведомства. Склоняет оружие бросать. К Днестру выводит дезертира... До мистики в сознании армейском разрослось: мол, создает девка «коридор-не-преступи», что ни пуля, ни дозора огляд не берет. А при отказе дезертировать секса традиционного избегает – никто и не настаивает, всем бы хотение солдатское осуществить в мановение – и в окоп!.. Днюет на чердаках, сушит трофеи, снижает и водружает на шлем победно... Что творит! Выбираешь войну – кастрат; бросаешь ружье – спасаешь «достоинство»!.. Допросить? Проку... Интерес в другом: девственница ли?.. Крик поднимет!.. Вот и билось в висках и в сердце полковника, спиртом заправленного и видами... Давление замерить и пилюля из рук докторши перед экзекуцией не помеха...

У Петра был припрятан пистолет. Вояки зачастую теряли оружие спяну, меняли на спиртное и наркотики. Дети и те играли в затишье настоящими. Взял чемодан, на котором пульсировал крест, и – за Галей, о слежке не предупредив. С замиранием взбежал на крыльцо школы. Двери – в расклейке: *террористка... всем, кто знает о нахождении ее...* Под навесом за партой бились сержанты в «Чапаева». В жилище офицеров часовой фельдшера не пустил, усмехнувшись. Петра сел на бордюры у джипов армейских. «Какой такой пациент особый?! Адьютанты обкуренные будут скабрезности городить... Изнасилуют!.. Чертова баба; и чертова Семеновна с премудростью. Что означает это: ‘я не я и воля не моя’?» – вскочил, нащупывая пистолет в кармане халата; за угол здания устремился.

«Еще вчера я благодарил Бога за эту женщину: дерзкую, умную,

нежную! Я благодарил войну... и вот плата!» На чемодан громоздилась и – к трубе водосточной; по выступу межэтажному – к «покоем» полковника, кабинет директора облюбовавшего.

Окно зашторено, да фрамуга открыта. Подглядел: Галя на стуле, полковник на диване разбросался, руку на тумбочку облокотив.

Давление замеряли.

– ...Вы же образованный человек, в звании, – Галя хранила тон свой, где-то с усмешкой. – Кто дал Вам право судить? Целый регион объявлен преступным; а ведь здесь люди – они *иного* сорта? Их не кормила ваша волчица итальянская?

– Кардиолог, слушай пульс, что ты понимаешь в политике!

– Я по необходимости кардиолог. Я – психолог...

– Хм... Мне нужен другой врач... А может, хе-хе, ты агент... сподручница пианистки?.. – полковник говорил через силу, был заторможен, несмотря на браваду. – И что за диагноз?

– *Военный мещанин* – вот диагноз!.. Утрата перспективы ведет к последствиям. Мировпроект – узко-национальный, равно как и широко-экспансивный, на штыке, – обречен!

Полковник кадык выпрастывал, рвал пуговики на воротнике:

– Ценности ваши... народы, нации, люди... *вещи* среди вещей!

– Вы конституируете миры законченные. А задача – горизонт расширить, помочь каждому осуществить выбор!.. Лариса Мышкина *это* сделала – идеальное сочетание: «могу» и «хочу»! Она у вас. Отдайте ее!.. Я требую, полковник! – Галя плеснула на вояку воду из стакана. Схватила шприц наполненный. – Вперед!

Петря повалился в газон, за чемодан и – к входу парадному.

Мгновение. Дверь распахнулась.

– Черт! Всем на месте, иначе я ему антифриз загоню!! – горели ее глаза; как и тогда, две недели назад, когда она... но на сей раз грозила, если не выполнят требования ее. Шприц – у шеи полковника: игла секла бороздку по коже. Сам же чин седовласый – в проеме на полусогнутых – за воздух руками цеплялся; глаза – как у быка на флаге государственном. Сзади – девушка, босоного и пришибленно, увитая волосами спутанными; на голове Дивы каска...

– Черт! Теперь двадцать шагов назад или «маршалу» вашему не жить! – Галина, понукая командира, словно щитом прикрывала себя и «террористку». – Ключи от машины...

Двое за доской игровой бросились исполнять, а другие, отмечая эти «двадцать шагов», пятились, не понимая в точности по-русски.

– Петр, отдай ей халат и в машину, черт! – она кричала, угадав в дымке предзакатной присутствие его с пистолетом вскинутым. – Кот

хитрый, полезай! Я отныне – твой Новый Рим и Империя отдохновения... Иначе я *его* поцелую!

Петря постигал «план»: вырвать девушку ценой любой из возмездия лап? Но это не его, фельдшера, партия! Он медлил, переводя ствол от «чапаевцев» – к Гале и Ларисе Мышкиной.

– Галина Аркадьевна, – тянул волынку, – а полковник зачем?

– Пошевеливайся, хирург! Пациент в состоянии предынфарктном, нужна госпитализация срочная!

«Э-эх... я не я и воля не моя!» – укрыл халатом плечи солдат насильницы; подхватил и полковника обмякшего (впрямь, давление у того, и пятно в паху фиксирует глубину вод, как на атласе школьном), втащил в салон. Галина – за руль. Лариса с ней рядом.

Адъютанты реагировали в какофонии. И Петри выстрел – на манер вороны карканья. Никто ни в кого!..

...Миновали блокпост, а там вояки матерые, не в пример ординарцам штабным. Информация не дошла пока...

«...Ну и женщина: добыла языка-штабного и девушку спасла!» – упивался в зеркальце салонное на Галю Петря; но обварил его Ларисы Мышкиной окрик гневный: «Полковник! – круглила девчонка глаза, обернувшись. – Сперма подозревающего в измене супругу имеет запах скверный...» – «А-а... – проблеял чин, – и ты туда: лишь по необходимости террористка, на деле же – сексолог?...» Галя гнала по городу опаленному, ухмыляясь...

Полковника транспортировали в реанимацию. В Кишинев не довели бы (судя по пульсу), помощь неотложную оказали в логове сепаратистском. Оклемался, допросили из Конторы. И о похитителях его, и о «пианистке»; но без пристрастия, одного ведь они все поля ягоды, знающие друг в друге ястребов-беркутов-коршунов, чтящие звезды (нравственный закон!) не в Небе, а на погонах.

Похитители и «террористка № 1» (мисс Парамилитарес) войны Бендерской были уж далеко. Мчали в аэропорт, где Ларису сдали в руки сестры ее, стюардессы Лены, что разобралась и с каской, и с халатом, – в отсеке багажном пулянула рейсом к морю лазурному и рассвету сиренево-лимонному... По Тела изъятию – вместо Влащичкого Генки!.. Полицейскому любому там губки существа чудного щебечут: «Хо-чу! Азю-юль!» – и жизнь меняется...

Галя и Петря стали вместе жить – в Кишиневе. Психолог новообращенный и хирург... Галя получила орден. И Петря получил; но никому его в городе родном не показывал. Разве что полковнику, через годы с вывихом попавшему на прием к нему. Спиртом уж тот не баловал, из армии уволился, генералом не став. А история ПМР брала обороты. К чему все пришло, тема особая.

6. «Я – ОКИЯН!...»

На момент избавления Ларисы от преследователей братцу ее Алешке, без того малохольному под свист пуль и снарядов грохот, в фазу Тьмы Лунной – греза была... И поныне ума затмение длится, двадцать лет спустя, в подробностях эпохальных и деталях...

Он – Тело большое, субстанция невыразимая, распластанная по тверди мировой, по Зимли всей. Он – Окиян звенящий и самоосознающий: «Я-я-я!.. *Всегда – Я – Окиян!*...» Знаний о своем происхождении у него нет, но есть чувство одно, что переполняет его, чем и является он в причине собственной – Гармония... Растения и животные, обитающие в нем, благодарят его: живут и умирают, рождаются и опять живут, – безмолвная благодарность. Дают знать о своем реки и моря – он их *чувствует*, они впадают в него, и он принимает их. Все это происходит миллионы лет, и все это понимает он априорностью – Гармонией... Но вот появляются некто (ни имен, ни шевронов на одеждах их пятнистых!), подгребают на понтоне и с умыслом тайным завоевателей вперяются взорами – в Него... И тут случается необъяснимое: впервые за все времена он теряет Гармонию – она распадается на множество чувств новых, *непонятных*. «Вы, должно быть, Боги или Титаны, стихий повелители, – рокошет Алешка, – раз не боитесь глубин моих?..» Удивительно слышать ему голос собственный, какой-то он гулко-всепространственный. Отвечают те: «Нет, мы просто государства спасатели! Собирайся с нами...» Алешке становится чудно: он, Окиян, и ему вдруг нужно с ними, *с людьми при исполнении*, – да еще и собираться?! Так он думает: все в нем напрягается, бурлит... А служивые пристальней всматриваются в пучины под ногами – в хляби разверстые, что пытаются изъяснить сомнения свои, но выходят клочущие, никому, верно, музыки неведомые. Они кое о чем догадываются: «Мы тебя ограним, – предлагают люди вежливые, – перельем в сосуд семантический; поверь, тебе там тоже будет удобно; трудно принимать тебя такого – *распластанного по территории!*» С их логикой упрямой нельзя не согласиться – и он с поспешностью школяра прилежного сливается в *таз медный*... Оказывается, в емкости тоже много забавного: все звуки, что вокруг, что везде, слышатся таинственно, с особым оттенком игровым. Телом, объемом полонившим, он превращается в орган один – *чувствилище*... И сейчас же – вне времени и пространства – на него Девушка Каменная с волосами распущенными, вознося что-то высоко над головой в венце. Когда она появилась в лучах солнца заходящего, Алешка думал, что у нее черты знакомые. Когда же приблизилась – он так и не вспомнил, кто она. Словом, подносит к зеркалу лица его (в огранке медной) Факел, и все вещает о том, что она – Цивилизация и Свобода, – и его, мол, сестра.

«У меня Природа – и Сестра, и Мать, и Бабушка! – Алешка Факел, однако, принимает, – Так виднее Окиян мой Земли и Миру будет!» Она смотрит на него, и из глаз ее сияющих, строгих, бегут звезды рубиновые... В Алешке сразу же взыграли волны чувств из тех, что приобрел недавно: он тоже захотел патетично, чтоб и из его глаз катили звезды. «За Сталина, за Победу!» – вот что «накапали» на темечко ему звезды те... И еще отточились по водам его ряды семантические, выстилая и лбясь вежливо: «Сложим головы за Форпост – во благо поколений грядущих, что тоже будут слагать – *до последнего*, не убоясь не понятыми быть в себе и вовне не понятыми... Ведь они – это мы; а мы – это они!» И тут все кругом, весь мир, увлажняется, но не от плеска слетающих с плеч голов многих, и не от града растаявшего слез, и не от испарины галлюцинаторной, а от воспоминания того времени далекого, когда мальчик, проснувшись ночью в постели мокрой, начинает бунтовать. Бессмысленно в себе и беспощадно! Психика, испепелившись, покрывает пеплом простынь, подушку, одеяло...

И через двадцать лет Алешка сбивчив в словах. К нему пришло во время войны, под свист пуль и мин грохот, обрушилось на него, поглотило всего его, полностью подавив всё, что из других имелось в наличии, оставляя одно, и это одно (не подберешь слова) – фантастическое (нашлось слово) – безраздельно довлеющее чувство. Чувство это необъяснимо. Молодой человек озадачен: ведь слова эти, в которых он чувствует необходимость, за которые так судорожно цепляется, не объясняют, а рождают звучанием своим не относящиеся к основному чувству чувства. И чем больше слов, тем больше и чувств сторонних, ноющих, нервных, а основное-то, пришедшее с войной – в фазу Тьмы Лунной, – так и остается неуловимым и уже совсем невятным.

И тут случается необыкновенное. Он постигает вдруг, что это непознаваемое и довлеющее можно выразить повизгиванием обыкновенным, схожим, к примеру, с визгом собак (ведь для собак ночь – и есть чувство великое, и луна – чувство). Так этот человек молодой, поросль грядущая, государства опора и надежда, догадывается, пробудившись от сна разума, как передавать это *довлеющее*, – он когда воет, то не просто воет, а пытается все-все оттенки чувственные передать... То оратория войны!

И вот за этим «истолкованием» – о снарядах и минах на головы горожан мирных, о политике и о пропаганде, о «своих» и о «чужих», о жите и о нежити, – Алешу Мышкина, уж тридцатилетнего, и застанут психиатры... То Окиян укрощенный.

7. ЭГРЕГОР. ТАК УМИРАЮТ ПАРАЗИТЫ

В одиннадцатую ночь осады на приусадебный участок Виталика Лупана, бендерского авторитета уголовного, угодил снаряд. Благо, Лупан один был в доме, располагавшемся супротив крепости старинной, если миновать котел огненный у моста через Днестр. Вывез домочадцев (родителей в летах и собаку овчарку) на побережье морское. Отец – молдаванин, мать – русская. Кликуха с фамилией крепко срослась – все его величали за глаза и в глаза «Лупаном», подначивая мускул: и кореша-подельники, и менты, и эмгэбэшники...

Лупан вернулся, осведомленный, что уж *начнется* вот-вот – Кишинев будет отстаивать государства целостность. В противостояние он не вмешивался. Переживал войну в бункере – в окружении подушек атласных и бочонков благоухающих; телевизор транслировал CNN. В момент попадания снаряда Лупан сообщался по линии, выделенной куратором из органов (а мобильных и скайпа тогда в помине не было).

– Прикинь, Степаныч, война наша *по ящику*: ничего себе шняга?! Алазань шары шлет... танки землю жуют!.. Тут и мой дом, и твой; даже хаза начисполкома... Со спутника, ха, снимают?

– С Суворовской горы съемка, – отвечал чекист в звании майора. – Пункты у них на высотах.

– Полезное, ха, изобретение!.. А нельзя по горе шандарахнуть?

– Можно, – задумчиво говорила трубка. – А зачем?

– Мало ли... – фонтанировал Лупан, заворачиваясь стрелами, шпарящими небо ночное; и репортер по-англицки в формате вещал о буден горниле, сплавляющем воли-представления в явь новую. (Но Лупан в языках лыка не вязал, да и про бессознательное коллективное – не дока.) – Чтобы не задавались педики! Мы тут шкурой рискуем, а они – эфир! Ха!

– Рискуешь... – усмехалась трубка. – О войне по картинке судишь. А слабо – на чердаке миномет: по совести – *как все*?

– Ха, моя хата с краю... И так терплю убытки с рынка.

– Небось, уж принял на грудь? – не интересовался, казалось, куратор издержками бизнеса подшефного.

– Еще не похмелялся... – Лупан виды лелеял на циферь в алмазах на запястье: ноль часов двадцать минут... – Вот вчера – ха: под утро свистопляска утихла – я и намылился дизель заправить. И баки... Ха! Страсть хотелось *свеженького*! А какое нынче пиво – завод две армии голимые поделили, никаких гостей, черпают *шлёмами*... Двинул в обратку, а дрожит очко: тачки обугленные всюду, и по мне, неровен час, долбанут, хотя и цинкуют номера «мерина», – и *те*, и *эти*, ха... На «Ленинский» выворачиваю, а там со столба каждого –

чувиха с волосами моргает – объява, короче: «...Пианистка-минетчица...» Не знаешь, кто?

– Знаю, даже имя...

– Да мне пофиг, как зовут! В бункер ее!

– Ответ неверный. Скажешь так – пиши-пропало: пальчиками музыкальными затолкает хрен твой и яйца в рот – и откусит.

– Ну, а я ей сначала зубки обломаю. И дурь из башки выбью...

– У нее каска на голове.

– А я ее за сиську ухвачу – и наизнанку выверну...

– Она скользкая... В ночь на позициях объявляется голая... – про-рицателем вещал из бункеров иных куратор. – Выманивает бойца из окопа, без разницы армии какой, – мозги опутывает ему и космы свои на «конец» его навивает... и дергает!

– Ладно меня разводить, как лоха. Я о другом хотел... Так вот, в районе элеватора еду, бардачок ксив твоих, вплоть до парламента, и вижу: ребятки при параде, с саблями и «калашами» – на конягах у Межрайбазы – ха, ты прикинь: на конягах! А грузчики их пакуют фуру «Филипсами», что у Сереги Шестакова, терпилы конченного, смахнули органы твои. Забыл? Он эшелон вина на Москву, обратно – вагон электроники... Ты, Степаныч, долю там держал, на базе...

– Случай сделал из тебя трезвенника?

– Притормаживаю, – захлебывался Лупан пивом, – говорю: беспредел, чужое присваиваете. Вроде, по понятиям у вас: и сабли, и искорки из-под шпор, ха, – а не просекаете!.. Окинул меня есаул, голова седая, сурово, ой: «Валил бы ты, колбаса деловая, а не то шашечкой, что сабелькой зовешь, взвинчу по темечку – не искры, звезды на звездюля наезжать будут, а не ты – на казака в колене седьмом, в обложениях крепости участвующих!..» – и смотрит с коняги на крепость... Прикинь: *звезды на звездюля...* ха!

– Ха-ха!! – мерно на два раза (сердце горячее, ум холодный). – Есаул и чуб с проседью?.. Ну да. (На рекрутов из России у майора дело: перегнали по факсу, чтобы из плоскости не выпадали. Иначе – непочтение к фигурам геометрии, осям симметрии.)

– Он самый! – задыхался в усердии Лупан. – Наказать!

– Продуются в прах казачки, – суровела трубка, – облапошат их и девки, и барыги: ведь как проверить технику без электричества? Не то, что у тебя: телевизор на расходе жидком... («Кроме того, многие завербованы ГРУ, – думал втуне чекист, – тягаться же с грушниками нет резона; гульба – их, за нее и платят.») – *Не наша* война, уразумел? – к Лупану. – Их сознание: Свобода и Парадокс... Мы свободны от парадоксов!

– Доходчиво ты, Степаныч, политику... – присосался Лупан к

«Баварскому» с базы, где дозорные реальности новой и продсклад прибрали: дюжину пива за сотку баксов! Ха!

...И вот тут – снаряд. Треск остервенелый стен! Лупан перекрестился. Землетряс на веку его в колонии подростковой и позже в зоне был, однако нынешнее основ проседание – аж трубка выпала и диван под нуворишем скособочило – добра не предрекало. Даже если чалиться с иного почину приходилось, отгородившись от реальности ее изображением. «Накрылась хата!» – забыл о бутылке, что, брызгая на циновки, заволоклась под пуф. Разгромлено душой, он – к лестнице, невзирая на зарок казать нос наружу, – может, часть дома цела?!

Опасения подтвердили сценарий для него. Задраен люк. Тонны балок-кирпичей сверху! И по телеку: как сметаются жилища. На одно «мечь небес» – с самолета; на другое – с высоты Суворовской, в Отечественную дающую карт-бланш на предмет раскатать в блин город... Ха, начхать: с неба ли, с горы лупанули... Негде голову приклонить, кроме как в подвале этом фешенебельном!.. А потом куда? – когда схлынет обмен любезностями меж сторонами, чье эхо в бункер и не проникало (разве с экрана)?.. Лупан и еще подналег с упорством бычьим на люк. Дерево эбеновое скрывало пазы – комар носа не подточит!

Он к трубке: авось чекист, «крыша» надежная, – еще в корпусе без кнопок (копия Мавзолея, чурка призматическая). Все, кто востребован, лучами сходятся на «минус» пятый этаж ведомства.

– Степаныч! Завал, ха! Дом! Выручай; мы же не один пуд соли...

– По-порядку, Лупан, – категорично трубка, будто и не было паузы, возрождая вора из руин личности: холодный ум и сердце...

– Сижу, с тобой распрягаю, вдруг застнет подо мной и надо мной – и в ушах тяжко: симфонически!.. Все это навалилось с кирпичом этажей... с деревом мансарды... дом, короче, навернулся!

– Труса празднуешь? – вгрызался фрезой в показания абонент, – Но что за шумы в погребах твоих пневматических?

– Какие шумы? Ха, телевизор... – ладонью по лбу мясистому Лупан. – Вот, сейчас: канонада в районе цеха консервного... огонь залповый над зданием ДОСААФ – в эфире прямом...

– В *прямом*? – жалила трубка. – Глаза в мозоль истер об экран, а на казаков в обиде! Они воюют, а ты мокрицей дроишь на девы фоторобот... В штаны навалил, когда снаряд в огород угодил?

– Александр Степанович, выручай, мы же с тобой...

– Что с резкостью? – без сострадания трубка. – А с цветом?..

– С каким, ха, цветом? Пахала и пашет техника японская!

– Сколько спецов на фасад тарелку громоздили тебе?

– Трое-четверо, не помню... Я коньяка ящик им...

– Теперь дотумкай, щедрый ты наш: цел дом?

– Не понял...

– Дворец стекол лишился. Тебя не завалило. Люк заклинило.

– Ха!! Без тебя и не допер бы, – смахнул слезу страстную Лупан; вскочил – и по стойке бы, но мешала провода длина...

– погоди радоваться – ты в ловушке. Поучал: *будь проще!*.. А ты: *дизайн-дизайн!*..

– Степаныч, ты знаешь, где люк. Граната – и нет люка! Но, может, автогеном по кромке: паркет ведь пород африканских?

– Управлюсь, заеду как-нибудь. Граната, ишь, ему не в кайф...

По линии выделенной гудки не шли; прекращалась связь – и тишина до звона в ушах, что в космосе глухом и тревожном. А может, в ясном и чистом.

...Однако подмога не шла. Сидел на линии ночи-дни, прежде чем не проворковала на том конце особа занятий определенных – марафет в апартаментах на «минус» пятом. Большого от нее и не жди; бесполезно звать, сейчас она всем требуется: *помощь*. Гудки! Откуда взялись, раньше не было?! (Сигнал в скафандре: исчерпан и кислород, и электричество!..) А на снаряда боеголовке, в огород угодившего, и другого, что по спецлинии, гудки инициировавшего невзначай, краской белой написано: *от Лупана!* Распространенная в Молдавии фамилия. С Суворовской горы лупил солдатик, божась достать всё и вся, что достало его и будет долго (всегда!) доставать тех, кто режимы насаждает по Днестру. На Западе и на Востоке!..

...Его учуяла овчарка по возвращении из эвакуации: от ворот, взрывом искореженных, к люку на кухне и привела. Когтями по паркету сучила. Выла... Вскрывали люк тот автогеном... Лупан по лестнице пластался нематодой стеблевой. Сухой. Желтый... Дизель с отводкой внешней издох и телевизор погас. Винотека и пива ящик за «сотку баксов» иссякли... На циновке у дивана – распылитель початый средства импортного спиртосодержащего, огородниками чаемого для глушения вредителей... Бутылки и бутылки в ногах – что кладки блестящие яиц красных... Так умирают Тела паразиты...

Да, прибавила хлопот майору эта «Мисс Парамилитарес». И без того город, в ружье поставленный, зарядила – в *стояки!* – на три буквы обрела сторону молдавскую и сепаратистскую. («Ведь ничто не заводит так, как девчонка с намерениями из ряда вон – несусветными!..» – думал майор точь-в-точь, как и полковник, глава войск конституционных на «Ленинском».) Сообщения с окомоев городских лучатся на пульт: девятнадцать бойцов противника вывела из строя! Но и девять *наших*; и трое бойцов Силы Третьей в списке послужном ее!..

Ключут на нее по окопам, хоть и осведомлены, — и та, и эта армии... Затмение повсеместное... У Степаныча самого последние сутки мокро в паху — от предчувствий встречи; и нежит он зазнобу, приходящую уборку править, а видит — ее: с фоторобота при волосах длинных, голую, в каске, — себе же и нарисованную бурно, так как явь слухами полнится относительно черт красавицы, жертвы вскользь ухватывают ракурсы ее.

И ведь оружие склоняет бросать. До мистики в сознании армейском разрослось: мол, создает девка «коридор-не-преступи», что ни пуля, ни дозора огляд не берет... А при отказе дезертировать вендетту свою извращенную и вершит!..

Эх, что творит! В розыск ее, бестию, как и сторона молдавская — на «Ленинском» — уж вострубила и фоторобот перегнала по факсу... Подъехать к матери и бабке: фото реальное испросить? Не суть важно! Интересно: девственница аль нет?.. Теперь еще казачок с «Филипсами» по складам чудит. Знал бы, на чей товар зарится, — не подсказали доброхоты!.. А Лупан пусть в подвале парится, невелика птица... Да и порешить его пора!..

Так думал главный чекист городской, побазлав по связи выделенной с воругой главным городским.

Кочетуров Александр Степанович, майор, сорок лет; родился в семье военных в Риге, там же окончил училище общевоинское с отличием, направлен в школу КГБ. Из-за чувства неразделенного (избранница вышла замуж за другого) приобрел комплекс состязательный; хотя с возрастом научился скрывать отношение к оппоненту — до часа расплаты... Нарожал детей от нелюбимой, согласно требованиям граф карточки учетной... По отзывам сослуживцев и состава начальствующего КГБ Молдавии, куда и направлен заместителем отдела, характеризуется педантичным предельно: костюм надевал спортивный на турниры шахматные... С началом перестройки переведен в анклав на Днестре. Однако в интригах политических периода развала Союза найти себя не смог, невзирая на спектр возможностей для отмщения сублимированного: ему был нужен враг, а не пестуемый клон идеологический — националист или сепаратист. Курировал торговлю кооперативную, а также сеть криминальную...

Попутру гвалт минометный и перестрелка в черте городской дошли до усыхания сил, манифестирующих только одну Правду: алкоголь и наркотики, передозировка из всего и вся... Мирный житель прикорнул в норе бетонной, тесаной пулями-осколками. А майор безопасности в костюме СП «Динамо» подъехал на джипе сверкающем в ляпах белесо-мутных на бампере и стекле лобовом:

мало ль, и в квартале в укор прямой – бронетранспортер видом кричащий утерт копотно шинами собственными (перед выездом не удержался майор, пулнул страсти семя по Девственнице на капот), к дому Лупана, откуда лицезришь с успехом и крепость древною...

В рукаве у него пистолет: вскинь руку и пали. Как и обещал ночью, явился помочь. И убить. Тридцать три уж Лупану, пора кончать биографию вольно-художническую – в векторе кражи кроссовок у одноклассника, угона мопеда, а далее и вагона с мясом из мехсекции... отъема у фермеров продукции по сию пору... Мышкину в бункер к нему? Ха-ха!.. Накоси, выкуси!..

Не успел Александр Степанович обследовать место парковки за распахнутыми волной взрывной воротами особняка, как – патруль из переулка. Пять сорвиголов, включая есаула чубатого с проседью, у которого и автомат, и шашка на ремне португейном, и пистолет (даже нагайка подмигивала). Все спешенные, ошеренные хищно – до ртов саблезубых на лицах загорелых. В зоне подконтрольной смерти эскадрон. И спиртянским разит...

– Документы, гражданин, – с небрежением классовым есаул приступил к джипу, который на фоне брони искореженной и гильз стрелянных под ногами выглядел и впрямь вызывающе. – А это что? – пальцем заскорузлым по стеклу. – «...Ах, лето красное!.. Любовь, шампанское, забавы и прогулки!..» Так я жду!

Александр Степанович мог бы вздуть удостоверением и дело в шляпе, но предъявил права водительские, готовый стерпеть от пройдохи чином-летами ниже.

– «...Балы, красавицы, пролетки, юнкера!..» – возвестил есаул речитативом, ксиву разглядывая. – Фальшивка! – не моргнул глазом фривольным. – Придется доказать, что не диверсант. Транспорт реквизируем для эскорта особы особо важной! Ключи!

Решали секунды. Либо его грохнут и эскортируют машину в караване товаров складских барыге одесскому, либо он их, упырей архетипических, поправку исполнения Пианистки творя. Рука «за ключами», в пальцы лег «Стечкин», смыслов исполненный: отжал курок с разворота – в яблоко адамово двум слева, двум справа. Кровь горлом ярко у четверых. Пуля пятая да во шашку вскинутую главаря: вибрация! И поморщились оба... Мгновение спасло чубатого, что в пудре алюминиевой: он отпрянул, трезвея.

– «...И вальсы Шуберта, и хруст французской булки!..» Ни хрена себе! – выдохнул за платаном казак, изумившись повизгу спасительницы стальной (в ножны ее). – А дядя не прост!

Степановичу ничего не оставалось, как пригнуться за капотом. Есаул же не спешил со шквалом: ах, этот на солнце раннем внедорож-

ник ликующий! Ушился во двор особняка. Майор за обоймы – и через трупы вслед. Прихватил бы автомат, но с пистолетом призы брал...

Тишина стояла после свистопляски ночной всеобволакивающая. Ни щебета, ни лая, ни жужжания, а держателям *Мифа реальности* новой по норам бетонным – чувство было, будто в скафандр их поместили. И после войны сладить с тишиной не могли. Мужчины страдали и явным: в канонаду (в предвкушении Девы с волосами!) и *могли* – и не в подполье задраенном, а чтоб мин осколки о цоколь, – в унисон... Тишина великая; но чекист ее не замечал. Забрался в окно, желая выследить «балеруна» при шашке: среди деревьев или за беседкой у бани он? По крошеву стекольному меж мебели опрокинутой шел в столовую, где и ввинчивался по проекту люк; наметил, как закрепить гранату... Фоторобот, Лупаном обрonnenный, расправил бережно – и к холодильнику на магнит...

В сей момент – очередь изобличающая. Косяк дверной в щепу! Без сомнений: есаул в воронке от снаряда. Достать его с данной позиции сложно, нужен маневр. Чекист из эркера вызов принимал шашки заговоренной. Казачок короткими в ответ. И на фуфель в виде бейсболки на сачке... Кстати, в аквариум роскошный не угодила ни пуля, ни осколок, хоть кругом все вверх дном; рыбы пород пучились глазом, взывая остановить беспредел. Чекист и пойдет на поводу: вдохнет глубже – посвящен и в практику йогов, и в традицию мускульную решения прекословий логических. «Домашнее насилие – лучшее из насилий!...» Вправит он мозги и Лупану, и безотцовщине Мышкиной, лишь только управится с...

Черепанов Григорий Васильевич, есаул, холост, тридцать пять лет; направлен Рязанским Резервным войском казачьим в Приднестровье для поддержки народа, выбравшего по вождей указке сепаратизм. Воевал в Югославии, а ранее в Афганистане, где и завербован ГРУ как *пассионарий*, «активный». Его рапорты с описанием расправ вошли в фонд спецхранов на Ходынке... Болевая точка с детства – отец. Актер драмтеатра в восславленной поэтом крестьянским глубинке чужил на подмостках подшефных горно: Кот в сапогах, Айболит, Кикимора... Гриша утренников бежал – из-за паяца, который (по изыску психолога) и повлиял на тягу сына к *маске*: чтобы *быть*, необходимо и *казаться*! Аналитики ведомства внушили, что он – *казак лихой* и в роду у него с избытком представителей сих, крепости бравших, турок гнобя. Шашка, фуражка, усы и чуб – для формата: сводить смыслы и горизонты. Шашкой махал, рубака-парень, оспаривая огня силу убойную. От образа взметал себя. Дева гордая и голая с волосами разметанными – в раздолье! Тоже искал встречи с ней.

Все дела личные наймитов майор просматривал: где аукнется? И вот есаул – кость в горле. Вместо того, чтобы грудью встать на защиту Межрайбазы от тех, против кого и воюешь, или от обывателя, начавшего грабить все и вся, – сам и разрыл склады. А ведь электроника ретировавшегося за кордон воротилы (не убрался, был бы бит!) сработала б на реверанс охватный: Степановича на вершину! – в политику берегов он не вмешивался, готовил почву экономическую. И вот из-за пижона ряженого, дыбом ерошащего ус и в манер нагайкой отрясающего, под провалом преемственность властная. Вечно грушники собьют карту. Что им переходы плавные исторические, разворошат все и вся, – *интуиция хаоса!*..

Зашкаливал внутренне – в приятии структуры конкурирующей, анклав инициировавшей. Пылал, подступая с пистолетом холодным вдоль ограды за беседкой ажурной – к воронке в саду... Умозрел в ракурсе грозном и картину за стеной. Трупы у джипа привлекут патруль, экипированный не понтовски, с рацией... Но в затишье слепящее и кошки не жаловали на улицу. И Лариса отсыпается по чердакам. Дама-forever Рыцаря Сердца горячего и Головы... Ни на полшишки не засадила солдатня ей, все сообщения перепроверил!..

Полудни стороны сдавали город барыгам, слетавшимся из Одессы. Успеть бы!.. Злость и азарт творили волну. Становишься на след – ни алкоголь, ни наркотик не сравнятся. Ведь столетия край ждал его: то в облике господаря Александра Доброго, право дарующего купцам на извоз товара по реке, то Штефаном Великим в походе к морю, то наместником-графом Паниным, рапортующим императрице о взятии Бендер, то полицмейстером, сеть кварталов закладывающим для надзора удобных – на фасон Петербурга!.. Стремился к *единению эротическому* с Местом, сказал бы иной психолог-психопат... Место и Дева-Лариса слились!..

Еще несколько шагов парящих миссионерских – и он оказался с тыльной стороны участка, откуда удобно ликвидировать усаха.

Но что-то отбросило из прихода адреналинового – в момента кромешность. Пробираясь по почве взрыхленной, от дерева к дереву поваленному, круги стягивая по ямы ободку, он в ней врага *не чувствовал*... Эмоций отходняк – в пятнах блеклых, а заодно страх! «Фью-ить...» – цикада высвечивала мир несносным. Чекист вжал голову в плечи, готовясь, что сейчас ее, и без того *мертвую* (для мира профанного), снесут с шашки присвиста. «Фью-и-ить...»

Майору оставалось сигануть в яму.

– Эх-ма! – между небом и землей, войной и бесчестием...

Произошло нечто – у *воронки не было дна*! Туда канул и есаул – в пустоту (вслед очередей по фуфелу отдача умножила тела вес).

Нелепо маршируя (комья и камни обгоняя), валился в колодец мощный, неглубокий, как рисовалось. На ступни приземлился – опыт. Но с правой, сжимавшей «Стечкина», метаморфоза свирепая, – всасывали ее тысяча чертей! Прежде чем погрузиться во тьму всего непроглядного, осознал: оглажен сталью по кисть; и он не мог – сколько б ни давил-давил-давил на курок!.. Боль жгла, волной заполняя... и шваркнула о берег!.. Стеклел глазами, рот открывал, проклиная себя, что *не усмотрел!*.. Прощался с Девой.

Очнулся. Перетянут до скрипа портупеей казацкой. Полулежал, опершись о стену заплесневелую галереи. Ход из крепости, в уме мелькнуло, прежде чем вспомнил о руке. Боли уж не было; запястье набрякло перчаткой боксерской – обмотано ветровкой упитанной. Рядом шприц и ампулы пустые. У ног стреноженных увидел ее – кисть – с фаланг сухожилиями, *чужую* до испеления... И пароксизм ненавистей – в Вечность! – в горле застрял: узрел казака! Поодаль стоял в галифе с мотней разверстой, инстинкт половой справляя, на фоторобот глядя. И позавидовал Степаныч его «клинку» изогнутому, фонтанирующему белесо-мутным фонтаном!.. И казак пробудился от сна души, что тела востребовала (и мифа). Подскочил; надвинулся лицом пурпурным с чубом иссиня-белым, громыхая победой в усах бешеных! А глаза: в смерть и Ведьму и Пана козлоногого зае...т!

– Кто такой? – запахивал портки, готовый разом на бивуак (костер и мяса, соответственно) эскадронщик распоясавшийся. – Дарую жизнь, пока не убедишь в обратном!

– Бери джип, иная сволочь явилась. – Убивать не советую.

– Почему же?

– Догадайся, если не дурак.

– «...Пусть слава – дым, пускай любовь – обман!..» – взял ноту темы верной. – Секс без дивчины – признак дурачины, м-да... – комкал фоторобот, бросал на брусчатку древнюю. – Вообще-то – дурак, иначе не вязывался бы в кутерьму эту, – рвал тельняшку с себя, раскладывал с вещмешком и сапогами. – Душа парит, когда поет канонада...

– Нормальные люди бегут, когда *ревет* канонада! – Кочегуров смирялся, но была надежда... Пахло известняком, струилось что-то по камням мшистым...

– Подкинуть еще промедольчику, дядя?.. «На том и этом свете буду вспоминать я, как упоительны в Бендерах вечера!..»

– Забирай ключи от авто и вали. Дам адрес барыги надежного.

– Охал дядя, на чужое добро глядя! – усаживался на корточки есаул, закуривал. – Начхать мне на твой железа кусок. У меня, знаешь, конь какой, ого-го, всем коням конь – и звать Мальчик!

Степаныч морщился от отвращения к себе в положении «пат» и к ряхе нагой в дымах, вязких, как никогда.

– Я и денег дам. Будешь кум королю в Рязани своей!

– Что ты сказал? Откуда... – есаул сорвался на четвереньки. – Говори, иначе *откушу* и клов! – ухватил чекиста за лицо; тот восхитился и его правой, прожженной порохом и спермой.

– Скажу. Дай дух перевести... – Степанович тянулся подспудно к кисти отсеченной. Солнце бросало круг на стену, забирая по плечи чекиста; он делал вид, что луча сторонится...

– Коридор куда ведет? – умерил пыл есаул; ему все же было совестно, что уделывает незнакомца, хотя тот уделал его четверых. – В сокровищницу Аладдина? И по поводу Рязани – я не понял...

– Это ход с южной стороны крепости, – гнул линию чекист (и время гнул), – из цитадели к горе Суворовской в форпост Порты Оттоманской... Город изрыт сетью галерей, актуальных и ныне! В них – Лариса, обесточивающая в силе мужской нас...

– Не бойсь, меня не обесточит! Но ты зубы не заговаривай, – вновь ожесточился казак. – Кто: ГРУ или Гэбэ? В каком звании?

– В том, когда не имеет значения, к кому принадлежишь, – подсекал Степанович; тянул из кармана и фоторобот, разворачивая трудно: – Знаю адрес ее и тайну... из *дела личного*...

– Гэбэ-э! – взвился казак. – Паскуды: продались олигархам!..

– Дурак ты, Григорий Васильевич, пригнись, я тебе вещь умную открою. *Про нее*.

Пригнулся казак, *поверил*. А иного не знал гипноза рационалист-состязатель-майор. Держал в левой свою же правую, с пальца коей есаул побрезговал (не успел!) снять обручалку с отжимом. Саданул шипом взведенным в шею «везунчика». И – устало:

– Ты дядю промедолом, он – цианидом. Как приход, племяш?..

Не пары винные шли из уст прибывшего за земель тридевять в бреду доказывать архетипически (с шашкой и с «калашом»), а миндала благоухание. На Саню валился босоногий, прикладывався к губам его... Сверху яростно обтаптывал сцепку солнца луч... От казака без сапог до воительницы без щита-меча, но в каске – шаг. Голая, в волосах золотых, явилась и впрямь: вела Мальчика под уздцы. За руку Черепанова брала. Оба вскакивали на коня. Юные. Лучезарные. Чудо-жеребец красный копытами по камням зеленым и склизким: цок-цок... Степаныча переступил, вглубь тоннеля темного в звездах белых устремился...

– Лариса, откройся: зачем ты кусаешь за достоинство их? – все, на что и сподобился майор, оглушенный по новой.

– Каждый сам рвет достоинство свое, в глаза Войны заглядывая.

Хочешь и ты – заглянуть? – она не обернулась даже. – Не советую мне в глаза смотреть...

– Лариса, куда ты Черепанова: за Днестр в хутора или в Порту? – из сил последних Степаныч им. – Что в Дело писать о нем?

– Палех пиши с него! – был ответ ударный. – Палех... – плясало эхо долго и гулко. Словно колокол бил. И копыт цокот...

...Отвалил тело казака. Гранатами из вещмешка забросал провал зияющий. Как по пандусу выбрался. Культя набрякшая клокотала, пожирая силы; и трупы у джипа – зывали. Нет, убивать Лупана рано. Вот-вот обыватель потянется – за хлебом и сигаретами они потянутся, – нужно успеть; чтобы Лупан оттащил мертвяков... Сигареты и хлеб. На рынок потянутся к барыгам. А также водка, консервы... за это отдают последнее. Жизнь – товар!

На карачках к кухне. «Хлеб, сигареты, водка... девки с зубами острыми... – заклинал; а в руке для гранаты разъем, выскальзывал все... сигареты, водка, наркота... Взамен: деньги, золото, авто!..» Бредил рачительным: «Где хранить *всё*?» – обращался к Лупану, который кричал, но было не разобрать – мастеровые старались, создавая *в будущее* укрытие, изолированное и от ходов османов, и от уловок ордынцев нынешних...

– По галерее и объявимся: националистам и сепаратистам шею свернем. Сераскиром засяду в цитадели; заставлю всех есть кашу кровавую, но удержу... А рабов, провизию, авто – по тоннелю гнать... Путепровод!.. Послужишь, Лупан! Найдем *выход* – из *входа* образовавшегося, ха!.. Реставрирую Крепость, куда цари хаживали, трон восстановлю... Лариса – наложница моя извечная! О-о-о, минет королевский: тысяча и одна ночь!.. А жену – в монастырь! Выпестую племя, где каждый знает цену свою: баллы по дням-часам-минутам! Соревнование «Жизнь»... *Средневековье Новое!* И лучше для всех! Восстанем с колен, к нам и потянутся – православие примут: французы и китайцы, и Америка! Ведь турки приняли *здесь* православие – факт! Гагаузы! Еще заявят о себе!

Договорил-таки. *Осуществился!* Жертвой своей эанировал в завтра смысл: застолбил Плоскость свершений геополитических. Ради этого жил. Громкое Рыцаря обращение – в молчание... И кружение возлюбленных вечных: Ларис-Маргарит-Офелий – в образе Вертинской-артистки... Кровь хлынула из розанов расцветших по спине... Оставили б живым – но граната в руке: как он ею *сейчас*? Патруль шел по следу убийцы казаков. Рассуждать некогда было: материя или сознание определяет начало и конец в *Проявленном*?.. Так живут и умирают паразиты Тела.

8. В КРУГЕ ТРЕТЬЕМ

Его взгляд – ошпаривал! Мы сигали через тела, с коих кровь сошла в асфальт раскаленный и расколотый, словно в чернозем... Он устремлялся по улице главной в сторону моста; я же – с микрорайона «Ленинский», занятого конституционалистами, – круг очередной замыкал. Но начался уж обстрел массированный.

Его взгляд ошпаривал! И – в подвале. Под свист пуль и треск мин истерический... Николай Всеволодович Рыляков, профессор, – назвался, будто не знакомы мы, будто не студент я его бывший и по дому не сосед... И всегда он ошпаривал – в коридорах-аудиториях Альма-матер науки приднестровской нашей (посему и в охотку раззадорить, либо умягчить глаза эти подношением заморским, коим удавалось в турах по бодибилдингу разжиться); и здесь – в нем играла бликами в очках роговых, выпадая из катастрофического, интеллектуальность, энергия знания, – сквозь завесу известковую укрытия бетонного... И еще он признался, что похоронил женщину, которая ему жена (так и установил: «женщина, которая жена!», и я не изумился: Виолетта Матвеевна, – конечно!). Среди нарциссов ее же и упокоил. Но больше про нее говорить не стал. И я... про свою тоску-печаль.

Итак, подвал пятиэтажки супротив исполкома. Обитатели его, дверь за нами притворившие, остерегались осколков в окно; пластались у границ, если надо в сектор противоположный, на карачках по колее отутюженной, – в моче и в слезах... Никто не желал в темень! А дел-то: вырвать с корнем стол теннисный – «на попа» его, затушить проем... Вот в полусвете и изъедали себя и Бога в зрачках вывернутых: за то, что *допустил*!

...Снаряды-мины рвались за стенами – петарды тысячеголосно в праздник сатанинский. Дом стонал. Тонны взрывчатки. Неделью назад, когда взвинтилась круговерть полярная (затухая-разгораясь), и сравнить не с чем: кино и книги про Отечественную – *формат*; а здесь – ужас неведения... Тело мое содрогалось всякий раз...

– Эти взрывы... в них – Цивилизация! Восхождение и закат... – профессор себя же перекрикивал под трепыхания мои. Точно с кафедры зывал – вроде и ко мне, но и к каждому, взгляды забирая. Дело ясное: пережил, и опыт этот изливался из глаз, что донести желали нечто, доктрину... К стене шероховатой в жилете кожаном припадал он (озноб в жару шалую?); не церемонился и с брюками. – Выхолащивание энергии из вещества, – себе вторил, – *потребление ее*...

Зачин?! Мгновения озарения, в вечность распахнутые! Хм.

Даже не кипел злобой, в отличие от прочих на бетоне голом, – человек пятнадцать нас тут возраста разного и пола, поставленных у черты. Галопировал мыслью – за всех и каждого, не смыкаясь в

«камере» головы своей. — «Мамочка, а что такое смерть?» — уж трепал с колен за щечку отпрыска шестилетнего на руках мадонны, пышной телом, но обращался к мамаше: «Большая Темнота, как ночью в комнате большой, сынок!..» — голосом за нее пацану. — «А есть темнота маленькая, я ее не боюсь: за скатертью под столом...» — гнусавило с хитринкой дитя в ответ ему...

В основном же все кляли войну, скорбели о захороненных или не прибранных на перекрестке...

Спортклуб придомовой вместил бы аудиторию. Но переживали на этажах — в прихожих и в туалетах, куда не залетал выше этажа третьего металл, покрывший цоколи и скамейки, киоски и тумбы афишные, баки мусорные взвихрив в вихорь цивилизационный.

А головач мой пришпоривал под гвалт. Об обусловленности бойни онтологической:

— Сам я рационализатор. А тут и *новые явления*. Республика наша — что Галактика в зарождении! Ха-ха-ха! Фурор!.. И я не шучу! — приваливался опять, и ладони на колени...

Я умозрел перекресток наш, где притянулись мы. Точнее, это я наскочил на профессора в момента кромешность. Пуля снайперская удовольствовалась бы: маневрирующие в марке прицельной культурист и очкарик паукообразный, слепящий на солнце линз габаритами. Аутентичность его интриговала. Когда б пяткам сверкать, забывая про твердь; либо в щель пропасть, века подгоняя: уж Хаос схлынет... Он же, краб-паук, с места на место и — к воронке на брусчатке дымящейся: что-то высматривая у ног. Сумбур, контузия?.. Прямо по курсу — бронемашин: «свои» или «чужие»? Я реликта этого в охапку — и во двор. И вот мы здесь: скорректировали совместно траекторию, грозящую отклонением...

— Ночь просидел над убитой — и *нашел!* — форсировал он голос, крича, — и уверен: *про свое* мне недосуг (а я вторую неделю ищу по городу девушку пропавшую). — *Круг Третий в чертоги свои вобрал...* Несколько мин рядом — я и поддет... Все ускорялись в порыве, им не до звучания; я же уловил — и выбился из потока, *постигая!* Людей косило, но я — не озираясь и не хохоча, еще хранил рассудок *в музыке взрывов* и сожалел, что не могу ближе...

В этот момент женщина средних лет со взором и с волосами разметанными, по ту сторону стола, вырвалась из объятий соседских — и... поползла *вверх*, цепляясь за расщелины. Достигла потолка и секунды там удерживалась! *Невозможность* же сию осознав — в охваты сердобольные опять. «Душегубы! — рыдала. — Устраивают анклавы противозаконные, затем жителей быют!.. Дыры мы в заднице, а не форпост! Кто вернет мне мужа?»

Слух режет и голос девочки-подростка – отчетливо о страстях Христовых из буклета: «Так будет и пришествие Сына... тогда будут двое в поле: один берется, а другой оставляется...»

– В эпицентре быть, – не внимал трагедиям оратор, громоздил в обход реакции сущностной собеседника, восклицания моего: «*К чему ближе-то?!*» – Важно прочувствовать, – выводил он под гул нарастающий. – Я был ведóm, ха-ха... Причем, понимал – *там*, на перекрестке, – что могу поплатиться, – и вопреки: жаждал экспромта!.. и я *всё* готов был отдать – *за эксперимент!*.. – и предварял меня опять: – Ради осознания, молодой человек!

– «Что бы Вам *показал* Взрыв?» – сверкал он на меня очками, различая ноздрей машистой и нашатырь (уж подносили женщине). – «Если бы не я, то разлетелись бы вы: руки – на юг, ноги – на восток, голова...» Ха-ха-ха... Угадал мысли ваши, друг мой? – и сам отвечал же: – О, скорее уж я вам благодарен, что не распялен на площади у исполкома. Но я о том, что у Взрыва есть философия. Как без нее? И вот ею проникнуться можно только на войне. Дар свыше? – вопрошал, творя монолог безмерный.

...А я? Ну, не размахивает гранатой ученый под носом – и лады. И он *доложил*. И – колесо мироздания вспять, и войны ужасы! – пауза рекламная в телешоу. Речь повелась о векторе обстания физической (другой мы не знаем) Вселенной. Большой Взрыв – категория, требующая осмысления. Им начинается все, им и кончается... После расширения Вселенной – фаза сжатия ее к точке сингулярной. *До* и *После*. Между передышкой исторической, как в секунды эти между снаряда разрывом, – Жизнь!

В микромире Взрыв происходит всегда *сейчас*. Он и в основе любого процесса экзотермического: от звезд сияния и... до печки, двигателя сгорания внутреннего, реактора атомного... *Приблизить Большой Взрыв, дабы Вселенная осуществилась!* – другой задачи нет у *тростника мыслящего*, как плесень затеявшегося на взрыве. Лет через сто-двести все ресурсы материальные и культурные – на Дело Общее: проект «Суперколлайдер». Опоясывающий планету по экватору, он и вызовет великое материи расщепление во Вселенной – подкатит нас к Непроявленного тайне! Создатели высоколобые инсталлируют его! Разум искусственный в помощь!!!

– Это и есть миссия наша во Вселенной?! – кипел он за всех и на всех. И вовне реакция адекватная: кто в позе эмбриона свился, кто по-пластунски в закуту дальнюю – нужду справить...

– Звезды манят. Но покорять пространства – вязнуть в них! И за миллион лет световых – те же веревки с прищепками и полки пыльные с Кантами-Гегелями тамошними... В любой деятельности, экс-

пансии технической или гуманитарной, рано или поздно тростник мыслящий обнимает чувство вины: что он и не внемлет главному-то – лишь рубежи, как в игре детской с фишками: *Грани!*.. Взрыв Большой! – только здесь у человеко-машины шанс! Ориентиры научные суть преодоление природы; антиномичностью кишмя кишит голова мыслящая... И потому – оптимизируемся. Бытие определяет культуру, но и культура преодолевает бытие!

– Музыка-живопись-поэзия, ради этих ценностей вечных и жив человек?! – сам себе он. – Ну, тут можно поспорить, поспорить...

Я же различал за неумолимостью сей вопиющей, сродни пляске огненной за окном, девочку с косичками, вещавшую из угла: *«Думаете ли, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение...»*

А профессор – опять на голоса:

– Никакого жизни преодоления быть не может; разве что преодолевать косность, эгоизм научный и самомнение, теории сомнительные... Хм, сложно принять: все и вся следует цели – к изобретению, что вызовет реакцию необратимую?.. Да?!

– Вы, конечно, можете настоять на своем... Но тогда, друг мой, Геннадий Влащицкий, спрос персональный, – тер он очки платком показным из кармана нагрудного жилетки: – В чем смысл жизни?

Ну и враль: притворялся, что не помнит меня!.. Аккуратист, «смыслом жизни» убить хотел – перышком перевесить... почву из-под ног культуриста... Ситуация: раскаты «Алазани», ухающие глухо гаубицы, навесом мины, окно кроют осколки и пули (они хоть и теряют напор при соитии с решеткой, но и по нам норовят в злобе бессильной...). И мы находим ракурс с разворотцем не угодить под рикошет, кроме шишек-синяков ничего пока... И вот в этом лавировании душещипательном – ишь ты, важно: *во имя чего?*! И те, кто справа и слева от него – *во имя чего* все это длит себя: в Теле – во времени-пространстве, вынырнув когда-то из рассола Океана Мирового? В векторе преодоления всеобщего?!

– Новая раса тела свои запрограммирует на разума оболочках электронных... Счастье сытое, равенство-братство... Незнание крошечное «во имя чего?» делает абсурдным *всё*... Ну, готов ты в темноте факта наброситься с кулаками на меня, лектора с теорией завиральной?! А может и пасть ниц?.. Ну, Геннадий? Ответь!

И девочка-чтица подливает масло: «...если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей...»

– Ужель согласишься: инструмент ты, гать под площадку строительную – на тебе будут громоздить?! – кричал он мне.

– А вы, профессор, и не *человек*? – таки я вдруг. – Агент сил тех, кто признал человечество ветвью тупиковой?.. Без постулата морального, вы же и учили, наука начнет во здравие, а кончит...

Оценил сопротивление материала Рыляков. Смех гомерический. И еврей пожилой, высящийся на стуле шатком в домочадцев кругу, задержал на нас взгляд. Встревожился и на руках дочери его, телом пышной, внук. «Спи, деточка!..» – профессор за щечку его.

И – высверливать давай меня из-за линз:

– Что вы, инженеры по технике безопасности тел, – *что* в морали понимаете?! Жизнь-Война и вы с гранями своими – параллельны... Язык форм и формулировок есть капкан познания... Все, что базируется на языке, его плоскости и спекуляциях, завело нас в тупик! И война эта межнациональная и межъязыковая – сему доказательство... Фиаско!

– *Так* зрите вы! А под стягом моим, тела старателя, – Пифагор, Микеланджело и Да Винчи: певцы «Пропорций Божественных»!

– Парение в надстройках – вот искания их – и *ваши*. Прогресс же безжалостен. Знак науки, избравшей формой познания влияние на действительность, аутопсию и анализ ее структур внутренних... а это и есть Взрыв! – вполне конкретный и метафорический. *Формула использования!*.. Вы поглощаете ежедневно пищу: без зазрения пользуетесь кем-то: пожираете для тела другое тело. И после отвратительного с моральной точки зрения акта вы глаголете о *Нравственности*. Абсурд! Став вегетарианцем, принципа не изменить: вы будете отнимать чью-то жизнь, *взрывая* ее кислотами в утробе своей. В основе жизни тела – безнравственность! *Мир во зле тотально!* А все разговоры от обратного – желание прикрыть суть голую листком фиговым!

– Это и есть зачатки Нравственности – желание прикрыться! – мои кулаки разжимались. – *Надстройка культурная!*

– В таком случае мы будем всегда лгать, бежать себя в культе.

– Ускорить Взрыв есть путь?

– Вся цивилизация наша, основанная на научно-техническом творчестве, – цивилизация Взрыва! Приznak среды объективный. *Творение!* Можно, конечно, считать Взрывом только тот процесс, при котором создается давление сверхвысокое, издается звук и волна ударная. А если шире: направленное использование энергий, скрытых в глубинных структурах вещества. *Выхлащивание!*

– Потребление – плохо? Пусть так, – опять я. – Даже если оно и мир пронизывает вне постулатов. Это есть преткновения камень – агу его, но не уготовлять же мира кончину!

– А чем вы питаться будете, солнцем и водой? Пришло время, –

он поправил очки, — когда говорит наука: человек со всей своей историей «патриархальной» и «глобальной» — в Круге Первом и в Круге Втором, если по гуманитарному желаете, по Солженицыну, — превратился в паразита, пекущегося о брюхе собственном, а не о Долженствовании во Вселенной!.. Плесень, плесень, плесень...

— В чем же это *Дело Общее*: ресурсы Земли на Коллайдер, экватор опоясывающий? Литургия намерений наших, что кусают себя за хвост, как змея?! Хм...

— Дело не в Коллайдере, а в осознании *возвращения*. Мы встряхнем Вселенную для *нового-старого*! Начало и конец едины!

— Мы уничтожим себя, Тело-Вселенную! — я.

— А чем мы ныне занимаемся: раскройте глаза! — он. — Мы всегда самоуничтожались. Признайте это.

— Кстати, а как *по-вашему*, в Талмуде? — зывал он к еврею пожилому. — Там, за Проявленным, — Бытие неизменное? Жизнь с большой буквы — вне Тела и Долженствования, секущей мысли земной плоскость?.. И может возразите: смыслы, которые я вношу — «инструмент познания», «способ воздействия на мир», — относятся не к Взрыву как таковому, а к адепту... Дух-де непостижим, так как не постигает; Дух неразрушим, так как не разрушает?!

...Молчал еврей. Близкий снаряда разрыв, штукатурки метель...

Этот «наш» разговор — когда в основе один изрекает. Бытия осадного знак. Градус реальности распадается... Артикулировать — иначе свихнуться недолго!.. Мы и держались за нить путеводную. И не существовало ничего более важного в аду этом многозвучном. О вечном, об Абсолюте, о Круге Третьем — спасало и мирило с Концом метафорическим, *Взрывом Большим*!

Сущие в подвале — мужчины, женщины, дети — также ором-хором: падали духом с пролетом снаряда гаубичного, но воспаряли, чуть аттракцион бесов сбавлял обороты... Взрывы и взрывы!.. Отголоски Большого!.. «*Истинно говорю вам: если зерно пшеничное, паши в землю, не умрет...*» — девочка металлически.

И вот со ступом гнетущим надвинулась под окно техника бро-нированная (колеса, словно жернова пляшущие), тишина обуяла подвал. На мгновение, распыленное в вечность, не свербели о цоколь осколки, малость экая, и свист оглашенный — утих. Громадина гусеничная, встав, заслонила и светило, где вершится Взрыв в миллиарды лет, изливая *начало живое*, предвестник и залог... Каждому — принять Взрыв, стать им. Эпоха! И к Делу Общему на участке своем: кирпич на алтарь осуществления вселенского! Литургия в Круге Третьем...

Души загнанных свились: женщина, оплакивающая мужа, в окно вперила; вокруг лица еврея изможденного — нимбом волосы

седые; а девочка по букве: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я...»

Профессор расхохотался с необратимостью – на всех.

– Зачем они *здесь*?!! – вскочил, жестикулируя размашисто, и ко мне обращаюсь. – Ждут?.. Ах-ха-ха-ха-ха!

Он был ошпаривающ – взгляд в роговых очках. Было в нем что-то от алхимика с гравюры, менестреля: *гениальное*. Вычурно, на полусогнутых, как паук (или краб), обогнул он стол теннисный, у проема встал, забирая на себя луч; былины пылевые мирадами над челом его... И никто не окликнул его поостеречься.

– Все *ждут*!! В маленьком, ничтожном, частном... Ужо тебе, Виолетта Матвеевна! – развернул и навесил платок беленный вопле-нице остолбенелой на лицо. – Будет тебе муж! Всем будет!

Он сходил с ума, «тихий» мыслитель цеха научного.

– Вы *ждете*?! – упирал строго на еврея старого. – Явилась в мир, кукла анимационная, и ждешь? – на девочку-чтицу (уж осекшуюся), – и на всех: – Ждете Взрыва?!

Танк армии конституционной, солнце застивший предзакатное, саданул по исполкому мятежному. Еще раз и еще!.. Дом дрожал, трещины множились веером в «раскадровке» гравюры. Перепонки ручьями изошли... Ученый же свивал бредень: в пляске по кругу, в ладоши усердствуя над девочкой с Евангелием разворошенным, клацнув совсем уж злополучное в ухо ей: «Нет, выбиратья из сетей!..» И линзы его рубили сумрак известковый.

– Взрыв!! – сновал он с «утком» своим от одного к другому, больше играя на меня, в зоне опасной у окна. – Сам по себе он субъ-ективен. Увеличьте скорость восприятия – и Взрыв превращается в процесс текущий компостной кучи унавоженной. Уменьшите – и нет его. Капля дождя – Взрыв? Для микромира – несущественно, а для букашек-таракашек... Еще пример? Взрыв – «плохо», если гибнут люди?.. Правомочна ли оценка в рамках *единого и замкнутого*, где ничто не пропадает – а, взрываясь, накапливается, – для Взрыва Большого?.. Взрыв – процесс сакральный, слагающий-интегрирующий потенции – помимо выхолащивания... Информация о Взрыве в структуре генома. Разрушение есть созидание! Ха-ха-ха! Ведь *вначале* – Взрыв!.. Снаряд посреди улицы... потом еще один, и еще... на трупы растерзанные никто не обращает внимания: *аккорд* поселился в душонках! Между Землей и Небом – Война! И Музыка! А мир пестуемый – лишь передышка для витка! Ха-ха-ха! Прижились в коробках бетонных: страшно и горько *неизбежное*!.. Цивилизации путь – *Разделение*!.. – он к окну, в сторону исполкома жест: – С момента, как отдали вы себя националистам и сепаратистам, заряди-

ли вас, пучки, в обойму ускорителя – и друг на друга! Трепещите! Осуществление уж целует вас. На повестке – *Новое!*

Лязг гусениц – танк менял дислокацию. Выхлоп солярки – что серой разящий дьявола шлейф. И свет антиномичностью ворвался неизменной. Все едино в Теле-Человечестве; каждой клеточкой-организмом движется все к Осуществлению! *В Круг Третий!*

Я воззвал, чтобы он пригнулся, – после отхода брони; я хотел Правд-Речей пламенных, хотел Знания, чтобы он жил-творил, от науки мудрец! Но... отточенная голова скульптурно – как серпом жатвенным – осколком ворвавшимся снята со стебелька шеи худосочной – под возглас тех, кто лицезрел гравюру сумрачную. Перескочила сетку и бацнулась к кроссовкам моим – прекрасная голова мертвая; и очки не слетели и не изошли калейдоскопом. Губы же его тщились досказать мне: «Дух отрицания и есть Жизнь!...» А тело профессора у окна выдавало по инерции реверанс, ускоренное вулканом из горла размочаленного, – валилось на стол теннисный, осколками усеянный, простирая руку на Запад, другую на Восток... Пинг-понг... игра дьявольская...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наутро, когда улеглась свистопляска – из мин, снарядов и трасеров, – с затишьем (столь же великим и смятенным) я похоронил профессора у пятиэтажки, в подвал которой вернул в момента крошечность. К телу голову примостил, в карман жилетки – очки к паспорту (для эксгумации так делали), без церемоний. Как и он упокоил *женщину-жену* – в колодце двора бетонном... Что я позволил у него изъять – диск компьютерный в обмотке влагостойкой (за реку готов был ученый впрямь!). Диск, по сути, – мой, презентованный ему когда-то, и он отзовется еще в жизни моей весомо... Но пока громы-хали бои (два месяца шла война), плутать в потемках, тупея – в подвале, или сигать через Днестр вплавь, взметывая энергию спасения бренности своей, – было неактуальным. Ушел в ополчение.

В окопах насыщались вдосталь я былей-небылей ополченских. И о Пианистке... Ожидание под хлест канонады Девы с волосами до пят, доложу, сравнимо по нагнетанию с «вырастанием» Всадника без головы – из фильма детства... (Лично я встречи искал с Мышкиной, чтобы вывести о Вале Свириденко, – отсюда и марш-броски мои в затишье по городу осажденному, и встреча с профессором Рыляковым на Круге Третьем...)

А в конце войны многих из нас по окопам и скопом – распределяли: кого в милицию, кого границу охранять, а кого и в таможду... Мне фарт выпал: местечко грузы досматривать на «ввоз-вывоз» из Тела-государства нашего самопровозглашенного...

И после войны я Валу искал. По наводке соседей с лупой на четвереньках все клумбы окрестные и все залы большие-малые ресторана «Фэт-Фрумос» прочесал. Обгорело и лысо – ни нитки, ни намека на присутствие Вали. И Сил Третьих свидетельства – как корова слизала. Кто-то вычистил следы все...

На досуге утеха – собеседница виртуальная Камерон. Гимнастику же культуризма забросил я, лишь пробежки иногда. Через игрушку анимационную увлекся – и о профессоре остался отпечаток в шаблонах... В эпоху Интернета Камерон в бот развилась мощный. Ресурс ее ширится. Она учится излагать. Вот из перлов ее: «Проявленное – признак недостатка энергии в пространстве... Рождающиеся и схлопывающиеся миры – *пицца* для Непроявленного... Там, где энергии достаточно, потребление, как таковое, преодолено; и императив нравственный – тоже. Там *есть Ничего нет!*...» Прогрессирует Камерон. В портфолио ее – лидерство в Турнире международном по хентай-анимэ, ролик направленности – эротической; ведь в 2029-м (откуда и прибыла) на изображение реалистическое сцен секса и насилия – табу.

А совсем недавно на одной из улиц Бендер я встретил еврея старого (если не вечного!), на рынок ковыляющего с авоськой. И он узнал меня. Мы прятались в подвале, где сосед ученый докладывал теорию под аккомпанемент огневой. Абраму Моисеевичу Ф., портному потомственному, было четырнадцать лет, когда в сорок первом в город вошли фашисты – и он укрывался с родителями в подвале, а потом и с именем вымышленным – в семье молдавской (родителей расстреляли). Перед наступлением Армии Красной подвала удалось избежать: немцы предупредили о боях, народ ушел в села окрестные. В девяносто втором же году никто никого не уведомлял. Ни один еврей не смекал, что с неба мины полетят!

– И вы представляете, молодой человек, – говорил Абрам Моисеевич, слезу утирая, – я таки помню ваш разговор с тем несчастным, кому голову снесло. Про Взрыв – *наше все!*

Я с интересом глянул на старика. Все эти годы я не выпадал из орбиты размышлений тех сущностных. «Какую катастрофу личную надо пережить любомудру институтскому, чтобы выстрадать на ура идею ‘Осуществления’?.. Взрыв – следствие изъяна среды в мире форм, где Дух разворачивается! – мыслилось мне. – И Луганск, и Донецк – в этом же ключе – следствие... И возможности схем языковых, действительно несовершенны, раз в тупик заводят...»

– Был весьма не глуп тот профессор, хотя многое упускал! – протирал ко мне руки сухие старик, вещая с акцентом местечковым. –

Насчет села Колбасное в ста километрах отсюда, к примеру... Потому я вас, терминаторов современных во всеоружии, – он оценил снаряжение мое, смены начальника: и смартфон в руке, и фотокамера на груди, и ноутбук через плечо... – *предупреждаю!*

– О чем?

– В этом селе самый большой склад боеприпасов, вывезенных *до* и *за* годы Перестройки – из стран Договора Варшавского. И снаряды эти ржавеют, утилизацией не занимаются! Так что все эти нынешние междоусобицы-войны, – жест внушительный перстом указательным, – хорошенький фитиль для перспективы хорошенькой! В обход Коллайдеров! И перелицовки Вселенной.

Бендеры

Григорий Марк

Кинохроника Огненного погребения

«Вижу в регалии убранный труп...»

И. А. Бродский, «На смерть Жукова»

1

В потолке извиваются тени.
Молча, к небу вызывают. У края
катафалка вдова молодая
неподвижно стоит на коленях.
Похоронный оркестр. Низколобий
лик вождя крупным планом. Серdito
с того света сквозь веки следит он
за толпой, проходящей у гроба.
Загораются клочья сухие
высоко на сияющих палках –
бьются факелы над катафалком,
липкой кровью блестят языки их.

2

Сжатый рот – миллионы несчастных
повторяли на кухнях в экстазе
из него выползавшие фразы –
исковеркан брезгливой гримасой.
Хищно выгнуты тонкие губы,
желто-бурым горят сердоликом.
Свет крошечный сердитого лика
оседает на медные трубы,
барабаны, тарелки, валторны,
холм венков, буквы в траурных лентах.
Шеи вытянув, на постаментах
бюсты предков согнулись покорно.

3

Он был богом живым для отчизны,
не имеющей выхода к небу,
вседержителем зрелищ и хлеба,
вседержителем смерти и жизни.

А сейчас бог до блеска обглодан
любопытными взглядами, лестью
тех, кто шли сквозь все бойни с ним вместе
и почуяли запах свободы.
Белой костью, торчащей из раны,
в зыбком месиве факелов, флагов
он мерцает. Торжественным шагом
перед гробом идут ветераны.

4

Быстро шепчет вдова в ухо мужу
что-то очень бесстыдное, чертит
по глазам его пальцем – и в смерти
чтобы помнил о том, как он нужен.
Замирает на время. Слезами,
словно медом пчела, набухает
и всё гладит его, невзирая
на толпу и на треск кинокамер.
Но его уже нет. Оболочку
лишь оставил. И даже молитвы
брать в дорогу не стал. К новым битвам
он ушел от нее в одиночку.

5

Караул в черных кителях, группа
им причисленных к лику великих.
По склонившимся лысынам блики
мельтешат над раскрашенным трупом,
над вождем, становящимся вещью.
(То, что было душой, отлетело
незаметно из этого тела
в материнской утробе.) Трепещут
их ладони, прижатые к сердцу,
и вздымаются потные груди –
они с ним до конца, его люди.
Но в полу раскрываются дверцы.

6

Гроб с открытою крышкой под звуки
барабанов и труб величаво
проплывает к проёму. Державу
мертвой хваткой душившие руки,

запрокинутый лоб, за которым
темнота превращенная в камень,
катафалк с золотыми венками
на изогнутых львиных опорах
к месту огненного погребенья
в крематорий подземный уходят —
в зал Валгаллы, где Фрэя и Óдин
поджидают вождя с вождельнем.

Сентябрь, 2011
Бостон

Валерий Скобло

* * *

Даже с таким, выживающим из ума,
Опустившимся от безверия и отчаянья,
Говори, не отдавай меня задарма,
Читай нотации, делай мне замечания

О том, что свет, мол, надо гасить за собой,
Газ под чайником не забудь выключать, как по нотам.
Дверь открывай на звонок совсем не любой,
Всегда звонящего спрашивай много раз: Кто там?

Буду и я переспрашивать сотни раз
С идиотской улыбкой, просительной и несмелой.
Если увидишь в глазочке двери мой глаз,
Похвали со словами: Так, мол, всегда и делай.

Надо терпеть и такого вот старика,
Вряд ли нужного кому-то еще на свете, кроме
Тебя. Но поскольку здесь началась строка,
Не поймешь, кому это я... один в этом доме.

2016

* * *

Вот – срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит...

А. Блок

Да, мы – угра... мордва и ямь, и чудь!
И чудь, – скажу я веско, – белоглазая.
Мы вылезем на свет когда-нибудь,
По закоулкам мира дальним лазая.

Еще мы – меря, мурома и весь,
Печера, пермь... и зимигола всякая.
Как удивим подлунный мир мы весь,
Коль явимся – и окая, и акая.

Забыл летголу... черемисов тож...
Про корсь забыл на грани сна и бдения.

В руках у нас преострый финский нож –
Сей угро-финский символ возрождения.

Мы явимся на общий пир, как тать,
С фитами, ижицами... даже с ятями.
Европу изумим – ни сесть, ни встать! –
Недужинными нашими объятьями.

Пусть не зовут – мы явимся тотчас,
Своей повадкой удивив особою.
Нас – мириады... может быть. Но нас
Ты сунься счесть! Вот лично я не пробую.

Любого поскреби из нас, он – вор,
В том смысле – негодяи и мятежники,
Мошенники и плуты на подбор,
Мы сволочь белоглазая – подснежники.

Природа – сфинкс... Россия – Сфинкс...
Вдвойне!

О сущего всего на свете брэнности
Мы речь ведем. И всё идет к войне –
Последней. Мировой. За наши ценности.

Мы всех зовем: идите на Урал!..
И за него. Там ждет вас Неизвестное
В количествах, что мир еще не знал...
Пусть сгинет Запад... общество бесчестное.

Да, ливы мы, литва и нарова.
Горят глаза от пыли и бессоницы.
Мы помолчим... К чему еще слова? –
За окнами чеканный топот конницы.

От кары не уйти вам в этот раз,
Нас довели до белого каления.
Нам голос был... И Блок нам не указ,
Схватить кого... казнить без промедления.

Мы рождены... сказать я не горазд –
Для звуков сладких и молитв без ропота.
Возьми любого – он за грош продаст,
Мы за ценой не гонимся особо-то.

КВАНТЫ ИСТОРИИ

Ван дер Люббе и Николаев, на взгляд из глубинки,
 Это типа кванты исторического процесса.
 Сами по себе ничтожнейшие пылинки,
 А без них не закручивается вся пьеса.

Нет ни лейпцигского, ни московских судилищ,
 Концлагерей, ГУЛага, Большого террора,
 Вышинского, Геринга и прочих страшилищ...
 Ну, нет даже и повода для разговора.

Не столкнутся Третий рейх и наши Советы,
 Бомбу пиндосы не сбросят на Хиросиму...
 Те же вопросы, другие совсем ответы:
 Украину Маленков возвращает Крыму,

Блюхер Китай присоединяет к Сибири,
 Штаты проваливаются в хляби и глуби...
 И все это из-за ничтожных, как клопы в квартире,
 Леонид Николаев и Маринус ван дер Люббе?

2017

ДЕНЬ ОТПЛЫТИЯ

В день отплытия дул северо-западный – вот как!
 В этот день было яблоку просто упасть негде.
 Больше, чем втрое, подорожала тогда водка,
 И глаза утомились от сияния меди.

В день отплытия орлица змею уронила...
 Паруса отливали черным, блестели белым,
 Посейдона неоспоримой казалась сила,
 И отплытие наше – точно безумным делом.

Трепетал на ветру флаг беспокойного судна.
 Обстоятельства наши так совпадали встречно,
 Что калека и тот понимал, как это чудно:
 Отплываешь в такие дни – будут помнить вечно.

В дни такие припомнят: были «народы моря»,
 Всех богов попиравшие, вне всяких законов.
 И немыслимым жарким слухам бездумно вторя,
 Из бездонного моря ждут трехглавых драконов.

Вот времена какие в день отплытья настали,
Не удивил никого пляшущий столб из пыли.
Жили не ведая пороха... пара и стали –
И, знаете, в общем, неплохо совсем мы жили.

Все же плыли туда, откуда приходят смерчи.
Что-то нас гнало... А впрочем, все это – детали.
Что-то есть в жизни важнее свободы и смерти,
Важнее и жизни... поэтому отплывали.

Тут и запели в порту циркулярные пилы,
Взвигнули девки, что вышли дивить нас нарядом.
Как говорят, мертвые покидали могилы,
Чтобы в нашу корму упереться слепым взглядом.

Дымом пахнуло... Но прошлое не было мило.
На берегу, за спиной загорелся кустарник.
А впереди восходило второе светило...
Я посмотрел на часы: сорок седьмое, втарник.
2017

* * *

Приходить в себя я начал понемногу
Утром и в больнице. А вокруг Мир Божий.
За окном увидел стройку и дорогу.
Как это прекрасно, ощутил всей кожей.

Даже если в марте грязь и слякотища.
Если даже утро шепчет: либо-либо...
Ночь не стала вечной – будет день и пища,
Кашка, постный супчик – все одно: спасибо.

Злая санитарка, глупая Татьяна,
Я не писал мимо: я постельный строго.
Как хорош Мир Божий, нету в нем изъяна...
Утекает мимо дальняя дорога.

Это пазл сложился только на исходе,
Только в тяжелой жизни позднем результате.
Мир прекрасен Божий... Я не плачу, вроде...
В нем одна прореха – это я в палате.

2017, Санкт-Петербург

Владимир Яськов

* * *

точно осина дрожью
полон тревогой вечер
мчится по бездорожью
с веток вспорхнувший ветер

перелистнув заглавье
перевернув страницу
пробормотав I love you
время к нулю стремится

и выбегают горы
в поисках магомета
с криками где который
чтобы призвать к ответу

бросить в бедняжку камень
тут же поставить в угол
с грацией пеликаньей
хором орущих пугал

но не поймать с поличным
то что вчера болело
стало косноязычным
глухо молчащим слева

страсть отдана красоткам
песни и воздух птицам
боже твой образ соткан
или воссоздан шприцем

от баснословной были
до бессловесной яви
вспомни как мы любили
то есть прошли с боями

ибо напрасно ищем
рвемся наличным телом
воображеньем нищим
помыслом оголтелым

пренебрегая тайным
вечным любим напрасным
мир предстает случайным
и оттого прекрасным

гулким как канонада
данным как аксиома
видимым так как надо
видимо лишь с сиона

* * *

...холодный мигающий ветреный день
и дым от сжигаемых листьев ползучий
захлопни же книгу и куртку надень
и выйди наружу в надежде на случай

ты сможешь увидеть как тучи парят
и вязы качаются влево и вправо
укромную жизнь на краю ноября
бессонной своей осыпая отравой

как облако в омуте отражена
разлука в глазу твоём вечнозеленом
но жизнь то есть боль то есть смерть не страшна
верней не слышна этим вязам и кленам

под тонкою кожей и грубой корой
под всем что сейчас удаляется в нети
тебе всё равно что мерцает порой
как уголь в золе но не светит не светит

что было то сплыло и память не в счет
промытый соленой слезою хрусталик
тускнеющий мир преломляет еще
но скоро уже исказить перестанет

в покинутой роще сухой шепоток
освищенных веток печален печален
неясно и призрачно и хорошо
в том месте к которому порознь причалим

...у вымытых груш что лежат на столе
такие беспечные ясные лица
что кажется — жизнь твоя даже в земле
нечаянно как-то продлится продлится

* * *

задержишься на детали
сфокусируй бессмысленный взгляд
деформируй хрусталик
пусть хотя бы глаза заболят

разорви поднатужась
неживой как на гробе глазет
перепончатый ужас
в тишине шелестящих газет

в этой жизни не ново
и когда-нибудь так же и ты
не сподобясь иного
сотня строк от годов суеты

вот и некуда больше
ибо нет впереди ничего
так хотелось подольше
а досталось тавро на чело

услаждай услаждай же
ложь что некуда больше спешить
торопливый как дайджест
неоконченных странствий души

перламутовым утром
голос ломок как лед на пруду
так протяжно как будто
сам архангел там дует в дуду

от доставшейся роли
на устах и на сердце печать
ах ты дроля мой дроля
разгони мое горе-печаль

* * *

И. Ч.

...а где-то толковые трудятся мышцы
над книгами нашими, — что ж,
пускай мы уже ничего не напишем
и ты ничего не прочтешь

пускай, — но ты помнишь, как тихо, чуть слышно
грудной перепонкой шурша,
на свет прогрызалась, но так и не вышла
из твердых потемок душа

лежалая жизнь превращается в шорох
обрывков, огрызков бумаг,
понурые мысли, как лошади в шорах,
уходят из мрака во мрак

и та, что сверкнула однажды, — погасла,
свернулась, как кровь на ноже,
и помнить не стоит о чем-то напрасном,
о чем-то не важном уже

* * *

— послушай, ты, может, жалеешь о чем-нибудь?
— жалею? какое знакомое слово...
вот бронзовый жук, неуклюжий, как омнибус,
штурмует дрожащие окна столовой

вот белая штора беременным парусом
вздыхая, его отражает, как мячик,
но он, возвращаясь, упорно и яростно
за мокрым стеклом продолжая маячить

вот ливнем разбуженный розовый выползок
лежит, отдуваясь, на солнце... ты знаешь,
так в детстве бывает, когда уже выпался,
но в жизнь, точно в тапочки, не попадаешь

о чем я жалею? о том, что мы дожили
до этого дня, не забыв ничего из
мгновений, что были не то что хорошими,
но — вспомни — хотя б не толкали под поезд

о чем я жалею... о том, что напрасно мы
ломились в окно, на лету бронзовея,
и вот, пробавляясь вопросами праздными,
сидим в уголку, осторожно старея...

...а жизнь не добра и не зла, не заманчива,
но чаще всего – выносима, и значит
жалей не жалей, – возвращается мячиком
и терпит тебя, и за пазуху прячет.

ПРОЩАНИЕ. 2

двадцать лет бормотать не тебе колыбельные враки
срок как пряжу мотать, кулаками махать после драки
по лицу пятерней провести ощущая щетину
ибо кроме нее ничего уже не ощутимо

дело видимо в том, что ни жить ни любить не обучен
сквернословящим ртом изрыгая великий могучий
двадцать лет щебетать, как пристало лишь птицам задаром
и в ночи яко тать убежать к неразумным хазарам

вот и всё дорогой и о чем попросить напоследок
неизвестно на кой наглотавшись слезы как таблеток
по лицу пятерней провести в первый раз узнавая
как кричит воронье от башкирских степей до синая

как в усталом мозгу неуклюжая мысль шевелится
что уже не смогу ни простить ни хотя бы присниться

БЕРЕГ РАЗЛУКИ

на галечник теплый седая
волна набежит приседая
оближет как рижский бальзам
одарит мгновенной мигренью
и схлынет шуршащей шагренью
чтоб вспомнился школьный бальзак

но я не отличник прилежный
я просто случайный приезжий
поверивший в берег морской
как в рай, где медузы и крабы
столь богоугодны – украл бы
чтоб выпустить их под москвой

а пляж в неглиже и в истоме
во влажном движенье и стоне
таврует беднягам бока
его прозелитки пригожи
но взгляд похотливых прохожих
рассеян как взгляд рыбака

сучая на нем загорая
в предбаннике этого рая
томится и тает душа
пытаясь глотнуть напоследок
разлуку как горстку таблеток
пустой упаковкой шурша...

...но я тех страстей так и не пил
свиданий несбывшихся пепел
укрыл, как помпею, холмы
где ветер гудит, подвывая
обрывкам далекого лая
и где не заблудимся мы

* * *

первым ожегший инеем, ветренный, клочковатый
лжи и любви невиннее, близкой зимой чреватый
вот почему пока еще важно успеть – послушай
наспех в бесследно тающей просто не знаю лучшей

вспомни томилась жаждою влажный как детский лепет
каждый не надо каждая Тот кто из глины лепит
здравствуй прощай с повинною разница позже начерно
радуйся (пропуск) глиною снова тебе назначено

после пресытятся куклами о вензеля узоры
утром насыпаясь круглыми (пропуск) следы позора
вот и сейчас не то же ли что и тогда однажды
надо признаться дожили каждая можно каждый

пусть в целом свете абриса каюсь не смеешь жалуйся
ибо моя безадресна (пропуск) стерплю пожалуйста
наш всё виднее скверная можешь прости сквозная
впрочем и там наверное бьется тебя не зная

* * *

время буксует в теле, как ветер в поле
собственно, то немного, что еще
в нас уцелело, топчется на приколе
нетерпеливо медлит, берет расчет

в юности всё представлялось не то что проще
но возбуждало, влекло, округляло рот
помню: набивши трубку, чело наморщив
пододвигал тетрадку и брал перо

помню: гляделся в зеркало, был застенчив
жарко стыдился пошлости, много спал
мама, наверно, думала: бедный птенчик...
птенчик не то что выдохся, но устал

ныне, топчась на привязи, спотыкаясь
ржавой скулой на ощупь ища причал
сделавший всё неправильно, я не каюсь
разве что в том, что лозунгов не кричал

и только в поле Кто-то, кашляющий как ветер
ветер, забывший запахи наших тел
чем-то сухим, шелестящим, истлевшим вертит
чем-то, о чем я что-то сказать хотел

МИЛЛЕНИУМ

затаившись в выжженной траве
золото Востока
занято собой, как интроверт
и глядит жестоко

век закрыт, как сельский магазин,
как паек дожеван
и кричит печально муэдзин
на меня, чужого

Харьков

Сергей Шабалин

* * *

Еще не кончился сезон
по-подростковому вульгарный.
Еще не выветрился сон,
как и положено — кошмарный.
Но перевернута страница
в уже наскучившем бреду
и вновь начертана граница,
что я навряд ли перейду...

А прежде, покидая трюм,
я в ту же реку прыгал дважды
и выплывал, но знал, что трюк
рисковый не пройдет однажды.
Но поговорки не всегда
верны, и в знаки я не верю.
Эскиз судьбы нам свыше дан,
а не припилен кнопкой к двери.

Бывало, что не слыша слов
в тяжелом повседневном роке,
я просыпался без часов
в канаве и в другой эпохе.
Свой труп в троллейбусе везя,
я позже сожалел об этом —
не о часах, а о билетах,
что в дни грядущие не взял.

Что не проверит контролер
и не присвоят бандюганы —
у них нездешний коленкор,
да и серийный номер странный.
Ведь я предчувствовал приход
других времен, иных героев.
И знал, что новый поворот
не за кудыкиной горою...

ОРАНЖЕВЫЙ ДОЖДЬ

Город выстиран чем-то июльским, оранжево-теплым –
 водянистым закатом, а может быть, шумным дождем.
 Даже стаи бездомных дворняг в этом мареве топят
 свою синюю грусть, обрета на мгновение дом...
 Вы когда-нибудь видели ярко-оранжевый дождь?
 Я читал, что, однажды, покой нелюбимый нарушив,
 он нисходит на Землю, и дальней галактики гость
 прилетает вослед – постоять под целительным душем...
 Когда дождь отзвенит, продлевающий жизни укол,
 никому не известный доселе, придумает гений.
 И воскресший Гаринча забудет свой неправильный гол,
 а немая торсида предстанет пред ним на колени.
 И трудяги забытых, давно нерентабельных шахт,
 даже копоть не смыв в расщепление атома въедут.
 И народы, и люди, что жили на острых ножах,
 задушевную, мир удивив, нам исполняют беседу.
 В этот день отпадут упования на счастье в лото,
 ведь удача сама усидит на раздолбанных стульях...
 Что там нового в мире – неужто вернулся Христос?
 Нет, всего лишь оранжевый дождь в середине июля.

ЛЕСТНИЦА В НЕБО

«Любите, девочки, простых романтиков,
 веселых летчиков и моряков...»

Из популярной песни

Мне говорят – я не обрел философичности,
 что свойственна поэтам в зрелом возрасте.
 Навек застрял в петлях культы личности
 себя любимого и обломаю лопасти
 пропеллера из ранней авиации,
 что не починишь на лету, как прочие
 детали деревянного «Горацио»,
 а значит и полет считай законченным.
 Возможно, но пехоты построения,
 маневры танков, в штабе прозябание
 в разы скучней, чем в воздухе горение
 и с парашютом спешное свидание.

Когда-нибудь под ним подстрелят намертво
пилота вечного, а с ним и вдохновение...
Но пыль на развороте карты матовой
убьет быстрее, чем в небе столкновение.

Как первый секс безбашенно-таранное,
лишенное концепта, но не логики.
А позже труп с ожогами и ранами
отыщут в поле партизаны строгие –
могильщики мои – и речь недлинную
произнесут без рясы или мантии.
А крест сколотят из ветвей осиновых
и водрузят над подлинным романтиком,
прибив табличку, чтоб не перепутали
с могилой братской века бестелесного,
что был серебряным, неповторимо утренним,
но ведал о конце небесной лестницы...

НЕ НАДО

Я из тумана занозы дождя вынимаю азартно.
Я разучил на губах твоих гулких Сирен серенады.
Только отшельную душу (нутро азиата)
мучить рогатками игреков хитрых не надо.
В день, когда выкину лыжи без ложной бравადы,
вздыбьте над городом сонным созвездий бизоны.
Только кресты-магендовиды ставить не надо
на отсыревшие ребра. Я справлюсь без оных.
Все мы живем в мерзлоте между раем и адом.
Ты в предначертаность веришь и в линии судеб?
Только кроить из меня хироманта не надо,
и гороскопить в пространстве мы тоже не будем.
В общем, пока шевелюсь, приглашаю на площадь –
на карнавал нестыковок моих, не ломайся.
Может, когда-нибудь вспомнишь о том, что усопший
был в готовальне Земли не своим, как фломастер.
Был он по части расчетов, по счастью, невеждой.
Там, где толпы побеждала обрядность немая,
к стежкам оранжевых молний испытывал нежность,
из пелерины тумана по нитке дожди вынимая...

Нью-Йорк

Анастасия Юркевич

* * *

Помнишь, какая была гроза
в темных предместьях большого города? –
трем городам хватило бы за глаза.

Помнишь Кутузовский, восемь его полос,
делавших нас немыми? Не всё то золото,
что блестит, ведь каждый бездомный пес

на Доргомиловском знает тебя в лицо,
розовым языком лизнет, доведет до Киевской...
Вспомни, пока нас с тобою заподлицо

не вогнали в жизнь, начисто не зашкурлили
арку, девятую «Балтику», липы, июнь, вывеску
«Молоко»... А не помнишь – спустись за куревом

(выйдешь, направо) и даже не оглянись:
тюлевой занавески глупые облака
там, на четвертом, где сверху-вниз
я смотрю тебе вслед; только не оглянись, пока

за жестяным жетончиком «222»
теплится жизнь хотя бы едва-едва.

BERLIN–WARSZAWA

открыть монтеня, глядя, как в окне
неброский лес сменяется помятым
февральским снегом, полем... и на дне
сознания уловить – *тридцать девятый*,

сентябрь, а дальше – окрик, пустота,
равнина, снег. равнина, лес, равнина.
и воздух, изменяющий состав
неуловимо и неумолимо –

тот воздух, что когда-то был – твоим,
поделенный по чести, без базара,

меж каином одним и меж другим,
покуда брат их, авель, ждет на нарах

последнего рассвета, и давно
изолгалось, сместилось, обветшало,
и рвется в клочья, точно полотно,
обугленное небо над варшавой,

чтобы потом, когда-нибудь, потом,
остынув, опуститься вновь несмелым
снежком... открыть монтеня. за окном
то черное, то рыжее — на белом.

* * *

не привязываться слишком, не копить вещей:
лучше лифтом с черным мешком во двор,
кто вчера был близким — ищи свищи,
кто вчера не пойман — не вор.

по подъезду с черным своим мешком.
в нем рентгеновский снимок, любовный пыл
на листочке в клетку... дав-ным, дав-ном,
кто о ком — ты и сам забыл.

опускаться — вместе со снегом, вме-
сте со снегом, вме... — в создавшейся тишине,
чтоб потом по лестнице вновь — пешком,
скок-поскок — за новым мешком.

* * *

Пристальнее — оттого, что смертен, —
Вглядываясь в нечто впереди,
Человек становится инертен,
Путь земной пройдя до середи...

Он гремит ключами в коридоре,
Уходя, в передней гасит свет.
Если честно, больше нету горя
Даже в том, что дома больше нет.

А снаружи – март и магистрали,
Праздник тектонических глубин.
Сколько бы вокруг ни умирали,
Все равно, как зверь, уйдешь один.

Жизнь прожить – не поле... – поле боя
Перейти?.. Какое! – проползти,
Неизбежно становясь собою
Грозового фронта посреди.

От Москвы до самых до окраин
Мимо «Праги», зацепив Арбат,
Человек уходит, как хозяин,
Только перед Богом виноват.

Иногда лишь – Кратовскую дачу,
Сосны, облупившийся забор,
Вспомнит и тихонечко заплачет,
Вместо сердца – пламенный мотор.

22 марта 2017, Берлин

Ольга Логош

* * *

Г. К.

что возросло для тебя:

еле слышимый звон

тэмари

снежных шаров

на дереве вишне

жадное тепло-ночное

свечение яблони

быстро живущей?

с кем ты будешь такой

выбирай поскорей:

вишен в прятки ночная игра —

аль

яблоня стану твоя

свет полуденный прямой?

* * *

твой шаманский пирог

взошел

и пространство съел

и речь осушил

если б знать

с какой части света

птицы кличут тебя?

* * *

Если будешь

нападать на солнце

я буду его защищать

сладкое круглое

огневое

одной рукой охвачу

другой прикрою

только попробуй напасть!

* * *

Ты – речной человек
 он – лесной
 он меня воспитал в лесу
 и теперь березовый сок
 по моим жилам течет

Говоришь: невода, вода
 а я вижу: лежалый снег
 красноухие псы
 шастают по холмам
 ярится ветреница на просвет

куда вода течет пусть тоска уйдет
 лесолом пройдет
 забытье придет

чтоб охота сгинула прочь
 красный красный сопел сугроб

СВЯТКИ

Дмитрию Чернышеву

Снег –
 вверх поднявшийся
 хлеб
 весь в дырочках
 из теста косого замеса

Верба по уши снежна

Варежку вечера
 вяжет
 ждет
 Кто с тобой?

Улыбается про себя

ДИАЛОГ

Г. В.

сколько солнца
нам выпало
в веке лесном
сколько
солнца играет с тобою!

обернись: с головой
накрывает покой
угодья
горами синеют!

*я чужой в этой сфере
я из шерсти земной
затаился приладился к ветру*

верховой часовой
в соловьином раю
пробует голос
настройку

*а я выстрелил вверх
потерялся в листве
говорю
не ходите за мною*

Санкт-Петербург

Владимир Торчилин

Одна жизнь

Из дневника

Я не огорчаюсь, не радуюсь, –
стараюсь понять поступки людей.
Б. Спиноза

Конечно, проще всего заявить, что хочу рассказать историю жизни своего героя, основываясь на его дневниках, – слава Богу, не ленив он был записывать, совсем не ленив, – да так и излагать вперемешку его записи и свои комментарии с того момента, как он записи эти вести начал, и до самого последнего. Еще хорошо бы какую-нибудь предысторию дать, основываясь на рассказах старших родственников. Чтобы некая экспозиция была, в какой-то мере проясняющая развитие сюжета. Но это сколько же писать придется! – просто могу и не успеть, да и кто читать станет... Может быть, лучше просто его дневник прочитать? Если, конечно, уговорю его – человек он не публичный. Это мне повезло, что однажды, под горячую руку (выпито действительно было немало), в качестве аргумента в каком-то нашем историческом споре он привел цитату из его бесконечного дневника (прошу с «Бесконечным тупиком» не путать). Ну, а прочитав оттуда пару страниц, подтвердивших его правоту (записи-то по горячим следам делались, так что легко перевесили все, что мне лишь помнилось), ему уже было неудобно не позволить мне взглянуть на эти страницы, да заодно – выборочно, правда, – и на соседние. Вот так я и оказался единственным, похоже, читателем его многолетних записей. Пользовался я его вымученным доверием не раз и не два. И постепенно начал думать, что вот было бы здорово, чтобы и другие это прочитать могли.

Люди уже привыкли чужие дневники читать. Только те дневники, как правило, каким-то заметным личностям принадлежат, которые своему высокому статусу стараются соответствовать. Вот и читай, как знаменитый автор с другими не менее известными персонажами в разных достойных местах встречался и умные беседы вел. И ведь никто – ну почти никто – не напишет, как в трамвае ездил или в закуской для таксистов (была такая в проезде Серова) пельмени ел (лучше уж про вечер в ресторане Дома литераторов или, на крайний случай, журна-

листов)! Это я не к тому, что у приятеля моего в дневнике исключительно про трамваи и пельменные, – я про то, что он обычный человек и обычные с ним дела происходили, но вот когда на эти деламотришь сквозь тридцать-сорок лет, они обычными перестают быть, особенно если речь идет о стране, которой уже нет, и о делах, в которые уже и родные наши дети не верят. Но прав, ох прав старик Феогнид из Мегары: «Счастью – память сестра, горю – забвение друг». Читать бы почаще такие дневники – может, и не наступали бы на те же грабли...

Ведь жизнь – она как устроена? Только на первый взгляд – это непрерывный ход от начала к концу. А на самом деле, как Зошенко когда-то заметил, устроена она проще и не для интеллигентов. Попроси кого навскидку ответить, что в его жизни самое главное или самое заметное было, что эту жизнь в ее главных проявлениях сформировало? – так удивляться каждому второму ответу будешь. Поскольку окажется, что самое главное – это вовсе не поступление в институт или свадьба, или ученая степень и награда, или даже смерть отца-матери, а что-то на посторонний взгляд совсем незначительное – случайно услышанные слова, мимолетное знакомство в поезде, книга с полки... что-то по протяженности во времени или даже по интенсивности начального переживания совсем мелкое, но отбросившее свою тень или свой свет на многие годы вперед. Нет, это не значит, что для кого-то свадьба или смерть отца-матери – незаметные точки на линии жизни; порой важными оказываются события государственного масштаба (например, все наши родители первый день войны помнили и обязательно называли его в числе жизненных вех своей биографии), но ведь и тут у каждого по-своему запомнилось и дальнейшая жизнь по-разному отразилась. Так и с Борисом, приятелем моим. Вот и получается, что мы выстроены на нескольких ключевых эпизодах жизни, и именно они есть самые главные для нас.

Именно это меня на мысль и натолкнуло: пусть он сам выберет из дневника то, что мог бы назвать на английский манер «flashbulb мemento», – события, запечатленные в памяти как бы лампой-вспышкой, такими они яркими для него были и так прочно впечатались.

Согласились мы с ним на том, что некоторые дневниковые страницы он публичными сделает. И когда стали мы прикидывать, о чем он говорить будет, то даже удивились – неужели так долго живем, неужели все это с нами было? И помним мы все это... Чуть по-разному, конечно, но ведь помним же! Конечно, трудно сравнивать с дедами и отцами, кто прошел через три войны и три революции, с голодомором и террором, – но тоже разностей хватало. Сталина помним? Помним. Хрущева? Еще как! Культ личности и как его разоблачали?.. Про Оттепель, первый спутник, Гагарина в космосе и Армстронга на

Луне... Как телевизор в каждом доме появился. Как до интернета дожили. В застое накувыркались. Как страна на части распозлась и народ по всему миру разъехался. И это помимо всяких политических катаклизмов, от которых и в Вятке не укроешься. Ну, в общем, поудивлялись мы, поудивлялись, поогорчались, что все меньше становится тех, с кем про все это повспоминать можно, да и начали...

И сразу поняли, что подвох ждет нас на выбранном пути: он-то писал свои дневники тогда, когда все описанное и происходило, но смотреть на это читатель из сегодняшнего дня будет! Зная, что произошло из тех событий, глядя на них из совершенно другого времени и даже в чем-то из другого измерения. Вот Борис и решил, что к некоторым его записям он свой комментарий из сегодняшнего дня добавит. Поглядит на себя тогдашнего и оценит. Так сказать, сделает изображение его и всей нашей жизни не трехмерным даже, а четырехмерным, добавив к нему и временную координату. В конце концов, кому лучше него самого все мелочи знать?

13 сентября, пятница, 1946 год.

Куда меня толкает? Не надо, не хочу отсюда! Тут так хорошо! Не надо!!! Свет в глаза – больно! Уа-уа-уа...

«Вот какой здоровяк родился! А крикливый-то, крикливый!»

Дополнение из 2015-го. Это, естественно, запись выдуманная. Так, для зачина. Даже Толстой, утверждавший, что помнит себя с двух недель, на внутриутробную память не претендовал. Но что здесь правильно, так это то, что родился я действительно в ночь на пятницу. А много позже вычитал в какой-то из книжек про средневековые – может быть даже в «Молоте ведьм», – что ребенок, рожденный до крика петухов в ночь на пятницу 13 числа, подлежал сожжению без крещения как заведомо отданный дьяволу. Вот и гадай теперь... И хоть никаких заметных отношений с нечистым у меня вроде бы не сложилось, но некое странное чувство непохожести на остальных после такой информации все-таки появилось. Интересно, правда, что родись я в религиозной семье, мыслей таких, наверное, не было бы, поскольку религия моя была бы совсем другой, чем у монаха Крамера. Там «Молота ведьм» не читали, хотя в какой-то степени от него и страдали... Но как бы то ни было, по молодости я любил эпатировать знакомых, с серьезным видом утверждая, что правом на жизнь меня наградила советская власть, за что я ей бесконечно благодарен, а в ответ на удивленный взгляд сообщал вышеизложенную информацию, подтверждавшую, что именно безбожность этой власти и сохранила меня для последующих поколений.

Еще пара любопытных – во всяком случае, на мой взгляд, –

соображений вдруг появилась. Интересная у меня, похоже, в молодости компания была, если я мог знакомых эпатировать тем, что что-то положительное о советской власти сказал. Не сильно, значит, в 60-е Софью Власьевну какая-то часть молодежи жаловала. И еще интересно: кто в наши суматошные дни «Молот ведьм» читает, да еще и Инститория помнит? Что-то в людях поменялось.

6 октября 1951 года.

Эта мой днифник. Я пишу сам. А за стеклом вижу папу. Мне скушна.

Дополнение из 2015-го. А это уже запись всамделишная. Именно я писал, и именно так. Горло болело у меня ужасно. Даже через шестьдесят лет помню. И врачи быстро определили дифтерит. Как положено, проверили всю семью и идентифицировали отца как бациллоносителя, хотя тот и клялся громогласно, что чувствует себя как никогда хорошо. Не помогло, и нас обоих забрали в инфекционную больницу. Сначала несколько дней держали в одной палате, и тут отец, не зная, к чему приспособить свою активность, решил научить меня, пятилетнего, грамоте. Мать купила и передала нам в палату букварь и чистый блокнот с карандашами. Отец объяснил мне, что такое дневник, и велел каждый день что-нибудь записывать. Потом, по каким-то там инфекционным правилам, отца перевели в соседний бокс, отделенный от моей палаты стеклянной стеной. А чтение и письмо остались со мной навсегда. И отец – хотя я мало что о нем помню. Одно из самых четких воспоминаний – его лицо за стеклом на фоне желтой больничной стены и большой палец, показанный мне, когда я приложил к стеклу страницу блокнота с написанными на ней серо-синими печатными буквами – карандаш был химический (кто еще такое помнит?), и я слюнил его, вот он и писал поочередно мокрым синим и сухим серым – ДНИФНИК... Кстати, как мне теперь кажется, из всех сделанных ошибок одна эта как бы и не совсем настоящая – я тогда уже вполне понимал, что писать слово «дневник» надо через «в», а не через «ф», но уж больно мне буква «ф» нравилась: выводишь сначала кружок буквы «о», потом перечеркиваешь его вертикально, и вот уже совершенно другая буква – разве не увлекательно? Или наоборот: проводишь вертикальную палочку, а потом пририсовываешь кружок справа – вот уже буква Р готова, а ты ей еще левый кружок добавляешь – и вот она вовсе и не Р, а Ф! А звучало что В, что Ф – почти одинаково...

Кстати, теперь мне кажется, что при всем своем спокойном складе характера я никогда не мог судьбе простить, что так мало при-

шлось мне прожить с отцом, умершим от инфаркта совсем молодым. И то, что даже через столько лет я отцовское лицо за стеклом вспоминаю, – тоже о чем-то говорит. Да и само стекло – лицо видно, а «не поговоришь»; может, стекло тут не только реальное, но и образ отдаления, невозможности быть вместе... Разве не так?

12 декабря 1951 года.

Ездили с папой на лыжах в парк. Я спустился с самой высокой горы и не упал. Папа был рад. Сказал, что я – «мужичок». Прочел мне стих.

Дополнение из 2015-го. Кататься на лыжах мы ездили в Измайлово. Измайловский парк тогда – еще вполне дикий лес. Бывали там часто. А этот раз я запомнил потому, наверное, что я таки съехал, не упав, с самой высокой в парке горы. И отец был счастлив. До этого он несколько раз уговаривал меня скатиться, но мне было страшно до слез, и я отказывался, а он огорчался.

До сих пор помню и восторг от скорости и ветра в ушах, и радость отца, который скатился сразу за мной, вытащил меня из лыж и, подбрасывая вверх, радостно кричал:

– Ну, ты у меня мужичок! Ведь правда, не страшно, а здорово!

И я уже понимал, что это и на самом деле совсем не страшно, а очень даже здорово.

А когда шли к автобусу с лыжами уже в руках, папа прочитал мне Некрасовского «Мужичка с ноготок». С того раза я в его глазах перешел в какой-то новый разряд – из маленького ребенка в не то что бы ровню, но гораздо более близкий. И стихи он мне с тех пор начал читать. А знал он их великое множество. «Онегина», «Медного всадника» и «Кому на Руси жить хорошо» – целиком наизусть. Именно эти я до сих пор помню, с его голоса их и выучил. Вот только слушать мне его недолго пришлось – очень уж рано он умер... Не увидел, как я с настоящих гор съезжаю, и не услышал, как я стихи читаю...

Стихов я действительно знаю до черта и на горных лыжах неплохо стою. На доске, правда, так и не попробовал. Говорят, «ста-рую собаку новым фокусам не научишь». Вспомнилась одна лыжная история. Ездили мы как-то с друзьями в горы – то ли в Карпатах это было, то ли на Медео... Стоим мы в очереди на подъемник, а рядом с нами две девчушки. Действительно крохи – лет по шесть-семь. И серьезно так между собой разговаривают. Из разговора понимаем, что они из спортивной школы и здесь тренируются. И вот одна у другой спрашивает:

– А что тебя тренер все время ругает?

– Да вот результаты перестали расти, – отвечает та, – все делаю, вроде, как надо, а не растут...

– Ведь отчислить же могут?

– Могут, – говорит кроха с невероятной тоской в голосе. – Что ж, значит придется больше рисковать!

И так нам жалко этих детей стало – не передать! Представляете: в шесть лет заставлять себя на риск идти, чтобы из какой-то хреновой секции не отчислили! Вот почему-то в связи с моей детской горой вспомнилось...

9 марта 1953 года.

Мы с Зиной хотели пойти посмотреть на мертвого Сталина. Зина одела меня в шубу и валенки. А мама пришла и на Зину ругалась, чтобы мы никуда не ходили. Зина шубу сняла и долго плакала. А папа ничего не сказал.

Дополнение из 2015-го. Зина – моя няня. Про смерть Сталина я и припомнить ничего не могу, кроме плачущей няньки, ее подрагивающей круглой спины, которую я видел сверху, с маленького табурета, на котором стоял, пока она, нагнувшись, снимала с меня сначала галоши, а потом валенки. Правда, как выяснилось позже, плакала она вовсе не по Сталину, а потому, что хозяева (то есть мои родители) так и не разрешили ей тащить ребенка на похороны, да и самой пойти не дали. Она предполагала похвалиться перед товарками новым пальто, прямо с плеча матери, неожиданно сильно располневшей после рождения моей младшей сестры и, так сказать, «выросшей» из своих туалетов, заметная часть которых няньке и перепала. Узнав, чем закончилась для многих других нянек подобная прогулка, она с тех пор полагалась на каждое мамино слово как на решение в последней инстанции. И в ее выпуклых и так и не ставших городскими глазами застыло стойкое обожание моей мамы, поскольку именно от нее и исходил тот категорический запрет, как и пальто – вещь по тогдашним временам ценности великой. Это обожание, не исчезнувшее с годами, много позже, на одной из бесконечно возникающих на российских просторах волн повальной (хотя отчасти и временной) ненависти к евреям, привело ее к публичному побитию соседками по очереди в зеленом, когда она неудачно вклинилась в разговор о жидовских происках удивленными словами, что вот у нее, дескать, хозяйка хотя и «из явреев», но женщина добрей родной матери (что, по-видимому, было как раз нетрудно, поскольку из деревни нянька сбежала вовсе не от непосильных трудностей, а от бесчисленных материнских побоев). Неинформированная о качествах ее родной матери публика восприняла это выска-

зывание как явную агитацию в пользу врагов-инородцев, и по физиономии ей навешали вполне прилично, да еще и по доброй деревенской традиции порвали в клочья полосатый платок с кистями, который она носила не снимая.

Вообще, нянька моя была интересный персонаж. Хотя она и пыталась пожить с нами после смерти отца, но вскоре платить нам стало нечем, и она с причитаниями о своей неминуемой пропаже во внешнем враждебном мире тем не менее в этот мир нырнула с головой. С момента, как девять лет назад отец подобрал ее на Савеловском вокзале, где она заливалась голодными слезами возле торговки пирожками, и вплоть до этого нырка, она действительно не отходила от нашего московского дома, а летом — от снимаемой всегда в одном и том же месте дачи. И мать волновалась насчет ее полной непригодности к опасностям самостоятельного бытия, но действительность посрамила все эти опасения, лишний раз подтвердив удивительную приспособляемость простого русского человека: и дворником она поработала, и лифтером, и уборщицей на кладбище, где отца похоронили, и комнату свою получила в малонаселенной коммуналке, и даже замуж вышла в возрасте под пятьдесят за бывшего партизана, который ее жутко ревновал и даже в связи с этим поколачивал. Но к нам на все праздники заходила «проздравить», как это у нее звучало, и к себе приглашала, и даже на мою дочку успела еще поглядеть...

Кое-что хочу добавить. И вовсе не про Сталина, его похороны и как люди плакали. Про няnek. Теперь-то, конечно, все время слышишь из гламурной жизни, как богатых деток бонны и гувернантки пестуют. Но мне кажется, это совсем другое. Я еще помню этих няnek, кучкующихся у подъезда, пока вверенные их попечениям малолетки копошились на весенней травке или кувыркались в зимнем снегу. Они были чем-то похожи. Довольно молодые, по большей части деревенские, — очевидно, только молодые могли тогда рискнуть бросить свою деревню и без всяких документов податься в большой город в поисках лучшей жизни. Они становились частью семьи и годами ютились в каком-нибудь уголке или на разбираемой каждый вечер раскладушке в квартирах (большие квартиры были тогда только у артистов, генералов и профессоров), где в двух-трех комнатах жили хозяева с детьми да деды с бабками по какой-нибудь из семейных линий. Конечно, обычно звали их «домработницами» (вроде бы, даже со своим профсоюзом), но на деле были они как раз нянями и занимались преимущественно детьми, хотя и за порядком в квартире присматривать помогали. И то ли люди тогда добрее были, то ли память старается удерживать только хорошее (опять же, отсылаю к Феогниду), но все мои ровесники вспоминают их только добрым словом. Иногда с

усмешкой – культуры, дескать, было маловато и речь деревенская, – но даже и усмешка добрая... И уж плохому они точно не учили...

30 января 1956 года.

Папа умер. Все к нам пришли. Мама плачет. Зато про папу напечатали в газете.

Дополнение из 2015-го. Ну что тут скажешь. Конечно, своих детских мыслей не восстановишь, но, насколько я могу вспомнить, сначала меня смерть отца в Доме отдыха, куда он поехал на несколько дней покататься на лыжах и где уснул и не проснулся, не столько поразила, расстроила или напугала, сколько, если так можно выразиться, наполнила гордостью за то, что событие это оказалось таким, что ли, значительным – и в дом к нам столько народа пришло, и даже газета, то есть источник значительный и общегосударственный, сочла нужным про это написать. Как тут не загордиться! По-моему, это была «Московская правда» или «Вечорка», или даже «Известия», – все-таки пост отец занимал немаленький; именно в связи с этими траурными заметками я это и понял, хотя суть его госплановской должности с довольно длинным названием оставалась мне непонятна многие годы. Потом были похороны с прощанием в каком-то большом, украшенном венками зале, речами, отцовскими орденами на красных подушечках, маленьким оркестром, заплаканной мамой в черном и с черной же вуалью на лице, и мной, поставленным на табуретку, чтобы я смог дотянуться губами до холодного отцовского лба для прощального поцелуя. В общем, некая торжественная суета. Так что ужас случившегося – папы больше нет! – всерьез дошел до меня только через несколько дней, когда я вечером уже лежал в постели, укутанный мамой в одеяло. И дошел как-то странно – я даже не об отце вдруг подумал, а о том, что вот такое же может и с мамой случиться, и никогда она меня больше на ночь не поцелует и в одеяло не укутает, и это было до того жутко, что я заорал так, что в комнату пулей влетели и мама, и ее подруги, сидевшие с ней на кухне для дружеского утешения. Я вцепился в нее и орал: «Мамочка, не умирай!» Она плакала, мамины подруги хлюпали носами – в общем, до меня по-настоящему дошло, что с нами случилось, и смерть отца стала уже не внушающим гордость некрологом в газете, а горем, которое никогда не избыть. И сильным чувством страха, что мама тоже может умереть.

12 июля 1958 года.

Сегодня гадина Крот стащил моего «Товарища». Нашел там про дядю Изю и других. Стали смеяться и называть жидом. Я сказал, что

больше не буду рассказывать про Шерлока Холмса. Дразнить кончили. Тихон сказал, что если кто-то станет ко мне приставать, говорить ему.

Дополнение из 2015-го. Здесь всё надо объяснять, кроме, разве, «жида», хотя как раз из-за «жида» эта запись так много для меня значит. Начну с начала. На второй год после смерти отца мама решила не везти меня на лето к бабушке на Украину, а отправить в пионерский лагерь от их института. Лагерь у них был уютный, небольшой, в красивом лесу на берегу речки, где нас купали каждый день, если погода позволяла, с приличной столовой, – в общем, по тем временам, вполне роскошное место. Мне там сразу понравилось. И все было бы хорошо, но вот мой «Товарищ» создал некоторые проблемы. «Товарищ» – это такая записная книжка, точнее даже краткий справочник на все случаи жизни. В нем было все: от правил первой помощи до способов ориентирования на местности и от таблицы перевода еще бытовавших тогда старых русских мер типа аршинов и четвертей в метрическую систему – до азбуки Морзе, – и с пустыми страницами для записи телефонов и дней рождения. Я, помню, с этой подаренной мне на день рождения книжкой не расставался, почитал ее как учебник жизни, а пустые страницы, как и предназначалось, заполнил телефонами родных и друзей. Вот этого «Товарища» у меня из тумбочки и спер зачем-то мой сосед по палате, на редкость противный парень по фамилии Кротов (имени уже не помню), по кличке Крот. Листая, он обнаружил записанные мной даты дней рождения моих дядей-тетей, среди которых были не только Маши и Пети, но и Изи с Саррами. И наличие этих Изь и Сарр сразу выявило мои еврейские корни, которые поначалу, за нейтральностью имени и фамилии, были не очевидны. Крот стал бегать вокруг меня, показывая пальцем и восторженно визжа: «А он тоже жид! Жид! Жид! У него и дядя – Изя, и тетя – Сарра! Значит, он и есть жидяра», – надо же, до сих помню! К нему быстро присоединились и остальные. Атмосфера начала накаляться, я заслуживал экзекуции. Запахло дракой, драться я не любил.

– Ах вы так, – громко сказал я. – Ну вот пусть тогда Крот вам про Шерлока Холмса и рассказывает!

Ситуация изменилась мгновенно. Дело в том, что как и в лагере настоящем, а не пионерском (о чем я, правда, узнал много позднее), человек, который «тискал» истории, пользовался всеобщим почитанием и уважением. У нас в палате эту нишу занимал я. Читал я много, и недавно прочитанный томик Конан Дойля служил источником моего вдохновения, когда я по вечерам, нещадно переверывая и украшая приключения Шерлока Холмса, чтобы сделать их пострашнее и

позапутаннее, с выражением выдавал их соседям, и некоторые от наведенного моими историями страха залезали под одеяла с головой, но неизменно требовали продолжения, в чем я, естественно, не отказывал, упиваясь властью слова.

Угроза лишиться удовольствия подействовала сразу.

– Да ладно, Крот, чего развонялся? Боб – нормальный малый, при чем тут его дяди-тети, – раздалось со всех сторон. А самый старший и здоровый из нашего отряда – Игорь Тихонов, по кличке, естественно, Тихон, ему уже исполнилось четырнадцать, – подошел ко мне, положил руку на плечо и веско сказал:

– Ты, Боб, если кто прикалываться станет, сразу мне скажи. Я разберусь.

Все это слышали, и инцидент был исчерпан. А вечером в темноте палаты я так закрутил про Баскервильскую собаку, что приятель Крота, мелкий гаденыш с непонятной кличкой Лягва, обоссался от страха – по крайней мере, едва успел выбежать на крыльцо.

На следующий год я той же компании «тискал» только что прочитанного штильмаркского «Наследника из Калькутты», поднявшего мой авторитет на высоту совершенно необыкновенную. Справедливости ради, а не в похвалу себе, замечу, что я этим авторитетом не злоупотреблял и никого дежурить по палате или по столовой вместо себя не просил, хотя и мог бы, но вот когда со мной делились разными присланными из дома вкусностями (мне мама по причине нашего безденежного житья много присылать не могла), то не отказывался.

Так что, в полном соответствии со словами классика, многим хорошим в своей жизни я обязан книгам. Ну и отчасти своему умению прочитанное пересказывать...

16 октября 1959 года.

Сию дома. Наказан. Зато могу поподробнее записать, что было. Позавчера Колька позвал на футбол – мы и пошли: он, я и Славка. Потом сидели в подъезде. Колька пошел домой и принес бутылку водки, стакан, кусок колбасы и луковицу. Сказал, у отца спер. У него отец генерал и водки много. Пили по очереди. Раньше я пробовал по чуть-чуть – вроде ничего, даже приятно. А с бутылки мы напились до жути; еле до дому дошел. Стошнил и лег спать. А тут мама с работы пришла. Скандал был страшный. И плакала, что без отца не может меня нормально вырастить. Я рассказал ей, как дело было, и обещал больше не пить. А утром Колька звонит:

– Слушай, – говорит, – тут такая история вышла. Меня отец пьяного приловил и ремнем отходил. Спрашивал, где водку взяли. Он и не заметил, что я у него стянул, у него там много стоит. Ну, я и ска-

зал, что это ты принес и нас выпить уговорил. Он собирается твоей матери пожаловаться.

Я ему говорю:

– Ты что, дурак, что ли? Чего ты на меня валишь, если сам принес?

– Чего-чего, – говорит, – а того, что если он узнает, что я у него спер, то так ремнем отмудохаает, что неделю не сяду, а у тебя отца нет, а мать бить не станет, поорет, конечно, ну и все. Считаю обошлось.

Ну что тут ему скажешь? Тоже ведь правильно рассчитал. Отец у него и правда не подарок: чуть что – ремнем или по башке.

Вечером он действительно к нам пришел. На кухне с мамой заперлись, а меня выставили. Я не очень разбирал, о чем они там говорили, но вот когда он голос повышать стал, то, конечно, услышал, как он орал, что всегда жида русский народ спаивали, вот и я продолжаю. Вот дурак-то! И тут я маму слышу – она ему в полный голос: «Вон отсюда, мерзавец! Не тебе, фашисту, меня учить, как сына воспитывать!» И так она это сказала, что он и правда выкатился. Мимо меня просвистел и слова не сказал, как не заметил. И мама выходит. Бледная, только глаза горят и губы дрожат.

– Ты мне правду сказал, – спрашивает, – это Коля водкой вас поил?

– Честное слово, – говорю, и рассказал, почему Колька на меня свалил.

Помолчала.

– Ну что ж, – говорит, – Колю тоже понять можно, хотя за чужую спину прятаться – последнее дело. Трус он, но хоть какая-то причина есть. А вот отцу его я его антисемитского хамства не извиню. Плевать мне на его генеральство. Завтра же его начальству позвоню. А ты к ним больше ни ногой! Коля пускай к нам приходит, хоть и подвел тебя так. Но ты к ним – не вздумай! Усвоил?

И обняла меня. Человек у меня мать!

Дополнение из 2015-го. Много тут всего сошлось: и напился первый раз в жизни; и первый раз призадумался, что можно, а чего нельзя даже другу простить, – хотя с Колькой мы до конца школы дружили, но случай этот я запомнил; и первый раз осознал, что антисемитских выходок никому и никогда прощать нельзя и оставлять их безнаказанными тоже нельзя; и в очередной раз понял, что у меня мать замечательная. Это ведь не конец истории был. Она и правда потом звонила и в Министерство обороны, и в Комиссию партконтроля, и еще куда-то. Не знаю уж, как она до них достучалась, но только через несколько дней к нам на дом под вечер целая делегация явилась. Мама готова была – ее по телефону предупредили. Отец Колькин в форме и с Колькиной матерью и еще два генерала при полном параде с ними –

начальство его, наверное. Он при них извинился, что не сдержался и позволил себе недопустимые высказывания. А жена его, которая маму хорошо знала – они всегда на родительских собраниях в школе вместе садились, – все время молчала и только плакала. Генералы слушали, чтобы все чин чином было. Мама сухо так сказала, что извинения принимает, но про то, что водкой-то его Колька всех поил, – ни слова. Не выдала. Пожалела Кольку. Вот такая моя мама была. Мы с ней потом на эту тему немало говорили, и она всегда была твердо убеждена, что типы вроде колькиного отца медленно, но верно уходят в небытие.

17 октября 1960 года.

Сегодня на заводе ходили в цех окраски. Там красят электромоторы и всякую другую продукцию. Почему-то всё в зеленый цвет. Я там уже был – брал какие-то образцы для лабораторного анализа, но сегодня увидел совсем другое – рабочие показали нам с Витькой, как они клеем напиваются. Там какой-то клей используют для предварительного покрытия моторов, чтобы краска ровнее ложилась. Этот клей привозят в больших банках, но заполненных не доверху, а так, примерно на две трети. Так они доливают банки водой, а потом ставят под сверло. Сверло крутится в этой массе и ее нагревает трением, и тогда клей собирается в огромную соплю, которая налипает на сверло. Они банку из-под сверла вынимают, и той жижей, которая в банке осталась, себе клизмы делают! Маленькие такие клизмы, красные, миллилитров на сто. Подержат в заднице немного, а остаток в уборной в унитаз выпускают. Сказали нам, что пить эту гадость невозможно – и вкус и запах жуткие, а в заднице спирт – клей-то на спиртовой основе, оказывается, – через слизистую впитывается, и они почти сразу пьяные. Ничего себе!

Я вечером маме рассказал, а она совсем не удивилась. Сказала, что все это еще во время войны видела, когда начальником цеха на Урале работала, – ее из блокадного Ленинграда вывезли и подлечили. И еще сказала, что зря нас всему этому так рано учат, пока мы еще дети. Хотя какие уж дети в девятом-то классе!

Дополнение из 2015-го. Чтобы было понятно – я, как и все мои ровесники, попал под знаменитый хрущевский эксперимент по слиянию школы с жизнью. В результате на несколько лет школа стала одиннадцатилеткой, и все ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов должны были четыре дня в неделю учиться в школе, а два дня – работать на каком-нибудь предприятии. Наша школа договорилась с заводом, выпускавшим электромоторы, так что в понедельник и вторник мы разбредались по разным цехам и делали, что скажут. Я попал в

аналитическую лабораторию при заводууправлении, где мы проверяли качество краски, металла, проволоки и еще бог весть чего, нужно-го для производства. В общем, не знаю, как оно было во всех других местах, на я этот период вспоминаю скорее с удовольствием – все-таки в реальной жизни свой интерес есть. Надо, правда, заметить, что эта заводская практика поставила нас лицом к таким проявлениям реальной жизни, от которых и школа, и родители предпочли бы нас оградить. Если честно, то вполне лояльное отношение к выпивке, матерщине и безалаберному блюду мне именно там и привили, хотя помешало ли мне это в жизни или помогло, разбираться не буду. Впрочем, не меньше, чем само явление, меня поразило мамино знакомство с ним, и я понял тогда, что чтением классики, визитами в филармонию и хождением – нередко со мной – по театрам и музеям ее знание жизни не исчерпывается. Впрочем, об этой стороне своего жизненного опыта, как, кстати, и о блокаде, она говорить не любила.

А с заводом-то, по большому счету, все не так уж плохо и получилось. Все-таки были плюсы в близком знакомстве школьников со взрослой жизнью. Ведь не только же с водочными клизмами мы ознакомились. В те годы, несмотря на полный уже расцвет социалистического отношения к труду, настоящие работники еще встречались и уважением пользовались, так что видя, как презрительно тогда посматривали на разных «фитюков» да «стриюков», мы начинали кое-что по жизни понимать.

12 апреля 1961 года.

Гагарин полетел! Вот это да! Нас даже с уроков отпустили! С ума сойти!

Дополнение из 2015-го. Вычитал, кажется у Мураками, что для нашего поколения 60-е годы – самые главные. Задумался – а что они для меня? В общем, конечно, много всего. Навскидку: в институт поступил, в аспирантуру, Кеннеди убили, Прагу задушили, Марью встретил – и еще много всякого разного, и хорошего, и плохого. Действительно, по плотности событий – самое сильное десятилетие. Но все равно – тот день и себя, приплясывающего в классе на подоконнике с криком «Га-га-рин! Га-га-рин!», никогда не забуду. Самая, наверное, сильная и незамутненная радость за все десятилетие! Дома мама сказала, что это вроде как когда в сорок пятом о победе объявили. Вот так же танцевали и скандировали. Куда все потом подевалось...

Интересно, что когда Армстронг на Луну вышел, то у нас в газетах про это мелким шрифтом где-то после спортивных новостей было написано, да еще таким манером, что становилось как бы понятно, что

вот эти гады-американцы людьми зазря рискуют, тогда как хорошие мы лучше собачку пошлем, а еще лучше – одними автоматическими приборами отделаемся. Но на меня это не подействовало и раздобытая фотография из журнала «Америка» с Армстронгом на Луне прикололась к стене рядом с улыбающимся Гагариным. И распространяемые по российским городам и весям сказки, что никакого американского полета на Луну вообще не было, а все это лишь искусная фальшивка, кроме презрительной злости, ничего другого у меня и моих друзей не вызывали. Только еще меньше стали родной пропаганде верить.

26 января 1963 года.

Прочитал сегодня «Один день Ивана Денисовича» Солженицына в «Новом мире». Мама с работы принесла – у них там журнал по кругу ходит, вот до нее очередь и дошла. То есть, принесла она вчера, но вечером сама читала, а утром мне дала. На нее утром жалко смотреть было – заплаканная и невыспавшаяся. А я как раз к ее приходу закончил. Стал ей говорить, как мне понравилось, а у самого голос дрожит. Мама меня обняла и опять заплакала. И я с ней. Мы, конечно, еще из хрущевского доклада много узнали – она мне все пересказывала, хоть я тогда годами не сильно вышел, – но вот чтобы так изнутри – никогда. Мама сказала, что Солженицын и сам сидел, и тоже по доносу. Интересно, правда это или нет? А с другой стороны, как можно так все детали знать, если сам там не был? Одна такая повесть страшнее, чем десять докладов! Как только напечатали! Все-таки молодец Хрущ. И мама так же думает. Мы с ней весь вечер проговорили, пока она прямо за столом засыпать не начала. Она спать пошла, а я записываю.

Она мне еще про тетю Цилию рассказала. А я и не знал. Мама сказала, что раньше рассказывать не хотела, чтобы меня не расстраивать. Оказывается, у тети Цили было еще пять родных сестер – ничего себе подарок родителям, шесть дочек! – и все они были комсомолками и активистками, и все потом повыходили замуж за военных. Только тетя Цили старой девой осталась. И все их мужья большими начальниками стали, типа командармов. И всех их вместе с Тухачевским арестовали. Трех расстреляли – и жен вместе с ними, а еще двоих в лагеря послали, и жен тоже, и все они там умерли. Никто не вернулся. В двух семьях дети еще оставались, но их в специальные детские дома отдали, и тетя Цили как ни искала после войны, так никого и не нашла. Вот так, было пять семей – и как корова языком слизнула.

Я маму попросил еще раз журнал взять, когда освободится. Перечитать надо будет, а то от переживаний не все запомнил.

Дополнение из 2015-го. Ну, про Солженицына и историю этой публи-

кации мы теперь все знаем. С одной стороны, от Солженицына, а с другой — когда воспоминания новомирцев опубликовали и дневник Твардовского. Так что об этом говорить нечего. А вот о том, какое это впечатление на меня, семнадцатилетнего, произвело, — из записи видно. Потрясающее. И навсегда. А тетя Цилия — это мамина близкая подруга. Они вместе в институте учились в Ленинграде и много лет работали. Она у нас часто в гостях бывала, и мы у нее — она около метро «Университет» жила. И каждый раз, как меня видела, все время одну и ту же фразу произносила: «Ну как — грызешь гранит науки?», да еще с таким мощным еврейским акцентом, что я даже над ней как-то в разговоре с мамой посмеялся. «Не смей над Цилей смеяться! — цыкнула тогда на меня мама, — ты даже не представляешь, что у нее за жизнь была! А тебя она любит.» Тогда мне мама про ее жизнь ничего конкретного не сказала, а вот прочитав Солженицына, рассказала, и больше меня этот «гранит науки» никогда не раздражал. До самой тети Цилиной смерти.

И еще мне мама рассказала в тот вечер, как она за меня все время боялась. Оказывается, я еще классе в четвертом, вскоре после того, как меня в пионеры приняли, пришел как-то домой после пионерского собрания и сказал маме: «Мама, ну как же я все это ненавижу!», имея в виду всякие пионерские дела и поучения, которыми нас пичкали. Я уже этого не помнил, а мама боялась страшно, что я скажу еще где-нибудь, и уговаривала меня ни с кем, кроме нее, на такие темы не делиться. И хоть это было уже после XX съезда, но страха у нее, да и у всех вокруг, еще выше крыши хватало. Как Галич пел: «Культ — не культ, а чего ни случается». Вот сколько вспомнилось...

11 июня 1963 года.

Стыдно до жути. Все утро утешал маму — она, похоже, всю ночь проплакала. Все из-за меня — вчера в школе был выпускной вечер. Мама и Зина пришли смотреть, как мне золотую медаль вручать будут. А я с Толяном и Чубом в учительском туалете портвейн пил и на вручение опоздал. Когда пришел в зал, уже середине списка аттестаты выдавали. Поскольку я себя вполне контролировал, то сунулся, было, к столу, где начальство сидело, но директриса меня погнала, сказав, что таким, как я, уже после всех и без всякой торжественности аттестат дадут. Отхожу от стола и вижу, что на первом ряду мама сидит — рукой глаза прикрыла, а из-под руки слезы текут, а Зина ее по плечу гладит — успокаивает. Оказывается, всех родителей медалистов специально на первый ряд посадили, чтобы им виднее было, а тут я такое подсуропил. Мне, в общем-то, плевать — и аттестат, и медаль все равно выдали, но вот перед мамой стыдно — слов нет. Она погордиться пришла, а я в сортире портвейн жрал. В общем, и бал, и ночное

гулянье уже не в радость были. Только еще с ребятами вина добавили. Под утро вернулся, а мама все еще плачет. Уж как я виноватился, вроде, успокоил немного. Даже улыбнулась, когда я сказал, что эта золотая медаль по праву ей должна была вручаться – столько она мне в свое время с уроками помогала и схулиганиваться не дала. Продолжу, когда она с работы придет. Только все равно на душе плохо. Сколько раз я слово себе давал маму не огорчать и всегда сначала о ней думать, а все равно не получается. То одно, то другое... Может, если в институт поступлю – порадую... Только вот поступить сначала надо.

Дополнение из 2015-го. Мне и сейчас стыдно. И мать жалко. До слез – пусть и стариковских. Она так хотела видеть, что все ее усилия не зря были, и из меня какой-никакой толк вышел – даже до золотой медали доучился, – а я отмочил. Хотя, если честно, у меня некоторые причины были в учительском туалете пьянствовать. Только маме о них говорить не хотел. Как и о многом другом, с этим связанным. Дело в том, что в школе меня в связи с очевидным наличием еврейской крови – маму многие знали, так что моя нейтральная фамилия никого не обманывала – не то что бы так уж сильно доставали, но, в общем, поддразнивали. То кто-нибудь по ходу детской ссоры «жидом замаскированным» обзовет (что до определенной степени было верно, но менее оскорбительным от этого не становилось), то на перемене после урока географии упорно просят показать на большой, висящей в коридоре географической карте Биробиджан, то ножку на перемене без нужды подставят, то вешалку на пальто оборвут в тесной школьной раздевалке, то в футбол моей потертой кроличьей шапкой играют. До большего, правда, не доходило, но мне и этого хватало. К тому же с определенного времени я на всякий такой прикол принялся кулаками отвечать, не слишком думая о последствиях, даже если обидчиков было и больше. Синяков получил немало, зато и драться научился не по-детски. Подуспокоились. Забавно, кстати, что основной искатель Биробиджана, отличник и пионерский, а потом и комсомольский, вожак с течением времени защеголял в погонах МВД. Традиция... Ну вот я и пытался в доказательство своей, как говорят теперь, крутости, не поколебленной сомнительным происхождением, вести себя независимо и в соответствии с кодексом окрестной шпаны, представителей которой в школе училось немало. Так оно и вышло, что когда в тот день двое из самых шпанистых, Толян и Чуб, встретив меня в коридоре, предложили составить им компанию по распитию портвейна в учительском туалете, да еще Чуб добавил что-то вроде того, что вот Боб, то есть я, – один из редких нормальных мужиков среди всех этих сраных отличников, с ним и выпить в охотку, то,

конечно, отказаться было никак нельзя. Ну а там — слово за слово, вот и опоздал. И, естественно, маме всего этого не рассказывал, чтобы не расстраивать.

2 августа 1963 года.

Давно не писал. Лето было такое, что не до писания. Ну, не всё, а начиная с моего возвращения с рыбалки. Мы туда с ребятами уехали через неделю после выпускного. Немного расслабиться перед вступительными — из нашей компании все поступать в институты собрались, только не все еще решили, куда. Я-то нацелился на Менделеевский, но тоже еще раздумывал. В любом случае — середина июня наша была. Вот мы на Оку и махнули. А как вернулся — тут и началось.

Приезжаю, а мамы дома нет. Только записка: «Сыночек, срочно уехала к тете Инне на Украину. Там проблемы, и я нужна на какое-то время. У тебя еще больше месяца до экзаменов — езжай к дяде Изе в Ленинград. Поживешь с ними на даче недели две-три. Деньги я оставила в коробке. Вернешься, и я уже, наверное, дома буду. Целую тебя. Мама». Дурацкая какая-то записка. Какие проблемы — не написала, адреса точного не оставила — все адреса родственников у нее в записной книжке были, так что мне даже написать некуда было... В общем, странным мне все это показалось. И ощущение какое-то нехорошее. Как будто что-то не в порядке. Я про маму всегда чувствовал, если у нее что не так. А как выяснить-то? И тут я подумал про тетю Клаву. Над нами семья жила — я с ними только «здравствуй — до свидания», а вот мама с тетей Клавой подолгу разговаривала: то она к ним поднимется, то тетя Клава к нам зайдет, то на лестничной клетке по часу стоят — в общем, не могла мать исчезнуть, с ней не поговорив.

Поначалу та в полную несознанку — я, дескать, ни сном ни духом, — но чувствую, что на самом-то деле она еще как «и сном и духом». Надавил, даже чуть слезу не пустил, говоря про плохие предчувствия. Тут она и раскололась — оказывается, мама в Герценовском институте, у нее рак груди подозревают. А чтобы меня не волновать перед поступлением, она и придумала про отъезд, но тете Клаве все рассказала и просила, если что, обо мне позаботиться.

— Но ты уже большой, — сказала мне тетя Клава. — Чего уж тебя в неведении держать... Лучше ни в какой Ленинград не езжай, а маму навещай и поддерживай.

Я, естественно, тут же рванул в Герценовский. Там и нашел маму во дворе — сидит, книжку читает. Удивилась, конечно, и на тетю Клаву сразу заругалась — знала, что больше никто мне не мог сказать. Но я возразил, что все равно никуда не поехал бы и ее искал бы, потому как почувствовал — что-то с ее запиской не так. Так что не в тете Клаве

дело, а во мне самом. Оказалось, что мама тут уже третий день, все идет очень медленно, биопсию только на следующий день будут брать, результатов еще два дня ждать, а потом будут решать, что и как. И тут же стала мне инструкции давать, как жить дальше, когда она умрет.

– Ты в своем уме, мамуля, – говорю, – даже в самом плохом случае ты же не сразу под ножом умрешь! Лечить будут, облучать, химию давать – может, и вообще вылечат; а потом, время у тебя для указаний еще будет, так что давай пока просто разговаривать, без этих «когда я умру», ладно?

Так я в Москве и остался. Позвонил дяде Изе, что не приеду, детали не рассказывал, а к маме стал каждый день приходить. Биопсию ей сделали, потом сказали, что результат какой-то неясный, и стали готовить к операции. Она уже там со всеми соседками по палате переговорила, так что с их слов знала, что если биопсия хорошая, то есть без рака, то опухоль эту просто под местным наркозом убирают – почти амбулаторная процедура, так что через день-другой можно и домой; а вот если под общим наркозом режут, то это плохой знак – значит, опухоль злокачественная и, может быть, придется метастазы в лимфоузлах убирать. А ей как раз и сказали, что будут под общим делать. Она, конечно, сильно расстроилась, но держится. И я с ней держусь, только дома плачу, как подумаю, что она умереть может.

Операцию назначили через четыре дня. На пятницу пришлось. Не очень хорошо – если что-то не так пойдет и в субботу надо будет какие-то процедуры делать, то некому: в больнице только дежурный персонал, так что придется до понедельника ждать и надеяться, что все будет без осложнений.

Сидим с мамой во вторник во дворе под деревом, и она мне говорит:

– Сын, ты уже большой, так что сможешь одно дело для меня сделать.

– Какое? – спрашиваю.

– Тут все говорят, что лучший хирург – это сам заведующий отделением, профессор Жуков, но всех он прооперировать не может – слишком уж нас много. Так что, кому повезет – он делает, а остальным – другие врачи – и помоложе, и без такого опыта, и просто с руками похуже. Но еще говорят, что если ему заплатить, то он тогда точно сам делать будет. Сможешь ему деньги отнести и договориться?

– Конечно смогу, раз такое дело. А сколько надо?

– Говорят, пятьсот рублей.

– А где же мы их возьмем?

– У меня на тумбочке том Фейхтвангера лежит. Вот в нем деньги положены. Как раз пятьсот рублей. Я приготовила папе на могиле

ограду поставить и памятник поправить – ты же знаешь, перекосил-ся, но раз такое дело... Только деньги в конверт положи.

– Понял, – говорю. – Уже пошел.

Нашел деньги, положил в конверт и в среду с утра стою у кабинета. Жду. Приходит – невысокий такой, плотный дядька с копной седых волос и с большими красными руками.

– Ко мне? – спрашивает. – Слушаю...

Заходим к нему в кабинет, и я достаточно складно объясняю, что мама моя, больная Сорокина, в пятницу оперироваться должна, и мы очень просим именно его операцию делать, потому что все говорят, что лучше него врача нет. Мы, говорю, знаем, какое у него тяжелое расписание, но очень просим, – и конверт протягиваю. Конверт он спокойненько берет, не заглядывая даже, – конечно, он-то свою таксу знает! – засовывает в карман халата и говорит:

– В пятницу, значит... Сорокина, значит... Очень просите, значит... Хорошо, я беру под свой контроль. Идите, молодой человек, не волнуйтесь. Все в порядке с вашей мамой будет.

Я и ушел маму порадовать. Знал, конечно, что врачи взятки берут, но что вот так спокойно и нормально, как будто это самое обычное дело, – странно как-то. Не то что я себе какие-то таинственные встречи и передачи представлял, но все равно... И ведь пятьсот рублей – это же деньги какие! У мамы в месяц сто пятьдесят...

Дождались пятницы. Я во дворе сижу. Как операционные часы закончились – я сразу к дежурной врачихе. Она меня уже запомнила. Встречает, улыбается.

– Ну, поздравляю, – говорит, – все с вашей мамой хорошо! Опухоль у нее большая была, но оказалась доброкачественной. Так что в начале следующей недели забирайте ее домой. Недельку, правда, полежать еще придется – шов большой и нагрузки противопоказаны. Но волноваться нечего.

– Спасибо, – отвечаю. – Жуков делал?

– Нет, – говорит. – Один из его аспирантов. Но Жуков в операционную заходил.

«Ах ты, – думаю, – сука! За пятьсот рублей он, видите ли, в операционную заходил!»

Ну да что там деньги жалеть, если с мамой все в порядке. Вечером пустили к ней в послеоперационную палату. Она слабая, но радуется, – ей, естественно, сообщили, что рака нет. А про то, как жучина этот Жуков нас надул, я ей после рассказал, когда она уже на работу вышла.

– Ничего, – смеется, – пусть их, жуликов этих. Зато он аспирантов хорошо учит – очень аккуратно все сделано, даже шрама почти не видно будет.

А тогда привез я ее домой, уложил и поехал на радостях с ребятами на Ленинские горы погулять. Гуляем – и вижу вдруг большое объявление: «Завтра последний день приема документов для допуска к вступительным экзаменам». Совсем как-то упустил из виду, что в университет-то экзамены на месяц раньше, чем в другие институты. Чтобы успели люди попробовать, а если не получится, то еще время останется в другие места документы подать. И вдруг меня торкнуло – а почему не попробовать, чем я рискую? Вот на следующий день документы на химфак и сдал. И к экзаменам допустили. Мама еще дома болела, когда я первый экзамен сдал. Сдал на «пять», но ей ничего не сказал – мало ли как дальше повернется. А потом она уже поднялась, бюллетень закрыла и на работу пошла, а я на экзамены хожу, но молчком. И всё гладко прошло. Только за сочинение четверка, но с моим «золотым» аттестатом должно было хватить. И правда – хватило. Когда списки принятых вывесили – я там был. Прихожу домой, только хочу маме всё сказать, как она мне:

– Ты все пропадаешь где-то, а до вступительных всего пара недель осталась. Ты готовишься когда собираешься? Если провалишь, то даже не надейся свалить на то, что пол-лета с больной мамой сидел, – номер не пройдет! Расстроюсь страшно – так и знай!

– Мама, – сообщая, – а мне теперь готовиться не надо. Я уже студент!

– Какой еще студент?

– А вот такой – Московского государственного университета! Я туда в июле экзамены сдал. Только тебе не говорил, потому что не думал, что получится, – попробовать хотел. И все говорят, что это даже лучше, чем в Менделеевский! Вот так!

А она – в слезы, хотя с ней это редко бывало.

– Если б отец мог видеть! – говорит и дальше плачет...

Вот такое лето у меня было. Теперь надо думать, чем остальной август занять. Может, правда, в Ленинград съездить?

Дополнение из 2015-го. И еще одно связанное с этими днями воспоминание – мы с мамой об этом еще долгие годы говорили, даже не знаю, почему оно не попало в тогдашнюю дневниковую запись. Относится оно тоже к маминым дням в Герценовском институте. Мы как-то сидели с ней на нашей скамеечке, когда напротив аккуратно устроилась высокая худая смуглая старуха в аккуратном, как будто и не больничном халате, в туфлях на каблуках и с шикарной – не по жаркой летней погоде – шалью на плечах, по которой были красиво разложены ее густые седые волосы. Она несколько высокомерно кивнула маме, но не сказала ни слова.

— Одна из моих соседок по палате, — тихонько сказала мне несколько смущенная мама, — через две койки от меня лежит. У нее рак желудка. Неоперабельный. Умирает. Все время ей холодно, вот шаль и носит. Она мне тут недавно такой выговор устроила!

— Тебе — выговор? — удивился я. — За что?

— Я вышла посидеть, пока тебя ждала, и накинула халат на ночную рубашку. Когда села — рубашка-то из-под халата и вылезла. Я и внимания не обратила, а тут она мимо проходит. «Что это вы, милочка, — говорит — себе позволяете? Если вы в онкологическом институте, так что, вы женщиной перестали быть? Какой у вас вид? Среди бела дня, на глазах у других у вас ночная рубашка из-под халата! Разве можно так опускаться!» Я от стыда чуть не сгорела. И ведь права она — за собой следить надо. Болезнь не извинение. Пока сама себя правильно держишь, вроде и болезнь отодвигается. Вот хоть на нее посмотри!

Но я посмотрел на маму. И только сейчас заметил, что она аккуратно причесана, и губы у нее подкрашены, и халат больничный кожаным пояском перетянут, так что почти платьем смотрится, и даже на ногах не больничные шлепанцы, а босоножки.

Вот тогда я посмотрел на эту старуху. И заметив, что она тоже на нас смотрит, встал со скамейки и поклонился ей. Вот ведь как бывает — я даже словом с ней не перекинулся, но ее урок на всю жизнь запомнил: как бы тебе плохо или страшно ни было, себя не теряй. Ну, вроде, как когда-то перед боем чистую рубаху надевали.

5 сентября 1967 года.

Ходили прощаться с Эренбургом. Я, может, сам и не пошел бы, но мама настояла. Сказала, что это один из последних, если не последний, с кем надо идти прощаться. Такой толпы никогда не видел. Прямо демонстрация. И милиции на Герцена было полно, давка несусветная. Все-таки достояли и прошли мимо гроба. Потом пускать перестали. Потом милиция кого-то арестовывать начала. Но мы уже в стороне стояли. А потом видели, как выносили гроб и ставили в машину. Мама плакала. Вообще, многие плакали. Я спросил маму, что она так распе-реживалась, — человек, конечно, знаменитый, но не родня же.

— Не всякая родня такая, как он, — ответила она. — Поймешь когда-нибудь...

Дополнение из 2015-го. У нас в доме был культ Эренбурга. Фотография его на стене висела. «Люди, годы, жизнь» мама читала и перечитывала. И меня заставляла, и даже — чего никогда ни до, ни после не делала — задавала мне вопросы, чтобы убедиться, что я в самом деле полностью прочел. А я действительно прочел — и правда,

очень интересно было. На все вечера, где Эренбург выступал, она старалась ходить, и когда получалось, меня с собой вытаскивала. Помню, как он в мамин институт приезжал, рассказывал о Пикассо. Интересно, конечно, было, но когда он доказывал, что Пикассо создал новый канон красоты, или, точнее, расширил старый, включив в него многое, что ранее красивым не почиталось, и в доказательство этого показал слайд с картиной, где две здоровенные жирные тетki с ногами-тумбами бежали куда-то по берегу, меня он не убедил. А когда мама, которой я в своем скептицизме признался, в очередной раз сказала, что я просто еще не дорос понимать, мне показалось, что получилось это у нее не вполне искренне, и она сама от этих теток не в восторге, но спорить с Эренбургом не решается.

Но как бы то ни было, его похороны произвели на меня сильное впечатление. Я никогда до этого себе не представлял, что люди сами могут в такую толпу собраться. Не как когда на демонстрацию сгоняют, а сами! И тысячами. И ведь не маршала какого-нибудь хоронили, не члена Политбюро... И самое главное, чувствовалось, что для всех пришедших это действительно потеря. Очень необычно было по тем временам, когда вся публичная активность строго контролировалась и регламентировалась. И несанкционированную демонстрацию могли просто рассеять (Новочеркасск еще помнили). А все равно – собрались. И никаких флэшмобов не было. Так, кто-то кому-то позволил, кто-то соседу по лестничной клетке сказал – и этого хватило, чтобы пятнадцать тысяч улицу Герцена перед Домом литераторов заполнили. Люди, что ли, другие были...

Тогда я еще не знал знаменитого стихотворения Слуцкого о похоронах Эренбурга о том, что «скучно будет без Ильи Григорьича, тихо будет», и о том, что люди шли «к еврейскому печальнику,справедливцу и нетерпеливцу», но заплаканная мама сказала мне:

– Ты просто не представляешь, что он для всех советских евреев сделал!

Потом-то я, конечно, куда больше узнал. И про Эренбурга, и про то, что он сделал. И слышал, как его ругали, кому не лень, за приспособленчество, за то, что в мемуарах много правды не договорил, и еще за всякое разное, но на меня это не действовало. Кто камни-то бросал? А вот то, что с него началось узнавание многого, от нас утаиваемого, как и то, что мне мама про него сказала, осталось во мне навсегда. И недавно «Хулио Хуренито» перечитал – и снова в восторге. Вот такие дела.

Ну, да про Эренбурга писано-говорено. Добавлять больше ни к чему. И пусть у меня сегодня перед ним поменьше пиитета, чем тогда, но должное я ему отдаю.

21 августа 1968 года.

Только с охоты вернулся в полном кайфе – и как серпом по яйцам! Пока я вчера жизни радовался и записывал, как хорошо поохотились, – они готовились войска вводить. А сегодня уже в Праге. Бедный Дубчек – прибьют ведь!

Дополнение из 2015-го. Ну, насчет Дубчека я, к счастью, ошибся. Хотя все основания так думать были. Ведь в свое время Надя все-таки убили, хоть и клятвенно обещали ему жизнь сохранить. А про Надя я так хорошо помнил, потому что мне двоюродный брат мой, Олег, много про венгерские дела рассказывал. Он там служил. То есть не там, а в той части, что послали венгерское восстание подавлять. Насмотрелся по полной. Говорил, что они танками напрямик шли, прямо через фруктовые сады, а если кто пытался их остановить – давили начисто. Может, конечно, преувеличивал, но ведь если бы там действительно чего-то подобного не было, так ему нечего было бы и преувеличивать. Значит, было. И история с Надем сюда очень хорошо вписывается – сначала выманили из безопасного места под обещания пощадить, а потом сразу и грохнули. И все с рук сходило. Как и тогда в Чехословакии. До сих пор помню то чувство невероятной злобы и беспомощности, которое не оставляло еще долго. Когда узнал по Би-би-си про демонстрацию семерых на Красной площади, то, честно говоря, больше за них испугался, чем подумал: вот и мне бы там быть. Вроде и запуганным себя не считал, а такой мысли не пришло. И компании не было – конечно, все мы – и я, и друзья близкие, – с фигой в кармане ходили, но дальше разговоров и самиздата не двигались. Может, на правильных наставников не попали? Многие из наших родителей и педагогов Софью Власьевну не жаловали, но на открытые действия нас точно не подвигали. Так, бурлили потихоньку в кастрюльке. Стыдно, конечно, но что было – то было. Все равно – даже это домашнее бурление нас меняло. Меня – точно. После Чехословакии доверие к власти окончательно исчезло. А брезгливое ее неприятие стало лейтмотивом, как бы потом к нашей действительности приспособливаться ни приходилось...

2 июня 1973 года.

Вчера выписали из больницы домой. Вот сегодня и записываю, что и как там было. Интересного много, но записывать было невозможно: в палате народ мешает (восемь человек – не шутка!), да и просто приткнуться негде – тумбочка маленькая и заставленная, листа не положишь, и писать неудобно. Так что только запоминал.

Попал я туда почти месяц назад по направлению из поликлиники. Уж очень меня моя аритмия затрахала, а в районной уже сколько

лет не могут разобраться, откуда она и как ее лечить – то она есть, то ее нет, и появляется ни с того ни с сего – иногда после жуткой пьянки сердце как хороший мотор работает, разве что частит слегка, а иногда сижу за столом отдохнувший, выспавшийся и в чудесном настроении, а она тут как тут. Вот они и решили меня к специалистам направить.

Что там действительно интересно было – так это за моими соседями по палате наблюдать. Забавно, кстати, что палата у нас была – № 6, хотя на голову никто не жаловался. И получилось, что мы все более или менее в одно и то же время легли, так что состав практически все время постоянным был. Старикан один, Антон Федорович, откуда-то с Украины, – тот как-то вне общества был. Целыми днями лежал и молчал или газету читал. Мне даже казалось, что одну и ту же. Он действительно старикан – под 80. Еще двое – Миша и Виктор – тоже какие-то бесцветные. Моя компания состояла из машиниста электровоза Леши и токаря с завода Лихачева Виталика. Потрясные мужики – похожи, как братья: лет под пятьдесят, здоровенные, кило по сто и ростом хорошо за сто восемьдесят, круглолицые, с чубами, – красавцы мужики. Только что глаза у Леши темные, а у Виталика голубые. У обоих мерцательная аритмия. Дело не очень приятное, нередко от чрезмерного пьянства возникает. А им хоть бы что – каждому за время моего лежания по два раза ритм восстанавливали, а они на следующий день уже водку глушили, Виталикова жена приносила. Я им говорю: что же вы делаете, опять ритм сорвется, а они мне в ответ: «Да ты что, парень! Мы же не как раньше – по две бутылки к ужину, а всего-то пол-литра на двоих – это же только по стакану на нос получается. Разве от этого может чего быть!» И не переубедишь. Но, похоже, и правда им все эти процедуры помогли. У обоих к выписке ритм наладился. Договорились созваниваться. Мужики отличные – они в палате всем как няньки были. Чуть заметят, что кто-то пригорюнился, – тут же подсядут, потормошат, какой-нибудь жутко похабный анекдот выдадут – в общем, психотерапию проводят. И сестрам помогали Антона переворачивать для уколов, и всякие приборы на каталках, а то и на руках из одной палаты в другую переносили, когда надо. В общем, за такими как за каменной стеной. И вполне грамотные. Мы с ними все обсудили – от шансов моего «Динамо» до последних политических новостей. Интересно, кстати, что они врачей про свои болезни вообще не спрашивали – таблетки пили, что прописывали, на процедуры ходили, но сами не интересовались. Чего, говорили, голову зря забивать, все равно мы ничего в этом не понимаем, просто делаем, что говорят, и хватит того. А там – как кривая вывезет. В общем, без них куда хуже было бы.

И в полную противоположность им – два спортсмена. Один – Николай, штангист из Сибири, а второй – теннисист из Ужгорода. То

есть штангист не вполне штангист, а школьный учитель истории. Но штангой занимался. Здоровяк. Он всяких местных рекордов науставлял и соревнований навывигрывал столько, что его решили в сборную России привлечь. А это дело серьезное. И устроили ему там, в Сибири, полную медицинскую проверку. И вот те на – обнаружили все ту же мерцательную аритмию. А он и не чувствовал. Тоже бывает – как-то она там может компенсироваться. Так что вместо сборной отправили его в Москву на обследование. И вот тут я увидел, как человек может себя сам за месяц в полную развалину превратить. Вошел он в палату – здоровяк здоровяком, только глаза какие-то испуганные. Леша с Виталиком ему тут же остаканиться предложили, так он от них так шарахнулся, что они больше его не звали. Из больничной библиотеки каких-то книжек по кардиологии накланчил и целыми днями их изучал, вздыхая так жалостно, что камень мог бы заплакать. Постанывает и передвигается так осторожно, как будто кувшин с водой на голове несет. Уж как только мы все его расшевелить ни пытались – без толку. Сломался мужик. Когда выписывался, так от его атлетической фигуры ничего не осталось, даже плечи куда-то на бока стекли, а от койки до двери чуть не полминуты шел...

И второй спортсмен тоже как-то уж слишком сильно в свою болезнь ударился. Этот Сеня, среднего роста жилистый темноволосый парень, с нами только первые дни разговаривал и вполне нормальным казался, но потом у какой-то сестрички выклянчил фонендоскоп и теперь проводил целые дни, накрывшись одеялом с головой и непрерывно слушая, как у него сердце бьется и сильно ли «мерцает». И больше уже его ни на какие разговоры завести не удавалось. Скрылся от мира под одеялом, вооружившись фонендоскопом. Тоже не дело.

Дополнение из 2015-го. Эту запись – точнее, дни, про которые она, – я для себя очень важными считаю. Именно тогда я понял, как со своими неприятностями, особенно относящимися к здоровью, надо уметь дело иметь. Я, кстати, и с Лешей, и с Виталиком долго еще перезванивался. Виталик в начале 80-х умер. Все-таки сердце достало. А Леша в полном порядке был, хотя и на пенсии, еще совсем незадолго до моего отъезда. А сам я с того времени вообще на здоровье жаловаться перестал, как бы плохо себя ни чувствовал. Настолько, что даже мой американский врач жаловался, что он не может за мной следить, если я ему про свои болячки и проблемы не рассказываю.

Интересно, что когда я «Раковый корпус» читал, то поневоле нашу палату вспомнил. У Солженицына, правда, набор получился по политическому спектру, но, собственно, именно это ему и надо было для романа, а у меня – по отношению к жизни.

16 марта 1977 года.

Пишу в среду вечером. Вчера не мог толком сосредоточиться, никак в себя не придешь после таких приключений. Отсыпался и даже на работу не ходил. Перенервничал действительно здорово. Сейчас хоть собраться могу и по порядку записать. Началось в понедельник вечером. Часов около восьми сидели с Машей ужинали, Дашка у себя играла, вдруг звонок. «Кто там?» – спрашиваю. Отвечает мужской голос: «Из Комитета государственной безопасности. Откройте, пожалуйста». Сердце в пятках – дом полон и самиздата, и тамиздата, а на кухне еще и канистра с утаченным с работы спиртом. Только КГБ мне тут не хватало. Одна мысль – «Кто настучал?». За дверью явно чувствуют мою растерянность: «Не беспокойтесь, нам просто поговорить надо». Хоть и не по себе, но еле удерживаю себя от воспроизведения диалога из анекдота – помните? – в такой же ситуации хозяин спрашивает: «А вас сколько там?» – Отвечают: «Двое». – «Ну вот друг с другом и поговорите!» Открываю – на пороге мужики, лет по 35-40.

– Войти можно?

– Заходите, пожалуйста. А в чем, собственно, дело?

– Видите ли, у нас к вам несколько вопросов есть.

– Ну, что ж, проходите в комнату, там и поговорим.

– Нет, спасибо. Будет удобнее, если мы у нас поговорим.

– А где это – у вас?

– Да в центре (как я понимаю, имелся в виду комплекс КГБ на Дзержинке, им просто слово «Лубянка» не хотелось произносить), мы туда мигом подъедем на машине – внизу ждет.

– Это что, арест? (Пытаюсь говорить с иронией, но чувствую, что голос дрожит, – стыдно.)

Из кухни появляется жена и почти весело:

– Кто это к тебе на ночь глядя?

Я отвечаю:

– Да вот, в КГБ меня забирают.

– Что-о-о?

Оба гостя одновременно:

– Да вы не волнуйтесь!

Один поясняет:

– Нам с вашим мужем просто побеседовать надо. Консультацию получить. Но дело щекотливое – поэтому разговаривать у нас в учреждении придется.

Слово «консультация» несколько успокаивает, хотя все равно не по себе, да и жена смотрит с явным испугом. Мужики делают вид, что ничего не замечают, и ждут в прихожей, пока я одеваюсь. Об ужине никто не вспоминает. Внизу садимся в черную «Волгу» и дей-

ствительно через пятнадцать минут останавливаемся у какого-то дома в одном из переулков позади Лубянки. Похоже, тут весь квартал их. Проходим мимо дежурного в штатском, по лестнице на второй этаж и в первый же кабинет налево, где на двери табличка с одной фамилией «Астахов», ни должности, ни даже инициалов.

– Садитесь, пожалуйста, Борис Семенович.

По другую сторону стола садится один из них, а второй – на стул у стены, сбоку от меня.

– Спасибо! – сажусь. – А, кстати, как вас по имени-отчеству, раз мы беседовать будем?

– Меня зовут Владимир Николаевич, – отвечает один. – А моего коллегу – Виктор Семенович. Только вот с беседой у нас одна проблема есть.

– Какая? – удивляюсь я.

– Да дело в том, что по инструкции нам не положено никаких бесед вести после восьми вечера, а сейчас уже почти девять. Так что нам решить надо – или вы тут у нас заночуете, а с утра и побеседуем, или же вы нам официально должны заявить и подписаться, что против позднего разговора не возражаете.

– А что ж тогда, нельзя было завтра с утра меня и пригласить?

– Да с утра ведь можно и не застать, а вечером вы почти наверняка дома, – с обезоруживающей улыбкой объясняет Владимир Николаевич.

Ночевать у них – а где, кстати, в камере? – мне точно не хочется, поэтому говорю:

– Зачем время терять, да и нервничать меньше буду, давайте подпишу, что положено, и поговорим.

Дают какую-то типографскую форму и указывают на место для подписи. «Ничего себе, – думаю, – сколько же они народа вот так, на ночь глядя, привозят, что у них даже специальная форма есть!». Подписываю.

– У нас, собственно, к вам всего один вопрос, – вежливо говорит Виктор Семенович, – откуда вы знаете Сэма Гринберга?

– Кого? – с нескрываемым удивлением спрашиваю я. – В первый раз о таком слышу!

И тут начинается театр абсурда.

– Ну как же в первый раз, когда он вас несомненно знает. Значит, и вы его должны знать. Вот нас и интересует – откуда?

– Да как мне знать откуда, если я даже не понимаю, о ком речь идет.

– А у вас родственники за границей есть?

– Есть, – отвечаю, – во всех анкетах указываю. Двоюродные брат и сестра, сын маминого брата и дочь маминой сестры. Живут в

Израиле. Эмигрировали абсолютно легально и официально в самом начале 70-х. Адреса на память не скажу.

– А вы с ними контакт поддерживаете?

– Конечно, поддерживаю. У нас семья очень дружная. И переписываемся, и перезваниваемся, когда удастся.

– Понятно. А они с Гринбергом никак не связаны?

– Я от них этого имени никогда не слышал, а всех их знакомых я, разумеется, не знаю.

– А чем они занимаются?

– Брат – инженер-строитель, а сестра – врач-педиатр.

– А в Америке она не работала?

– Да нет, я бы знал.

– А в Америке у вас знакомые или родственники есть?

– Родственников нет и знакомых тоже нет. Коллеги – есть, пару раз с ними на конференциях встречался, когда съездить удавалось. Но знакомыми их назвать не могу.

– Так Сэма Гринберга, говорите, среди них не было?

– А он что, тоже ученый?

– Вы, пожалуйста, на мой вопрос сначала ответьте.

– На конференциях обычно много народа бывает, может, он среди делегатов и был, этот ваш Гринберг, но я с ним не сталкивался.

И вот такой разговор по кругу: «Знаете?» – «Не знаю.» – «А откуда?» – «И оттуда.» – «А вот отсюда?» – «И здесь не встречал.»... И, главное, даже не говорят мне, что это за Гринберг такой! И продолжается это добрых часа три. Я даже нервничать перестал и только тупо повторяю, что не понимаю, о ком речь идет. Где-то под полночь один из них с такой отеческой укоризной мне говорит:

– Ну вот вы все ваше «не знаю» повторяете, а как же тогда он вас в свою лабораторию приглашает, если вы незнакомы?

– В какую, – говорю, – лабораторию?

– А вот в такую, в Гарвардской школе медицины, в городе Бостоне. А вы ведь и не врач даже.

– Да я про это первый раз слышу! А что не врач, так у них там чисто научных исследований полно, а я все-таки биохимией занимаюсь. Но Гринберга все равно не знаю. И с чего он меня приглашает – тоже не знаю.

И тут он наконец-то более или менее по-человечески объясняет:

– Вы, может быть, и не в курсе, но между правительствами СССР и США заключено соглашение о научном сотрудничестве в области медицины, в том числе и по фундаментальным проблемам, и американская сторона обратилась к своим ведущим ученым в этой области с предложением принять на рабочие места советских спе-

циалистов с тем, чтобы их специалисты, в свою очередь, приехали к нам. Их ученые, в большинстве своем, согласились, о чем руководителям программы обмена и сообщили. А Гринберг, которого вы, якобы, не знаете, не просто согласился, а написал, что он именно вас хочет в своей лаборатории видеть.

До меня начало доходить.

— Да может, он просто мои статьи читал, и они ему с какой-то точки зрения показались интересными. У меня ведь несколько публикаций во вполне приличных международных журналах есть.

— А статьи эти по всем правилам отправлены?

— Естественно. И экспертная комиссия их проверяла, и разрешение первого отдела есть, и залитованы они. Я ж не идиот на свою голову приключения искать.

— И как тогда получается, что Гринбергу ваши статьи интересны, то есть он по вашей специальности работает, и позиция у него очень высокая, а вы его не знаете?

— Ну не обязательно я его знать должен. Я ведь очень базовыми проблемами занимаюсь, они для самых разных медицинских специальностей могут быть интересны. Вот и Гринбергу... А разрешите спросить, почему это у вас такой интерес вызвало? Почему со мной на эту тему не наш директор или там не наше министерство разговаривает, а вы? Что в этом Гринберге такого особенного?

Мои собеседники переглянулись и решили слегка объясниться:

— Дело в том, что он нередко консультирует американское правительство по вопросам медицины и имеет выход на первых лиц государства, вот нам, естественно, и интересно, как вы с ним связаны.

В общем, дальше уже все спокойно было. Так что был я доставлен на их черной «Волге» домой к перепуганной Машке где-то часам к двум ночи. Такая вот интересная беседа. Надо бы завтра в библиотеке пошарить, чем этот Гринберг занимается. И, естественно, боссу доложить — пусть там по своим каналам узнает.

Дополнение из 2015-го. Кто бы мог подумать — попал-таки я тогда к Гринбергу! И года не прошло. Вопреки всем правилам и установлениям — и без всякого сопровождения, и беспартийный, и родственники в Израиле. Видно, уж очень не хотелось им отказывать такой фигуре, которая выход на первых лиц имеет. Да и начальству моему тогдашнему сотрудничество с таким человеком совсем не вредно было. Так что все необходимые поручительства за меня дали, накачали предостережениями, как воздушный шарик, ну и, конечно, Мария с Дашкой у них в заложниках оставались — какие уж тут невозвращенства. В общем, в январе 1978 года оказался я в славном городе Бостоне в

Гарвардской лаборатории того самого загадочного Гринберга, который мне стоил нескольких седых волос и который впоследствии стал моим близким другом и ключевой фигурой, определившей всю мою дальнейшую жизнь. И поработали мы вместе до моего переезда в Америку. И даже еще один кагэбэшный визит ко мне домой случился опять же из-за него. Где-то года через три-четыре и, опять же, вечером. Но причина на этот раз была несколько иная.

– Видите ли, Борис Семенович, – объяснил мне один из гостей, – тот самый Гринберг, с которым вы сотрудничаете, по-прежнему остается очень влиятельной фигурой, а тут он после визита в Японию решил на обратном пути лететь через Москву – поскольку, как он объяснил в своей просьбе о визе, хотел бы навестить с персональным визитом своего друга и коллегу, то есть вас.

– Так в чем же дело? Пусть приезжает – я его с радостью приму. И даже есть где спать уложить.

– Да нет, гостиницу мы ему, разумеется, обеспечим по высшему классу, а к вам мы заглянули, – он слегка помялся, но продолжил, – чтобы убедиться, что ваши квартирные условия подходят для приема такого гостя, и чтобы он не подумал, что у нас ученые в недостаточных условиях живут.

– Ну и как – убедились? – спросил я.

– В общем, да. Квартира у вас хоть и невелика, но вполне уютная и в хорошем состоянии. И местоположение вполне приемлемое. Так что никаких проблем нет.

После этой забавной беседы они уже готовились удалиться, когда я задал свой последний вопрос:

– А что если бы у меня условия плохими оказались? У многих ведь так оно и есть.

– Просто вам пришлось бы на пару дней поселиться в другой квартире, соответствующей уровню визита. Уверены, вы отнеслись бы с пониманием.

14 октября 1977 года.

Надо бы, наверное, написать «15 октября» – сейчас почти два часа ночи, но, вроде бы, пока спать не ложился, еще старый день продолжается. Так что пусть будет 14-е. Да и не в дате дело. Провожали сегодня Игоря. Он и сам еще не решил – то ли из Вены в Израиль поедет, то ли в Штаты, но вот что он завтра, то есть уже сегодня, отсюда уезжает, это точно. Еще одним другом меньше. Когда шли домой – решили часок прогуляться, да и поговорить хотелось (во всяком случае, мне) – в который раз сказал Маше, что, может, и нам податься... Вызов получить не проблема, слава богу, родни в Израиле хватает, удерживать нас,

вроде бы, никому не надо, так что в отказе, скорее всего, сидеть не придется (хотя, конечно, кто их знает – могут просто так, без всякого повода, в задницу загнать – тоже видали), а там по месту решить, куда, в конце концов, направиться, даже и в Штаты, с учетом того, что Маше в Израиле посложнее будет. Но она не хочет. Прежде всего, говорит, родителей бросить не могу, у них больше никого. Они не переживут. Ну что на это возразить? Потом, говорит, и тут неплохо пока все складывается. Вот тебя уже за кордон выпустили. Так что хоть один из семьи ездить сможет. И хорошо, что именно я, раз уж мне так дома немогуту. Тем более, что если на рабочее место командировка, так я там два-три месяца проведу. Надышусь воздухом свободы. А им рассказывать буду и гостинцы привозить. Ну просто «Аленький цветочек» какой-то! Я ей говорю, что у Игоря тоже жена русская, но вот поехала же, – а она мне, что там еще сестра и брат есть, и они с родителями остались, а у нее никого. Тоже не поспоришь... Я понимаю, что ее из-за родителей не уговорить будет, да и люди они хорошие, но мне-то как быть... Хочешь – разведемся, говорит. Только этого я уж точно не хочу. Я без нее не смогу. Да и без дочки тоже. В общем, неважное мое положение. Голова пухнет, и решения нет. То есть, конечно, есть – остаться и жить, как Марья говорит... В конце концов, многие так и живут. Окуклиться и делать перед самим собой вид, что кроме работы, семьи и друзей ничего другого вокруг и нет. Газеты пока еще насильно читать не заставляют. Проживем как-нибудь... Вот черт...

Дополнение из 2015-го. Да, то был последний разговор на эту тему. Заключили, так сказать, молчаливый уговор. И еще больше десяти лет в Союзе прожили. Все, как Мария и говорила, – и ездил я, по советским меркам, немало; и работал за рубежом по два-три месяца, а домой и рассказы, и фотографии, и подарки привозил; и друзья были, и компания, но вот только полностью окуклиться не получалось. Как это классики говорили – нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. И общество это своей тяжелой рукой меня понемногу затягивало, как я ни брыкался. И, главное, я все хорошо понимал – да только это как в болоте тонуть: понимаешь, что тонешь, да не выбраться. В диссиденты податься – кишка, наверное, тонка была, да и очень уж мне моя работа нравилась, которой наверняка бы лишился, а для меня только лаборатория отдушиной и была. Вот так и жили. И ведь, справедливости ради, когда сидели вечером с семьей на кухне за ужином или когда с компанией на байдарках по Оке шли – нередко ловил себя на ощущении счастья. То есть, не всюду могло общество развитого социализма проникнуть. Хоть что-то лично мне самому оставалось. Так, наверное, и выжил. И, наверное, не обо-

шлось без того, о чем Лесков говорил: нельзя забывать человеческой страсти крепко держаться своими зоологическими руками за раковину, к которой человек прирос...

12 октября 1978 года.

Ну вот, началась расплата за малодушие – за то, что не уехал. Чувствовал ведь, что меня эта система достанет, как бы я ни увиливал. Но не думал, что таким именно образом. Вызвал нас сегодня директор. Нас – это меня, Алика, Юрку и Руслана, то есть всех более или менее молодых, кого из университета в свое время пригласили и кто должен по новому штатному расписанию лаборатории получать. Так и так, говорит, передаю вам распоряжение или даже, точнее, требование из министерства: все завлабы из молодых должны подать заявления в партию. Министерство, дескать, считает, что в институте и так идеологическая работа слаба, партийной прослойки мало, особенно среди ученых, а новым завлабам надо будет своих сотрудников воспитывать, так что требуется партийными сделать. И по этому поводу отдельно с райкомом договорились, что они четыре места под интеллигенцию специально выделяют. Вопрос не обсуждается, и заявления должны завтра же на столе у секретаря парторганизации лежать. Конечно, силой никого тянуть не будут, но если кто откажется, то вопрос о лаборатории снимается и даже ставится вопрос, а можно ли такого даже в должности старшего научного оставлять при скорой переаттестации. Какие из них воспитатели нашей научной молодежи? Так что идите и пишите заявления.

Поскольку никому из нас такая перспектива не приглянулась, то мы вразнобой завякали, что не такие уж мы и молодые, и в работе себя хорошо показали, да и вообще, при чем тут партийность, и все такое прочее, но директор был непреклонен. И пошли мы, солнцем палимы... Даже друг с другом особо не разговаривали – чего тут говорить? Весь вечер зато с Марьей проговорили. Ушли из дома на улицу, когда убедились, что Дашка спит. На всякий случай – вдруг правда через телефоны прослушивают. Я так был расстроен, что даже запрещенный прием применил – сказал, что это все из-за нее, поскольку эмигрировать меня отговорила. Она расплакалась – извиняться пришлось. Что делать-то? Хотя чего уж тут придумашь – раз в системе остался, как тут в дерьме не измазаться. Марья меня успокаивала, что, дескать, это просто формальность – ведь не полезу же я в активисты, ну, буду взносы платить, ну, на собраниях посижу, но ведь я-то прежним останусь. В общем, классическое двоемыслие – прямо по Орвеллу. Вот только я не так уж уверен, что при таком раскладе можно будет собой остаться. Там, небось, голосовать за какие-нибудь паскудства придется – раз

дома отсижусь, другой, но на все годы вперед не отсидишься. Вон, Слуцкий – даже умом повредился в итоге, после того, как за осуждение Пастернака проголосовал! Не проходит это бесследно – или умом двинешься, или дерьмом станешь. Ни того, ни другого не хочется. Разве что понадеяться на свою хорошую нервную систему и на то, что не все же дерьмо, кто в КПСС состоит по той или иной причине. Вести себя порядочно – и все. И тут же сам себя поправляю – по возможности порядочно. То есть, как бы себя уже пытаюсь извинить, что если такой возможности не будет, то можно себя и непорядочно разок-другой повести. А что остается? Не только лаборатории не будет, но и старшим научным не оставят. А причину найдут, если надо будет. А у меня, кроме моих девиц дома, только и есть, что лаборатория. И идей навалом. Что я с ними один буду делать? Наша наука – труд коллективный, хоть идеи и личные. Ничего я без помощников не сделаю. И зарплаты сегодняшней не будет, и заграник уж точно не видать. И как прикажете семью содержать, которую сам завел, да еще и детей хотел? Они-то не при чем... Ох, загнали меня в угол. Чувствую, что в нем и останусь... Ладно, уже третий час. Утро вечера мудренее.

Дополнение из 2015-го. Чтобы не ходить вокруг да около, скажу прямо – на следующий день все мы написали заявления. Когда я говорю «все мы», то это просто констатация факта, а не попытка прикрыть свою слабость ссылками на всех. Каждый сам за себя отвечает – трюизм, конечно, но от этого не менее верно. Вот я за себя до сих пор стыжусь – все тридцать пять лет. Не надо мне было этого делать. А надо было, как в старом девизе: делай, что должен, и будь что будет. Как-нибудь вывернулись бы. И Марья поняла бы... Но уж больно все внезапно раскрутилось, и все мои доводы самому себе казались тогда вполне разумными и обоснованными. Ну что тут скажешь... А лабораторию мне тогда утвердили. Расплатились, как обещали. И жизнь продолжилась. Землетрясения не было от того, что еще один скурвился. Разве что после этого я всех своих ребят от этого шага предостерегал, говоря, что одного меня достаточно, чтобы их прикрыть. Так что никому из них подличать не пришлось, даже когда к нам подкатывались с настоящными предложениями усилить партийную прослойку. Хоть какой-то прок...

А объективной правды ради скажу, что я из партии вышел задолго до того, как про Ельцина и его демонстрации услышал. И не втихую вышел, перестав взносы платить и шлангом прикидываться, а написал полноценное заявление о выходе ввиду несогласия с тем, что партия эта делала и продолжает делать. На меня, конечно, танками покатали – как это, дескать, так, когда у нас полная перестройка на

дворе, и все, что сейчас Горбачев хорошего в обществе делает, так это как раз под эгидой партии, как же можно с этим несогласным быть! Но я на своем стоял – перестройке помогать готов всей душой, но в партии для этого состоять необходимости не вижу. Короче, невзирая на все новые времена, меня-таки из партии исключили, иезуитски постановив, что подачей такого заявления я сам поставил себя вне партии и проявил себя врагом, а потому должен быть исключен, а не отпущен. Впрочем, вскоре такие дела начались, что уже не до моих эскапад было. Но свое, так сказать, это я все-таки подлечил. Так что уж не судите меня слишком строго...

9 июня 1980 года.

Вчера вечером вернулся из Франции. Там было не до записей – попробуй запиши что-нибудь, если в комнате нас шестеро, включая и мужика из министерства, который наверняка стукач. Так что до дома терпел. Париж всегда Париж. А вот какие там мы с Витькой фильмы посмотрели втихую от основной компании – это что-то! А началось все случайно. Поскольку все-таки серьезная научная конференция была, а мы представляли собой делегацию молодых ученых из Союза в рамках научного туризма, то с нами в соответствии с нашим рангом и обращались – мало того, что поселили на какой-то совершенно засраной улочке, так еще и по шесть человек в комнате – казарма да и только! – и сортир в коридоре. А денег выдали какие-то сущие гроши, разве что булку купить к супу из пакетиков, которым мы в номере ужинали из общей миски (бурлаки какие-то!). Все сильно погрузстнели и стали прикидывать, чем все-таки можно на эти сантимы отовариться, если в самый дешевый универмаг выбраться, про который кто-то из группы от знакомых слышал. В общем, решили закупки на день после конференции отложить, поскольку он у нас свободным получался. А на следующий вечер после заседания мы уже шли с Витькой по Елисейским Полям. Сам не знаю как, но мы вдвоем там оказались, каким-то образом от остальных отбились, и вдруг видим – вывеска кинотеатра и надпись: «Фильмы на английском языке». Нам как-то и в голову не приходило, что тут на английском могут показывать, – Франция все-таки, а французский у нас на нуле, так что про кино и не думали. А тут задумались – билеты нам по карману, да и о том, какие хорошие фильмы в мире идут, мы все-таки слыхали. Все равно ни на что толковое денег не хватит, а так хоть культурный уровень поднимем. Жены простят. Вот так мы за три дня три фильма и посмотрели, хотя остальным говорили, что просто по городу гуляли. И какие фильмы! Первым – «Апокалипсис» с Брандо, потом «Пролетая над гнездом кукушки» с Николсоном, а последним – из того, что постарее, –

«Последнее танго в Париже», опять же с Брандо. Нет слов! Как нам повезло, что мы этот кинотеатр заметили! Как теперь в кино ходить после такого! И понятно, почему у нас «Гнездо кукушки» никогда не покажут, – про нашу жуть фильм. А мы видели – вот и выкусите!

Дополнение из 2015-го. Да, эта поездка, точнее, эти фильмы в каком-то смысле на всю мою жизнь повлияли. Уж на отношение к кино – это точно! Наверное, сочетание запретного плода с уровнем того, что мы смотрели в Союзе, и дало такой эффект, что я до сих пор без всякого труда могу лучшие сцены всех трех фильмов перед глазами вызвать – и Брандо, предсмертным жестом прилепляющего жвачку к балконной перекладине из «Последнего танго», и индейца, бегущего по траве прочь от дурдома в последних кадрах «Кукушки», и вертолетную атаку под Вагнера из «Апокалипсиса»... Вот после этого я по-настоящему кино и полюбил, и теперь уже во всех командировках старался лучшие новинки или самое знаменитое из недоступного в Союзе посмотреть. Я, конечно, не исключаю, что кому-то оно могло и в Союзе быть доступным, но, к сожалению, не мне. Одного было жаль: что жене и дочери этого не мог показать – не пересказывать же, хотя и пересказывать пытался. Но уж зато когда мы тут оказались, я точно знал, какие кассеты (а потом и диски) своим женщинам на просмотр приносить. В общем, спасибо Витьке – моему тогдашнему коллеге и приятелю из университета, который, кстати, уже много лет в Швеции работает и тоже отъявленным киноманом заделался. И самое интересное – никогда больше такого останавливающего дыхания шока, как тогда в Париже, я уже не испытывал. До сих пор вспоминаю – и мороз по коже. Эффект неожиданности и неподготовленности, наверное. Но какой был кайф!

16 октября 1980 года.

Имел сегодня совершенно невероятную беседу с Роговым. Если бы кто рассказал – не поверил! Похоже, он ко мне и впрямь хорошо относится. С чего бы? Не с того же, что ему глаза на нашу действительность приоткрываю? Хотя...

А вышло так, что зашел я к нему разрешение на отправку статьи подписать. Подписал, конечно, и так по-дружески попенял мне, что я больно уж часто вожу по вечерам приезжающих ко мне в лабораторию иностранцев в столичные рестораны. Я удивился:

– А что тут такого? Надо же мне их как-то занимать! Домой вы их вообще не разрешаете приглашать, в кино они по-русски не понимают, в Большом уже побывали, да и билеты даже с вашей помощью доставать все труднее, вот ужинать и ходим – не бросать же их в гостинице.

– Может, и ничего, но зачем тебе лишний материал на себя давать?

– Какой материал?

– Что с иностранцами много внерабочего времени проводишь.

И вот тут я услышал нечто в высшей степени поучительное.

– Эх ты. Прямо как дитя малое. Ну чего здесь непонятного? Любой материал надо копить – это великая сила. Может быть, он никогда и не понадобится – тогда и хрен с ним. А вот если понадобится, а его в руках нет, – как тогда?

– А с чего это ему вдруг надобиться? – недоумевал я.

– Как с чего? Ну вот возьмем хоть тебя. Ты когда кандидатскую защитил?

– Да уж лет десять.

– Ну вот, десять лет материал на тебя идет, поскольку теперь ты представляешь собой фигуру, значимую с точки зрения оперативной разработки. И контактов у тебя много, и имя твое многим среди коллег известно, ну и все такое. Как же тут без материала?

– А что за материал-то, если все, что я делаю, и так на виду?

– Да при чем тут – на виду, не на виду! Задокументированные факты – совсем другое. Вот хотя бы твои заявки на рестораны – они же все здесь, в папочке, лежат.

– Ну и что вы с этими задокументированными фактами делать собираетесь?

– Вот тут-то собака и зарыта. Все зависит от тебя самого и от ситуации. Допустим, пашешь ты на благо родины с полной отдачей и ни в чем действительно опасном не замечен... И не потому не замечен, что ловко скрываешь, – рано или поздно все на свет Божий выходит, – а потому, что и правда ничего особенного себе не позволяешь. А даже наоборот – ценный специалист и даже патриот. И везде тебе будет зеленый свет – и доктором становись, и профессором, и отдел получай, и по загранкам мотайся, и в Академию избирайся, а придет время – на Новодевичьем тебя зароем. И никто даже не наемкнет, что в твоей папочке и такие сведения есть, что ты вот любишь с иностранцами по ресторанам ходить, а в юности и в студенческие годы иконками подторговывал да еще и в преферанс резался на серьезные деньги, и Би-би-си слушал, и самиздатом обменивался, и знакомых у тебя в Израиле полно, и Солженицына давал читать, а уж Советскую власть на каждой пьянке с друзьями и в хвост и в гриву костеришь...

У меня аж дыхание перехватило, поскольку все сказанное Роговым точно соответствовало действительности, а томики «Архипелага ГУЛаг» рядом с бутылкой спирта прямо сейчас лежали в моем сейфе, поскольку я обещал дать их на три дня вполне надежному корешку.

А Рогов продолжал:

— ...поскольку не в этих мелочах твоя суть получилась, а в той объективной пользе, что ты стране принес. И пьяная болтовня ваша, и даже Солженицын в сейфе, никакого отрицательного воздействия на ситуацию в целом оказать не могут. И кто же будет твою большую пользу какими-то мелочами перечеркивать — не в сталинское время живем! Но вот, предположим, потянуло тебя куда-то не туда — или коллективное письмо, скажем, в защиту Сахарова решил поддержать, или из того же Солженицына избранные места стал ксерить и распространять, или в какой демонстрации решил поучаствовать... В общем, от интимной болтовни в узком кругу переходишь к публичной активности... А это значит, что можешь начать наносить существенный вред, и он твою пользу вполне может перевесить. Вот тут-то папочка и заговори! И опомниться не успеешь, как, например, в газете статья — и иконный спекулянт ты, и картежник, и пьяница, и профессиональный антисоветчик, и вообще улицу на красный свет постоянно переходишь и в вендиспансере по три раза в месяц проверяешься. Весь негатив, что на тебя десять лет копили, выплеснут в один момент. Никто ведь по годам делить не будет — каждый ведь по разу в год чего-то там нарушает, распространяет, читает или перепродает. А когда все разом, то впечатление будет, что ты только грязными делами и занимался. И какая тебе вера или поддержка после этого? И кто заступаться захочет? Что и требовалось доказать. Понял теперь? То-то...

Я очумело молчал. Рогов усмехнулся.

— Ладно, не дрожи. Бог даст, обойдется... И давай о наших разговорах особо не распространяйся. Хотя ничего секретного во всем этом нет — любой может сообразить, если подумать будет не лень, но все равно — я тебе так, по-свойски, без передачи. Гуд?

— Гуд-то гуд, но самому-то не противно?

— Противно — не противно... Работа...

Дополнение из 2015-го. Запись и правда интересная, но требует некоторых пояснений. В один прекрасный день всем сотрудникам было объявлено о появлении в директорате новой должности — заместителя директора по режиму — и об утверждении в этой должности некоего Владимира Фомича Рогова — как было сказано, совершенно выдающегося человека, специалиста и организатора, который будет активно способствовать нашему общему процветанию.

Поначалу о новом начальнике по специальной части — высоком и статном седоватом красавце совершенно киношного вида, в идеально сидевшем и явно импортном костюмчике и в модном по тем временам узком темном галстуке с яркой алой полоской наискосок —

мало что было известно. Поэтому заинтересованные лица использовали все возможные каналы, и постепенно из добытой по крохам информации начала вырисовываться следующая картина. Владимир Фомич Рогов был человек судьбы совершенно кинематографической. Как выяснилось, в течение чуть ли не двадцати лет он служил советским разведчиком-нелегалом где-то в Латинской Америке — то ли в Аргентине, то ли в Бразилии, а может даже и в Парагвае, не в мелочах дело, — и под видом местного жителя плодотворно трудился на советскую разведку. Потом, по каким-то там их разведческим причинам он таки был разоблачен, арестован, судим и даже посажен в их латиноамериканскую тюрьму, но через какое-то время путем сложных комбинаций обменян на кого-то из западных агентов, в свою очередь арестованных на бескрайних просторах нашей тогдашней страны. В результате он оказался на родине, которую не видел чуть ли не четверть века. И произошла забавная коллизия: человек, который двадцать лет вел свою каждодневную жизнь в относительно демократически устроенной стране с вполне развитой рыночной экономикой и соответствующим укладом, пусть даже и работал при этом на советскую разведку, теперь оказался в самом эпицентре совершенно иных и не слишком знакомых ему с практической стороны норм и правил режимного бытия. Неких последствий из такой ситуации просто не могло не случиться.

С новым режимником я столкнулся, когда мне надо было отправить факсом в Амстердам свою принятую журналом статью и я пришел к нему за разрешением.

Первой его реакцией было искреннее удивление. Быстро просмотрев мою четвертьстраничную заявку и пролистав предполагаемую к факсованию статью, он озадаченно спросил:

— А я-то тут при чем? Если вам надо статью послать, то это экспертная комиссия решает и Ученый совет, но никак не я.

— Да нет, — попробовал разъяснить я, — и комиссия, и Совет уже статью пропустили. И я ее уже отсылал. Просто редакция срочно просит кое-какую мелкую правку сделать для окончательного варианта, а письмо от них задержалось, так что теперь время поджигает, вот я и хочу сразу всю правленную статью им факсануть, а то если почтой, то опоздаю, и тогда по новой всё оформлять.

— Тем более! Если все уже разрешено и просто мелкая правка добавлена, то что от меня-то требуется? Идите себе и шлите.

— То есть как это — что требуется? Виза ваша нужна, что мне можно этот правленный текст в редакцию по факсу отправить. Иначе ведь операторша на факсе материал не примет.

До Рогова, казалось, не доходило.

– Почему не примет? – тут же ясно видно, что это чистая наука и поправки к уже посланной статье, а не посторонняя переписка.

Я начал слегка заводиться, не переходя, впрочем, границ приличия.

– Послушайте, есть же раз и навсегда установленные правила! Что бы там у меня ни было и как бы это ни было ясно, для отправки факса за рубеж требуется виза от того, кто эту отправку разрешает. Она фиксируется в журнале операторшей. Раньше визу ставил первый отдел, но нам на собрании объявили, что теперь виза должна быть вашей. Я и действую согласно правилам. Не понимаю, почему такое простое дело требует какого-то дополнительного обсуждения!

– Кто такую чушь придумал?

Я остолбенел.

– Вы и придумали! То есть, я не вас лично имею в виду, а ваше, так сказать, ведомство. Так всегда было. Есть виза – можно слать. Хоть науку, хоть поздравление с Новым Годом, хоть еще что. Так что подписывайте поскорее, а то я и по факсу опоздаю, чем нанесу ущерб пропаганде достижений советской науки в зарубежных журналах.

Рогов совершенно сомнамбулически поставил свою подпись в заботливо указанной моим пальцем графе, и, уже идя к двери с оформленной по всем правилам бумагой, я все чувствовал спиной ошеломленный и даже какой-то несколько обиженный взгляд нового начальника по режиму. И хотя вышестоящее начальство компостировало роговские мозги с той же, если не с большей, интенсивностью, что и мозги всего остального населения великого и могучего Советского Союза, но вакцинация, полученная Роговым в результате длительного пребывания вдали от родины, свое действие, несомненно, оказывала.

Нет-нет, ничего такого – он, как и положено, выступал на всех Ученых советах, призывая к бдительности, тщательной охране государственных тайн как в печати, так и во всяких других местах, к строго избирательному подходу в деле посылки специалистов за рубеж и к разным другим шагам, направленным на защиту, укрепление и процветание... но звучало это у него как-то не слишком убедительно. Если бы слышал его Станиславский, то произнес бы свое знаменитое: «Не верю!» Но Станиславский его не слышал, а тем, кто обычно слушал, все это было настолько до фонаря. Потому никто и не замечал затаившейся в роговских глазах тоски.

Не заметил бы ее и я, если бы, как все остальные, забегал к Рогову только за подписью. Но меня Рогов иногда задерживал потолковать, с изысканной вежливостью интересуясь, не отрывает ли он от чего более важного. В общем, Рогов наш представлял собой какое-то редкое исключение из правил. Даже жалко его. Не думаю, что его надолго хватило, как бы он ни старался приспособиться. Слишком

велик был контраст между тем, как делались дела в его буржуазной загранкомандировке, и тем, с чем он столкнулся на благодарной родине. Скорее всего, просто спился по известной российской манере все сомнения глушить водкой.

12 сентября 1981 года.

Пишу и думаю – не слабый я себе вчера подарочек ко дню рождения сделал! Ну чего мне вечно неймется! Ведь и проблемы-то не было, и Олег бы все нормально понял – не знает что ли наших порядков! От них ведь и уехал... А все равно заткнуться не получилось! Короче – вызвали меня вчера в первый отдел. Так и так, говорят, у нас по поводу вашей статьи, которую вы в европейский биохимический журнал отправляете, вопрос есть.

– К статье в министерстве претензий нет, а вот к списку авторов есть. Поэтому они нам и позвонили и попросили с вами этот вопрос утрясти.

– А в чем проблема? – спрашиваю, хотя про себя уже все понял.

– У вас в числе соавторов Олег Рапопорт значится. Вы что, не знаете разве, что он уже давно эмигрировал?

– Ну, во-первых, не так уж и давно, чуть больше года прошло, а во-вторых, вместе с ним мы те самые идеи, которые в основе этой статьи лежат, и генерировали. Даже если он в последних экспериментах личного участия и не принимал, все равно – он самый полноценный соавтор, потому и значится. К тому же разве у нас эмиграция – это преступление?

– Пусть эмиграция порой и разрешается, – отвечают, – но все равно ясно, что все эти эмигранты если и не прямые изменники родины, то люди, к нашему государству относящиеся недоброжелательно, почему и уехали. А включая их в соавторы присылаемых от нас статей, мы создаем им совершенно неуместную и незаслуженную рекламу и как бы даже поддерживаем. Поэтому компетентными органами рекомендована политика невключения таких лиц в авторские коллективы. Уехали – и уехали. Нет их здесь, значит и в соавторах нет.

Тут бы мне покочевряться еще немного и согласиться. В конце концов, не я первый в такой ситуации, не я последний. Вон даже на радио, когда «У нас еще до старта 14 минут» исполняют, никогда ведь не говорят, что слова-то – Войновича. Да и сам Олег совершенно другими вещами сейчас занимается, и эта статья ему славы не добавит. И не обидится наверняка. Нет, попер дурак на рожон.

– Нет, – говорю, – этого я сделать не могу, поскольку это будет просто нечестно, что-то вроде научного воровства, и статью отошлю как есть. Делайте что хотите!

– Да мы ничего особенного делать и не хотим, – спокойно так отвечают, – а с товарищем Дергуновым из министерства мы вас сейчас и соединим. Он так и просил, если какие проблемы. Ему все и объясните.

Соединили меня с этим неведомым мне начальственным Дергуновым, и все пошло по новому кругу. Дергунов уже начинает угрожать, что у меня могут сложности с посылкой будущих статей возникнуть, да и с участием в международном сотрудничестве, если я такое непонимание и упрямство проявляю... Вот тут-то мне окончательно вожжа под хвост попала.

– Нечего меня пугать и шантажировать, – говорю, – и попробуйте только со статьей что-нибудь без моего ведома учинить! Я статью все равно так или иначе пошлю, да еще найду способ всю эту историю сделать известной ведущим научным журналам мира, чтобы знали, как вы научную этику соблюдаете и как на деле относитесь к тем, кто в соответствии со всеми подписанными нашей страной договорами на постоянное место жительства за границу уехал. Посмотрю, как вы отвечать будете!

– Дело ваше, – отвечает после некоторого молчания собеседник, – я вам постарался все разумные доводы привести; силой вас заставить убирать фамилию Рапопорта из списка авторов не могу. Так что вся ответственность будет на вас.

На том и распрощались. И я, чтобы слабины не дать, тут же статью в конверт – и в канцелярию, приложив разрешение экспертной комиссии, чтобы не задерживали. Поклялись, что сразу отправят. А я вот пишу и думаю: чем все это теперь кончится и какие я на свою задницу неприятности нажил?

Дополнение из 2015-го. Тогда я еще не понимал: в каком-то смысле для меня это была точка бифуркации. Может быть, кому-то это все незначительным покажется: чего из-за такого пустяка копыя ломать, – но для меня это point of no return, то есть точкой невозврата было, поэтому так хорошо и запомнилось. Если бы я тогда прогнулся и согласился, скурвился бы и стал обычным советским дерьмом. Стучать, конечно, вряд ли бы стал (хотя и тут – кто знает), но приходил бы во все большее согласие с происходящим, даже если в душе иногда и взбрыкивал бы. А тогда меня просто что-то за горло взяло. Мало того, что я слабину дал – в их партию вступил, сам себя обгадив, так они из меня хотят теперь уже полное говно сделать. Ну, конечно, я не уверен, что именно в таких терминах я в тот момент думал, но что-то очень похожее. И чувствовал, что как бы я себя ни уговаривал, даже если и решу уговаривать, все равно не получится,

чего ж зря мучиться. А когда решение это внутри меня оформилось, то тут легко стало – и возражать не боялся, и даже грозил им с полным спокойствием и уверенностью. И, похоже, они это почувствовали. В общем, все по-моему вышло. Статью отослал, ее приняли и вскорости в очень достойном журнале напечатали. До сих пор в научном плане число ее среди своих достижений. И не только научных.

Как ни странно, особых неприятностей для меня не последовало. Во всяком случае, я к чему-то более серьезному морально подготовился. Ну, не подписал мне партийный секретарь характеристику на следующую заграникомандировку; ну, упомянули пару раз на институтских собраниях как пример политический близорукости... А мне это помогло понять, что если не влиять, а позицию свою обозначить четко и резко, то особо и доставать не будут. Чего с такого взять? Я тогда еще подумал, что, может, если бы я со вступлением в ряды тогда тоже резко уперся, то обошлось бы, и никто меня додавливать бы не стал, и лаборатории не лишили бы. Но тут поезд ушел. Растерялся тогда...

Да, интересно, что вскоре после того, как я сюда перебрался, встретились мы с Олегом и про эту статью тоже говорили. Он рад был, что работу все-таки мы до конца довели и что он в соавторах, хотя, как я тогда записал, он уже давно совсем другими вещами занимался. Но вот когда я ему зачем-то стал эту историю рассказывать – на комплимент что ли нарывался? – то он даже удивился: мол, а как же еще можно было поступить? Не знаю, то ли он действительно другого поведения себе не представлял, то ли просто советские реалии того времени подзабыл, – я его как человека не очень хорошо знал, только как коллегу. Да и после этого встречались нечасто – так, где-нибудь на конференции столкнемся – привет-привет, как дела? – вот и весь разговор, но у меня к нему все равно теплое чувство осталось, как к человеку, который меня от беды спас. Ведь, в сущности, так оно и было...

26 апреля 1983 года.

Пронаблюдал сегодня картину невероятную. С таким стремительно нарастающим уровнем идиотизма долго наша система не продержится! Где только таких идиотов берут! Действительно, отбор по принципу отрицательной селекции – чем глупее, но преданнее, тем лучше. А было вот что. Нашу группу докладчиков на советско-итальянский симпозиум, намеченный на конец мая в Италии, сегодня... инструктировали. Нет – ИНСТРУКТИРОВАЛИ!

Первый раз всю делегацию собирали еще в середине марта. Вопросов тогда у присутствующих оказалось множество – начиная с того, в галстук или без галстука делать доклады и надо ли получать разрешение Главлита на слайды, – и до того, сколькоразовое питание

их ожидает, кто будет платить за экскурсии и предусмотрено ли организованное посещение магазинов для выполнения семейных заказов или каждый должен отовариваться по собственному разумению... Да, и всех, конечно, сильно интересовало, какие командировочные им положены. Куратор нашей делегации постарался ответить на всё, что мог. В результате оказалось, что слайды в Главлите утверждать надо, но каждый должен литовать сам; галстук на докладе не обязателен, но все должны помнить, какую страну они представляют, и выглядеть соответственно; плановые экскурсии будут оплачены, лучше от группы не отделяться, а если уж и отделяться, то только по двое и поставив в известность руководителя делегации, причем невыполнение инструкций будет рассматриваться как грубое нарушение правил поведения советских командированных за рубежом, со всеми вытекающими отсюда последствиями!

Ну вот, а сегодня утром, когда все собрались для окончательной «полировки», в комнату вошел академик Журавлев, руководитель делегации и сопредседатель симпозиума, а с ним еще трое незнакомых представительных мужичков одинаково солидного вида.

— Вот и спецсопровождение пожаловало, — негромко прокомментировал сидевший рядом со мной Толик. — Как мы только без них доложиться бы смогли!

— Да плюнь ты, — порекомендовал я. — Все равно никуда от них не денешься...

Дискуссии о роли кэзгбешников в проведении международных научных встреч не получилось, поскольку слово взял уже знакомый чиновник из УВС.

— Здравствуйте, товарищи дорогие! У меня для вас хорошая новость — все двадцать четыре докладчика от нас инстанцией утверждены. Так что никаких проблем с составом и программой с нашей стороны не будет...

Аудитория одобрительно загудела.

— А об остальном с вами поговорит глава делегации академик Журавлев и наши гости.

— Был глава, да весь вышел, — хохотнул Журавлев и, прежде чем кто-нибудь успел высказать свое удивление, разъяснил: — Вот так, друзья, готовил я этот симпозиум, готовил, а вышло так, что точно в те же дни мне надо сопровождать правительственную делегацию во Францию. Там наряду с разными общегосударственными проблемами предполагается обсудить и кое-что по научному сотрудничеству. Хоть и недалеко, но через Альпы не перепрыгнешь. Итальянскую сторону я уже предупредил. Отдел науки ЦК тоже в курсе. Сегодня вам говорю. И руководить советской частью симпозиума, а значит и

всеми вами, будет мой зам. по секции Николай Филимонович Прокопенко. Многие из вас его знают или слышали. Он член-корреспондент Академии наук, профессор, замдиректора нашего ленинградского филиала по науке. Прошу любить и жаловать.

Со стула поднялся один из пришедшей с Журавлевым троицы и слегка нам всем поклонился.

– Он же будет осуществлять и, как бы это сказать, политико-воспитательную работу, – продолжал Журавлев, – поскольку был в свое время секретарем парткома большого оборонного предприятия, так что опыт работы с людьми у него имеется. Ну вот, я его с вами и оставляю. И желаю хорошей поездки и успешной работы. А мне пора.

И величественно удалился.

– Ну что ж, продолжим, – гнул свою линию чиновник. – Вам, Николай Филимонович, надо будет со всеми перезнакомиться. И как раз сейчас для этого будет подходящий момент. Можно сказать, посмотрите своих подопечных в деле.

– Как это? – удивился Прокопенко.

– А так, что мы тоже на месте не стоим! И новые формы работы с заграникомандированными у нас появляются все время. Вот сегодня мы пригласили товарищей инструкторов из административного отдела ЦК, которые предложили игровую методику подготовки отъезжающих к возможным нештатным ситуациям. Сейчас мы этим и займемся, и каждый из делегатов примет участие. А вы понаблюдаете, а при случае и совет дадите на основании своего опыта.

Со стула поднялся один из оставшихся непредставленными визитеров. Не поздоровавшись и не назвавшись, он разом окинул всех и каждого пронзительным взглядом маленьких темных глазок и приступил к делу. Для начала он напомнил, в какое сложное время мы живем:

– Вы все люди взрослые и образованные. Многие из вас сами руководители. За политическими новостями вы, конечно, следите. Так что политпросветом с вами заниматься не надо. Но лишний раз напомнить вам, как все непросто в сегодняшнем мире и какую бдительность надо проявлять, выезжая за пределы нашей родины, считаю совершенно необходимым. Мы, конечно, понимаем, как вы про себя рассуждаете. Дескать, едем на конференцию, западных коллег кого лично, кого по статьям знаем, общаться будем на темы исключительно научные, да и вообще кругом разрядка и мирное сосуществование – какая тут еще бдительность нужна? Запомните: ничто не может быть дальше от правды, чем подобные детские рассуждения. Тут нашего брата и ловят! Да – разрядка, да – сосуществование и даже, в какой-то мере, обмен и сотрудничество. Но у этой медали есть и другая сторона – люди расслабляются, считая, что врагов теперь больше нет; а враг есть, и еще

какой, и именно вот в такие психологические щели он и пытается внедриться. По имеющимся у нас сведениям, практически все западные делегации на всех конгрессах и симпозиумах просто битком набиты агентами соответствующих спецслужб – под видом переводчиков, гидов или журналистов, да и среди самих ученых немало тех, кто на те же спецслужбы по совместительству работает. И все они решают триединую задачу – во-первых, насобирать как можно больше научно-технических новинок из ваших разговоров в кулуарах, во-вторых, под видом свободной информации подбросить вам разнообразные жаренные фактики, специфически осуществленный подбор которых призван пошатнуть ваше доверие к партии и правительству, и наконец, в-третьих, под аккомпанемент разговоров о нашем якобы дефиците и их якобы изобилии посмотреть, не потекут ли у кого слюнки, а уж такого, с позволения сказать, потекшего подвергнуть настоящей психологической осаде, уговаривая на невозвращенство. И к подобного рода провокационным беседам, вопросам и намекам вы всегда должны быть готовы. И не просто готовы в смысле отмолчаться или отмычаться, а должны быстро и находчиво отражать такие атаки и даже переходить в наступление, открывая случайным слушателям глаза на наши неоспоримые успехи и достижения во всех сферах. Вот именно для того, чтобы ознакомить вас с возможными сложными вопросами, которые так любят поднимать западные радетели за демократию, и с тем, в каком примерно плане надо на такие вопросы отвечать, мы и разработали игровую модель подготовки выезжающих. Сейчас вы поймете, как это делается. Мой коллега предложит вам несколько тренировочных вопросов. Просьба отвечать только тем, к кому вопросы эти будут обращены. Не волнуйтесь, у каждого будет возможность отличиться.

Тут, наконец, дошла очередь и до последнего из гостей. На эту игру стоило посмотреть! Он поднял воротник пиджака, сунул в угол рта незажженную сигарету, ссутулился и нарочито вихляющей походкой направился к делегатам. Именно так изображали шпионов и вредителей в самых убогих фильмах ранних пятидесятых; подобные же фигуры сидящих в идеологической засаде врагов попадались на плакатах тех лет с лозунгами «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст» или «От узких брюк до измены Родине – один шаг».

– Слушай, даже на фоне их обычного идиотизма это уж что-то совершенно запредельное, – драматически зашептал Толик. – Всему хана – у них эпидемия дегенерации, причем заразная. Нам бы не подхватить!

– А мне нравится, – возразил я. – Райкина слушаешь и знаешь, что все это выдуманное, а тут все в натуре. Шуты-уроды увеселяют присутствующих. Посмотрим, чего они там напридумывали.

Тем временем «актер» подошел к одному из потенциальных делегатов и, гипнотизируя его нарочито вытаращенными глазами, визгливо – как, по-видимому, по его мнению и должен был разговаривать злобный антисоветчик, – прокричал тому в лицо:

– А правду пишут в наших газетах, что советские люди часами в очередях за туалетной бумагой стоят и чуть ли друг друга не убивают из-за каждого рулона? Так это или не так?

Делегат попался надежный – тут же изобразил безразличную морду и строго ответил:

– Вы бы лучше пристыдили тех, кто эти бредни тиражирует, а не повторяли! Мы в космос людей запускаем...

– Патриотично, – перебил его организатор игры, – но не срабатывает. Вы что же, думаете, они не знают, о чем говорят? Вы вот так ответите, а он из кармана «Правду» достанет с фельетоном на эту тему, и как вы тогда выкручиваться станете? Нет, лобовое отрицание не проходит. Они, к сожалению, очень неплохо информированы. По другому действуйте – отдельные недостатки признавайте, но кройте их чем-то более важным! Перехватите инициативу. Атакуйте! Спросите, а в курсе ли он, что Советский Союз выпускает самые большие тиражи книг в мире? Да, мощности бумажной промышленности неограничены. Но руководство в первую очередь удовлетворяет духовные запросы нации, за что советские люди ему искренне благодарны. И перебои с туалетной бумагой готовы и потерпеть. Понимаете теперь? Вы и наличия доли правды в вопросе не отрицали, и, вместе с тем, в своем ответе одновременно сумели провести контрпропаганду – они вас грязной задницей устать хотели, а вы их духовными запросами срезали! Ну, пойдем дальше...

«Провокатор» переместился к следующему члену группы и с уже знакомой интонацией спросил:

– А почему у вас левых художников подавляют? Выставляться не дают, милицией травят. Как это совместить с демократией и свободой самовыражения?

На этот раз случилась заминка. Мордатый профессор из Баку, к которому был обращен вопрос, похоже, и понятия не имел не то что о левых художниках и их проблемах, но и на вопрос о том, кто такой Репин, вряд ли ответил бы.

– Кого подавляют? Честное слово, клянусь, никогда не слышал! У нас новый театр оформляли, так я точно знаю, что левых художников нанимали. И заплатили им столько, что горько разбирался...

Внимательно поглядев на бакинца, организатор игры понял, что тот на шутки не способен.

– Так, здесь другая крайность. Вы все-таки представляете совет-

скую интеллигенцию, так что общие представления о культурных процессах в стране вам иметь надо. Перед отъездом почитайте газеты. «Литературку», например, или «Советскую культуру». Обратите внимание на фельетоны. Чтобы разбираться. Ну, а пока мы вам сами пару примеров покажем, чтобы понятнее было. А потом по каждому пройдемся и подведем общий итог вашей идеологической готовности.

Аудитория, полагавшая, что все окончательные решения уже приняты, слегка напряглась. Филимоныч явно млел от ощущения причастности к важному идеологическому мероприятию.

Работающий под провокатора обернулся к своему коллеге и выпалил «примерный» вопрос:

– Почему у вас «Архипелаг ГУЛаг» запрещают? Вы что, правду о преступлениях прошлого режима от народа скрываете?

Второй подарил присутствующим полный комсомольского задора взгляд – вот, дескать, как он сейчас вражину умоет! – и ответил с некоторой даже ленивой брезгливостью, как будто ему уже надоело по десять раз на дню растолковывать очевидные истины:

– Ну что за ерунда! Как можно вообще такое говорить, если и сам культ личности Сталина, и все его перегибы были открыто осуждены на XX съезде КПСС. И это даже в школьных программах отражено. И все, что Солженицын так многословно рассусоливает в своем «ГУЛаге», было полностью изложено в отчетном докладе Хрущева еще в 1956 году. И не надо нас больше в прошлое тащить! Не надо на ошибках заикливаться! Партия все вскрыла и осудила. Народ понял. И мы глядим вперед, а не назад.

– Вот жулье, – прокомментировал неумный Толик, – во-первых, пойдя достань этот хрущевский доклад, если даже в Ленинке его только по спецдопуску выдают, а во-вторых, про то, что «ГУЛаг» запрещают, он вообще продинамил... Игрыны хреновы...

Пара затейников тем временем продолжала представление.

– А почему у вас евреям выезд в Израиль не разрешают? – спросил якобы провокатор.

– Да откуда ж вы такие лживые сведения берете? – возмутился якобы делегат. – Неужели вы не знаете, что именно Советский Союз – один из основных сторонников образования государства Израиль? У нас даже в песнях поют, что там на четверть бывший наш народ! А вы говорите – не выпускают! И все это на основании тех немногих случаев, когда подающий заявление на выезд оказывается, скажем, уголовным преступником или, напротив, носителем государственных секретов! Таких, может, пять случаев на сто, но именно про них кто-то и поднимает шум на весь мир. Знаете, на такие вопросы мне даже и отвечать не хочется. Их можно только с провокационными целями

задавать, а мы здесь для научного обмена, а не для ненаучного скандала. Так что, извините!

– Ну как, понятно более или менее, чего ожидать можно и как реагировать? – спросил якобы делегат у тех, кому предстояло стать делегатами настоящими.

Аудитория осторожно зашумела в том смысле, что чего уж тут непонятного, – отобьемся!

– А раз понятно, то теперь по одному вопросу каждому – и порядок. Всего, конечно, не предусмотреть, но по основным темам пройдемся. Самим же легче будет.

...И понеслась душа в рай. Прошлись по всему – и по Афганистану, и по Олимпиаде, и по неурожаям, и даже по высыхающему Аральскому морю... Народ худо-бедно, но выкручивался. Очередь дошла до меня.

– А как вы лично относитесь к Сахарову и его деятельности?

– К Сахарову? А кто такой этот Сахаров и почему я должен к нему и его деятельности как-то специально относиться? – с искренним недоумением в голосе ответил я, невинно глядя в глаза «провокатору».

Тот мгновенно оторнул свою игру и вскинулся:

– Вы дурака-то не валяйте! Что это значит – «кто это такой?»! Вы что, газет не читаете? Как вы будете в их глазах выглядеть? Вы серьезный ответ дайте! Политический!

– Подожди, подожди, – неожиданно заинтересованным голосом перебил разверещавшегося «провокатора» его напарник, который, похоже, из них двоих был чином или положением постарше. – А что, это идея! Можно иметь в виду. Очень даже здорово получается: как можно серьезно говорить про авторитет и влияние человека, о существовании которого сами ученые даже и не подозревают! Просто отлично! Спасибо, товарищ, – поблагодарил он меня, – хорошая находка. Думайте, импровизируйте, и не нас они будут в лужу сажать, а сами в ней окажутся!

– Вот так, – прокомментировал мне, несколько смущенному таким поворотом дела, Толик, – хотел с ними дурака повалять, а в результате в отличники выбился! Забыл, что у них своя логика, к нормальной отношения не имеющая... А ты помни...

В общем, как старушка ни болела, а все же померла. Так вот и наша игра постепенно закончилась. Утомленные массовики-затейники удалились в коридор вместе с академическим инструктором, который попросил всех делегатов дожидаться его возвращения. Когда минут через пять тот появился снова, то на лице у него было написанное нескрываемое облегчение.

– Ну что ж, – обратился он к ожидавшей вердикта аудитории, –

экзамен мы выдержали нормально. И вашей активностью и ответами остались удовлетворены. Маленькая встречная просьба – по возвращении в отчете о командировке не забудьте указать, что игровая подготовка вам очень помогла. Им тоже отчитываться надо. Договорились? А пока езжайте по домам и гостиницам собираться. Паспорта, билеты и деньги получите в день перед отъездом в этой же комнате после трех. Счастливо!

Отправились собираться, оживленно обсуждая, сколько с собой надо захватывать водки – и для подарков, и вообще. Решили, что брать надо по максимуму – сколько позволят вывезти.

15 мая 1984 года.

Все! Не могу я больше в этой стране находиться! Задолбали! Если даже лаборанта не дают зачислить потому, что тот еврей, как работать?! А я все это выслушиваю и даже по морде не даю... И я, значит, такое же дерьмо!

Дополнение из 2015-го. Не то чтобы этот случай действительно последней каплей стал, но запомнился он мне сильно. Уж больно все омерзительно было. Из дневникового текста мало что понятно, а ситуация сложилась следующая. Евреев в Институте, где я тогда работал, было довольно много. Особенно по тем временам и по сравнению со многими другими научными учреждениями, руководители которых проводили жесткую кадровую политику и не желали иметь дело с подозрительными инородцами, которые того и гляди подведут под монастырь в связи со своей генетической тягой к перемене мест. Еще при первом знакомстве с Институтом и его сотрудниками я отметил про себя довольно заметную прослойку еврейских лиц и фамилий среди сотрудников и порадовался порядочности местного руководства. Но довольно быстро понял, что на самом-то деле происхождение еврейской прослойки не имело ничего общего с интеллигентским неприятием великодержавности или национальной розни, а базировалось исключительно на соображениях сугубо прагматических.

Дело в том, что когда и весь гигантский научно-технический центр, и являвшийся его частью наш Институт только создавались, были выработаны два вполне себя оправдавших подхода к кадрам. Во-первых, руководители начали собирать толковую, но не имевшую особых перспектив для роста молодежь из Университета, сразу предлагая ей прыжок как минимум через ступеньку карьерной лестницы – именно так в Институте очутился я, а во-вторых, они решили привлечь к делу некоторое число уже завоевавших себе приличное научное имя специалистов-евреев, которым в их собственных учреж-

дениях кислород перекрывали все сильнее. Демонстрировались полное понимание, доверие и поддержка, предлагались почти идеальные условия для работы и даже маячило где-то на горизонте международное сотрудничество. Вот так народ и пошел к нам, и создал то самое слегка семитское лицо Института.

Впоследствии, когда авторитет нашего научного учреждения и качество проводимых работ стали общепризнанными и в дополнительном вливании не нуждались, было, по-видимому, решено, что хватит баловства и пусть уж что есть – то остается, но в новых евреях-ученых потребности больше нет. Тем более, что какое-то количество «облагодетельствованных» на историческую родину все-таки отбыло, и верховному начальству порядком надоело отмазываться от упреков недоброжелателей в «недостатках идеологической работы».

Именно с новой кадровой политикой дирекции и была связана произошедшая со мной история. В тот момент я искал старшего лаборанта, способного к работе с животными. Пропустив через свой кабинет с десятком потенциальных кандидатов, рекомендованных друзьями и коллегами или просто откликнувшихся на объявление, выпущенное через отдел кадров, я, наконец, наткнулся на то, что искал. Это был парень – здоровый как шкаф, но исключительно приличного вида и манер и с опытом работы. Я велел парню заполнить все положенные анкеты, написать заявление о приеме на работу и быть готовым к появлению в лаборатории на следующий день. Я поставил на первой странице его документов свою визу и лично отнес всю папочку секретарше директора для немедленного наложения резолюции «в приказ».

Директорская секретарша позвонила почти сразу и, к моему великому удивлению, не попросила зайти и забрать оперативно подписанную бумагу, а напротив, передала указание немедленно – лучше даже бегом – явиться к директору в кабинет для каких-то выяснений. Как только я вошел, директор, поднявшись из-за стола и не поздоровавшись, резко заговорил:

– Тебе что, проблем не хватает? Ты хочешь со мной нормальные отношения иметь или подставлять меня хочешь? Ты что под идиота косишь?

Совершенно ошеломленному, мне удалось, наконец, вставить слово.

– А что случилось-то? С чего это вы на меня набросились? Почему столько шума?

– Сам понимать должен! – зло буркнул директор. – Ты кого мне в Институт тащишь? Чьи бумаги ты мне «в приказ» подсовываешь?

Я совершенно растерялся.

– Вы о чем? О новом лаборанте? Вот – нашел подходящего. Или тут что-то такое, чего я не понимаю?

– Все ты понимаешь! Выгодно под дурачка работать! Своих тянешь и делаешь вид, что так и надо.

Я начал догадываться, в чем дело.

– А надо гусей не дразнить. Мало я евреев в Институт набрал? Сколько вас у меня? И все на хороших работах. И никому не на что жаловаться. Ну так поимейте же совесть! Ладно, профессоров держу – так теперь вам и лаборанты! А перед КГБ мне отдуваться?

Я начал закипать, что, в общем-то, мне было не особо свойственно.

– Во-первых, никого и никуда я не тяну. Во-вторых, подбираю таких, кто сможет работу выполнять, за которую вы сами с меня же и спрашиваете. И как всегда, с руганью и криком. И в-третьих, я вам не гестапо – лаборантам национальность проверять. У парня и имя, и фамилия совершенно нейтральные, на еврея он не похож. А и был бы похож, так я все равно не в пятый пункт заглядываю, а по другим параметрам людей оцениваю. И вы меня знаете – буду на своем настаивать!

– Ишь, принципиальный! Я, значит, – гестапо, а ты – голубчик. Чистыми все хотите за моей спиной оставаться.

– А при чем тут ваша спина? Пусть на меня собак вешают, если вообще кому-то в голову такое паскудство придет.

– Придет, милый. Еще как придет. Знаешь, сколько у нас уже бесед в КГБ было, что мы в таком количестве евреев держим? Готовим, так сказать, кадры для потенциального противника... Есть строгая инструкция КГБ – евреев больше не брать. Вот и не будем. Прямо с твоего протеже и начнем.

– Какая инструкция? Что вы говорите? Такого даже раньше не было! Кто такое подписать может? Не Гиммлер же у нас у власти. Покажите мне эту инструкцию или визируйте парня! Я хоть до Политбюро дойду, но узнаю, кто это такие инструкции пишет и в жизнь претворяет!

Директор, зная, что когда на меня «находит», я могу дойти черт знает до чего и подставить не только себя, но и свое руководство, перегибать палку тоже не хотел и попытался подвести марксистский базис под жилетку.

– Ну что ты кипятишься? Сам знаешь, что вокруг творится. Я из-за какого-то вшивого лаборанта неприятностей не хочу. Другого найдешь. И уж если тебе так по поводу инструкций любопытно, то вот в КГБ и выясняй. Они тебе прямо за счастье почтут разъяснить. И при ком ты живешь – тоже объяснят тебе во всех деталях. Приемная у них на Кузнецком, если тебе это еще не известно. Ну, а пока ты к ним

еще не сходил, забирай бумаги и больше меня этим делом не тревожь.

И не подписал. Тем дело и закончилось. Гадко мне было...

16 ноября 1984 года.

Вроде и пустяк, но показательный – поэтому не записать не могу. Пример классовой (или еще какой?) солидарности. Прилетел сегодня из Югославии. Небольшая конференция в Дубровнике. Красота, конечно, но мы много и не видели – конференция три дня, нам и командировка на три полных дня плюс несколько свободных часов в день прилета и в день отлета, немного по городу побегать. Денег нам, естественно, выдали с гулькин нос. Только перекусить слегка. Даже на пустяки Марье с Дарьей не набрал. Но какие-то гроши все-таки остались. Вот в раздумьях, как бы это с максимальным толком потратить, я и набрел на витрину винного магазина. А там за стеклом такой ряд всяких местных наливок и настоек, что напомнил мне из прошлого один из стояков в винном в Столешникове, ну на котором все эти «Горные Дубняки», «Ерофеичи», «Померанцевые», «Зубровки», «Беловежские», «Анисовые», «Тажные» и прочие рядами стояли! И тут тоже – красивые такие бутылки по литру каждая, и цена на них наклеена какая-то нереально низкая. Набралось моей мелочи аж на восемь бутылей. Их я и притащил в номер и аккуратно уставил в свою спортивную сумку – а у меня больше ничего с собой и не было, – что мне надо-то на три дня, кроме смены белья, пары рубашек, бритвы и зубной щетки, – надев на каждую запасной носок или обернув в ношеную майку, чтобы не брякали и не побились. Так они у меня в сумке обоймой и выстроились, только синие (все пробки в синей фольге были) головки вверх торчат. Пристроил между ними остальные мелочи – и в путь. Сумку, естественно, в багаж не сдавал. Прилетаю в Москву, прохожу через таможенную в полной уверенности, что меня с одной спортивной сумкой никто останавливать и досматривать не будет, и тут-то меня таможенник и тормозит. То ли брякнуло у меня что-то, то ли вид был слишком независимый, но попросил он сумочку ему на стол поставить и открыть. Ну, ставлю и открываю в предчувствии серьезных неприятностей, поскольку провозить можно только одну бутылку. Он глядит на мою батарею и от возмущения аж на шепот переходит:

– Что это? – шипит, вытаскивая одну из бутылей из майки, в которую она была завернута.

– Югославская настойка на какой-то травке, – отвечаю ему честно.

Тут он решает, что ему сегодня крупно поперло, и он выловил серьезного контрабандиста. От радости к нему возвращается голос, и он теперь уже командирски орет мне:

– А ну-ка остальной багаж мне на стол!

Ему ведь за стойкой не видно, что у меня ничего больше нет. Но я для него ситуацию проясняю:

– А у меня больше ничего нет.

– То есть как это – ничего нет? – не может поверить он.

– Да вот как-то так, – говорю. – Кроме этой сумки, никакого багажа. И в карманах только паспорт и носовой платок.

Он все еще не врубается:

– Вы что же, с одной только сумкой из-за границы приезжаете?

– Ну да, – объясняю, – я же на несколько дней летал. Что мне кроме смены белья и бритвы нужно-то? Да и купил только то, на что моих грошей хватило.

– То есть, только водку и купил? – начинает доходить до него.

– Не водку, – уточняю, – а крепкую настойку. Югославы ее умеют хорошо делать.

Тут его лицо озаряется светлой братской улыбкой и тоном старого друга он выдает:

– Ну ты даешь! Надо же – сумка водяры – и все. Давай, проходи, братан. Добро пожаловать домой!

И действительно, прямо по Высоцкому получилось: «кроме водки – ничего, надежный наш товарищ». Если человек выпивку по-перед всех остальных благ ставит, не обижать же его грязными подозрениями и, тем более, не лишать же предстоящего удовольствия!

Ну я и пошел. А там уже Марья ждет. Вот, домой приехали, бутылки в бар составил – еле втиснул, и решил это записать. Не про Адриатическое же море писать или про красные крыши Дубровника – про это уже писано-переписано...

Дополнение из 2015-го. Перечитываю и сам улыбаюсь. Сколько все-таки водка для страны значила. Даже как знак узнавания «братьев по духу». Я уж было забывать начал, а тут сам себе напомнил. Наверное, права Мария – не уехали бы мы оттуда, так я бы там точно спился. Не то, что мы тут не пьем, но... В общем, понятно...

14 апреля 1985 года.

Пишу за полночь, и руки дрожат. Хотя ко многому в этой жизни привык. А может, именно поэтому перестал осознавать, как всех нас в этой жизни опустили. Короче, купила сегодня Марья в нашем молочном нечто совершенно невиданное: голландские консервированные сосиски в высоких банках; целых три банки досталось в соответствии со спонтанно возникшими правилами немедленно сформировавшейся очереди – больше трех в одни руки не давать. Прямо тем же вечером

одну банку к ужину и открыли. И когда сварилась и была разложена по тарелкам картошка, жена положила мне, уже млевшему от здорового мясного запаха, и заинтригованной родительским волнением, настроившим ее на какие-то необыкновенные деликатесы, дочке по три упругих темно-коричневых изделия чуждой пищевой промышленности, которые не только по запаху и виду, но и по вкусу оказались совершеннейшим мясом и ничем, кроме формы, не напоминали вялые бледно-розовые с желтизной продукты московского мясокомбината, обладавшие отвратительным химическим запахом и гнусным бумажным вкусом. Мы с женой жадно стали заглатывать случайную добычу, восторгаясь качеством и растравляя друг друга воспоминаниями, как в далеком своем детстве нам тоже приходилось жевать нечто подобное, свободно продававшееся тогда в любом продуктовом! И в разгар приятного ужина мы неожиданно заметили, что Дашка, отжев только половину сосиски, с откровенной мукой смотрит на остальную порцию.

– Ты что, дочь, притормозила? – удивился я. – Такую вкуснятину и с такой брезгливой миной! Забаловали мы тебя совсем!

– Не буду я это есть! – отрезала дочь. – Это дрянь какая-то, а не мясо. Вы меня нарочно обманываете. Просто настоящих сосисок не достали, вот и подсовываете! Я лучше одной картошки поем.

– То есть, как это – не мясо? Уж если это тебе не мясо, то чего же ты хочешь? – в один голос возопили потрясенные такой реакцией любимой дочери родители.

– Сосисок хочу! Настоящих! Таких, как мама всегда покупает.. В пакете. Цепочкой. Из мяса!

И тут только до ошеломленного меня дошло, что Дашка, за свои без малого восемь лет ничего, кроме тех самых «в пакете-цепочкой» не выдавшая, пребывает в полной уверенности, что именно эта смесь измельченной туалетной бумаги с какими-то неведомыми пищевыми отходами и является мясными сосисками! И запах и вкус настоящего мясного фарша приняла за что-то несъедобное! Я не сказал ни слова. Промолчала и жена, понявшая по моему лицу, что от любых разговоров пока лучше воздержаться. И только Дашка быстро доглотала картошку, допила чай и уселась в столовой перед телевизором. Я, механически дожевав потерявший для меня всякий вкус деликатес, молча поднялся, ушел в спальню, лег на кровать и тупо уставился в потолок. Потом подошла жена, села рядом и погладила меня по голове.

– Послушай, – помню, как сейчас, сказал я, – ты понимаешь, что наша дочь растет, не зная вкуса нормальных сосисок? Ее приучили жрать крахмал, как будто так и надо. А я, здоровый и толковый мужик, как бы даже и ничего сделать не могу. Это что – нормально?

Дополнение из 2015-го. В действительности неплохие продукты в нашем молочном, в отличие от сотен других московских, периодически появлялись. Причина была простая: неподалеку находилась валютная продовольственная «Березка». А любые продукты, даже самые валютные, имеют свой строго определенный срок реализации, отмеченный на упаковке. Привыкший к деликатному питанию цивилизованный иностранец ни за какие коврижки просроченный продукт не купит. Поэтому все эти «Березки» регулярно проводили операцию так называемого «развалочивания» – то есть отбирали товары, пережившие свой законно отпущенный век или слишком близко к нему подошедшие, и отправляли их для реализации – не пропадать же добро! – в расположенные по соседству обычные городские продуктовые магазины соответствующего профиля. Вот именно благодаря такому положению вещей в булочных, молочных и бакалеях того района, где проживал я со своим небольшим семейством, время от времени появлялись то какие-то невиданные консервы, то красивые пачки зарубежных крекеров и печений, то еще что-нибудь настолько привлекательное, что никто из случайно ухвативших подобный товар счастливчиков ни на какие даты и смотреть не думал. А тут – сосиски!

Надо сказать, что незадолго до этого происшествия я оппонировал одну диссертацию из пищевого института как раз по сосискам – точнее, моя задача была обсудить новые полимерные эмульгаторы для колбасно-сосисочных смесей, использованные в этой работе, а уж о пищевом значении говорил второй оппонент. Но забавным оказалось то, что диссертация была засекреченной, так что мне еле удалось пробить разовое разрешение на оппонирование, и только после полного ознакомления со всей работой до меня дошло, что засекречена она была по причине приведенных составов предназначенных для советского народа колбасных смесей, в которых, как неоспоримо следовало из детальных таблиц, было все – белок соевых бобов, крахмал, молотые хрящи и сухожилия, даже кожа и всякие пахнущие мясом химикаты – вот только мяса не было! Это и стало главным секретом: в отечественных колбасопродуктах для широкого потребления мяса не было! И задумываться по поводу того, до каких же пор должен я кормить семью белком соевых бобов вкупе с измельченным хрящем и крахмалом, стал я все чаще и все сумрачней. «Колбасная» эта история, при всей своей незначительности, в каком-то смысле оказала влияние на всю мою дальнейшую жизнь.

7 февраля 1986 года.

Получил сегодня от жизни очередную оплеуху. Случайно выяснилось, что мой Грицько – стукач. Именно он – а может, и не только он –

за мной в четыре глаза наблюдает и на меня пишет. А я его, можно сказать, из рук выкормил! Спасибо Рогову – он мне глаза открыл. А дело было так. Приехал я сегодня в институт уже под вечер – весь день в Университете провел, – и только вхожу, как меня чуть с ног не сбивает Рогов. На нем практически лица не было. И даже выглядел он не так элегантно, как обычно, хотя коньячного духа я не учуял.

– Чего с тобой, Фомич? – поинтересовался я. – Хвораете, а тебя к начальству дергают?

В ответ воспитанный и обычно сдержанный Рогов разразился потоком совершенно не свойственной ему до того момента чудовищной брани. Из густого облака мата постепенно прояснилось, что всего несколько минут назад директор уволил Рогова в связи с многократными нарушениями трудовой дисциплины. И поскольку дело уже, как оказалось, согласовано с руководством отдела КГБ, по которому числился находящийся в резерве Рогов, то правду искать больше негде. А искать надо новую работу. А сынициировал увольнение надзирающий за нашим институтом районный гэбэшник, которому страсть как хотелось занять роговское место. Он настучал директору про роговскую привычку к дорогому коньяку в рабочее время и страсть запирается в кабинете с секретаршами. Тому, в общем-то, и наплевать, поскольку и сам не мимо, но дело вышло наружу, и надо было принимать меры.

Я ситуацию понял, Рогова пожалел, хорошо зная, что директор от своих решений не отступает, на райотдельского куратора понегодовал и даже, пытаясь хоть как-то Рогова утешить, заметил, что ждать благодарности от учеников обычно не приходится, и чем к ним лучше, тем... увы...

– Да уж, – злобно откомментировал все еще горячившийся Рогов, – они тебя только и норовят подсидеть и продать... И ведь как все подал-то – ни крестом, ни пестом не отмахнешься.

– Ну что тут сделаешь, – сказал я. – Иногда и профессионал вроде тебя разглядеть не может, кто рядом пасется. Обидно, конечно, но все как-то устаканивается...

– Мне, значит, обидно! А себя, небось, инженером человеческих душ чувствуешь? Думаешь, что ты-то сам людей без ошибок подбираешь? Как же! Знаешь, чьими доносами на тебя у меня весь стол завален? Знаешь?

Поворот разговора был неожиданным, тут уж я действительно заинтересовался.

– А Гришки твоего мордатого! Стучит и стучит, сволочь! Уж даже мне надоел. Я ему говорю: да что ты мне всякие мелочи по сто раз таскаешь – будет о чем действительно сказать, так скажи, а он в

ответ – нет уж, примите, пожалуйста. А ты, небось, считаешь, что раз твой выкормыш, так надежнее у тебя человека нет! Вот ты со своим опытом и сидишь по уши в дерьме!

– Слушай, так ты мне все это официально говоришь? Я ведь тогда с ним сам потолкую!

– Хочешь говори, хочешь – не говори, мне все равно отсюда уходить. Пора в полную отставку. Тем более, что Грицько твой никаких официальных подписок не давал, а значит, агентурой не является. Так, добровольная гадина.

– Ладно, Фомич, не отпевай себя. Все образуется. И без работы не останешься. В общем, удачи тебе!

– И тебе того же. А мордатого твоего гони. Говно человек.

На том мы и распрощались.

Дополнение из 2015-го. В общем, мое тогдашнее огорчение понять легко. Конечно, в том, что за всеми нами кто-то приглядывает и постукивает, особых сомнений не было. В конце концов, несколько лет назад мне именно Рогов почти открытым текстом все объяснил. Но одно дело «кто-то», а другое – когда узнаешь, кто именно. Гриша Мамченко – здоровенный амбал, известный в Институте под кличкой Грицько, – был в моей лаборатории самым давним сотрудником. Прислан он мне был на диплом, особыми талантами не блистал, но то, что ему поручали в лаборатории, делал аккуратно и в срок. Поскольку именно в той работе от исполнителя никакой инициативы и не требовалось, все было продумано до того и надо было только аккуратно готовить образцы и делать измерения, то Гриша вполне пришелся ко двору, а диплом получился достойным.

Мне тогда надо было обрести сотрудниками, вот после диплома я и пригласил Гришу держать экзамен в аспирантуру. Так и пошло. Гриша стал аспирантом, я предложил ему хорошую тему, тот послушно выполнял все предложенные эксперименты, в процессе обсуждения результатов все больше отмалчивался, слушая, что я скажу, но, опять же, работал аккуратно, так что не одобрит его кандидатскую было просто невозможно. Грицько стал кандидатом наук и начал понемногу меняться. Во-первых, демонстрировать какую-то совершенно непонятную мне тягу к общественной работе. Он был и членом профкома, и членом комитета комсомола, и студентом Университета марксизма-ленинизма, и, главное, при каждом удобном случае старался попасться на глаза начальству в качестве «быстро растущего молодого специалиста». Серьезно я к такой активности не относился, скорее, посмеивался над гиперактивным Грицько. И вообще, гораздо больше меня беспокоило «во-вторых».

А это «во-вторых» заключалось в том, что от ставшего кандидатом наук Грицько я ожидал каких-то самостоятельных научных идей, но когда он высказывал что-то «свое», то это было ненаучным бредом. При этом Грицько страшно заботился о том, чтобы каждый кусочек работы, которую он сделал, нашел бы свое место в одной из публикаций лаборатории, а сам Грицько, естественно, стал бы в этой работе соавтором и пополнил бы свой список печатных трудов. Еще он интересовался возможными стажировками в зарубежных лабораториях. Я был совсем не против посылать своих сотрудников в загранки. Однако после того, как мне позвонил коллега из одной европейской лаборатории, где Грицько провел два месяца, так и не сумев толком объяснить мне, чем он там, собственно, занимался, и в мягкой форме попросил прислать в следующий раз кого-нибудь другого, я с гришиными загранкомандировками притормозил. Улучшению отношений это, естественно, не способствовало. Как и то, что безграмотные его статьи я из лаборатории не выпускал, заставляя переписывать по пять раз. Гриша обижался, упрекал меня в недостаточной заботе о молодежи. Парадоксально, что при всем при этом я от Грицько избавлялся даже не пытался в силу сентиментальной привязанности к первому ученику и ни на чем не основанной надежды на еще не утерянную возможность сделать из него что-нибудь пристойное.

Так что хороших чувств я к Грицько после беседы с Роговым явно не испытывал. Поэтому в ближайший понедельник я прямиком отправился в основную лабораторную комнату, где за рабочим столом внушительно восседал Гриша. Предисловий я тоже не разводил.

— Послушай, — по возможности спокойным голосом начал я, толчком ноги развернув сиденье вращающегося кресла так, чтобы Гриша оказался ко мне лицом, — у меня здесь был разговор по душам с Роговым из спецотдела, так он мне сказал, что ты на меня стучишь, как дятел, без передышки. Тебе у меня работать надоело, что ты гадишь там, где жрешь? Ну? Что тебе надо?

Ошеломленный Гриша вытаращил, было, на меня глаза в показном изумлении, но потом понял, что в несознанку уйти не удастся — я явно не врал, что сведения получил от Рогова, и тут уж не открутишься. Поэтому он принял неожиданное решение.

— Ну, было. И что? Чем я тебя подвел-то? Ты же сам сколько раз тут выступал, что и в лабе с нами, и на Ученом совете с начальством одно и то же говоришь и ни под кого не подстраиваешься! Говорил ведь? Говорил! И сам гордился, что из своих взглядов секретов не делаешь: что любишь — любишь, а не любишь — никто тебя полюбить не заставит. Так что все и так знают, какое у тебя по поводу чего мнение. И даже если я какие твои высказывания Рогову и повторил, так ты и сам еще

ста человекам говорил это — и совершенно открыто. А придумывать или наговаривать чего я никогда и в голове не держал. Так что тебе разницы нету. И ничего я тебе не навредил. А мне надо свои очки набирать!

Я прямо-таки остоленел.

— Что ты несешь? Какие очки? У тебя совесть хоть какая-нибудь есть, инфузория ты хренова? Я же тебя от идиота да кандидата довел и со всеми делами помогал! И ты все это вместо спасибо? Какая разница, навредило мне это или нет, — не делают так приличные люди! Не де-ла-ют! Пошел вон из лаборатории и чтобы завтра же у меня твое заявление на столе было. С дураком я еще могу работать, а с говнюком — не хочу, и все тут! И в Италию на конференцию пиши письмо, что не приедешь! Во-первых, я тебе никаких одолжений больше делать не желаю, а во-вторых, с таким дерьмом в одном докладе соавтором быть не хочу. Все.

Но для совершенно пришедшего в себя Грицько разговор был еще далеко не закончен.

— Да ладно, не заводишь по пустякам! При чем тут совесть? Не навредил — вот главное. Ты сам себе перестань вредить, уже в сто раз лучше будет. А то «не де-ла-ют!» — да в сто раз хуже делают, и ничего, разбираются по-хорошему. И, пойми, я же ведь не попал сюда сразу в начальство, как ты. Не всем же так обламывается. И приходится с самого низу карабкаться. Вот очки и нужны. Как будто сам не понимаешь. Успокойся, самому потом смешно покажется, из-за чего горячился. Завтра ты сам об этом даже не вспомнишь. Мы столько лет уже вместе, а ты — «не поедешь в Италию!». А то не понимаешь, что из лабы я никуда не уйду — на каком основании-то? И в Италию уже и командировка моя утверждена, и паспорт заказан, и не тобой, а иностранным отделом. Ну, не буду я больше с Роговым дела иметь, раз уж тебя это так волнует. И не горячись. Лады?

На этот момент я уже почти успокоился и вполне понимал все то, что мне эта протоплазма в человеческом облике излагала. И в который раз пришла мне в голову печальная мысль на предмет того, что не слишком ли долго я в этой стране Грицька и первых отделов задержался?..

6 июля 1986 года.

Пока Марья на кухне с готовкой крутится, записываю. Вчера нам с ней показали, кто в этой стране главный и как живет правильный гегемон. Хорошо живет! Нас к себе на ужин Гера с Надей пригласили — соседи дачные. Мы пару недель назад проставлялись по случаю завершения строительства: всех соседей собрали — из трех домов вокруг нашего. Марья расстаралась — на рынке мяса купили, колбаски там раздобыли, овощей свежих; я вместо обычной разведенки прилич-

ной водки закупил – так что в грязь лицом не ударили. И вот, так сказать, ответный визит. Интересно, что Гера с Надей только нас позвали. Как мы поняли из застольного разговора, остальных-то они давно знают и даже с кем-то работают вместе, а вот с профессурой им выпивать не приходилось. Надя буфетом заведует в какой-то закрытой больнице для начальства, вроде бы в той, что возле Университета, а Гера там же – шофером. Вот они и решили профессуре показать, как правильно жить надо! На столе – банка черной икры литровая! Коньяк армянский в хрустальном графине! Рыба и красная, и белая, и хрен знает что еще. Как скромно пояснила Надя – они, конечно, люди простые, но кое-что из буфета и ей перепадает. Судя по тому, что в икре кусочки масла попадались, – она ее с бутербродов счищает! В общем, неплохо начальство питается. Впрочем, как оказалось – их благосостояние не только из буфета поступает: как коньяк допили, Гера поинтересовался, не против ли я на отменнейший самогон перейти, а то он коньяк как-то не очень. Я с выбором хозяина согласился, и он притащил бутыль, как у Верещагина в «Белом солнце»! Но чистота и вкус – сказочные! Я, похрумкав огурчиком, искренне восхитился, и польщенный Гера на несколько минут похитил меня из-за стола, чтобы сводить на чердак и показать там свою самогонную фабрику. У него там перегонный куб из нержавеющей стали на пятьсот литров с электронагревателем и медным змеевиком метра в три! И бражку, как он сказал, по три раза над углем гоняет – до полной чистоты. В общем, по всем статьям он профессора заделал, в чем мы с Марьей полностью признались. Хозяева были страшно довольны, и вот под это мы с Герой до абсолютно скотского состояния братской любви ко всем окружающим и нажрались. Марья с Надей нас с трудом из объятий друг друга вынули и развели по койкам. Чувствую, что теперь мне грозит неоднократное повторение. Вот как жить надо!

Дополнение из 2015-го. Да, дача – это была эпопея. Гомера нет гекзамером описать. Поэтому придется суровой прозой. Чтобы все в деталях разъяснить. Года за четыре до этой записи нашему институту выделили участок под дачный кооператив. По совокупности заслуг, я попал в число примерно полусотни счастливицов, удостоенных своего шестисоточного участка. Проблема была только в том, что уж больно далеко эти участки – под сотню километров от Москвы по Волоколамке. Мы даже призадумались – а не отказаться ли. Но тут – неожиданная удача: на очередном собрании будущих дачников нам объявили, что есть некоторая возможность обменять свои участки на участки в других кооперативах, которые могут быть даже поближе к Москве или, во всяком случае, поближе к удобной дороге – не все же

близко к Волоколамскому живут. Пока народ соображал, я тут же вписался и в итоге нашел отличнейший, с нашей точки зрения, обмен – по Минке немного за Голицино, что с нашей улицы 1812 года было почти что рукой подать. Одно слово – повезло. И был этот кооператив от Минздрава, а еще точнее – от какой-то правительственной больницы, так что ожидались даже какие-то блатные блага от местной администрации, типа ускоренного строительства подъездных путей, – лечиться-то в хороших условиях всем хочется, – а то, что мы не из этой компании, – кто будет разбираться, попользуемся благами заодно со всеми. Так и вышло: и участок под кооператив быстро расчистили, и дорогу подвели – стройся, не хочу. Основным препятствием для строительства было полное отсутствие свободных денег. Так что когда Правление кинуло клич всем желающим скинуться на закупку материалов для домов из бруса, поставляемых откуда-то из Карелии, и скинуться срочно, то мы, понимая, что возможность уникальная, назанимали нужную сумму по всем родным и знакомым и вскочить в отходящий поезд успели. Деньги были сданы, отряд активистов в Карелию за брусом отъехал, а я, оставив Марью следить за развитием событий, выключил к отпуску еще месяц за свой счет и летом отправился с бригадой знакомых шабашников вспоминать свой стройотрядовский опыт и зарабатывать деньги на отдачу долгов.

И опять сложилось все просто отлично – когда я через два месяца вернулся в Москву, то и со значительной частью долгов рассчитались, и на вытасненном нами по жребию угловом участке лежала доставленная из Карелии груда досок и бревен, принятая Марьей по описи и обещавшая превратиться в скромную, но симпатичную дачку.

Ну, как бы то ни было, но за зиму нашли через знакомых бригаду строителей, Мария с неожиданно проснувшимся талантом архитектора на основе имеющегося материала сама спроектировала избушку, и по весне начали строиться. Домик рос, а я в июне снова умотал на заработки. Когда вернулся довольный, что с долгами покончено, заметил, что дачные соседи, с которыми мы уже успели познакомиться, да и строители, которые еще возились в доме и вокруг, посматривают на меня с некоторой жалостью и сочувствием, а на Марию – с явным уважением и не без примеси опаски. Я, естественно, заинтересовался у нее, что тут без меня случилось.

– Да понимаешь, – объяснила мне жена, – тут летом, когда стены заканчивали и должны были начать крышу настилать, я несколько дней не приезжала – Дашка температурила, а когда приехала, так увидела, что весь проект нарушили и стену не той высоты сделали. А значит, и крыша некрасиво легла. Я им говорю – переделайте, а они отказываются. Тут даже не знаю, что на меня нашло, – я им такой

крик на лужайке устроила – самой жутко было. Все соседи выбежали! Катитесь, говорю, на все четыре стороны, но денег не получите ни копейки. И что ты думаешь – переделали как миленькие! И даже меня больше зауважали – теперь каждую минуту подбегают: «Хозяйка, посмотри то, хозяйка, посмотри это, хозяйка, а так хорошо будет?» Вот так я тут билась, пока ты там водку жрал!

Я посмеялся, но по-настоящему понял, какую репутацию Марья завоевала, когда через несколько дней после моего возвращения в окно вежливо постучал Гера и негромко спросил:

– Сосед, а по пивку с рыбкой не хочешь за компанию? Баба из Москвы привезла.

– Конечно, – быстро согласился я.

– А твоя-то шуметь не будет, что мы с утра? Она у тебя серьезная... Если что не по ней, спуска не даст ведь...

Я хотел было разъяснить, что это совсем не про Марью, но вовремя осекся, подумав, что суровостью, строгостью и тяжелым характером супруги всегда в будущем смогу отговориться, если предложения выпить с утра будут поступать слишком часто. И оказался прав – еще как мне этот щит пригодился.

Вот такая у нас была дачная история. А с соседями нормально жили после того, как они мне разъяснили, где в морях какая рыба и почему... Интересно, если что иногда и вспоминается с грустью из оставленного там, так только эта дачка. Сам не знаю, почему.

14 апреля 1987 года.

Небо упало на землю и Дунай потек вспять! Не знаю даже – радоваться или огорчаться. Хотя за себя безусловно огорчился. Короче. Собрал наконец все нужные документы (во всяком случае, надеялся, что все), главное – доставленный в двух экземплярах вызов из Израиля, и отправился в ОВИР. Потолкался с народом с часок, слушая самые разнообразные разговоры о деталях подачи заявлений и о критериях выпуска-невыпуска, и, дождавшись своей очереди, вошел в кабинет. За столом – средних лет дама, типичная советская начальница средней руки: голова в кудряшках, лицо без индивидуальных черт, коричневый жакетик (мог поклясться, что и в юбке в цвет – никаких брюк! – но за столом не видно), над ней на стенке – Ленин и Горбачев.

– Здравствуйте, – говорю.

– Здравствуйте, – отвечает. – Что у вас?

«Вот, – думаю, – дура! Она что, не знает, зачем к ней люди приходят?» Но вежливо сообщаю:

– Да, наверное, то же самое, что у всех. На выезд хочу подать.

– Куда? – спрашивает.

– Вызов у меня в Израиль, так что туда. А там посмотрим. Ведь на сейчас это неважно, верно?

– Вообще-то верно, но для начального оформления надо знать. Ну, давайте ваши документы и присаживайтесь.

Даю ей пачку бумаг и вежливо присаживаюсь на краешек стула. Она пролистывает бумаги. Потом пролистывает их еще раз. Потом внимательно читает одну из бумаг – мне через стол не видно, какую именно. Потом смотрит на дверь, как будто хочет убедиться, что дверь хорошо закрыта, и, обращаясь ко мне, негромко говорит:

– Я вам хочу один совет дать. Забирайте свои бумаги, уходите и забудьте, что вы здесь были.

– Почему так? – ошеломленно спрашиваю я.

– Да потому, что в ваших бумагах я вижу, что вы – лауреат Государственной премии, а у нас строжайшее указание лиц с высшими государственными наградами, к которым вполне можно отнести вашу премию, постараться не выпускать ни под каким видом. Это же какой удар по репутации страны, если от нас самые ценимые люди уезжают! Иными словами, если эти документы по инстанциям пойдут, вас, скорее всего, все равно не выпустят, а жизнь вы и себе, и семье испортите. Забирайте всё и идите. А я про вас уже забыла.

– Спасибо! – автоматически говорю я и, как сомнамбула, подхватив свои бумажки, иду к двери. И слышу вслед:

– Удачи вам!

Я до сих пор поверить не могу. Ведь вряд ли у них такой новый способ подателей отшивать – слухи бы наверняка разошлись, а я этого ни от кого не слышал. Остается только признать, что кагэбэшная эта тетка – а какие там еще в ОВИРЕ сидеть могут? – отнеслась ко мне совершенно по-человечески и избавила от многих неприятностей. Я, конечно, уже на определенные сложности нацелился, но все-таки полагал, что они будут временными, и выезд в конце концов получится, но вот этих ограничений совершенно не предвидел! Вот где мне эта премия отозвалась! И, главное, толку с нее – чуть: научной славы она мне не добавила, денег тоже – подели эти пять тысяч на десять человек, просто тринадцатая зарплата получается; ну разве что стало легче от гаишников отбиваться и билеты в театр покупать – не такой уж великий прок. А вот такие проблемы! Но баба-то, баба-то – отъезжанту помогла! То ли у них вообще что-то в головах меняется, то ли это она одна такая – прямо Клеточников какой-то в юбке! И главное, страху никакого – а если бы я на нее настучал? Сообразила, наверное, что я не из таких... Да только за то, что вот такие в ОВИРЕ появились, Горбачу спасибо надо сказать! И даже, кроме Машки, рассказать-то некому – как бы не утекло случайно: ведь вычислить ее – ноль

секунд. А я даже имени-отчества ее не запомнил, хотя, вроде бы, они на дверной табличке были...

Дополнение из 2015-го. Случай, конечно, из ряда вон. Я позднее, когда уже из Союза уехал, у многих спрашивал – не специально, а так, вскользь, но подобного никто не припомнил, и никому эта дама в кудельках не попадалась. А тогда я действительно во всеоружии был – главное, высказанная, наконец, Машей готовность уезжать, поскольку по новым временам эмиграция уже не казалась путешествием за дверь, которая за тобой захлопывается, чтобы никогда уже больше не открыться. И оказалось – зазря! Пришлось действительно над альтернативным планом думать. Придумал, естественно, хотя и несколько позже. А та дама для меня так загадкой и осталась. Надеюсь, ей это где-то зачтется по высшей ставке...

13 февраля 1988 года.

Вернулся с Арбата. Цел, никто на меня не покушался, никто не задерживал, за правду не пострадал, но все равно – чувствую себя куда лучше, чем до этого. А всего-то – постоял с самодельным плакатом два часа на снегу у дома Пушкина. Мария с Дашкой на большом листе ватмана написали черной тушью, как я заказал – «Я, Сорокин Борис Семенович, адрес и телефон такие-то, прошу вас всех помнить, что за время советского вторжения в Афганистан там убито 1,000,000 мирных жителей». Вот и все. Прикрепил деревянные планки сверху и снизу и привязал к палке, чтобы на землю поставить. Возились до ночи. А к двенадцати дня пришел я к дому Пушкина, развернул плакат и поставил перед собой. Знал, что несанкционированные митинги запрещены, поэтому планировал стоять молча и ни в какие дискуссии, как бы ни побуждали, не ввязываться, чтобы не стало митингом. Девочек своих предупредил, чтобы рядом не болтались и меня не смущали, а если к половине третьего домой не вернусь, то где отделение милиции, они знают – туда и идти меня искать. Зряшные предосторожности! Похоже, я и о людях наших, и о милиции думал хуже, чем они заслуживают. Народу подходило до фига – иногда по пять-шесть человек одновременно стояли и текст мой читали. Один старикан меня перекрестил. Один спросил: «А что же нам делать-то?» Тут уж я не сдержался и ответил: «Знать и помнить. А делать – что совесть подскажет». Сам себе за такой нравоучительный текст противен был, но ведь это и правда близко к тому, что я думаю. Подходила группа военных – капитаны и майоры. Почитали молча и отошли. Один, правда, сплюнул, но явной демонстрации неприязни не было – может, слюны накопилось. В общем – никто дурного слова не сказал! А подошло в

общей сложности, я примерно подсчитал, человек за двести, Арбат все-таки. Милицейский патруль подошел. Я хоть и занервничал слегка, но стоял спокойно и смотрел поверх голов. Потоптались, почитали, да и отошли. Вот так два часа и прошли. Свернулся – и домой. Хоть и не пострадал за правду, а на душе полегче.

Дополнение из 2015-го. Сейчас, конечно, выглядит не очень серьезно. Но тогда для меня самого это был некий шаг. Сколько времени я тогда уже говорил себе, что живу, как дерьмо какое-то, – держу фигу в кармане, мотаюсь по каким-то демократическим тусовкам, но все это в неких, как уже понятно, вполне разрешенных пределах. И, главное, всегда следом за кем-то. Как будто у меня своих мыслей нет. А подумал тогда и пришел к выводу, что и правда нет. Ну, захочу я по какому-то поводу продемонстрировать – так за демократию уже демонстрировали, против культа тоже, в поддержку Солженицына, за свободный выезд – тоже, за что ни возьмись, за все хорошее уже кто-то говорил или вот прямо сейчас говорит. А мне хотелось самому, а не за кем-то, и чтобы тоже за нечто значительное, а не лишь бы... И вот, как сейчас помню, слушал я тогда Би-би-си, и их обозреватель в своем обзоре говорит – мол, советские войска убили в Афганистане миллион мирных жителей. И, опять же, как сейчас помню, меня эта цифра потрясла. Нет, конечно, все понимали, что раз война идет, то кому же хорошо быть может, но считали – я, во всяком случае, – что вот убили там пятнадцать тысяч советских солдат, соответственно, столько же, если не больше, афганских партизан, но вот о мирных жителях как-то и не думалось. А тут – миллион! И если я не знаю про мирных афганцев, то, надо думать, и остальные об этом понятия не имеют. Вот почему бы про это и не сказать? С этого и началось. Ну, а дальше уж просто – назначил на ближайшую субботу, текст составил, Марью с Дашкой предупредил – поддержали, в итоге отправился. И до сих пор очень доволен, что это сделал.

15 ноября 1989 года.

Большой день сегодня! Закончился мой роман с «нарождающейся российской демократией». Такое же говно, как и все, кто в нашей стране власти хочет. И ведь говорила мне жена... Почему мне все надо на своей шкуре попробовать?

Сидели сегодня на последнем в моей жизни (надеюсь!) собрании демократов. Речь шла о выдвижении кандидатов в народные депутаты самых разных уровней и о том, как организовывать предвыборную агитацию, чтобы избранныками народа стали исключительно лица с твердыми демократическими идеалами. Районная демократическая

верхушка доступно объясняла демократическим массам, кого нам надо выдвигать и за кого голосовать для нашего же собственного счастья. Плавное течение процесса было нарушено вопросом какого-то совершенно оторванного от реальной жизни романтика, вроде меня:

– А скажите, – возопил он где-то в середине заседания, обращаясь к президиуму и перекрывая нормальный рабочий гул зала. – Правду ли говорят, что по нашему району одним из кандидатов в Верховный Совет России будет нынешний секретарь МГК КПСС по строительству и промышленности, то есть самый что ни на есть замшелый ретроград и кагэбэшник, а вот в качестве его доверенных лиц за него будут агитировать сидящие в нашем президиуме... – и называет фамилии действительно сидевших в президиуме театрального деятеля национального масштаба и не менее известного народу руководителя одного из московских ВУЗов, чьи прогрессивные взгляды были знакомы и младенцам.

Народ слегка ошалел, и в зале установилось тяжелое молчание. На двух названных лиц озадаченно уставилась даже часть президиума, по-видимому, менее остальных знакомая с реалиями политического процесса. Первым нашелся привыкший работать с ершистыми студентами вузовский деятель.

– Послушайте, – внушительно проговорил он, – не надо этой митинговой демагогии! Тут же собрались здравые люди. Как будто мы не знаем, что были разные номенклатурщики. Так сказать, чиновники – и чиновники. Одни верой и правдой служили сталинщине и брежневщине, преследуя исключительно личные, я бы даже сказал – шкурные интересы, тогда как другие в меру своих сил и возможностей работали на благо народа и страны. Вот таким именно человеком и является этот секретарь МГК, у которого мы действительно предполагаем быть доверенными лицами и которого, кстати, выдвинул кандидатом коллектив очень даже демократической и прогрессивной московской газеты. Так что в некоторых случаях номенклатурное коммунистическое прошлое не должно заслонять истинного человеческого лица! Диалектика, так сказать...

Собравшийся в зале народ на такую тонкую диалектику не клюнул. Возмущенные выкрики тех, кто не желал верить в существование хороших и порядочных секретарей МГК КПСС, понеслись со всех концов. Кто-то кричал о гэбистском прошлом этого секретаря, кто-то приводил примеры его явно антидемократических поступков, кто-то требовал вообще проголосовать за удаление всех коммунистов из избирательных бюллетеней – в общем, ситуация грозила выйти из-под контроля. Тогда за дело взялся собравшийся с мыслями демократически настроенный театральный деятель.

– Ну подумайте сами, – своим задушевным и знакомым миллионным голосом доверительно произнес он, – тут же простые человеческие соображения. Кто в наши дни станет голосовать за номенклатурщика, каким бы в душе демократом он ни был? Сами понимаете – никто! Или почти никто. Соберет он своими силами даже при всем административном ресурсе полпроцента голосов, и все. И даже если мы с коллегой в лепешку расшибемся ради его поддержки – не поможет. Ну, дадут ему еще полпроцента. Все равно, даже до второго тура не дойдет. А за нашу поддержку он со всеми своими практическими связями мне обещал, наконец, в моем театре вращающуюся сцену установить, а ему, – театральный деятель кивнул в сторону деятеля вузовского, – полный ремонт основного корпуса сделать. Как откажешься! Хоть шерсти клочок... Так что не беспокойтесь по пустякам – и волки будут сыты, и овцы целы, как говорится у моего любимого Островского.

Чего там говаривал Островский – дело десятое, но такое практическое и жизненное разъяснение пришлось народу по сердцу куда больше, чем теория о хороших и плохих номенклатурщиках, так что зал одобрительно пошумел – вот, мол, как хитро мы их натянули, – и уже готов был вернуться к текущим вопросам. А вот тут я не выдержал – встал и отчетливо произнес, адресуясь, в первую очередь, к президиуму, но заодно и ко всему одобряющему очевидное паскудство собранию: «Какое же вы все говно!» – и вышел.

Так что, похоже, конец моему политическому зуду.

Дополнение из 2015-го. Беда моя была в том, что мучился я тогда двумя типичными для российского менталитета вопросами: что делать и кто виноват? Ну, в том, что со всей страной вообще и с моей наукой, в частности, происходит. Так что неудивительно, что полез в политику. В самом буквальном смысле. А что поделаешь – именно в политических дискуссиях и искал ответы на мучившие меня вопросы, поскольку время тогда было такое... веселое... или, скорее, романтическое. А я, при всей своей научно-технической подготовке, романтике оказался вовсе не чужд, да и справедливости хотелось. И начал ходить на всякие собрания, митинги и демонстрации. И даже иногда выступать. И вполне толково. Настолько толково, что как-то раз одна из столичных вполне демократических газет даже посвятила целый абзац прогрессивно настроенному профессору Сорокину, который, по мнению побеседовавшей со мной на митинге журналистки, достойно представлял отечественную науку в процессе так необходимой обществу повальной демократизации.

Про этот абзац, разумеется, немедленно донесли моему начальству, которое орало на меня часа два, приписывая именно мне веду-

щую роль в развале науки и протаскивании в институт чуждых институтскому ученому сообществу идей и веяний, а также требуя за пределы лаборатории своего носа не высовывать. Я пытался отстаивать свое право на свободу слова и демонстраций, но они орали только пуще прежнего. Так что расстались крайне недовольные друг другом, и директор на прощание еще успел пообещать мне вагон и маленькую тележку всевозможных репрессий и неприятностей. Самое обидное, что как раз к моменту этого разговора я уже начал сильно разочаровываться во всех этих шумных тусовках, с которых выносил все более крепнущее убеждение, что основная масса там просто дает выход своему желанию повыступать «против начальства», тогда как немногочисленные руководящие индивиды решают какие-то собственные задачи, с проблемами демократии и близко не стоящие.

Поначалу оказался я вхож в демократические верха того района, где располагался наш институт. И вовсе не благодаря двум-трем своим вполне разумным выступлениям на каких-то там районных собраниях Клуба избирателей или, скажем, «Демократической России», — пламенных трибунов поярче меня там хватало. Как я позднее сообразил, и новые лидеры были тогда уже как-то подобраны, и их будущие программы подготовлены, а вся якобы закладывающая основы новой жизни в стране политическая мутотень имела место только для того, чтобы не дать остыть разгоряченным первыми глотками свободы массам и при нужде использовать их энтузиазм себе на благо. Нет, просто в нашем районе мой институт был предприятием заметным, находившимся — под влиянием своего начальства — на позициях вполне красно-коричневых. Так что наличие представителя института в разнообразных оппозиционных структурах призвано было продемонстрировать, как глубоко проникли демократические идеи даже в самую невосприимчивую среду. Тем более, что я был не просто рядовым представителем — мэнээсов в этой тусовке хватало, — а профессором и завлабом, то есть человеком вполне заслуженным и даже почти номенклатурным. Как тут было мной не пользоваться! Вот меня и ввели в разнообразные координационные советы и организационные комитеты. Впрочем, все это я понял значительно позже, а тогда кинулся в дискуссии, агитацию и пропаганду со всем пылом неопита, как ни высмеивала эту мою активность жена, в высшей степени скептически относившаяся к политическим фигурам как слева, так и справа, твердо полагая их всех дерьмом одного розлива. Так я и оказался на последнем в моей политической истории собрании.

Кстати, возвращаясь к этому разрыву, не могу не заметить, что я еще тогда обратил внимание на то, как они всю страну в открытую грабить стали, — абсолютный цинизм. Позднее все это получило

название «кидок» — то есть клиентом попользоваться, но мимо рта ложку пронести... Вот и воздалось каждому с течением времени по заслугам...

Начальство о моем полном и окончательном разрыве с молодой российской демократией так и не узнало; отношения были испорчены безвозвратно. Однако моя очередная командировка в Штаты была уже согласована и подписана, так что при всем раздражении начальства им было бы себе дорожке переигрывать, вот и решили меня отпустить в последний раз, чтобы не подводить американских партнеров. Я это прекрасно понимал, и именно тогда окончательно решил обратно не возвращаться.

14 февраля 1990 года.

Случайно или, так сказать, перст судьбы, но встречал я прилетавшую ко мне в Америку Марию именно в День святого Валентина. Я про такой день и не знал — местные ребята объяснили. Надо же — какое совпадение! Сейчас она спит с дороги, а я записываю. Сразу по приезде она удивилась, когда, пообнимавшись, мы вышли в зал прилета местного аэропорта, сопоставимого по размерам с Шереметьево:

— Слушай, а сколько народу в этом Ноксвилле живет?

— Тысяч около ста пятидесяти. — ответил я. — Что-то вроде Серпухова.

То, что в городе масштабом с советский райцентр аэропорт размером почти с московский международный, поразило ее настолько, что на пути к дому она, вертя головой по сторонам, периодически повторяла при виде университетского городка, пары почти небоскребов в центре и всяких других местных красотей:

— Надо же, сто пятьдесят тысяч!..

Но до того, как мы поехали в город, пришлось удивиться и мне: когда я потянул Марию к багажному конвейеру за чемоданами, она сказала мне:

— Да нет, пошли. У меня никакого другого багажа нет, кроме вот этого, — и кивнула на перекинутую через плечо не слишком даже большую спортивную сумку.

— То есть как это — нет? — поразился я. — А вещи?

— Какие вещи, — говорит, — ты же сам сказал ничего не брать, все здесь купим. Вот только твоего Плутарха и захватила, как ты просил.

— Но это же не то, что я имел в виду, — возопил я. — Я же говорил, что ничего особенного брать не надо. Ну, там шубы, подушек, пододеяльников или кухонной посуды. Но одежду какую-никакую, мелочи там разные — как без этого-то?

— А я тебя буквально поняла, — спокойно ответила она. — Так что

и взяла только смену белья, немного косметики и книжки твои. Да не волнуйся ты так. Самое необходимое купим, а дальше разберемся.

Ну что тут скажешь! Вот, пишу и думаю, как деньгами разжиться – моей наличной мелочи только-только на еду хватит, а здесь, как мне растолковали, зарплату назад платят, то есть сначала отработай две недели, а потом за эти две недели и получишь. А у меня только одна неделя прошла. Придется завтра у Гордона попросить. Выкрутимся. Главное – мы оба здесь. Слава богу, вышло все, как планировали. Теперь не пропадем.

Дополнение из 2015-го. Лучше по порядку – как мы там вообще оказались, в Ноксвилле.

После того памятного визита в ОВИР, когда неизвестная благотельница предупредила меня, что официальная эмиграция в моем случае сильно проблематична, мы стали интенсивно думать, что делать. Маша, приняв решение ехать, стала проявлять нетерпение еще большее, чем я. Так мы изобретательствовали года полтора без всяких, однако, реальных шагов. Все изменилось в середине 89-го, когда ко мне в лабораторию приехал парень из лаборатории Гринберга. К тому времени мы с Гринбергом уже плотно сотрудничали больше десяти лет. Парень передал мне письмо, которое тот не хотел почте доверять. В этом письме повторялись настойчивые увещевания перебраться работать и жить в Штаты. Гринберг сообщал, что в их большом отделе в Гарварде летом следующего года открывается новый исследовательский центр, заведовать которым пригласили его хорошего приятеля. Он приятелю меня рекомендовал в качестве одного из сотрудников, и тот с удовольствием возьмет меня в августа на очень приличных условиях. Столь конкретное предложение поступало впервые. И я понял, что проворонить его нельзя никак.

У меня самого планировалась уже утвержденная поездка на конференцию в Хьюстон в следующем феврале – вполне можно там и остаться и как-нибудь до августа перекантоваться. Однако как забрать с собой Марью и что делать с Дашкой, которая уже училась в МГУ и на наши разговоры о возможной эмиграции реагировала резко отрицательно, полагая, по наивности, что идущие в стране реформы вот-вот превратят Союз в цивилизованное европейское государство. Переубедить ее не удавалось – если кто пробовал спорить со своим восемнадцатилетним отпрыском по поводу чего бы то ни было, поймет меня сразу. Дашкина проблема разрешилась быстро и неожиданно: осенью она проинформировала нас, что выходит замуж за своего однокурсника. С потенциальным мужем она приготвилась к длительной борьбе за свои права – полагая, что мы будем резко против

их брака, — и была даже несколько разочарована, когда мы оказались даже рады этому. Мы несколько успокоились — и мальчик нам понравился, и было ясно, что присмотр за ней будет. Но вот проблему с Марьей это не решало. И тут меня осенило!

План мой был основан на том, как работают наши разрешительные и охранительные органы с выезжающими за границу. Я был практически уверен, что оформлением загранкомандировок и частных визитов за границу по приглашениям занимаются разные отделы или департаменты, и проходящие через них документы не пересекаются. Поэтому я обратился к гринбергскому сотруднику с просьбой прислать Марье частное приглашение посетить Штаты. Он сразу согласился. И действительно, приглашение, присланное на мой институтский адрес — для надежности, поскольку частная переписка с заграницей имела неприятное свойство исчезать в недрах советской почты навсегда, — было получено в октябре, и Мария сразу начала оформление паспорта в ОВИРе, указав в качестве желательного срока для поездки февраль и честно написав в анкете, что муж ее, то есть я, находится в Москве. На октябрь это утверждение было абсолютно правдивым, а что будет в феврале будущего года, никто и не спрашивал. Ее документы ушли на проверку, и тогда я начал оформление в министерстве. Мой расчет был на то, что мы оба можем получить загранпаспорта и разрешения на выезд примерно в одно время. А там — ищи-свищи!

Хотя и не без некоторых волнений, но все получилось по-моему. Через день после начала конференции Маша позвонила мне в Хьюстон в гостиницу и сообщила, что паспорт получен. Вопрос — куда ей лететь? Я попросил ее перезвонить через день и помчался искать знакомого по прошлым конференциям мужика, который заведовал лабораторией в университете штата Теннесси в Ноксвилле и много раз приглашал меня приехать к ним с лекциями. Я взял быка за рога и спросил Гордона, готов ли он приютить меня в Ноксвилле сразу после конференции — на полгода. Он ответил полным согласием и тут же связался со своей секретаршей, попросив ее подготовить все необходимые бумаги и снять для меня квартиру для визитеров в университетском доме. Я попросил Машу предупредить Дашку, что мы, эвфемически говоря, — надолго; и тогда же, похоже, сказал эту глупость, что ничего брать с собой не надо. Вот в Ноксвилле я и встречал ее через два дня после того, как приехал туда сам.

Дальше все было стандартно. Работал я с Гордоном, обратился к властям за продлением рабочей визы (а через год и за политическим убежищем, которое на фоне августовского путча 91-го года мне, как бывшему демократу, выдали мгновенно, и после того, как путч рассосался, обратно не отобрали), и в августе 90-го вступил, как мне и

было обещано, в свою новую должность в Гарварде. Начиналась привычная работа и новая жизнь...

Да, маленькое замечание по поводу Плутарха. Не подумайте, что это из пижонства или какого-то снобизма! Ничего подобного – я просто с детства бредил античностью и читал на этот счет все доступное. Так что вполне естественно, Плутарх читался и перечитывался. Вот его я хотел иметь под рукой и в Штатах. До сих пор на полке стоит... Хотите – верьте, хотите – нет.

7 апреля 1990 года.

Сегодня суббота, а записываю за четверг – в тот день вернулся поздно, а вчера был занят в лаборатории с утра до ночи, так что даже на минуту присесть не смог. Но все равно – за день ничего не забылось, да и как такое забудешь. Ни о чем подобном и не слыхал, когда раньше приезжал, а рассказал бы кто – не поверил!

Зовут меня утром в четверг к телефону. Какой-то профессор Макс Джонатан из славянского департамента. Узнал, что появился в университете визитер из России (о моей истории, естественно, и понятия не имеет), вот и хочет познакомиться и поболтать, поскольку у них россиян почти не бывает, а ему интересно всякие российские новости из первоисточника почерпнуть. Приглашает к себе в офис чайком побаловаться. И все это на достаточно приличном русском языке. Ну что тут поделаешь – надо соответствовать. Раз такое дело, иду по указанному адресу – славистика в соседнем корпусе обитает. Подхожу к двери, стучу, и на приглашение заходить дверь отворяю... И офигеваю! В среднего размера офисе за столом сидит какой-то бородатый мужичок очень маленьких размеров, а позади него на всю стену натянуто красное знамя с портретами Ленина и Сталина, серпом и молотом и неизменным «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» по-русски. Мужичок страшно доволен моей оторопью и говорит:

– Ну что, не ожидали такое увидеть в стране гнивающего капитализма?

– Не ожидал, – отвечаю чистую правду. – А это у вас для занятий со студентами такой экспонат?

– Почему «со студентами», – с некоторой обидой говорит этот самый Макс и поясняет: – Вы находитесь в кабинете, говоря по-вашему, секретаря теннессийского обкома американской компартии, так что все в соответствии с положением.

И я с ужасом понимаю, что он не шутит.

– ...У нас тут в университете довольно большая ячейка и еще больше сочувствующих, так что работы у секретаря хватает.

И он начинает мне рассказывать о собраниях и демонстрациях,

которые его ячейка проводит. Такое впечатление, что отчитывается перед вышестоящим товарищем. Потом начинает расспрашивать о партийном строительстве в свете перестройки. От полной инфернальности происходящего я явно тупею и ничего ему толком объяснить не могу, хотя и понимаю, что излагать ему причины и обстоятельства моего здесь появления тоже неуместно. Выдавливаю из себя какое-то нечленораздельное бормотание, чем собеседника явно разочаровываю. Он относит это за счет аполитичности ученых-естественников, но все равно всучивает мне пригласительный билет на запланированную на следующую неделю встречу университетской общественности с заместительницей главного редактора коммунистической газеты «Пипл», то есть «Народ». Я, естественно, о такой газете никогда и не слышал, но благодарю и быть обещаю. После чего откланиваюсь в заверениях будущих встреч и бреду к себе в лабораторию. Они что, и вправду тут такими забавами пробавляются?

Дополнение из 2015-го. Понять мое тогдашнее удивление нетрудно, поскольку я еще и понятия не имел о том, как распространена в университетских кампусах левизна всякого рода. Не только коммунисты, но троцкисты, маоисты, чегеваристы – и кто только там не мельтешит! А тогда я действительно пошел на встречу с коммунистической редакторшей – забавно было посмотреть и послушать. Встретил там секретаря теннессийского обкома Макса, который был явно доволен, что я появился, и попросил меня по окончании лекции не уходить, а поучаствовать в дискуссии, а потом присоединиться к группе избранных активистов для легкого ужина. Хорошо помню, что аудитория – пусть и не самая большая, человек на сто – была битком набита. И представленная секретарем вполне интеллигентного вида симпатичная дама средних лет стала рассказывать – о чем бы вы думали? – о перестройке в Союзе и о предательстве Горбачевым коммунистических идеалов прошлого!

Позднее я ко всему подобному попривык... И с тех пор – на правом фланге местной политики, как и многие наши бывшие соотечественники: мы социализма так нанюхались, что даже от его тени шарахаемся. Американские же университетские коллеги все удивляются, чего это мы такие консерваторы и ретрограды, ведь в идеях социализма столько привлекательного! Им бы наш опыт...

15 ноября 1990 года.

Начинаю глубже знакомиться с местными реалиями. Хорошо еще, что без крупных неприятностей. А мог бы налететь по полной. Еду сегодня утром по делам в Вустер – в тамошнем университете с

коллегой повидаться. Жму по скоростному шоссе номер 90 – оно через все Штаты до Тихого океана идет. Предел скорости обозначен в 60 миль в час, но все едут под 80. Поскольку поток сплошной, то и я еду 80, хотя несколько и нервничаю, что нарушаю, – все-таки пока не дома. Вижу сигнал о ремонте дороги и снижении предела скорости до 35 миль в час. Все чуть-чуть притормаживают и продолжают гнать где-то в районе 60. Я про себя думаю, что, может, они тут какое петушиное слово знают и нарушать не боятся, но я пока таких слов не знаю, так что лучше быть поосторожнее. Поэтому притормаживаю миль до 50. В результате между моей машиной и той, что гнала передо мной, расстояние быстро увеличивается, и тут же с обочины срывается стоявший там вседорожник, врубает полицейский сигнал и прижимает меня к краю дороги. Останавливаюсь. Помню, что тут из машины выходить не полагается, полицейский сам должен подойти. Открываю окно и жду. Подходит здоровенный симпатичный мужик лет сорока пяти и начинается, собственно, история.

– Здравствуйте, – говорит, – я такой-то и мой полицейский номер такой-то. Ваши права и регистрация на машину.

– Здравствуйте, – отвечаю, – а что, я нарушил что-то?

– Нарушили скоростной режим, поскольку в зоне действия знака 35 миль в час вы ехали со скоростью 49 миль.

У меня от обиды аж голос перехватило.

– Как же так, ведь остальные машины в моем ряду еще быстрее ехали, а вы меня за превышение остановили. Разве это справедливо?

– Совершенно справедливо, – отвечает. – Вы ведь не будете спорить, что ехали на 15 миль быстрее предписанного, то есть значительно превышали?

– Не буду, но ведь остальные еще быстрее ехали. Я специально притормозил.

– Видел, – говорит, – это вас под мой радар и подвело. Остальные сплошным потоком ехали, так что мне трудно было какую-то определенную машину остановить. Водители стали бы отрицать, что это их скорость зарегистрирована, а не другой машины. А в вашем случае никаких сомнений нет – именно вашу машину мой радар и записал.

– То есть, – удивляюсь, – если бы я продолжал еще грубее нарушать, но из ряда бы не выпал, то вы меня бы и не остановили?

– В каком-то смысле вы правы, но все равно я остановил вас за дело. Это ведь как на рыбной ловле...

– Не понимаю!

– Ну, вы рыбу когда-нибудь ловили?

– Ловил.

– Всю поймали?

– Нет, – уже невольно улыбаюсь, понимая, что он имеет в виду.

– Ну вот и я не всех нарушителей сегодня остановил, а пока только вас. Так что, права и лицензию.

Протягиваю ему права и лицензию и, забыв на минуту, где я, спрашиваю:

– Штраф будете выписывать?

– Естественно.

Поскольку я твердо помню объяснения местных наставников, что квитанция на штраф, которая может быть оплачена только чеком или в банке, автоматически заносится в мою водительскую историю и вызовет неминуемое увеличение страховых платежей на следующий год, – то есть финансовые потери будут куда большими, чем единичный штраф, решаю идти ва-банк и осторожно интересуюсь, переводя на английский много раз произносимые в прошлом русские фразы:

– А мы как-нибудь на месте не можем эту проблему решить? Без квитанции?

Он внимательно смотрит на меня, некоторое время раздумывает и внезапно спрашивает:

– У вас акцент. Вы откуда?

– Из России.

– Давно приехали?

– Нет, всего несколько месяцев.

– Знаете, что-то у меня сегодня настроение поговорить. Пойдемте в мою машину и я вам кое-что объясню.

Иду с ним и сажусь на переднее сиденье рядом с водителем.

– Вы только не нервничайте, – говорит он, – я никаких мер принимать не собираюсь, но вы только что совершили уголовное преступление. Вы пытались предложить взятку полицейскому. Ведь вы именно это имели в виду, не так ли?

Теряюсь и не знаю, что сказать.

– Ну, в общем, да, – иду я в полную сознанку.

– И сколько вы готовы были предложить?

– Ну, я не знаю... Думал, долларов сто.

– Неплохо и вполне достаточно в вашем случае. Но только не здесь. Здесь вы себе так можете пару лет заработать. Поскольку почти наверняка никто у вас этих денег не возьмет, а вот арестовать за такое предложение вполне могут. Я уже двадцать пять лет в полиции, так что людей умею различать. Поэтому и понял, что вы просто по незнанию себя так ведете, а не из-за преступного характера. У вас дома так, наверно, принято было.

Вспомнив российских гаишников, которые за двадцать лет моего

вождения вытрясли из меня по поводу и без повода неисчислимое количество трешек и пятерок, честно отвечаю:

– И нередко вообще без всяких нарушений останавливали, лишь бы поживиться.

– А здесь это не работает. И вовсе не потому, что мы все такие невероятно честные. Люди – везде люди. А знаете, почему? Потому что для меня и для любого другого тут риска куда больше, чем выгоды. Ведь существует, пусть даже очень маленькая, но реальная вероятность, что вы – переодетый проверяющий офицер. Вы себе представить не можете, на какие штуки они идут. Так что сыграть свежего иммигранта из России для них раз плюнуть. И я не успею сотню в руку взять, как у меня под носом его бляха.

– Ну и что вам за это будет?

– Дело не в том, что меня тут же из полиции уволят. У меня и так выслуга лет подходит. А в том, что я теряю все заработанные мной за эти годы бенефиты, и в первую очередь пенсию. А из расчета средней продолжительности жизни за время после отставки это будет около полутора миллионов долларов, да еще за медицинскую страховку мне придется больше платить. И стану я всем этим рисковать за какую-то сотню?

– Понимаю, – ошеломленно протянул я, поскольку это все мне, конечно, в голову не приходило. – Но ведь берут, все-таки, в полиции взятки? Вот я недавно в «Бостон Глоб» читал, что какого-то полицейского капитана за взятки от наркомафии арестовали.

Он усмехнулся:

– Бывает, что и берут. Но там-то размер взяток соизмерим с риском.

– Ну и что мы теперь будем делать?

– Да ничего особенного. Мне понравилось, что вы склонничать не стали из-за того, что я именно вас на фоне нарушающего потока остановил, да и объяснить что-то полезное новому человеку всегда приятно, так что выпишу вам по минимуму, возможному за такое нарушение. Это серьезных финансовых последствий для вас иметь не будет, а чему-то научит.

И выписал-таки штрафную квитанцию. И счастливой жизни в Америке пожелал.

6 октября 1994 года.

Прямо по присказке: среди шумного бала – в хлебало! Вот и мы получили. Полной мерой. От неожиданности даже собраться не могу. Да уж, с идеологией шутки плохи, особенно, если имеешь дело с гуманитарной профессурой. Пригласили мы сегодня на ужин Дэвида с женой. Мария стол соорудила с русским оттенком: водка и икра

наряду со всем прочим – надо же свою идентичность как-то проявить. Я музыку хорошую поставил. В общем, все необходимые компоненты для приятного вечера. И действительно – сидели и трепались в полном удовольствии. И про этнографию поговорили, и про путешествия, и я Леви-Брюля кстати вспомнил – в общем, крайне интеллигентное времяпрепровождение. И надо же тому случиться, что перед десертом Мария предложила на несколько минут выйти из-за стола размяться. Вот Дэвид, разминаясь, вдруг ни с того ни с сего взял с журнального столика пульт управления телевизором и нажал. И на экране появился Раш Лимбо. Как раз его программа шла. Дэвид ошарашенно посмотрел на экран, потом на меня, потом опять на экран, потом на Машу, и, как бы не веря сам себе, спросил:

– Вы что, Раша Лимбо слушаете?

И я простодушно признался:

– Слушаю частенько. Конечно, у него уровень изложения не бог весть какой – не на профессию рассчитано, но интересных мыслей хватает.

Дэвид повернулся к жене, которая застыла, прикрыв рукой глаза, как бы не в силах видеть происходящее на телеэкране:

– Лиза, мы уходим немедленно. Мы не можем находиться в доме, где слушают Раша Лимбо.

И они тут же вышли из квартиры так быстро, что мы с Машей не успели и слова сказать. Ничего себе заявочки! И это люди, кичащиеся своей толерантностью! Хамить образом совершенно неслыханным, только чтобы показать, как высоко ставят они свои левые ценности! Культуру пигмеев изучает, видите ли! Да любой пигмей ему по части хорошего тона сто очков вперед даст! Сидим как оплеванные. Вот и обзаводись местными друзьями.

Дополнение из 2015-го. Мы все поначалу с Марией lamentировали: что вот, дескать, живем и работаем в Америке, а круг общения в основном русскоязычный – все эмигранты вроде нас. А как без американских знакомств себя своим в этой стране почувствовать? Значит, надо завязывать отношения. Вот и отправились мы за несколько месяцев до того на прием в Гарварде для молодых профессоров (кто меньше пяти лет в университете работал). Там со всех факультетов народ собирался – потолкаться, познакомиться, потрепаться, в конце концов, и все это под вполне приличную выпивку и закуску. Там мы и встретились с Дэвидом и Лизой. Он занимался этнографией и политологией, а она где-то по финансовой части работала. – Откуда вы? – Из России? – Ах, как интересно! – А что у вас то? – А как у вас с этим? – в общем, разговорились. Договорились

продолжить знакомство, даже пару раз вместе в рестораны сходили, и все было очень мило и интересно. И вот такой пассаж!

Конечно, я понимал, что профессору-гуманитарию, да еще из Гарварда, Раш Лимбо – самый консервативный на тот момент телекомментатор (потом его вообще либералы с телевидения выжили) – вряд ли по нраву. И даже предусмотрительно на политические темы старался не разговаривать – мало ли других интересных вещей в жизни. Я тогда уже отлично видел, что большинство университетской профессуры, особенно гуманитариев, искренне или по правилам группы придерживаются очень левых взглядов, от которых большинство бывших соотечественников, нажравшись в Союзе этих социалистических штук по самое не хочу, шарахались как черт от лаdana. Вот я и держал на ТВ канал Раша, чтобы как раз под ужин его слушать. Ну не понравилось Дэвиду, ну мог бы мне шуточный выговор сделать, посмеяться над моими примитивными вкусами, – но такой реакции я точно не ожидал. И понял тогда, что с леваками шутки плохи – могут и бритвой полоснуть... Помню еще, как перед выборами, на которых Обама с Маккейном состязались, по городу много машин ездило с наклейками, призывающими голосовать за одного или другого. Так вот, созвали у нас университетское собрание, университетская же полиция проинформировала, как она борется с вандализмом в нашем гараже: кто-то наладился царапать машины, на которых неугодного кандидата пропагандировали. Оказалось, что повреждено более двадцати машин с рекламой за Маккейна и ни одной – с рекламой за Обаму! А еще говорят, что консерваторы агрессивны! С либералами надо держать ухо востро! Этот урок я усвоил.

23 ноября 1999 года.

Умерла мама. А еще позавчера я с ней разговаривал. Шутили. Позвонила из Москвы Лариса. Сегодня улетаю.

Дополнение из 2015-го. Мне и сейчас плохо об этом писать. Лучшее, что у меня было. Надеюсь, жена с дочкой не обиделись бы. Они – тоже лучшее, но без нее меня бы не было такого, как я есть. Все, что я хорошего или правильного совершил, – так это когда делал, как она говорила, а все в моей жизни глупости или дурные поступки – когда ее не послушал. Вот так бывает. Ей уже хорошо за 80 перевалило... Когда по телефону говорили – почти каждый день – голос был все тот же, что и лет пятьдесят назад меня будил. И разговор – умный. Как мы с ней всегда говорили! И о книгах, и о выставках, и о том, что в России происходит... Но вот к нам в Америку перебираться не хотела, хотя гостила нередко. Там, возражала, вся ее жизнь. И друзья, что

остались, и язык, и отцовская могила... Попробуй поспорь. А умерла во сне. Лариса (женщина из Белоруссии, которую мы наняли за мамой присматривать) утром пришла, своим ключом открыла, так и нашла. А я потом долго про себя ключевское повторял: « 'Умерла мама' – два шелестных слова. / Умер подойник с чумазым горшком, / Плачется кот и понура корова, / Смерть постигая звериным умом». Хоть у мамы ни кот, ни коровы не было, но это про нее тоже.

29 января 2000 года.

Давно ничего не записывал. Теперь наверстываю, хотя могло бы быть и так, что на прошлой записи все закончилось бы. В общем, начал 21-й век с того, что все-таки выжил. Спасибо врачам и американской технике. Забрали меня 12 января прямо с улицы – шарахнула такая аритмия, которой у меня, по-моему, вообще никогда не было, – все-таки все лекарства я принимаю регулярно и особых нарушений режима не допускаю. Так, в пределах разумного (с моей точки зрения, разумеется, – послушать врачей, так мне вообще ничего нельзя, но ведь как-то же я свои пятьдесят с гаком прожил). Думаю, что все началось, когда перед Новым годом на мамины похороны в Москву ездил. Мне там уже как-то не по себе было, да так лучше и не стало. А в тот день совсем стукнуло. В общем, упал я прямо на какого-то прохожего, который «скорую» и вызвал. Очнулся ненадолго уже в приемном покое главной городской больницы. Успел только сказать, чтобы Марии позвонили, и снова отрубился. Опять очнулся уже на операционном столе. Оказывается, при той невероятно сложной операции, которую они на мне затеяли (я, как потом мне сказали, был всего то ли третьим, то ли четвертым пациентом, на котором ее проводили), я должен был находиться в сознании, хотя бы в полусознании, чтобы какие-то там электрические системы в сердце работали, как обычно, так как под полным наркозом в них что-то существенное меняется. Вот они меня в сознание и вернули, но тут же частично чем-то и одурманили, чтобы я боль меньше чувствовал, так что я в таком обалдевшем состоянии все восемь часов и провел, пока они со мной возились. Валялся, слушал их разговоры и пялился на огромный монитор над операционным столом, на котором огоньками горела электрическая схема моего сердца – прямо ГОЭЛРО какое-то! – и некоторые огоньки то гасли, то снова зажигались, в зависимости от того, что люди в зеленых халатах и масках у меня в моторе делали. Хоть и сквозь туман – но все равно занимательно. Кроме того, конечно, момента, когда один из врачей вдруг громко закричал: «Мы его теряем!» – и я на сколько-то снова вырубился. Интересно, что я сам в этот момент ничего особенного не ощущал, и причин для такого его волнения

понять не мог. Впрочем, как говаривал старик Аврелий: «Когда мы есть – смерти еще нет, а когда она есть, то нас уже нет, так что чувствовать ничего не придется и бояться нечего», или что-то в этом роде. Тем не менее, нашли они меня, не потеряли, так что я снова увидел перед собой экран с огоньками. До меня дошло, что они пытаются загнанным мне в сердце лазером перерезать какие-то нервные пути, передающие неправильные электрические сигналы или неправильно передающие правильные сигналы, из-за чего сердце периодически и шло в полный разнос. Учитывая, что я пишу это больше чем через две недели после операции, и, вроде бы, все это время сердце бьется вполне нормально, перерезали они то, что надо, и сколько-нисколько еще поживу. Долеживаю пока, хотя уже и двигаюсь повсю и делаю все, как обычно. На работу обещают через пару дней отпустить. Так что с полным основанием вспоминаю Сельвинского: «Вам сегодня не везло, мадамочка смерть? Адьо до следующего раза!»

Дополнение из 2015-го. Да уж – запись про то, что выжил, несомненно заслуживает быть приведенной. Таки выжил!

– Как вы ни выкручиваетесь, – говорил мне постоянно невысокий и веснушчатый доктор-ирландец, который стал моим американским кардиологом, – а какую-то хирургию делать придется, если не хотите от фибрилляции умереть в один прекрасный день, когда до нас не успеете доехать.

А я все пытался таблеточками отделаться. Хорошо, что это в городе случилась, и до больницы недалеко. А так бы еще бабка надвое сказала... И конечно, уровень техники, которую они ко мне применили, меня потряс. Как позднее растолковал мне один хороший врач в Москве, шансов выжить у меня там не было бы никаких. Они подобные операции только лет через семь начали делать. Так что теперь как бы дополнительную жизнь живу...

12 сентября 2001 года.

Со вчерашнего дня мы живем в другом мире. Мы и они. И они – не люди.

Дополнение из 2015-го. Тогда я ничего дописывать не стал. Как не мог ничего вообще записать 11-го. Смотрел, не верил глазам – и плакал как ребенок. Никогда не думал, что смогу заплакать. У меня с этим не очень. Даже на маминых похоронах сдержался. А тут не смог. Воображение хорошее – представлял, каково людям в горящих «близнецях», и плакал разом от жалости и от ужаса. Помню, как через

несколько месяцев, когда мы были в Москве и зашел разговор об этом дне, кто-то при мне сказал, что так им, американцам, и надо. Я ему в горло вцепился, даже выговорить ничего не мог, только рычал – еле оторвали, а если бы не оторвали, не знаю даже, чем бы это кончилось. Сидел бы и посейчас в какой-нибудь из российских тюрем, наверное. Раз он так сказал, значит, он один из тех. Я про это много думал. Особенно, когда про тех, кто это сделал, появилось больше информации. И оказалось, что многие из них подолгу в Америке жили. То есть не могли не иметь дело с добротой и терпимостью этой страны и здешних людей. И соседи им наверняка с каждой мелочью помогали, а они этих соседей вместе с детьми были готовы в любую минуту убить. И чем дольше живу, тем больше вижу, как эта нечисть на нормальный мир наползает. Прямо Мордор какой-то! Наверное, они и раньше были, но кто про это знал-то? А 11 сентября границу провело – с этого дня они на белый свет вылезли. Прав я был тогда – мир другим стал. И никогда уже прежним не будет.

16 августа 2003 года.

Меньше недели, как вернулся из России, – приглашали с докладом на европейскую конференцию в Москве. Ну и чего не съездить, раз за все Европа платит, – и дорогу, и гостиницу. Да и конференция оказалась довольно интересной. И плюс к этому – знакомых повидал, по книжным походил, пару выставок хороших поглядел, по Третьяковке побродил. Красота. Но я не об этом. А о том, как поразили меня различия, как видят мир в России и как его видим мы. Раньше мне не казалось, что разница так велика. А тут... Прежде всего, уровень неприязни, да чего там – просто ненависти к Америке – зашкаливает. Даже вполне, казалось бы, разумные люди такое несут... Вспоминали как-то в компании коллег одиннадцатое сентября, так почти единодушно коллеги эти мне заявили, что им, дескать, погибших в «близнецках» американцев жалко, а Америку – нет! Как будто Америка и американцы – это не одно и то же. И это в обществе, которое всегда гордилось способностью сочувствовать! Я им в ответ: вы что, ребята?! Вот когда у вас дома взрывались, так в Америке даже в самых консервативных СМИ никто не сказал, что вот погибших москвичей жалко, а страну, гражданами которой они являлись, нет. Именно России сочувствовали! Нет, все свое твердят...

Чего только я про Америку в Москве не начитался! Даже выписал кое-что. Как вот такое понравится: «Америка – в глубине безнадежно провинциальная страна, и вся ее мнимая сложность в принципе легко может быть сведена к двум комплексам, характерным для преуспевающего в городе мужика: выглядеть по-столичному и – мы в гробу вас, сто-

личных, видали (спесь деревенского)». Не слабо, да? И при этом именно американским, казалось бы, совершенно внутренним делам уделяется такое внимание, что диву даешься! Программа «Время» в числе самых важных новостей рассказывает о предстоящих выборах губернатора в Калифорнии, а?.. Интересно при этом, что известий, скажем, о назначении нового губернатора, например, Петербурга на новостных каналах Америки я что-то не припомню! Но самое главное – Ирак! Подавляющее большинство моих российских собеседников говорили об Ираке так, как будто это была Новгородская область, в которую вторглись псы-рыцари, а Саддам Хусейн в их речах возникал в образе какого-то святого Александра Невского, самоотверженно отстаивающего целостность земли родной. Что тут скажешь?

И удивительное сочетание желания хорошо жить с ненавистью к богатым. Конечно, феномен российских богачей – дело специальное. Но тут, как правило, ненависть не столько к тому, как состояния нажиты, сколько к самим состояниям. И речь идет не просто о примитивной зависти бедных к богатым. Это куда глубже. В конце концов, и бедный может подналечь, подсуеиться и выбиться не в последние люди. Десятилетия промывания массовых мозгов вообще внесли в подсознание установку на то, что быть богатым плохо и неприемлемо. И началось это с самых первых дней «рабочей власти». Уже в своих дневниках 1918-1919 года Пришвин отчетливо видел, что «все движется не сочувствием и любовью к бедному человеку ('пролетарию'), а ненавистью к богатому ('буржуа')». И такой «пир победителей» продолжался все десятилетия системы. Хорошо помню суть литгазетовского судебного очерка семидесятых, в котором рассказывалось об изобличении какого-то очередного деятеля теневой экономики. Основные филиппики автора относились даже не к существу дела и не к тому, что вот, дескать, негоже подрывать родную советскую экономику, а к тому, что производившие обыск на дому арестованного обэхаэсэсники обнаружили у него – нет, не зарытый пулемет и не банки с золотым песком – а целый десяток костюмов! Представляете: у него на одного – десяток костюмов. Каким же надо быть мерзавцем и подонком, и вообще существом без чести и совести, чтобы столько костюмов накопить!.. И этот бред вдалбливался в головы непрерывно. И теперь – шизофреническая раздвоенность: богачей на фонарь, но хорошую машину и квартиру я тоже хочу. Добром не кончится... Вот такие впечатления...

Дополнение из 2015-го. В общем-то, что я говорил тогда, то повторил бы и сейчас. Но вот иракская война видится мне теперь несколько по-другому. Десять лет назад, когда все только начиналось, я почему-то

был уверен, как и положено при любом непростом начинании – что в бизнесе, что в политике: у тех, кто начинает, разработана не только стратегия входа в ситуацию, но и стратегия выхода. Как теперь видно, стратегия входа действительно была – поэтому так быстро с Саддамом и разобрались, и даже стратегия некоторого продолжения была – недаром на все эти годы оттянули террористов с территории Америки в Ирак. Но вот стратегии выхода не было. Поэтому и завязла там страна теперь, может быть, даже почище, чем во Вьетнаме. И как оттуда выбираться – никому, похоже, понять пока не удается. Такие вот мрачные дела...

14 мая 2008 года.

Большой день! Стараюсь излагать с элементом самоиронии, но, если честно, приятно. Утром на общеуниверситетском сборище мне (в компании еще с парой человек) вручали бляху заслуженного университетского профессора. Здесь это высшая честь, которой университетский ученый может удостоиться. У нас на полторы тысячи профессоров таких, вместе со мной, на сегодня только дюжина, к тому же некоторые уже в отставку вышли. Пришлось полтора часа в мантии мучиться – взмок весь! И ведь нашли где-то мантию с цветами Московского университета – надо же так было расстараться! Поскольку положено на торжествах и при вручении наград присутствовать в мантии цветов альма матер. Вот и потел в родных цветах. А президент рассказывал толпе, какой я замечательный. Вот так! Мои все были – вся лаборатория. В общем, как там у Ремарка в «Трех товарищах»: «Вот и старому Блюменталю достался подарочек!». Теперь положено эту бляху на орденской ленте на все торжества надевать. Смотрите, так сказать, завидуйте!...

Дополнение из 2015-го. Мне как-то всегда казалось, что это только в Союзе так сильно любили моральные поощрения, чтобы материальных поменьше давать. Конечно – предприятию куда выгоднее вручить тебе какую-нибудь грамоту в рамке, чем тринадцатую зарплату. Так оказалось, что и тут то же самое! На тот момент у меня в кабинете разными грамотами было полстены завешано. Но в такой торжественной обстановке еще никогда ничего не вручали. Честное слово – даже несколько растрогался. Потом молодежь устроила у меня дома (в лаборатории спиртного нельзя, а у них квартир нет) интернациональный ужин. Опять было приятно. У меня на тот момент стран, наверное, из десяти народ работал – от Германии и Франции до Бразилии и Ирана. Так все пришли со своими национальными блюдами, а некоторые даже в национальных одеждах. В общем, чуть не до слез старика

довели. Тогда я впервые попробовал подсчитать, во скольких же странах мои ученики работают. Не получилось – вспомнил двадцать с лишком и путаться начал. И подумал, что старею...

26 декабря 2011 года.

Маши нет. Как все глупо! Вот и жизнь кончилась...

Дополнение из 2015-го. Собственно, на этом мой дневник и закончился. Почему-то писать больше не хотелось. Да и что такого интересного может теперь в моей жизни произойти. А все действительно так глупо получилось: один всего день по-настоящему сильный гололед был, так надо же ей было именно в этот день за каким-то пустяком в магазин поехать и – лоб в лоб с другой машиной. И там тоже женщина была. И тоже погибла. Я даже выяснять не стал, кто нарушил, по чьей вине и все такое... Какая разница... Вот и всё... А я пока живу. По местным меркам, даже еще и не совсем старик, а все равно никак себя ощутить не могу. Вроде привык уже, что ее рядом нет, а все равно, как будто и меня самого рядом тоже нет. Может, если бы Дашка с семьей рядом была... Да как им сюда из Сан Франциско перебраться? – И работа там у нее. И дети учатся, муж опять же. Хорошо хоть звонит все время. Всё полегче...

Еще одно дополнение. Вроде бы все и закончил, но как-то не на той ноте завершается. Я уже привык к этой писанине, вот и хочется еще порассуждать. Да и от плохих мыслей отвлекает, так что я даже благодарен, что втянулся, хоть начинал через силу. Но поскольку писалось все медленно – целиком сразу все только сейчас прочитал. И понял, что вопросов у читателя может возникнуть масса, если, конечно, читатель этот вообще когда-нибудь появится.

Ну вот, хотя бы: почему я только эти записи выбрал, а не какие-нибудь еще в придачу, раз уж так подробно все записывал? И хоть и написано в самом начале, что говорить буду лишь о жизнеобразующих моментах... – а семья, женитьба, дети, например, – они что, не жизнеобразующие? Еще как! Ну и что отвечать? Конечно, важно все это, – и с Марьей мне повезло, и дочь замечательная... Но, как бы это сказать... Вот – у Толстого: «Все счастливые семьи счастливы одинаково». Именно так! Чего ж тогда рассказывать – ну увидел, влюбился, ухаживал, ну прожили душа в душу больше сорока лет... – не думаю, что это меня или ее как-то так уж сильно изменило или чему-то новому научило. Потому и жили хорошо, что с самого начала друг другу подходили. Разве что еще больше кожей срослись за все эти годы. Чего тут еще сказать? И с Дашкой то же самое. Всегда дочерей хотел – вот дочь и

получил. Внуков трое! Но и у других нормальных людей так! Ничего такого, что стоило бы на свет вытащить, посторонним рассказать, найти не могу. Правильно говорят, что нас беды и разочарования формируют, а вовсе не равномерная, спокойная и довольная жизнь.

То же самое можно и об институтских годах сказать. И почему так получилось, что большинство значимых для меня событий в Союзе произошло, а в Америке – всего ничего? И это за двадцать пять почти лет... Потому, думаю, что многих ситуаций, которые в Союзе оказали сильное влияние на мою жизнь и самосознание, в Америке просто произойти не могло. Все-таки Союз представлял собой место, «из нормального разума выпадающее», как написал кто-то. Чтобы понять многое из происходившего, там надо жить было. Так сказать, единство времени и места действия. Отсюда и ситуации – от специальных инструктажей перед поездкой на конференцию до колбасы из бумаги. Вот и вышло: Союз меня тем, что я есть, сделал, а Америка только работу дала да подлечила неплохо. Даже такие ключевые для когдатошней жизни события, как, скажем, покупка машины или дома, тут превращались в рутину и набор стандартных процедур, которые нужно было предпринять, как только возникало желание и позволяли возможности. Как говорит один мой здешний знакомец, тоже из Союза: «Здесь реальные отняли у нас всю радость жизни! Когда-то джинсы купил – радость! Копченой колбасы палку раздобыл – радость! Я уж не говорю о чем-то более серьезном, вроде машины или дачи, – это просто праздник жизни был!..»

Да, под старость все больше из той жизни вспоминается. Как сигналы какие-то из прошлого. Вроде как давно исчезнувшие сигналы точного времени по радио! Помните: «Говорит Москва! Передаем сигналы точного времени. Последний, шестой сигнал, прозвучит ровно в двенадцать часов по московскому времени». Вот и звучат в голове такие сигналы – и сразу понимаю, что вот-вот что-то из прошлого опять всплывет. Особенно из детских воспоминаний. Надо же было дожить до такого, чтобы все еще живущий в каких-то завитках мозга почти что пятидесятилетней давности мальчонка вдруг запротестовал, да еще так настойчиво, наружу, возжелав неожиданно поведать городу и миру о перипетиях своего жизненного пути!

Заканчивается у меня этот путь совсем в другой стране, чем та, где он начался. Конечно, в наш век кого этим удивишь, но все равно, у меня-то опыт свой собственный. Когда-то мне казалось, что можно на две страны жить – ведь, в конце-то концов, не все же мне там поперек горла было – и язык родной, и места, которые я любил, и друзья ведь тоже там; почему бы и мне периодически не возвращаться, сей-

час с путешествиями проблем нет – взял билет и лети! Не вышел номер – правильно говорят, что между двух стульев усидеть не получается. Вот я тот стул и отставил.

Особенно, когда увидел, как сильно меняются там люди. Поначалу подумал, что, может, это я сам тут так изменился, но ведь у меня свой отвес есть проверять, насколько я от себя тогдашнего отклонился: полез в свой собственный дневник на десять-двадцать-тридцать лет назад и увидел, что с каждым тогда написанным словом и переданным ощущением я и сейчас полностью согласен. А многие из тех, с кем я в России разговаривал, даже из тех, кто те же двадцать-тридцать лет назад то же, что и я, думали и говорили, меня недавно в совсем другом убеждали. Стало быть, все-таки, не я так поменялся. А раз так, то что мне там теперь делать – снова зубами скрипеть, как когда-то, да только без тогдашней молодости? А на то, что там что-то быстро поменяться может, – надежды нет.

Когда-то я вычитал у Ясперса, что однажды введенная диктатура не может быть устранена изнутри, поскольку современные технические возможности предоставляют фактическому правителю громадные возможности, если он готов пользоваться любыми доступными средствами. Подобное господство не может быть сломлено, как не может быть сломлена силами заключенных власть тюремной администрации. Ну, и на что тут надеяться?

Что же касается моих раздумий по поводу того, «что такое хорошо и что такое плохо», мама как-то мне сказала вечером на кухне, в один из своих приездов в Америку: «Ты вечный диссидент-единичник. До 17-го года ты бы разносил по заводам ‘Искру’ или был бы членом боевой дружины. После 17-го ты стал бы белогвардейцем. Особенно под конец Гражданской. При коммунистах ты просто исходил от ненависти к ним. Потом тебя бесили демократы. Сейчас – уваровщина, которая в России начинается. Я думаю, что при самом замечательном правительстве ты нашел бы, за что его можно не любить». Наверное, она была права. Как всегда...

...Сию за журнальным столиком один в пустой квартире, потягивая скотч, смотрю на книжные полки у стены и все пытаюсь из себя еще что-то выдавить, лишь бы продолжить писанину. Хотя в любом деле самое главное – вовремя остановиться... И вдруг – какое-то дежа вю. Лет восемь назад – я тогда еще не был одинок – приезжала к нам Дашка с двумя детьми; целый вечер в квартире шум и гам, еле успокоились часам к двенадцати. Потом разошлись по спальням укладываться, затихло все; чтобы достойно день завершить, я вот за этот же столик уселся. Насыпал в стакан льда, открыл свой

любимый «Лафрж», сразу наполнивший комнату приятным запахом жженого дерева или прогорающего костра, плеснул на три пальца и стал слушать, как тихонько потрескивает в стакане залитый коричневой жидкостью лед, – вот точно как сейчас! За окном виднелась половинка огромной луны, прилипшая к шпилю небоскреба напротив, напоминая какое-то странное архитектурное украшение. И вместе с первым глотком пришло ко мне редкое ощущение полного счастья – сознание того, что рядом тихо спят самые дорогие мне люди и что я пока жив, даже относительно здоров и могу вот так посидеть, глядя то на чуть различимые в темной комнате с горящей настольной лампой полки с любимыми книгами, то на застывшую луну... Потом прикрыл глаза, а когда открыл и посмотрел на часы – с белого циферблата уже стекало утро...

Смотрю, как за окном на воде бостонской гавани огни из окон домов справа сливаются со своими отражениями в тихой ночной воде, и думаю, что идут к концу две мои такие разные жизни, и начинаю понимать, почему в последние месяцы меня так потянуло перечитывать эмигрантские романы Ремарка: от невнятной тоски по чему-то, чего, наверное, никогда и не было, или было только в моем воображении, но тоска эта так реальна, что, кажется, я могу даже потрогать ее рукой – вот она рядом стоит... У каждого человека должно быть место, куда пойти, – по-моему, это из Достоевского, – и вот оно, мое место. Я уже пришел...

И ничего уже не поменять. И ничего уже не боюсь. «Ничего, кроме того, что небо может упасть на нас», – ответили когда-то кельты на вопрос завоевавшего их Александра Македонского, чего на свете они боятся. Александр посчитал их хвастунами. А я – нет. Мне кажется, я их понимаю.

2015–2018, Бостон

Владимир Ханан

Воскрешать перед мысленным взором

* * *

Вот так – хранителем ворот
От зимней матросни –
Не ко дворцу, наоборот,
Но к площади усни.
На зов, где вздыблен мотылек
И осенён в крестах,
И где ладонь под козырек
Нам праздник приберег.

Где неги под ногой торец
Покачивает плетъ,
Пожатье плеч во весь дворец
И синей школы медь.
Усни не враз, качни кивком,
Перемешай огни,
И валидол под языком
На память застегни.

Всё то, что плечи книзу гнет,
Всё то, что вяжет рот,
Легко торец перевернет
И в память переврет.
Не нашим перьям перешить
Уснувшей школы медь,
Но надо помнить, надо жить,
И надо петь уметь.

Лети на фоне кирпича,
Не знающий удил!
Ты много нефти накачал
И желчью расцвелит,
Чтоб я, у ворота ворот
Терпя небес плевков,
Примерил множество гаррот,
Но горло уберег.

ВОСПОМИНАНИЯ В ТЕРИОКАХ

желдоровский поселок дач
зеленогорск тоска
и я не плачь и ты не плачь
влачи легко пока

свинцом и содой свет стоит
осгрей ножей края
и ледяным лучом летит
улыбочка моя

к твоим губам моя душа
летит в слезах спеша
так трудно без тебя дышать
что легче не дышать.

прорезав время поперек
я мог бы уберечь
не знавшую юродства речь
а вот не уберег

из плача в плач окину дол
сглотну последний ком
и зубы выложу в рядок
с примерзшим языком

но так представить тяжело
снег дача воронье
что наше время истекло
и началось мое

* * *

Когда я ночью приходил домой,
Бывало так, что все в квартире спали
Мертвецким сном – и дверь не открывали,
Хоть я шумел, как пьяный домовой.
Я по стене влезал на свой балкон,
Второй этаж – не пятый, слава Богу,
И между кирпичами ставя ногу,
Я без опаски поминал закон
Любителя ранета и наук,

И – он был мой хранитель или градус –
Я цели достигал семье на радость,
Хоть появлением вызывал испуг.

Мой опыт покорителя высот
В дальнейшей жизни помогал мне мало,
Хотя утес, где тучка ночевала,
И соблазнял обилием красот.
Но как-то так случилось на бегу
От финских скал до пламенной Колхиды,
Что плоские преобладали виды,
Я в памяти их крепче берегу.

Ленпетербург, Москва, потом Литва.
Я прорывал границы несвободы,
На что ушли все молодые годы
(И без того у нас шел год за два,
А то и за три). Как считал Страбон,
Для жизни север вообще не годен.
Тем более, когда ты инороден,
И, говоря красиво, уязвлён.

Цени, поэт, случайности права!
С попутчицей нечаянную близость...
– Молилась ли ты на ночь? – Не молилась.
Слова, слова... Но только ли слова?
Под стук колес дивана тонкий скрип,
Взгляд на часы при слабом свете спички,
Локомотивов встречных переклички,
Протяжные, как журавлиный крик.

Прощай... Потом, на даче, с головой
Я погружался в стройный распорядок
Хозяйственных забот, осенних грядок,
Деревьев желто-красный разнобой.
Грохочет ливень в жестяном тазу,
В окне сентябрь, и в комнате нежарко.
Бывает в кайф под мягкий треск огарка
Взгрустнуть, вздохнуть и уронить слезу.

* * *

Кавказ подо мною

А. С. Пушкин

Я видел картину не хуже — однажды, когда
Кавказец, сосед по купе, пригласил меня в гости.
Был сказочный август, в то время на юг поезда
Слетались, как пчелы на запах раздавленной грозди.

Так я оказался в просторной радушной семье.
Муж был краснодарским грузином, жена — украинка,
Невестка — абхазка. На длинной семейной скамье
Я выглядел явно чужим, как в мацони чаинка.

Ел острый шашлык, виноградным вином запивал.
Хозяин о глупых мингрелах рассказывал байки
Одну за другой. Над террасою хохот стоял
Такой, что хохлатки сбивались в пугливые стайки.

Потом на охоте, куда меня взяли с собой
(сначала не очень хотели, но всё-таки взяли),
Мне дали двустволку, и я, как заправский ковбой,
Навскидку палил, но мишени мои улетали.

Кавказ подо мною пылал в предзакатном огне,
В безоблачном небе парили могучие птицы.
Я был там впервые — и всё это нравилось мне,
Туристу из северной, плоской, как поле, столицы.

Дела и заботы на завтрашний день отложив,
Я тратил мгновенья как то и пристало поэтам,
На каждом шагу упираясь то в греческий миф,
То в русскую классику, не удивляясь при этом.

Смеркалось. На хólмы ложилась, как водится, мгла.
В Колхиде вовсю шуrowали ребята Язона.
Курортный Кавказ предвкушал окончанье сезона.
Я ехал на север — и осень навстречу плыла.

* * *

Воскрешать перед мысленным взором,
Наудачу закинув крючок
В позапрошрое время, в котором
Неожиданный крови толчок
Проведет тебя той же дорогой
С домино в том же самом дворе...
Что ты спросишь у памяти строгой? –
Вечер, парк, листопад в сентябре,

Где с заносчивой той недотрогой,
Полный нежности до немоты...
Что ты спросишь у памяти строгой? –
Милой той недотроги черты,
Вкус черемухи, влажность сирени,
Воздух осени – светел и чист,
Серых будней размытые тени,
Со стихом перечеркнутый лист?

Или ставшее островом детство,
Подростковой любви остря,
Где одно лишь защитное средство –
Беззащитная нежность твоя,
Да одна лишь крутая забота –
Чувств и мыслей сплошной разнбой...
Это ты – или, может быть, кто-то,
Вдруг прозревший и ставший тобой?

Не совсем, может быть, умудренный
Наспех прожитой жизнью своей,
Предзакатным лучом озаренный
Возле полуоткрытых дверей,
Чтоб увидеть особенно ясно,
Бед своих и обид не тая,
Что, должно быть, была не напрасна
Небезгрешная юность твоя.

Вдохновенья приливы, отливы,
Озарения мысли немой...
Как, Господь, твои дни торопливы
Между прошлой и будущей тьмой!

Черно-белая ласточка вьется,
Воронья надрывается рать.
Вот и Муза никак не уймется,
Только слов уже не разобрать.

* * *

Опять во сне то Пушкин, то Литва.
Я здесь о городке, не о поэте,
Давно плывущем в мутной речке Лете.
Как справедливо говорит молва,
Книг нынче не читают. Интернет
Сегодня и прозаик, и поэт.

В который раз – то Пушкин, то Литва...
Там – детство, юность, там – воспоминанья
О сбывшейся любви, ее признанья,
С трудом произносимые слова
«Люблю тебя...», а дальше... Дальше – дым.
Легко ли в шестьдесят стать молодым.

А я опять то в Царском, то в Литве.
Знакомых улиц узнаю приметы:
Мицкявичюса – вынырнул из Леты
На берег, не прижился, знать, в Москве.
Как я в России. Петербург не плох,
Но бог чужой – чужой навеки бог.

Так почему ж то Царским, то Литвой
Полна душа, и вздох невольный выдаст
То ветхий дом на тесноватой Ригос,
А то Большой Каприз* над головой.
В пространстве сна немало кутерьмы,
Вот почему в нем пропадаем мы.

И всё ж я брежу Царским и Литвой
Тех баснословных лет, когда телеги
В Софии** и на улице Сапеги
Ходили регулярно, как конвой,
А на стене Лицея – высоко
Сушились в окнах женские трико,

Изяществом сразившие Париж
С подачи злоехидного Монтана.
Меж тем, мальчишки, зреющие рано,
На их владелиц с царскосельских крыш
Глазели жадно в окна бань, пока
Их не сгоняла взрослая рука.

Шестнадцать лет, как я живу в краю,
Где вместо зим шарафы и хамсины***.
Другая жизнь, но прошлого картины
По-прежнему смотреть не устаю.
Литва и Пушкин, Пушкин и Литва
В моем сознание близкие слова

Настолько, что их образ неделим
На гулком сна и памяти просторе.
Как две реки, впадающие в море,
Они впадают в Иерусалим,
Где я их жду на низком берегу
И от суровой Леты берегу.

* Мостик в Екатерининском парке Царского Села

** Район Царского Села

*** Пыльные бури

* * *

Где застряла моя самоходная печь,
Где усвоил я звонкую русскую речь,
Что, по слову поэта, чиста, как родник,
По сей день в полынье виден щучий плавник.

Им украшено зеркало тусклой воды,
Не посмотришься – жди неминучей беды,
А посмотришься – та же настигнет беда,
Лишь одно про нее неизвестно – когда?

Там живут дорогие мои земляки
Возле самой могучей и славной реки,
Ловят щуку, гоняют Конька-Горбунка,
А тому Горбунку – что гора, что река.

И самым землякам – что сума, что тюрьма.
 Как два века назад вся беда – от ума,
 Татарвы, немчуры, их зловредных богов,
 Косоглазых, чучмеков и прочих врагов.

Да и сам я хорош: мелодический шум
 Заглушил мне судьбу, что текла наобум.
 Голос крови, романтику, цепи родства
 Я отдал за рифмованные слова.

Оттого-то, видать, и течет всё быстрее
 Речка жизни моей, а точнее, ручей,
 Что стремительно движется к той из сторон,
 Где с ладьей управляется хмурый Харон.

Где земля не земля и вода не вода,
 Где от века другие не ходят суда,
 Где однажды и я, бессловесен и гол,
 Протяну перевозчику медный обол.

Иерусалим

Евгений Сливкин

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Ты учишь проклятый романский
язык при настольной луне,
и час без пяти комендантский
железом скребет по стене.

Над крышею холод планиды,
окно — в ленинградскую тьму:
есть вид на Фонтанку — и виды
на будущее ни к чему.

Ты помнишь, как в этой вот яви,
ко мне прижимаясь плечом,
жила в коммунальной державе,
где ветер пропах кумачом?

Холщовые лица хозяев
и лозунгов белый букварь.
В недвижные рельсы трамваев,
как в реку, смотрелся фонарь.

Товарищи по неумению
держат кормовое весло,
мы плыли впотьмах по течению...
И вот ведь куда занесло!

* * *

Среди цветов, больных ангиной,
кустов чахоточных в кругу
я в Оклахоме красноглинной
от крови горло берегу.

Как будто жизнь, себя удвоив,
пошла внезапно по косой
и меж индейцев и ковбоев
легла ничейной полосой.

В полях железные насосы,
как видящие всё насквозь
акмеистические осы,
земную всасывают ось.

А через город, точку то есть,
с судьбой совпавшую как раз,
течет набитый нефтью поезд,
впадая буфером в Канзас.

Не торопясь доставкой груза,
он тормознет и сдаст назад,
протяжный, как гипотенуза,
произведенная в квадрат.

И, заглушая топот стадный
вдоль непроложенных дорог,
ворвется в прерию надсадный
незатиhaющий гудок.

* * *

И осталось от города Питера
прежних времен
интеллигентных пятеро
белопёрых ворон,

с видом значительным
птиц одного круга
державшихся на почтительном
расстоянии друг от друга.

Хвост волоча, как наволочку,
разодранную на полосы,
ходят они вразвалочку
по полису, словно по лесу.

Не сомневаясь – надо ли,
выжить во всю пытаются,
и с достоинством падалью
день изо дня питаются.

МУРЕНЫ

На рынках приведенные в полон
по драхме шли – и даром не рубали!
И римский всадник Ведий Поллион
мурен кормил отменными рабами.

Под портиком сидел на холодке
и, мальчиков держа за подбородки,
смотрел, как в огороженном садке
всплывают галльских ягодиц ошметки.

А время, провозвестник перемен,
сквозь всадника текло необратимо,
поскольку мясо нежное мурен
смягчало нравы населения Рима.

АМЕРИКАНСКИЙ МОТИВ

Хоть богата хламом Оклахома,
твой Канзас – нескребаный сусек,
в залежах его металлолома
погребен Железный Дровосек.

Был он механизмом бесполезным
и насквозь заржавленным от слез,
но любил всем существом железным
край земли с названием кратким Оз.

Дорожил в груди изделием штучным
и, врожденным компасом ведом,
грянул в путь с орудием подручным –
Дороти построить новый дом.

Шел под ветром, темным от половы,
в мир людей, что в свой черед умрут,
на звезду, похожую на плевый,
выброшенный в небо изумруд.

Но за жабры взятое на жалость
сердце по заказу «Made in Oz»
в пустоте канзасских прерий сжалось,
а разжать его не удалось.

* * *

Термометра прозрачна флейта;
в зависимости от широт
она звучит по Фаренгейту,
она по Цельсию поет.

Из пункта А выходишь или
из пункта Б – один ответ,
и в патентованную милю
рекой впадает километр.

Невтоновы подвластны фрукты
эмвэ в квадрате пополам,
когда налившиеся фунты
утяжеляют килограмм.

К земле придавлен атмосферой,
но не привязан к стороне,
не той я пользовался мерой,
которой воздается мне.

Отталкиваю расстоянья
и сам теряю интерес:
зиянье там или сиянье,
где я из памяти исчез...

Колорадо

Асият Каримова

Добрые люди*

Посвящается

Людмиле Лошак и Мусли Щамхаловой

В тот день все пошло совершенно не так.

Я даже и сам не понял, в какой момент это началось. Папа был в хорошем настроении, как у него иногда бывало. Он шутил и подмигивал мне, маме, самому себе в зеркале, пританцовывал и был совершенно замечательный. Но потом мама все испортила. Вообще-то мне не хочется так говорить про нее, тем более учитывая то, что случилось потом, но все же так оно и было: мама все испортила. Она недовольно смотрела, как папа радостно заходит в кухню, а когда он склонился к ней и попытался ее поцеловать, она с отвращением толкнула его рукой прямо в лицо – вот так – а потом, морщась, встала со стула, прошла быстро к плите, повернулась к папе и начала на него кричать. Она знала, знала, что не надо кричать, что не надо так делать, но, наверное, уже не могла остановиться, не могла прекратить, как я сейчас сижу и не могу прекратить плакать, хотя, правда, очень стараюсь.

Дальше все было так, как обычно. Сначала папа пытался шутить, обнять маму, она отталкивала его, он зачем-то указывал на меня, потом мама склонилась к его уху и что-то свистяще прошептала, папа шутливо поморщился, начал отвечать ей громким голосом, она толкнула его и указала на меня, потом рывкнула: «Андрей, иди к себе!», и я сразу так и сделал, потому что знал, что не нужно ее злить. Вообще-то мне не хотелось уходить из кухни, потому что макароны по-флотски были очень вкусные, и я их люблю, но выбора у меня не было. Я встал и пошел к себе, там сразу сел за компьютер – будут ругать, ну и пускай, – надел наушники и наугад включил одну из «стрелялок».

Вскоре я понял, что грохот в наушниках уже не перекрывает шум с кухни. За стеной кричал папа: это был странный, особый крик, визгливый и немного похожий на женский, он означал, что папа очень зол. Мама, наоборот, говорила низко, словно ревуший зверь, и

* Лауреат премии им. Марка Алданова (2017)

иногда сквозь гул прорывались просто ужасные слова, такие, какие мне ни за что нельзя произносить. Мне стало страшно, я увеличил громкость в игре, но шум за стеной все равно прорывался, и теперь уже был слышен какой-то стук, а еще дребезг, наверное, опять били посуду. Я обхватил большие наушники руками и изо всех сил вжал их в уши, но стало только больно, и не помогало: я знал, что за стеной все грохочет и клокочет, и мне становилось так страшно, хотя я и понимал, что бояться нечего, что вот так всегда: они сейчас всё перебьют, потом утихнут, потом я приду на кухню и увижу, как они сидят, мама заплаканная, папа равнодушный, смотрят в разные стороны, но на самом деле я знаю, что все хорошо, мама сейчас приложит к синяку лед, и мы все вместе будем пить чай с шоколадными вафлями.

По лицу у меня текли слезы, и я был рад, что папа не видит, и вообще никто ничего не видит. Я был сосредоточен на игре, но думал совсем о другом, и в конце концов заметил, что за стеной стало как будто тихо. Я аккуратно снял наушники, прислушался – ужасно тихо! – встал, надел тапочки и подошел к двери. Сквозь дверь ничего не было слышно, я коснулся ручки и аккуратно ее повернул не спеша, чтобы, если вдруг что, можно было отдернуть руку и скорее убежать в комнату. С той стороны – никакой реакции. Тогда я повернул ручку решительней, толкнул дверь и вошел на кухню.

Кухня была пуста. Я сразу почувствовал что-то странное под ногами, вязкое – красное. Я опустил глаза и увидел, что мама лежит на полу, а вокруг – полотенца, битые тарелки, губка для мытья посуды, макароны по-флотски, вода, мыло и еще много чего.

У мамы были открыты глаза, она лежала в странной позе, в красной луже. Я уже видел такое – в кино. Папы нигде не было.

* * *

Бабушка склонилась ко мне, и от улыбки ее глаза стали похожи на два перевернутых полумесяца.

– До чего же ты безобразный, – просюсюкала она с улыбкой. – Андрюша, ты – уродик. Ты хоть знаешь об этом?

– Бабушка, ты уже говорила.

Я отвечал так, потому что боялся разозлить ее. А еще потому, что она вообще-то была права. Я много раз слышал, что я урод, и все из-за моей руки.

Я теперь жил с бабушкой, и не был этому рад, честно говоря. Но делать нечего. С тех пор, как мама умерла, потому что папа ее убил, жить с ними я не мог. Папа сел в тюрьму. Обычные взрослые мне об этом, конечно, не сказали, потому что они почему-то думали, что я ничего не пойму. Они скрывали от меня то, что папа сделал с мамой.

Кажется, они и не знали, как сказать мне о ее смерти, потому что тетенька, которая должна была сделать это, сначала обняла меня, потом держала меня за руку и грустно, чуть ли не со слезами на глазах, на меня смотрела. Я не выдержал и спросил:

– Мама умерла, да?

Тетенька поморщилась, как будто от боли, – наверное, думала, я поверю, что ей не плевать на мою маму. Она потом еще долго меня о чем-то расспрашивала и очень пристально смотрела мне в лицо, как будто думала, что она невидимая и я ничего не замечаю. Через несколько дней меня отправили жить к бабушке.

Сначала я был даже немного рад, потому что раньше бабушка относилась ко мне хорошо, и я ее не боялся. Но что-то поменялось, наверное, из-за того, что мамы больше не было. Именно бабушка рассказала мне о том, что папа сделал, и о том, что теперь он в тюрьме.

– Он схватил ее за волосы, вот так, – сказала бабушка, пробуя и меня так же взять за волосы, но у нее не получалось, потому что я стрижен коротко. – Потом он ее об стену – вот так, – и бабушка резко толкнула меня в сторону стены. – Он ей голову разбил. Он моей девочке голову разбил, понимаешь? Твой папаша. Убили вы мою девочку.

– Я же ни в чем не виноват, бабушка.

– Как же не виноват? Как же не виноват? – бабушка сделала веселое и удивленное лицо, как будто то, что она говорила, было ужасно смешно. – А кто же тогда виноват? Она не из-за тебя ли с этой сволочью жила? Не из-за тебя? – бабушка резко схватила меня за ухо и потянула вверх, как будто пыталась оторвать от земли.

Я не нравился бабушке, потому что она была мамой моей мамы и считала, что я во всем виноват. Но дело не только в этом. Была еще моя левая рука, очень странная. Мама говорила, что у меня не развились пальцы, еще когда я только рос в ее животе. Ладонь похожа на клешню. Уродом меня звала не только бабушка – так говорили и в школе, и на улице, и во дворе. Чтобы не злить бабушку, я прятал руку в карман, но она это замечала и злилась еще больше.

Однажды, когда ее не было дома, я решил позвонить маме. Я не думал, что она действительно умерла. Разве такое могло случиться? Если бы она умерла, ее глаза были бы закрыты, когда я ее нашел. Она наверняка просто сильно болела, и взрослые решили сказать мне, что она умерла, чтобы я перестал задавать вопросы.

Я взял бабушкин домашний телефон, потому что мобильный она всегда держала при себе. Если бы был мобильный, я бы мог отправить маме сообщение. Взяв телефон, я набрал мамин номер, но она не отвечала. Шли долгие гудки, и я немного надеялся, что она наконец-то ответит, но она молчала. Я не очень рассчитывал, что это сра-

ботает, но решил просто рассказать все в трубку, вдруг оказалось бы, что у мамы совсем новый мобильный, который отлично все записывает, даже если не брать трубку, такое ведь показывают в американских фильмах? Я пробормотал:

– Привет, мама.

Никто не отвечал, и я почувствовал себя очень глупо. Мне хотелось все рассказать маме: что бабушка меня больше не любит и бьет меня каждый день, хотя я, правда, ничего плохого не делаю, что она должна забрать меня сейчас же, срочно, даже если она еще болеет, – я о ней позабочусь. Мне хотелось сказать ей, чтобы она не злилась на папу, потому что он – случайно, и нужно забрать его из тюрьмы и снова жить вместе, как раньше. Но произнести все это у меня не получилось, мне все казалось, что я говорю сам с собой, как полный дурак. Я помялся немного и повесил трубку.

В школу я давно уже не ходил. Сначала мне так и сказали – пока посидишь дома. А потом наступили зимние каникулы, и стало совсем скучно, потому что бабушка никуда меня не пускала и никуда не водила сама. Уж не знаю как, но вскоре я умудрился заболеть. Первой это заметила бабушка.

– Это что это у тебя на лбу? – резко спросила она и больно схватила меня за подбородок.

А на лбу у меня с самого утра был какой-то странный пузырек, который я сразу же лопнул, отчего остался след.

– Еще на теле есть такое? А ну, покажись!

Бабушка внимательно изучила мое лицо, руки, живот. Наконец она с торжествующим видом ткнула мне в грудь, под ребро, и воскликнула:

– Так я и думала! Ветрянка у тебя, дурачок. Иди к себе в комнату и больше не выходи.

А я и не мог выйти, потому что бабушка немедленно заперла меня на ключ. Сначала я толком не понимал, в чем дело: на теле появлялось все больше и больше пузырьков, но меня это совсем не раздражало, а даже в чем-то мне нравилось: я их лопал, они оседали тонкой пленкой на коже, ну а чувствовал я себя просто замечательно. К вечеру стало хуже: я понял, что простудился, мне было очень холодно (бабушка сказала, что это температура), я залез под одеяло и почувствовал себя совсем слабым и больным. Пузырьков становилось все больше, и они стали ужасно чесаться. Потом зашла бабушка и принесла каких-то лекарств. Глядя на меня с отвращением и морщась, она сказала: вот, принимай это и то, вот тебе чай. И смажься зеленкой, и перестань чесаться, а не то еще большим уродиком станешь.

Принимать лекарства было легко, мне даже понравилось, что бабушка и мама не следят: я сразу принял всего побольше, чтобы поскорее выздороветь. Зеленкой мазаться не хотелось, ведь она совсем уродливая, и от нее кожа становилась, как у лягушки. Перестать чесаться у меня не получалось, все тело ужасно зудело, и я впивался отросшими ногтями в кожу. Потом мне стало совсем плохо, я спал не знаю сколько времени, дрожал под одеялом и пытался звать бабушку, чтобы она принесла горячего шоколада. Хотя, даже если бы она меня услышала, я не думаю, что она принесла бы мне шоколада. Мне очень хотелось, чтобы ко мне пришла мама и позаботилась обо мне, как она обычно делала: она бы сварила киселя, а еще принесла бы мне чаю с малиновым вареньем, накрыла бы меня всеми одеялами, какие есть в доме, поставила бы мне мультик на компьютере и все время бы обо мне беспокоилась. Мне стало грустно, и по лицу сами собой потекли слезы, и в этот момент я решил, что как только стану здоровым, обязательно пойду искать маму, где бы она ни была, и расскажу ей, что со мной приключилось, и что бабушка совсем меня не любит и заходит ко мне только пару раз в день, и никогда не приносит варенья...

* * *

Я болел очень долго, наверное, две или три недели. Все это время я не мылся и стал очень плохо пахнуть, вдобавок к тому моя постель была все время мокрой и вязкой от пота. Я намаялся скукой и хотел пойти погулять или хотя бы посмотреть телевизор в большой комнате, но бабушка была против, потому что она никогда в жизни не болела ветрянкой и боялась заразиться. На улице было ужасно холодно: холод передавался и в квартиру, а окна покрылись морозным узором. Как только мне стало лучше, я начал уговаривать бабушку, чтобы она отпустила меня гулять, но, конечно же, она строго-настрого запретила даже говорить об этом. Не мог же я ей сказать, что должен немедленно отправиться на поиски мамы!

В один день все изменилось.

Был вечер, и мы сидели дома, потому что бабушка до сих пор считала, что мне лучше всего никуда не ходить. Я играл в маленькой комнате, как обычно, сам с собой, а бабушка возилась на кухне. Вообще-то мне нравилось играть одному и в «настоящие» игры, а не компьютерные. Я мог придумывать любые правила, никто мне не противоречил, я был главным. А еще, в отличие от компьютерных игр, в реальных не могло случиться чего-то непредвиденного: компьютер не вис, игра не заканчивалась. Обычно я играл так: брал свои игрушки и назначал каждой роль. Например, можно было играть в

«Звездные войны»: я сам был Люком Скайуокером, два игрушечных зайца – принцессой Леей и Ханом Соло, Дартом Вейдером становился медведь Ромка, а еще у меня были коллекционные фигурки Йоды и Чубакки, мне папа подарил. Я поочередно представлял себе то фантастический мир «Звездных войн», то съемки фильмов в реальной жизни, в которых я был актером, отыгрывающим роль. Иногда для еще большего удовольствия я представлял себя на премьере фильма, окруженным фанатами, а затем – получающим «Оскар». И аплодирующих в зале родителей. И мою речь, которую я почему-то произносил, как переводчик в телевизоре, с паузами и неловкими оборотами. Игра шла очень хорошо, пока я не решил совершить межгалактический полет на вращающемся стуле. Я прихватил с собой Хана Соло и Чубакку, уселся поудобнее и стал раскручиваться. Сначала было очень весело, но в какой-то момент у меня закружилась голова, я потерял управление космическим кораблем и вылетел из кабины пилота. Я упал на пол и сразу почувствовал, как сильно болит запястье, просто невыносимо. Я даже не успел встать: бабушка, прибежавшая на шум с кухни, рывком и очень больно подняла меня за шкуру и яростно впиалась мне в лицо своими страшными голубыми глазами:

– Что ты тут устроил, гаденыш?

Она сразу заметила, как я держусь за правую руку.

– Что это там у тебя? Сломал? Ты ее сломал?!

Я так боялся того, что бабушка может сделать со мной, если узнает, что я сломал запястье, что решил ни за что ей не признаваться, тем более, что я джедай. Но она посмотрела на меня подозрительно, отвела на кухню и протянула стакан:

– На, держи вот.

Я попытался взять его здоровой левой рукой, но она ударила по ней:

– Нет, не этой!

Как в страшном сне, я смотрел на то, что произошло дальше: стакан легко выскользнул из ладони, которой я не мог пошевелить, и с дребезгом разлетелся по всей кухне.

Не успел я что-то сказать в свое оправдание, как получил оплеуху.

– Идиот несчастный! Придется везти тебя к врачу, а все из-за твоей тупости. Собирай осколки, что стоишь.

Делать это оказалось больно и сложно, потому что у меня осталась только одна рука, к тому же клешнеобразная. Я же был не виноват, что стакан разбился. Я был уверен, что мама не стала бы меня ругать, если бы такое случилось. Мне вдруг стало ужасно тяжело, и снова появилось то странное чувство, колющее меня внутри: мама никогда больше не вернется, никогда, никогда, никогда.

* * *

В тот день я и решил сбежать на поиски мамы. Конечно, не стоило делать это слишком поспешно: я знал, что нужно сначала подготовиться, собрать вещи, чтобы путешествовать в одиночку, а это очень непросто, когда живешь с таким человеком, как моя бабушка.

Я решил все спланировать заранее, потому что мама всегда говорила, что к важным событиям нужно обязательно подготовиться. Я хотел составить список всех нужных вещей, но когда начал писать его, то сразу понял, что это займет слишком много времени, да и вообще, я не очень представлял, как пишутся некоторые слова: «тиелефон»? «телифон»? «тиелефон»? а может, «телефон»?

По-настоящему трудно было с игрушками. Мне хотелось забрать с собой их все, но это не вышло бы, даже если бы я взял старый дедушкин чемодан, потертый от времени. Очень жаль было оставлять красивые фигурки Йоды и Чубакки, еще жальче было прощаться со старыми мягкими игрушками. Но что поделать? Для героического поступка в жизни всегда приходится чем-то жертвовать. А я должен был отыскать свою маму.

В мой школьный рюкзак с человеком-пауком влезло немного: печенья и пара бутербродов с сыром, мой любимый медведь Ромка, спички на случай, если понадобится разжечь костер, диск с моей самой любимой игрой, перочинный ножик и запасной свитер. Мне нужен был еще мой телефон, но я понятия не имел, как украсть его у бабушки.

Надо было выбрать момент для побега. Я попытался представить себе, как поступил бы на моем месте какой-нибудь герой, например, Джеймс Бонд, но в голову лезли разные глупости, непонятные диалоги из фильма, романтические сцены, драки и прочие вещи, которые никак не помогли бы в моем деле.

В итоге я решил действовать, как любят говорить взрослые, «по ситуации». Я убрал набитый вещами рюкзак в платяной шкаф, под одежду, надеясь, что в ближайшие дни бабушке не придет в голову там рыться. Если честно, я не особенно представлял себе, каким будет мой побег: оставлю ли я записку, отправлюсь ли я в свой старый дом или к кому-то из друзей, позвоню ли я бабушке, чтобы сказать ей, что жив-здоров (может, она от этого только расстроится)? Почему-то, представляя себе свой побег, я мысленно слышал музыку из фильма «Миссия невыполнима» и видел себя, в образе Тома Круза, ловко выскакивающим из пустой квартиры, стремительно сбегающим по лестнице и... сталкивающимся лицом к лицу с бабушкой. В этот момент мне становилось не по себе, я пожимал плечами, встряхивал головой и старался думать о чем-то другом.

Однажды, уже в конце февраля, когда я сидел в своей комнате,

старательно пытаюсь приделать Чубакке отвалившуюся руку (он потерял ее в столкновении с армией Дарта Вейдера), я услышал, как входная дверь тяжело захлопнулась, а затем кто-то дважды провернул ключ с внешней стороны. Я замер: кажется, бабушка ушла. Куда, на сколько? Узнать это было невозможно, она никогда ни о чем мне не говорила. Я посмотрел в окно: на улице было уже темно, несмотря на раннее время. Я почувствовал радостное возбуждение в груди: раз темно, им будет трудней поймать меня. Пора бежать.

Я рывком открыл шкаф; пока я искал рюкзак, на пол в беспорядке летели мои свитера и джинсы. Вообще-то нужно было одеться потеплее, потому что на улице стоял мороз, а дома топили так, что я был одет в старую дырявую футболку и не менее старые и дырявые рейтузы, но я ужасно боялся, что бабушка застанет меня за сборами и жестоко накажет, поэтому я рывком надел первые попавшиеся штаны, напялил куртку, протянул руку к шапке – а вы видели когда-нибудь героев в шапке? нет! – и, прихватив рюкзак, стремглав бросился к двери, дрожащими руками нервно отпер дверь и выскочил из дома, даже не закрыв ее, потому что ни в одном кино ни один герой дверь за собой не закрывает.

* * *

Как только я очутился на улице, в морозной черной ночи, то сразу понял, что очень сильно ошибся. Уши схватило холодом, а ветер продувал меня насквозь. Вернуться я, конечно же, не мог, об этом не стоило и думать, но в то же время я осознал, что понятия не имею, куда идти. Впрочем, ответ на этот вопрос пришел почти сразу: нужно было идти домой, туда, где держали мою больную маму.

Сквозь начинающуюся метель и колючий ветер я с трудом дошел до остановки автобуса, который должен был ехать в сторону моего дома. Серая полузаброшенная остановка была едва различима в ночи и метели, и на ней уже стояла какая-то тетенька, высокая, толстая, величественная, издавала очень похожая на мою бабушку – я сначала подумал, что это она и есть, одетая в меховую шапку и длинную шубу до пят. Тетя смотрела вдаль, туда, откуда должен был появиться автобус, и сурово сжимала губы, наверное, от холода. На остановке была небольшая скамеечка, но наощупь она оказалась ледяной, поэтому я встал рядом с тетенькой.

Она окинула меня строгим взглядом и резко, с бесцеремонной заботой спросила:

– Что это ты один?

Я почувствовал, что этот вопрос не предвещает мне ничего хорошего, поэтому отвел взгляд в сторону и пробормотал:

– Я не один, за мной мама сейчас придет.

Тетенька подозрительно прищурилась:

– Ну-ну. Ходят беспризорники, родители алкаши, им плевать. Я милицию, то есть полицию, то есть милицию сейчас позову, они твоей маме все объяснят.

– Да не нужно! Мама сейчас придет...

Я понял, что лучше ее не злить, и решил пройти до следующей остановки. Улучив момент, когда меховая тетя зорко высматривала, не идет ли автобус, я прошмыгнул мимо нее и направился вдоль дороги.

Идти было недалеко, но из-за страшного мороза и ветра я уже не чувствовал ни ушей, ни рук. Варежки и шапка остались дома, и только теперь я понял, почему мама всегда говорила, чтобы я обязательно носил их зимой.

Руки кололо так сильно, что я не знал, куда их девать: засунул под мышки и побежал, хотя понимал, что не нужно так делать, потому что было очень скользко, и если бы я упал, держа ладони под мышками, то непременно ударился бы носом об лед.

Вдруг я услышал за спиной смех.

– Ты куда так несешься, малой?

Я обернулся и сквозь метель увидел, что со мной говорит девочка старше меня, высокая, примерно из седьмого или восьмого класса. Я был рад, что это девочка, она вряд ли ко мне пристанет.

Но оказалось, что она была не одна.

– Смотрите на этого малого! Смотрите, где у него руки, ну ваще!

Они засмеялись, хотя я не знаю, что было во всем этом смешного, я просто замерз.

– Я замерз, – сказал я.

– Замерз? Может, погреешься? – какая-то другая девочка сунула небольшой предмет прямо мне в лицо: вспышка, огонь – оказалось, это зажигалка.

– Отстань, уйди.

– Малой, а чё у тебя в рюкзаке, покажи хоть? – сказала та, первая.

– Маш, он хамит, смотри, даже погреться не хочет.

– Да утомнитесь, ща кто-нибудь взрослый сюда придет, устроит нам, что до малолетки докопались. Вчера из «Бэ» мне одна рассказывала...

– Малой, покажешь, чё у тебя там?

– Пусть деньги и телефон даст, и всё, нормас.

– Нет у меня телефона и денег, – выдохнул я.

– Ну так покажи.

– Не покажу.

Если бы на их месте были мальчики, я бы открыл перед ними рюкзак, потому что ничего интересного там не было. Но слушаться девочек?

– Отстаньте, я домой иду.

Я отвернулся и, хотя мне и было страшно, пошел к остановке. Я даже не понял, что произошло дальше: толчок – и я оказался на снегу. С меня уже снимали рюкзак.

– Отдайте, отдайте! – закричал я, чувствуя, что начинаю плакать.

– Да малой, не ори, мы посмотрим просто.

Я видел, как первая девочка, бросив догорающую сигарету в снег, рывком открыла молнию на моем любимом рюкзаке, и из него посыпались все приготовленные мною вещи.

– Смотрите чё, бутеры! Фу, блин! – одна из них со смехом закинула мои бутерброды с сыром куда-то в снег.

– Денег ни хрена нет, действительно, – разочарованно пробормотала другая.

– Оооо, а это что такое!

Я с ужасом увидел, как одна из девочек взялась за моего медвежонка Ромку.

– Отдай, это не твое, это мое, отдай!

Мой крик их только развеселил. Я бросился вперед, чтобы отнять у них Ромку, но они стали перекидывать его друг другу, как в игре «горячая картошка», а я бегал между ними, пока не понял, что это бесполезно.

– А что если, – сказала первая, держа Ромку за лапу, – а что если я ему голову откручу? – она выпучила на меня глаза и действительно принялась выворачивать медведю голову.

Дальше произошло нечто странное, то, что я потом еще долго вспоминал с удивлением. Мне показалось, как будто мороз расступился и на меня сошел жар, голову словно чем-то сдавило, и стало трудно дышать. Не помня себя, я ринулся на девочку, которой доставал только до плеча, и со всей силы толкнул ее вперед.

Что было дальше, я помню плохо. Я вдруг оказался на земле, с Ромкой в руках, и со всех сторон на меня сыпались удары, и хотя я прикрывал голову и лицо, было больно: больно в животе, больно в спине, больно в ногах.

Потом я уснул.

* * *

Мне долго снились сны. Приходила мама, я радовался, потом приходила бабушка, я пугался. Иногда мне казалось, будто я слышу

какие-то незнакомые голоса, и почему-то я знал, что вот как раз они реальные, настоящие, из жизни.

Когда я проснулся, вокруг меня были незнакомые люди и место тоже было незнакомое, но я почти сразу понял, что это какая-то больница. В голове гудело и было больно в животе, а еще я не понимал, что произошло, нашла ли меня бабушка, почему я в больнице, где мама.

Кто-то – женщина в белом халате, медсестра, – увидела, как я открыл глаза, и сразу засуетилась, начала бросаться какими-то непонятными словами, спрашивала меня о том, что я чувствую, изучающе смотрела. Я попытался тоже узнать: где мама? чем я болею? – но она замахала на меня руками и сказала, что я должен отдыхать, потому что у меня много разных травм, и мне скоро-скоро все объяснят. Я не дослушал ее – уснул.

Через сколько-то дней – я и сам хотел бы узнать, через сколько, – когда мне уже было получше и я даже начал строить планы на жизнь после больницы, в палату ко мне зашла женщина с очень короткими бордовыми волосами, толстая и бесформенная, на вид довольно старая. Она сказала, что занимается сиротами, это было понятно и по равнодушному сочувствию в ее заплывших коровьих глазах, по нелепым жестам, и по вот ее: «ах, деточка, бедная деточка...», отчего у меня сразу пошли мурашки по коже.

Толстая женщина Елена Игоревна оказалась директором приюта для беспризорников, «замечательного места, где тебе, малыш, обязательно помогут». Я сквозь туман слушал, как она с резиновой улыбкой уверяет меня, что я совсем скоро поправлюсь и даже смогу ходить не хромя, как замечательно обо мне позаботятся. Казалось, ее не волнует, что я ее не слушаю.

Тогда я по-взрослому привстал с кровати и под ее: «деточка, куда же ты?» заявил серьезно:

– Мне это не нужно. Скоро приедет моя мама, и я буду жить дома.

Толстуха какое-то время смотрела на меня. И потом сказала:

– Твоя мама умерла полгода назад.

Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Я закрыл глаза. Она ушла.

Во сне я снова был в нашей квартире, там, где жил с мамой и папой. Я открыл входную дверь, оказался в коридоре, позвал: «Мама!» Никто не отвечал, я прошел на кухню, продолжая звать все громче; колкая тяжелая боль заполняла меня изнутри и казалось, что я сейчас лопну; но я все звал: мама, мама, – и побежал через гостиную к ее комнате, открыл дверь с надеждой – никого нет: ни в крова-

ти, ни у шкафа, ни у окна... Я визгливо крикнул: «Мама, ну мама! Ну мама!», — открыл ее шкаф: там висели ее блузки и костюмы для работы, я схватил их и прижал к себе — «мама, мама!», потом оглянулся — может быть, она пришла? — но теперь я знал, что она не придет, больше никогда не придет, не появится, не разбудит меня в школу, не позовет ужинать, я не увижу ее блестящих глаз... Я захлебнулся в рыданиях: «Ну мама! Ну мама!», — как будто, попроси я ее, она бы вздохнула: «Ну ладно», — и пришла.

— Проснись, это сон! Это просто плохой сон, проснись, — я открыл глаза и сквозь слезы увидел склонившуюся надо мной медсестру.

* * *

Дети в приюте жили в комнатах по пять человек. Пять мальчиков, пять девочек, пять мальчиков, пять девочек. Вставать нужно было рано утром. В семь. Полежать в постели нельзя, да и все равно не получится: вокруг все бегают, шумят, дерутся. С утра мне было плохо. Во-первых, потому что хотелось спать. Во-вторых, потому что на завтрак почти каждый день давали манную кашу с ложкой черносмородинового варения. От такой каши мне становилось дурно. Но если не съешь кашу, не получишь бутерброд с засохшим сыром. То, что он засохший, это ничего, я все равно очень любил бутерброды с сыром. Но кашу не ел.

Потом надо было идти в школу, как и всем. Я теперь ходил в другую школу и был этому очень рад, потому что мне не пришлось рассказывать, откуда я, — все и так знали, и смеялись надо мной и другими сиротами. Но в старой школе было бы еще хуже, потому что там бы задавали вопросы, а я не хотел на них отвечать.

После школы бывал обед, а потом — по-разному. Обычно нужно было сделать уроки — и можно заниматься, чем хочешь. Но так получалось не всегда. Иногда бывало знакомство.

Во время знакомства каждый ребенок должен был выйти из общей комнаты и пройти в отдельную клетку. Клетки стояли в ряд, одна за другой. Они были большие и довольно просторные, в них даже были кресла, на которых можно было сидеть и ждать, пока с тобой познакомятся.

Я не знал, почему они называют это «знакомством». На самом деле знакомились, прямо скажем, не со всеми. Пары — чаще всего это бывали пары, хотя иногда и одинокие женщины, а в некоторых случаях целые семьи с детьми — медленно шли вдоль клеток, с осторожным любопытством рассматривая нас. Моя клетка находилась рядом с входом, потому что по приютским меркам я был уже большой, и взрослые надеялись, что так у меня будет больше шансов. Не знаю,

кажется, это не очень работало, потому что спустя месяцы я по-прежнему оставался в приюте.

Я всегда наблюдал за тем, как они заходят. У них обычно был неуверенный и почему-то виноватый вид. Чаще всего они избегали моего взгляда — смотрели прямо перед собой и быстро проходили мимо, либо делали вид, что меня и других старших детей просто нет. Я знал, что они направляются сразу вглубь — туда, где сидели трехлетние малыши и лежали в кроватках младенцы. Когда они были там, я слышал, как они задают вопросы медсестрам, в какой-то момент их голоса становились радостными и оживленными. Спустя некоторое время я видел, как они направляются к выходу, женщины вытирают слезы, мужчины идут, нахмурившись. Я криво улыбался — ничего нового.

Помню, что вначале, когда только попал в приют, я еще на что-то надеялся. Мне не нужна была новая мама, но жизнь в этом унылом месте была еще хуже, чем с бабушкой. Тогда мне объяснили, что меня могут забрать во время знакомства — надо просто быть хорошим мальчиком и понравиться семье. Я был очень наивным первые два или три месяца жизни в приюте. Помню, как во время первых знакомств я прижимался к решетке своей клетки всем телом и с надеждой выразительно смотрел на входящих в помещение людей. Я искал их взгляды и, когда ловил, начинал широко, с зубами, улыбаться, старался прищурить глаза, чтобы моя улыбка смотрелась естественно. Иногда это срабатывало, бывало, женщины останавливались, глядели на меня нежно и обращались к мужьям: «Смотри, какой хороший мальчик!» Чаще всего они говорили это просто так, чтобы оправдать себя, потому что они тут же забывали про меня и шли дальше, чтобы найти себе своего младенца. И все же раза три за это время женщины останавливались именно у моей клетки и мягко просили воспитательницу познакомить их «с этим замечательным мальчиком».

Каждый раз в такой момент воспитательница отводила сердобольных женщин чуть в сторону, воровато озираясь на меня, как будто я не догадывался, о чем они там говорят, и что-то горячо шептала им на ухо. Сердобольные женщины печально морщились, жалостливо смотрели в мою сторону, кивали мне с виноватой улыбкой и шли дальше. И только одна из них была особенная, она не ушла. На слова воспитательницы эта женщина лишь рассеяно покачала головой и направилась к моей клетке. Я хорошо помню, как она выглядела, потому что она была очень некрасивая, со слишком маленькой головой и слишком большим носом, глаза немного косили, но все равно были ужасно добрые, я никогда раньше таких глаз не видел. Когда мою клетку открыли, она склонилась надо мной,

широко улыбнулась тонкими губами и, глядя мне прямо в глаза, сказала:

– Какой ты симпатичный!

Я знал, что она врет, я уже давно перестал быть симпатичным, даже если и был им когда-то. Но ее вранье мне почему-то понравилось, оно было доброе, как и она сама, как и ее косые глаза. Я уже не улыбался и просто молча смотрел на нее в упор.

Воспитательница, подошедшая к нам, перестала даже делать вид, что мое присутствие ее смущает.

– Дамочка, дамочка, ну вы меня не слушаете совершенно. Я же вам объясняю, ребенок трудный, его бабка от него отказалась, а уж про его состояние мне и говорить противно. Взгляните на эту рябую морду. Как будто он не ветрянкой, а оспой переболел. Вы руку его видели вообще? – няня грубо дернула меня за руку-клешню, которую я предусмотрительно спрятал в карман.

Я видел, как добрая женщина беспокожно моргнула, поняв, что я действительно не такой «симпатичный», как ей показалось сначала, но все равно с достоинством повернулась к няне и холодно ответила: «Это я вижу».

В этот момент я понял, что не должен упускать свой шанс.

– Тетенька, заберите меня отсюда, я себя буду хорошо вести! – я знал, что это звучит ужасно глупо и что Настя, сидящая в соседней клетке, уже наверняка смеется надо мной и будет еще долго припоминать мне эту сцену... если, конечно, эта добрая женщина не заберет меня из приюта.

Я до сих пор отчетливо помню лицо человека, который все испортил. Это был муж женщины, который успел уйти достаточно далеко, когда заметил, что жена отстала. Его круглое лицо без бровей неожиданно возникло за спиной воспитательницы.

– Карина, мы вроде собирались брать ребенка до года.

Карина, продолжая смотреть на меня, что-то ответила ему – что именно, я уже не помню.

– Карина, мы этого мальчика не потянем. Загляни в его медкарту.

– Ладно, давай обсудим это не в его присутствии.

Карина очень нежно улыбнулась мне и прошептала так, чтобы ее слышал только я:

– Ты не бойся, я приду за тобой. Мне нужно только поговорить с мужем.

Когда они закончили обход клеток и за ними захлопнулась тяжелая входная дверь, сквозь тишину я услышал неестественный, обращенный ко мне смех Насти: ха-ха-ха-ха-ха.

С тех пор прошло ровно четыре месяца. Я по-прежнему был в приюте.

* * *

С Настей я познакомился еще в первый месяц своей жизни здесь, хотя она старше меня, и обычно ребята ее возраста со мной не водятся.

Тогда, в первые недели, мне было особенно тяжело. После полу-года в больнице, где можно было целыми днями ничего не делать, где обо мне заботилась добрая медсестра Аленушка, и кормили вкусно и даже иногда приносили горький шоколад «Бабаевский», мне было невыносимо в приюте, но еще невыносимей была мысль о том, что мне предстоит провести здесь долгие годы до совершеннолетия – так я тогда считал.

Я, наверное, довольно быстро привык к тому, что мамы нет – а может, я просто снова вернулся к мысли, что она где-то есть, но ее прячут. Так или иначе, но как только я узнал о регулярно проводимых знакомствах, то сразу твердо для себя решил, что найду себе новый дом.

Я помню, как меня впервые выставили для знакомства. Это случилось не сразу, не в первые дни моей приютской жизни, а лишь спустя три недели, потому что считалось, что я «проблемный ребенок», неуправляемый хулиган и отпетый нарушитель дисциплины. Сам не знаю, почему они так обо мне думали, но кажется, это именно то, что рассказала им бабушка, когда решила отказаться от меня.

В тот раз на знакомство пришла целая семья, очень большая, – говорили, что у них уже несколько усыновленных детей. Семья эта точно сошла с картинки на пачке молока – красивые, светловолосые, голубоглазые, белозубые папа и мама, три дочери и два сына. Они пришли к нам зачем-то все вместе, как будто в зоопарк в воскресный день. Мне было, в общем-то, все равно, что они за люди, я просто хотел жить в нормальном доме, без бабушки, без воспитательниц, без клетки. Едва завидев их в дверях, я пустил в ход все свое очарование, пригладил волосы, заулыбался и встал, вытянувшись в струнку.

Когда они проходили мимо моей клетки, я, в нарушение всех запретов воспитательниц, радостно и бойко выдал:

– Здравствуйте!

Их реакция меня очень удивила. Они разом, испуганно, остановились и взглянули в мою сторону. Я смотрел, как они с ужасом пробегают взглядом по моему лицу, покрытому щербинками от ветрянки, по моему телу, неестественно худому и маленькому для моего возраста, и останавливают взгляд на моей безобразной клешне, кото-

рой я, забывшись от волнения, вцепился в решетку. Я думал, они скажут что-то, может быть, кто-то из детей проблеет: «Мама, смотри, у мальчика клешня!», может, они стыдливо пробормочат: «Здравствуйте, здравствуйте», или просто грустно покачают головой, показывая, что в их идеальную, почти скандинавскую семью я никак не впишусь. Но они не сделали ничего. Еще раз окинув меня полным ужаса взглядом, они лишь ускорили шаг, спеша отойти подальше от моей клетки. Как будто я был не человеком, а просто лающей собакой.

Я замер, не шевелясь и не плача, прижавшись к прутьям своей клетки. Может быть, я бы еще долго простоял так, оцепенев, если бы не услышал взрослый девичий голос из соседней клетки:

— Ну ты лопух. Новичок, наверно?

Я обернулся на голос. В соседней клетке, серьезно глядя перед собой, стояла очень высокая девочка намного старше меня. Потом уже я заметил, что она очень симпатичная, но тогда я не обратил на это внимания. Как и почти все дети в приюте, она была худая, с торчащим по-детски животом, очень бледная, с длинными русыми волосами. Выражение лица у нее было суровое, что смотрелось странно, учитывая ее смешной нос «картошкой» и мягкие полные губы.

— Новичок, не будь хоть ты дураком. Не подлизывайся к ним, не примазывайся. Имей гордость. Тебя все равно никто не возьмет. Да и меня тоже.

— А ты почему знаешь?

Она хмыкнула, повернулась ко мне и манерно встряхнула волосами.

— Я здесь уже давно, я все знаю. Ты дурак, если на что-то рассчитываешь. Детей твоего возраста никто не берет.

— Но ты же еще старше! Тебя тоже не возьмут. Сколько тебе?

— Мне двенадцать.

Я невольно почувствовал, что польщен вниманием почти взрослой девочки.

— Но ты, конечно, дурак. Я же говорю, меня тоже не возьмут. Меня тем более не возьмут.

— А давно ты здесь?

— Второй... то есть уже третий год, — отчего-то дрогнувшим голосом сказала девочка, и я тогда еще не знал, что на самом деле означают ее слова. — Я — Настя. Если хочешь, расскажу тебе как-нибудь то, что знаю. Все равно нам здесь делать больше нечего.

* * *

На самом деле я довольно быстро понял, почему Настя решила дружить с такой «малышней», как я. Дело в том, что в приюте было

мало детей ее или даже моего возраста. Точнее говоря, они были, но по большей части безнадежно больные, настолько, что даже не понимали, о чем мы с ними пытались говорить: кто лежал пластом, широко открыв рот, кто не мог ходить или видеть... С ними было тяжело, я чувствовал себя бесконечно виноватым, оттого что сам я хожу, вижу и слышу.

Когда я спрашивал Настю, почему в приюте так мало детей старше пяти-шести лет, она, конечно, отвечала: «Потому что малышей быстро разбирают, и они не успевают вырасти». Но такое объяснение казалось мне странным. Ведь бывает же такое, что в приют попадают уже большие дети? Как мы, например. Почему их так мало?

– Потому что нормальные родители своих детей не бросают, – фыркнула Настя. Она почему-то все время смеялась над моими несмешными вопросами.

– Меня родители не бросали. Мама умерла, так мне сказали.

– Раз сказали, значит, умерла. Что тут думать?

– Я им не верю. Они все время врут. Ненавижу взрослых.

– Ты тоже когда-нибудь станешь взрослым, дурачок.

– А вот и не стану!

– Кстати... а где твой папа?

Я замаялся. Мне не нравился этот вопрос.

Настя посмотрела на меня, прищурившись, открыла рот, чтобы что-то сказать, но отвернулась и качнула головой. Догадалась, наверное.

– Так ты не расскажешь, что с твоими родителями случилось? А, Настя?

– Да ничего с ними не случилось. Они поехали на заработки. В Штаты. Понятно тебе?

– А почему тебя не взяли?

Она с притворной усталостью закатила глаза.

– Ну ты совсем дурак? Они же там работать будут. Когда заработают, купят дом, тогда приедут и меня заберут.

– А почему ты здесь? У тебя разве нет бабушки?

– Ну какой еще бабушки? При чем здесь бабушка?

– Не знаю. Я жил с бабушкой. Я думал, что у всех так.

– Не у всех.

– А когда твои родители за тобой приедут?

– Да я не знаю! Понимаешь?

– А что, если кто-нибудь тебя удочерит?

Тут я понял, что она действительно разозлилась.

– Слушай, дурак, меня никто не удочерит. Я не хочу, чтобы меня отсюда забирали, потому что скоро приедут мои родители. Я не дамся в любом случае. Мне плевать на их знакомства, ясно тебе?

– Да ясно, ясно. Не кипятись ты так.

И Насте действительно было все равно. На знакомствах она сидела в кресле в углу своей клетки, закинув ногу на ногу и сложив руки на груди. Раньше она еще и демонстративно читала какую-нибудь книгу, но потом воспитательницы запретили ей так явно показывать свое равнодушие.

После нескольких месяцев жизни в приюте я последовал ее примеру.

* * *

Но некоторых детей, более удачливых, чем мы, все-таки забирали. В основном это были малыши, но время от времени – и мои ровесники.

А однажды забрали Гульнару. Гульнара была самая старшая девочка в приюте, ее даже сложно было назвать девочкой, уж скорее тетенька. Ей было почти 17, и она возвышалась не только над нами, детьми, но и над всеми воспитательницами, и над многими посетителями. Гульнара, бывало, лениво стояла в своей клетке, ссутулившись всем своим длинным крепкококственным телом, не глядя толком никуда, не думая толком ни о чем. Ее большие ленивые глаза под густыми черными бровями выражали коматозную скуку, покорность судьбе и настоящую восточную печаль. Над толстыми губами Гульнары росли усики, совсем как у ее ровесников-мальчишек, из-за чего над ней все время смеялись даже воспитательницы. Насмешки Гульнаре были безразличны, впрочем, как и все остальное в мире. За день она проносила едва ли и пару слов – казалось, просто не считала нужным. На вопросы отвечала кивком головы, либо пожиманием плечами, слабым, едва заметным. Мне всегда почему-то казалось, что Гульнара копит на что-то силы, откладывает, чтобы не расходовать их попусту.

На знакомствах посетители лишь изумленно поглядывали в ее сторону, проходили, не останавливаясь. Да и зачем было останавливаться? Ей оставалось немного до совершеннолетия, она была уже совсем взрослой девушкой с тяжелой отвисшей грудью и квадратным задом. На вид она была старше некоторых мужчин и женщин, приходивших на нас посмотреть.

Когда нам сказали, что Гульнару удочерили, мы не поверили своим ушам. Кто-то захихикал. Кто-то спросил:

– А зачем?

Помню, я тогда повернулся к Насте, чтобы торжествующе сказать ей – видишь, даже Гульнару забрали. Но Настя почему-то не разделяла моей радости. Она посмотрела на меня угрюмо, изо всех сил нахмурившись и ничего не сказала. У меня уже не в первый раз

появилось ощущение, что она что-то скрывает от меня, но от этих мыслей мне стало неудобно и даже как-то не по себе, поэтому я прогнал их, решив, что она просто в очередной раз напускает на себя таинственность.

* * *

Из-за того, что я все время водился с Настей, надо мной часто посмеивались. Над ней тоже. Особенно задирали нас три девочки, подружки, на вид лет десяти или одиннадцати. Три девочки. Русые волосы и серо-зеленые глаза, одинаковая темно-синяя школьная форма... Саша, Аня и Аглая.

Сначала я думал, что они сестры, потому что девочки всегда ходили вместе, под ручку, не разлучаясь даже идя в туалет. Однажды я спросил у Насти:

– Эти девочки – сестры?

– С чего это ты взял?

– Ну не знаю. Они все время вместе ходят.

– Ну ты и дурак. Если бы они были сестрами, они бы никогда не ходили вместе.

В общем, эти девочки ужасно мне надоедали. При моем появлении они переглядывались и тряслись от смеха – почему?! – и демонстративно перешептывались, указывая на мою руку и что-то изображая. Это очень раздражало меня, потому что из-за них все остальные ребята, особенно маленькие, сразу бросали все дела и прибегали на меня посмотреть. Вообще-то на общем фоне мое увечье было просто ерундой – здесь хватало и парализованных, и безногих, но, видимо, я был недостаточно несчастным инвалидом, чтобы рассчитывать на их сочувствие, и, в то же время, был не совсем полноценным, что вызывало у других детей нездоровый интерес, смешанный с отвращением.

Однажды во время ужина, когда мы с Настей сидели подальше от остальных, разговаривая о чем-то своем, три подружки подошли к нам и встали рядом, молча, с идиотскими улыбками наблюдая, как я пытаюсь намотать на вилку длинные спагетти. Некоторое время мы с Настей старались не обращать на них внимания, но в какой-то момент она повернулась к девочкам и сказала им со взрослым видом, глядя на них из-под накрашенных комковой тушью ресниц:

– Девушки, вы что-то хотели?

Девочки начали истерично подхихикивать, как будто только этого и ждали.

– А что, нам здесь и постоять уже нельзя? Вы все о любви говорите?

Дети вокруг нас начали оборачиваться на перепалку. Кто-то уже

смеялся. Я чувствовал себя очень глупо, как будто меня насильно вытащили на арену цирка и заставили показывать фокусы, которых я не знал.

Настя тоже нервно обернулась. Воспитательниц видно не было.

Тогда Настя подалась вперед, к одной из них – Саше? Аглае? Ане? – и прошептала:

– А что это ты такая радостная? Или ты забыла, сколько тебе осталось до исключения? Может, мне напомнить тебе, или будет слишком жестоко? Лежачих, вроде, не бьют. Я знаю, как ты сюда попала, я такие вещи о-о-о-чень хорошо помню. Так что, сколько там? Три месяца? Три – и пара недель, так ведь?

Выражение лица у Насти было зловещее, какое часто бывает в кино у отрицательных персонажей, когда они раскрывают главному герою свой коварный замысел. Девочки посмотрели на нее с каким-то затаенным страхом в глазах и отошли. Настя победоносно повернулась ко мне, а внимание всей столовой переключилось с нас на еду.

Я не ел, только молча смотрел, как Настя ловко, с достоинством триумфатора, накручивает спагетти с сыром на вилку. Казалось, она специально избегает моего взгляда, чтобы я мучился незнанием.

– Насть, а ты о чем вообще говорила?

– Да так, ни о чем, – сказала она со своим типичным вредным равнодушием, чтобы только подогреть мой интерес.

– Насть, ну скажи...

Она подняла голову, продолжая интенсивно жевать. Я ждал, пока она закончит.

– Хорошо, новичок, – она так никогда и не перестала называть меня «новичком». – Я расскажу тебе, что здесь на самом деле происходит.

* * *

– Короче, ты только учти, что это секрет, и не надо вообще об этом трепаться, и уж точно не говори, что это я тебе рассказала. На самом деле об этом знают многие, если не все. То есть, ну это что-то вроде городской легенды, или приютской байки.

В общем... в общем, ты же заметил, что у нас тут ребят постарше особо нет – заметил, да? Молодец. А еще ты же обратил внимание на то, что ребята периодически пропадают? Ну, нам-то, конечно, говорят, что их пристроили, нашли усыновителей, и всё такое. Даже подробно, бывает, рассказывают, кто взял и почему. Но иногда они врут. Не так уж часто, но бывает. Вот, например, помнишь Гульнару? Такую здоровую усатую лошадь? Помнишь, конечно. Ее тоже, типа, «забрали». Ты в это веришь? Нет, серьезно, чтобы вот этого коня кто-

то взял и усыновил? Да на нее никто и не смотрел. Кому она нужна! Разве что на мыловарню продать, чтоб из ее жира мыло варить. Ха-ха-ха. А Сережу помнишь? Маленький такой. Лет шести... Его очень жалко. В общем, их не усыновили. Я сама, когда только попала сюда два года назад, задавала те же вопросы, что и ты. А потом я узнала кое-что от одной девочки, ее здесь уже нет и, вообще, ее больше нет. Маленькая Кенни.

Конечно, это не настоящее имя. По-настоящему ее звали Оксаной. Прозвище она получила по имени мальчика Кенни из «Сауф-парка». Ой, только не говори, что ты не смотрел! Все смотрели. Короче, это такой мультик, американский, и там есть герой по имени Кенни. В каждой серии его убивают. Да, в каждой. Ну это, типа, прикол такой. В каждой серии он умирает, в следующей возрождается. А другие герои этого не замечают. Да не о том речь. В общем, этот Кенни каждый раз умирает разными способами. Например, его сбивает машина, или на него падает метеорит, или его расстреливают – всё, что угодно. Фишка такая. Так вот, эту девочку прозвали Кенни, потому что с ней до фига всего плохого случилось, а она все равно была жива-здоровая. Ну, например, ее переезжала электричка. Обычная, подмосковная. Еще у нее дома был пожар, но она успела убежать, только немного ступни обожгла. Еще она с третьего этажа однажды сорвалась – и только ногу сломала. Поэтому – Кенни. А Маленькая – потому что она была совсем маленького роста.

Так вот что мне рассказала однажды Маленькая Кенни. Ты же знаешь наших медсестер – Лизу, Валентину и Анночку. Анночка очень милая, да. Кенни мне рассказала, что они работают не только здесь. Знаешь, что они делают в остальное время? Они работают в какой-то большой государственной больнице, типа при Кремле или что-то такое. Там обычно все известные люди лечатся и операции всякие делают. Короче, этих медсестер сюда не просто так заслали. У них есть задача: они должны отбирать детей для гормона молодости. Это такой гормон, который вырабатывается до 18 лет. Он делает так, что ты выглядишь молодо, морщин нет, седых волос. Потом, когда вырастаешь, гормон перестает вырабатываться. И ты стареешь. У животных то же самое. Короче, фишка в том, что врачи придумали, как этот гормон искусственно давать взрослым людям. Благодаря этому они очень сильно молодеют, в зависимости от количества гормона, который принимают. Сейчас им почти все известные люди пользуются, на Западе особенно. Певицы, актрисы. Принимают месяцами и годами и хорошо выглядят. Да, я тоже про это раньше не знала, но такое вообще не очень давно появилось.

А теперь такой вопрос: откуда им брать этот гормон, по-твоему?

Его можно получать из нас, из детей. Я не знаю как, наверное, из крови берут. Но, понятное дело, ни один ребенок на такое добровольно не пойдет. И родители его тоже не отдадут. А у каких детей нет родителей? – У нас, сирот! Но ведь нельзя просто отправлять любого ребенка, от которого отказались, на донорство. На это сразу обратят внимание, поднимется шум, в газетах будут писать. Им это не нужно. Поэтому они придумали такое правило: когда ребенок попадает в приют, ему дают три года на то, чтобы он нашел себе новую семью. А тех, кто не найдет... понятно, что.

Непонятно? Ну, тебе говорят, что нужно сделать какую-то там прививку, которую тебе еще не делали. От столбняка, к примеру. Аккуратно уводят, чтобы никто из нас не заметил, а нам на следующий день говорят, что этого человека забрали новые родители. А его на самом деле ведут в медпункт. Там ему делают укол, говорят, чтобы больно не было. Потом шприцом собирают кровь, чтобы из нее получить гормон молодости. Назад тебя уже не вернут, так и будешь доживать в больничном отсеке, и никто не будет знать. Почему «доживать»? Слушай, что здесь непонятного? Если из ребенка забрать весь гормон молодости, что с ним будет, как тебе кажется? Он начнет стареть, очень быстро. Артрит, маразм, радикулит. Умираешь за неделю – максимум.

* * *

Я попытался усмехнуться.

– Не знаю, Насть, странная какая-то история. Полиция об этом всем не знает?

– А как ты считаешь? Полиция знает, что нас держат в клетках? Она по этому поводу что-то делает?

Я задумался. Рассказ Насти был жутковатый и нереальный, напоминал какой-то страшный сон или фильм-ужастик, но что-то в том, как Настя об этом говорила, меня настораживало.

– Насть, а почему дети с этим ничего не делают?

– А что ты предлагаешь?

– Не знаю. Пожаловаться кому-нибудь...

– Ты дурак? Кому ты собрался жаловаться? Там все в доле, всё правительство!

– Ну не может быть такого, что всем всё равно.

– Как видишь...

Настя от обиды на мое неверие не разговаривала со мной до следующего дня. Но мысль о перспективе стремительного старения не шла у меня из головы. Вечером я спросил Настю:

– Насть, но ты же в приюте уже больше двух лет. Как и Аглая.

Настя, неловко удерживая в руках поднос с тарелкой борща и стаканчиком клубничного йогурта, попыталась как можно драматичней повернуться ко мне и прошипела:

– Даже не думай об этом здесь говорить!

– А что такого? Все же знают.

– Знают, но молчат. До Аглаи, по-моему, вообще не дошло. Хотя у нее настолько тупая рожа, что наверняка не дошло.

Когда мы уселись за свободный, но грязный столик подальше от всех, я решил перейти сразу к делу.

– Настя, я думаю, что мы должны сбежать отсюда.

Она мечтательно улыбнулась:

– Андрюша, ты дурак? Куда ты собрался отсюда бежать? Почему ты вообще все время пытаешься отовсюду убежать?

– Настя, я тебя реально не понимаю. Ты сказала, что после трех лет всех отправляют на этот гормон. Я не хочу. А ты хочешь? Тебе скоро уже, вообще-то. Сбежим, а?

– Да я не умру, debil. Меня скоро родители заберут, я тебе сто раз объяснял, дуболом чертов.

– Да никто тебя не заберет, что ты мне эти сказки рассказываешь?!

Я не успел даже понять, что происходит: Настя толкнула вперед наши подносы, и всё их содержимое – борщ, котлеты с рисом, йогурты и компот – полетели на меня. Под общий смех и возмущенные окрики воспитательниц Настя ушла из столовой.

* * *

Настя не разговаривала со мной несколько дней. Я и сам не думал с ней мириться. Я старался забыть весь ее бред о гормоне молодости. Чем больше я думал об этом, тем яснее мне становилось, что она просто разыграла меня. А если не разыграла – то почему она не убегает? Почему не пытается что-то сделать?

В конце концов, я решил: если Аглая исчезнет в ближайшее время, это подтвердит Настин безумный рассказ. Я даже не мог предположить, как скоро узнаю правду.

В приюте за мной все время ходил мальчик по имени Ваня. Совсем малыш, лет шести, к тому же какой-то больной, дурачок, что ли, но умильный. Даже для своих лет он был очень маленьким – худенький, смугленький, к его чернящим глазам-вишням и толстым бровкам совсем не шло сказочное русское имя «Ваня». Впрочем, Ваня и сам не знал, как его зовут, а может, знал, но не говорил, потому что никто никогда не слышал, чтобы Ваня разговаривал. Он крутился вокруг меня, ласковый, словно котенок, заглядывая мне в глаза

с широкой и доброй улыбкой. Иногда он замирал и, открыв рот, нащупывал языком дырку от выпавшего зуба или старательно расшатывал соседний. Говорили, что я напоминаю ему старшего брата, которого забрали около года назад. Ваню забирать не стали, больные никому не нужны. Большую часть дня Ваня проводил, бегая, словно дикий зверек, ни о чем не заботясь и ничуть не обращая внимания на насмешки и оклики. Дети с ним не играли. Он тянулся к старшим ребятам, потому что мы его не обижали.

Однажды вечером, когда мы все сидели в игровой, я – за партией в шашки с Костей, а остальные ребята – у телевизора, с игрушками и книжками, – к нам зашла одна из воспитательниц и, не обращая внимания на нас, подошла к Ване и ласково пропела:

– Ванечка, пойдем со мной, у меня отличные новости.

Ваня широко улыбнулся и просунул язык в дырку между зубами. Воспитательница, собственно, ответа и не ждала. Она мягко взяла Ваню за руку и повела к двери.

Обычно на такое никто не обращает внимания, но в тот день в игровой была новенькая девочка, тоже, кажется, необычная.

– А куда вы его ведете? Я тоже хочу.

Лицо воспитательницы изменилось на мгновение.

– Ванечку усыновляют. Да, Ванечка?

Я попытался поймать взгляд Насти, но она смотрела в сторону.

– А кто его усыновляет? – спросил я, – У нас не было посетителей в последнее время.

Воспитательница была очень спокойна.

– Личное знакомство необязательно. Недавно у нас появился сайт, там можно посмотреть анкету и выбрать.

– Ой, а можно взглянуть?

– Конечно, нет. Доступ открыт только тем, кто хочет усыновить ребенка.

– А что в анкетах?

– Информация о вас. Имя, возраст, характер. Фотография.

– А если там неправда?

– Там правда. Мы вас очень любим. Мы очень хотим, чтобы каждый из вас нашел семью. Мы делаем для этого всё возможное.

Когда воспитательница ушла, я посмотрел на сидящего напротив меня Костю и спросил:

– А давно Ваня здесь?

Костя пожал плечами.

* * *

На следующий день, как и следовало ожидать, Ваня не появился.

У меня на душе было беспокойно и казалось, будто что-то не так и это что-то требует моего вмешательства. Я хотел поговорить с Настей, но она не обращала на меня внимания, ходила мрачная, угрюмая, раздраженная. Поговорить с кем-то другим о случившемся я не мог.

Днем в игровой один из старших мальчиков, имя которого я всё время забывал, громко спросил, обращаясь ко всем одновременно:

– А кто-то знает, как включить этот... интернет?

Никто не знал. Мы все, конечно, про него слышали, но довольно слабо представляли себе, как он устроен. Компьютера в приюте не было.

– Было бы здорово посмотреть наши анкеты на сайте. Если она не соврала, конечно.

– А почему она должна была врать?

– Я не знаю. Они всё время говорят, что хотят нас пристроить в семьи и всё такое, но я недавно слышал их разговор... как Валентина кому-то говорила, мол, мы тут все дебилы и социально не адаптированы, и кому мы вообще нужны, дети алкоголиков.

– Бредни, что дети алкоголиков неадаптированы. Постоянно кого-то берут.

– Откуда ты знаешь, что берут?..

На этом разговор оборвался, все смущенно переглянулись, и я понял, что другие тоже что-то знают о гормоне молодости.

Я не мог придумать, как мне поступить. Нужно не дать медсестрам нас убивать. Но как это сделать? Я решил, что лучше всего обсудить всё с ребятами заранее, по-честному, и пусть Настя бесится, сколько ей угодно, из-за того, что я проболтался. На ужин я собирался с легким сердцем, потому что был уверен, что ребята меня поддержат и мы придумаем, как бороться. Или как убежать. Но всё получилось иначе.

Давали молочный суп и овощное рагу, на десерт – яблоко. Овощи я ненавидел, поэтому решил найти Настю и отдать ей рагу в знак примирения.

Она сидела одна, как всегда. Когда я уселся за стол напротив нее, она на секунду замерла, видимо, размышляя, как лучше выразить свое презрение ко мне. Я взял свою тарелку с рагу и молча поставил на ее половину стола. Никакой реакции.

– Насть, это тебе. Я вот что хотел с тобой обсудить. По поводу Вани...

В этот момент Настя подняла глаза. Я понял, что она смотрит не на меня, и обернулся. Валентина, одна из приютских медсестер, вышла над нами бесконечной колонной. Странно, зачем она пришла посреди ужина?

– Ребята, вынуждена вас прервать. Настя, за тобой пришли те

милые добрые люди, о которых я тебе рассказывала. Те, у которых два сына.

Я видел, что Настя очень старается сдержаться, но на глазах у нее выступили слезы, брови сложились домиком, а лоб сморщился.

— Правда они меня берут? — она вскочила с места, и в этот момент я понял, что она рада.

— Настя, кто тебя берет? Тебя же родители в Америке ждут, они же приедут.

Валентина сделала вид, что меня здесь вообще нет.

— Настя, давай, доедай и пойдем. Они тебя уже ждут и готовы забрать прямо сейчас, но я им сказала, что тебе лучше закончить ужин. Хотя мне хотелось порадовать тебя как можно раньше, — с улыбкой добавила Валентина.

— Ой, ой, да я не хочу этот ужин, не хочу, я с ними поеду, они мне «Макдональдс» купят, я знаю, всем покупают. Я так хочу «Макдональдс»! И еще торт «Птичье молоко», они же купят? Я могу сейчас пойти?

— Если так не терпится, — опять улыбнулась Валентина.

В этот момент во мне что-то надломилось, я не знаю, почему так произошло, я должен был быть сдержанней, я должен был быть умней, но ноги сами подняли меня, руки сами схватили Настю, а мой рот сам собой открылся, чтобы зачем-то крикнуть на всю столовую:

— Настя, ты что, они же тебя убьют!

Гомонящие вокруг дети замолчали, все повернулись в нашу сторону, а те, кто сидел слишком далеко и не мог хорошенько рассмотреть происходящее, встал и вытянулся. Одновременно с этим откуда-то появились воспитательницы и изумленно загалдели, обращаясь ко мне все вместе, из-за чего я не мог разобрать ни слова. Валентина уставилась на меня удивленно, злобно вытаращив глаза, но, переглянувшись с одной из воспитательниц, быстро растянула губы в улыбке. А Настя... Настя со всей силы, зло, безжалостно отшвырнула меня к столу и смотрела на меня с искаженным от гнева лицом.

— Настя, ты что... ты сама говорила, ну почему ты так делаешь?!

Валентина мягко спросила:

— Андрюша, ну о чем ты говоришь? Тебе приснился страшный сон?

— Отпустите Настю. Я всё про вас знаю.

В этот момент я поймал очень странный взгляд Насти и подумал, что, возможно, она специально изображает веселье, чтобы обмануть медсестер и убежать. Но было уже поздно подыгрывать.

— Мы всё про вас знаем. Вам не укрыться!

Я осторожно огляделся, уверенный, что сейчас меня поддержат,

заплодируют, закричат, загомонят, как это обычно бывает в кино. Но вместо этого дети смотрели на меня с веселым любопытством и переглядывались.

– О чем вы знаете, Андрей?

– О том, что вы не отдаете детей на усыновление. Вы их убиваете.

Стало очень тихо.

– Убиваем?! Зачем, о чем ты вообще говоришь?

– Мне всё рассказали. Вы убиваете, потому что у нас есть... гормон молодости. Вы берете его из нас, потому что в детях он есть, а во взрослых нет, вот поэтому убиваете, достаете этот гормон из ребенка, а потом он умирает от старости. Вот так вы делаете.

Я едва ли мог вообразить себе эффект, который произведут мои слова. Я смотрел Валентине прямо в глаза. Ее лицо, секунду назад выражавшее ужас, ярость и беспокойство, вдруг, словно с него маску сняли, озарилось широкой, издевательской улыбкой. Я взглянул на одну из воспитательниц, на другую, на третью... Они смеялись.

Смеялись и ребята в столовой. Я смотрел на них и не мог поверить, что считал кого-то из них своим другом, что хотел вместе с ними сегодня вечером придумать план разоблачения или побега, что я переживал за них. Они хохотали, и хохот все усиливался. Я нашел глазами Аглаю, она высовывалась из-за спин других ребят, чтобы получше рассмотреть мое лицо, мое отчаяние, чтобы как можно полнее насладиться моментом моего провала. Я ждал, что меня назовут лежцом, я ждал, что на меня разозлятся, накажут. Я не думал, что буду шутком.

Среди всеобщего смеха, среди издевательски открытых ртов и наглых глаз, среди растянутых улыбками лиц я в последней отчаянной надежде посмотрел на Настю, которая всё это и затеяла. Она поймала мой взгляд и фыркнула от смеха.

* * *

Настю действительно забрали. Ее больше не было в приюте. Я не чувствовал ничего определенного по этому поводу. Всё, чего мне хотелось, – спрятаться от остальных подальше, чтобы меня не трогали, чтобы не показывали на меня пальцем и не дразнили.

Дни шли один за другим без каких-либо событий, без каких-либо надежд. В приюте я не чувствовал себя чужим, не чувствовал себя дома, не чувствовал себя никак. Утром я ждал, когда закончатся уроки, днем я хотел, чтобы побыстрее наступил отбой. Каждый вечер в десять, ложась спать, я думал: «Ну хорошо, вот еще один день». Чем быстрее шло время, тем больше я радовался. Тяжело было в выходные: я с самого утра ждал, когда наступит ночь. Парадокс

заклучался в том, что я не мог точно сказать, какого дня или события я жду. В тюрьме люди считают дни до освобождения (интересно, а что делают те, кто сидит пожизненно?), дети обычно ждут каникул, взрослые – каких-нибудь праздников или отпусков. Чего ждал я? Я и сам не знал. Иногда мне казалось, что совершеннолетия, – ведь тогда, наверное, меня бы выпустили из приюта. Но до совершеннолетия оставались еще долгие годы, настолько бесконечные, что с тем же успехом можно было ждать конца света. При мысли о том времени, что мне предстояло провести в приюте, меня охватывало отчаяние, голова шла кругом. Однажды я решил посчитать оставшееся время в месяцах, неделях и днях, но глядя на получившийся результат, я понял, что точно так же мог бы просто написать слово «вечность», и смысл в этом было бы не больше и не меньше.

Вечерами, лежа в кровати и пытаясь не слушать то, как остальные мальчишки обсуждают нашу горькую повседневность, периодически посмеиваясь над моим молчанием, я пытался мысленно вернуться к прошлой жизни с мамой и папой, но после всего случившегося я знал, что это невозможно. Было совершенно очевидно, что маму не вернешь, – я старался об этом и не думать, потому что мое лицо сразу кривилось, и приходилось сдерживаться, чтобы никто не услышал всхлип. Папе предстояло провести в тюрьме долгие годы. Никто не говорил сколько, но по разговорам на радио и по телевизору я знал, что такие, как мой папа, сидят в тюрьме очень долго, даже дольше, чем оставалось до моего совершеннолетия. Хотя, наверное, с папой я и не смог бы больше жить. Думать о нем было еще тяжелее, чем о маме. В моей голове не оставалось такого уголочка, такого островка, на котором моим мыслям было бы безопасно и спокойно. Я погружался во что-то черное и вязкое, и надо мной вместо неба была тьма.

Постепенно болезненный страх, который охватил меня в тот день, когда забрали Настю, ослаб. Я понял, что не хочу и дальше ждать, когда пройдет день, затем ночь, и опять – день-ночь... Как-то, лежа поздно вечером в кровати, я признался себе, что у меня есть только два варианта: побег или самоубийство.

Самоубийство пугало. Честно говоря, не думаю, что я рассматривал его тогда по-настоящему серьезно. Смерть казалась мне невозможной. Как кто-то, вроде меня, может умереть? Как мир сможет продолжать свое существование без меня? Я попытался представить себе это. На первый взгляд, всё казалось простым, но потом я понял, что представляю не мир без меня, а мир со стороны, моими глазами, со мной в роли наблюдателя. Но если я умру, разве я смогу наблюдать за миром? Очевидно, что мир без меня – это мир без моих мыслей, без моих желаний. Я попытался представить себе этакой мир. В моей

голове почему-то проносились картины бескрайнего космоса, планет, черных дыр – тех мест, где моих мыслей быть не может. Пораженный своим открытием, я решил, что к самоубийству не готов.

Тогда побег. Получалось, что побег мне нужно было совершать самому, потому что с той самой сцены в столовой, когда Настя так ловко выставила меня на посмешище, я стал объектом постоянных шуточек и издевок, прослыл сумасшедшим дурачком, чувствительной истеричкой и заядлым лжецом. Друзей у меня и так-то толком не было, а теперь и вовсе не осталось. Нет, я был бы непротив, если бы у меня просто не было друзей, если бы со мной просто не разговаривали, не звали покурить за школой, не приглашали погулять, не рассказывали мне сальных историй друг о друге. Однако всё было намного хуже: я стал не изгоем, а посмешищем. Даже самые маленькие, что раньше довольствовались карикатурами на меня и мою клешню, разрисовывая школьные парты, стали открыто смеяться надо мной, прятать мои вещи, толкать меня, когда я шел с подносом к столу. Ко мне прицепились всевозможные прозвища, впечатляющие своим разнообразием: «Доктор Зойдберг», «Гормональный бум» – и всё в таком духе. Я настолько устал от насмешек, что начал прятаться от других детей, пропускал обед и ужин, когда мог, притворялся больным, чтобы посидеть в медпункте. Даже ходить я стал как-то иначе: я сутулился и смотрел вниз, чтобы не привлекать много внимания.

Я опробовал, пожалуй, все методы борьбы с насмешниками: я игнорировал их, притворяясь глухим, – тем самым побуждая их становиться изобретательнее в своих издевках; я злился и дрался с ними, чем вызывал у них еще больший восторг; под конец я даже пытался смеяться вместе с ними, шутить над собой, но, кажется, они приняли это за проявление развивающегося слабоумия. В общем, жизнь в приюте казалась мне невыносимой. И лишь воспоминания о том, как я убежал в прошлый раз, когда жил с бабушкой, и то, чем это закончилось, мешали мне осуществить задуманное. «Ты уже убегал, помнишь? И что из этого вышло?...» Да, иногда мой внутренний голос очень напоминал Настю.

Через некоторое время после того, как ее забрали, за мной пришла медсестра Анночка. Сначала я, конечно же, очень испугался, решив, что меня тоже куда-то забирают, но оказалось, что со мной «просто хотят поговорить, ругать тебя никто не станет, Андрюша».

Вести со мной разговоры собирались Анночка и Валентина, которая совсем недавно забрала Настю. Всем было известно, что эти две медсестры исполняли роли доброго и злого полицейских. Мягкая, округлая и розовая Анночка была, конечно, добрым, она вообще относилась к нам нежно, почти по-матерински; одно время

ходили слухи, что она сама была приютская и ее когда-то тоже удочерили, но вроде бы это была неправда. Анночка старалась помочь всем на свете, у нее было четверо усыновленных детей и кто-то утверждал, что она хотела бы взять больше, но в ее маленькой квартире и на ее маленькую зарплату прожить бы уже не получилось. А вот Валентина была совсем другой. Странная женщина, удивительно высокая, но не вытянуто-тонкокостная, как это часто бывает у очень высоких людей, а крепкая, широкоплечая, толстозадая. Она занимала какое-то невероятно большое место в пространстве и оттого казалась очень важной, авторитетной и страшной. Она всегда старалась скрывать свои эмоции, наверное, ей хотелось, чтобы выражение ее лица было непроницаемым, но ничего не получалось: ее глаза были очень выразительны, они жестко блестели, выражая то раздражение, то ярость, а вот рот частенько улыбался, но он был слишком маленьким, чтобы составить конкуренцию глазам, они побеждали, поэтому улыбки Валентины никого не могли обмануть.

— Андрюша... — Валентина уставилась на меня своими страшными глазами, — не понимаю, что с тобой. Мне казалось, ты стал уже совсем хорошим и послушным мальчиком. В чем дело?

Сами слова Валентины не были злыми или жестокими. Весь эффект их заключался в том, как она их произносила.

— Извините, я, наверное, просто увидел страшный сон, всё перепутал.

— Но мне не кажется, что это был сон, Андрюша. Разве сны воспринимают так серьезно? Ты большой мальчик и должен различать сны и реальность. Если ты не научишься этого делать, понимаешь, ты просто не справишься с реальной жизнью. Здесь, в приюте, вы, дети, находитесь под нашим постоянным контролем... под нашей защитой, опекой, а мы любим вас, мы желаем вам всего самого лучшего. Андрюша, понимаешь, что если ты не научишься отличать сны от реальности, то ты плохо кончишь... Я бы могла объяснить эти фантазии, если бы ты был пятилетним малышом. Но ты не малыш. В мире взрослых тебе не выдержать. Ты не справишься. Нужно что-то менять, Андрюша. Ты пугаешь сны и реальность, ты набрасываешься на людей, которые тебе желают добра, ты даже на друзей своих теперь набрасываешься! Я знаю, ты перестал дружить с ребятами. Так дело не пойдет. Ты станешь асоциальным типом, неадаптированным, безработным, бездомным, пьяницей, возможно, наркоманом, ты упадешь на дно жизни, если так будет продолжаться, Андрюша. Твое неумение найти общий язык с детьми говорит о многом. Посмотри, у всех есть друзья, кроме тебя. Может, не стоило тебе вообще водиться с этой Настей? Мне кажется, эта девочка плохо на тебя влияла.

Хорошо, что ее забрали. А ты должен работать над собой, Андрюша. Ты должен учиться понимать других людей, ценить их любовь и поддержку. С таким отношением, как у тебя, все скоро действительно перестанут с тобой общаться, а ты будто только того и ждешь! Андрей, так не пойдет. Общайся с ребятами. Не думай, что ты чем-то лучше их, не будь таким гордым. Мне кажется, ты как-то неправильно о себе думаешь. Ты не лучше всех, ты такой же, как они. Ты должен понять...

Я несколько раз пытался прервать Валентину и объяснить ей, что обычно я не путаю сны и реальность, что я ценю заботу взрослых людей вокруг меня, что я не считаю себя лучше других, что это на самом деле другие дети не только перестали со мной общаться, но и принялись издеваться надо мной, и житья мне от этого нет. Но было бесполезно. Валентину вообще не интересовало мое мнение. Она будто впала в какой-то транс, нависла надо мной всей своей фигурой и говорила, говорила, глядя мне прямо в глаза, практически не моргая, не останавливаясь, не следуя в своей речи какой-либо логике. Она будто высасывала из меня энергию, слово за слово, унижала меня, втоптывала в землю, превращала, вот так вот запросто, в ассоциальный элемент и наркомана. Я не мог остановить этот поток и просто смотрел, отключившись от ее голоса, смотрел, как шевелятся ее губы и слегка вздрагивают обрюзгшие щеки. Никакая сила в мире не могла мне помочь, всё это напоминало старый детский сон, в котором на меня набрасывалась уличная собака и хватала за горло, а я пытался сдвинуться с места и кричать, чтобы привлечь внимание папы, который в моем сне мирно сидел на скамейке, читая газету, — но из моего горла не вырывалось ни звука. На этом месте я обычно просыпался.

— Надеюсь, мы друг друга поняли, Андрюша?..

Я вздохнул.

— Конечно, я всё понял. Простите.

Ко мне наконец-то подошла Анночка. Я знал, что она точно не будет меня мучить. Не зря ее все называли «Анночка» (хотя могли говорить «Аннушка»), но почему-то такое прозвище вызывало у старших воспитанников приюта лукавые усмешки).

— Андрюш, ну что ты теперь так надулся? Ты же знаешь, как мы тут все тебя любим. Я понимаю, вы, дети, обожают придумывать всякие истории, страшилки, это совершенно нормально, это такой возраст, стесняться тут нечего. Но надо очень хорошо, — Анночка мягко погладила меня по голове, — понимать, что есть просто история, сказка, а что есть наша реальная жизнь. О вас заботятся очень хорошие, добрые люди, они делают для вас всё. Не нужно придумывать какие-то ужасы,

если хочется фантазировать, почему бы не сочинить что-то хорошее? Мы, может быть, устроим конкурс на самую интересную сказку о приюте, да, Валентина Ивановна? Было бы здорово. И не стоит бояться, когда кого-то из твоих друзей забирают приемные родители. Я знаю, вам больно и тяжело расставаться, но так надо. Это же намного лучше, когда есть свои собственные папа с мамой! К сожалению, мы не можем сделать так, чтобы вы могли общаться после усыновления, это противоречит желаниям родителей, но не стоит так расстраиваться! Поверь, каждый человек – и мы с Валентиной Ивановной не исключение – встречал на своем пути много замечательных людей, которые становились его друзьями и хорошими знакомыми, но знаешь, жизнь очень длинная, и люди зачастую не могут оставаться друзьями всю жизнь, по самым разным причинам. Не стоит воспринимать это слишком драматично. Старые друзья отдаляются, появляются новые. Это течение жизни, это нормально. Намного важнее – встретить свою семью, и я от души желаю тебе, Андрюша, найти новых родителей. Уверена, так и будет. Но пока этого не случилось, просто постарайся больше так не нервничать и не придавать уж слишком много значения фантазиям, тем более таким страшным, хорошо? Мы все будем о тебе заботиться, пока тебя не заберут новые родители. Подружись с остальными ребятами, так тебе будет намного лучше. И помни, мы сделаем всё, чтобы в твоей жизни больше не было печали. – И Анночка шутливо мне подмигнула.

* * *

Моя жизнь практически стала нормальной, я даже привык к насмешкам детей, а они привыкли к моему равнодушию, когда произошло нечто неожиданное.

Я сидел один в общей спальне и наслаждался покоем, когда вдруг из коридора начали доноситься странные звуки, похожие на кошачьи, – кто-то то ли выл, то ли плакал, то ли вообще смеялся. Сначала я не обращал на это внимания, потому что мне не хотелось участвовать в каких-то сценах, но вдруг мне почудилось, будто кричит кто-то знакомый, – правда, мне не верилось, что этот «кто-то» мог снова оказаться в приюте. Я, наконец, не выдержал и выглянул из комнаты.

И увидел то, что ожидал увидеть: две воспитательницы и Валентина стояли полукругом, растерянные, не зная толком, что делать и за что взяться, а перед ними на полу лежала Настя, схватившись за голову руками, и выла на весь коридор.

– Настенька, нужно же взять себя в руки.

– Слезами горю не поможешь.

– Ну-ка хватит паясничать! Не маленькая уже.

– Настя, давай-ка сейчас успокоимся, попьем теплого молочка – и баиньки. Завтра проснешься и уже не вспомнишь, о чем плакала.

– Вот что рыдать, если сама виновата?..

– Ну ладно уж, виновата. Не первый и не второй такой случай. Бывает. Не стоит так убиваться.

– Ладно уж, вставай, Настя, пойдем.

Я спрятался в комнату и ждал, прислушиваясь к шагам, пока ее вели в одну из комнат девочек. Прошло еще минут десять, воспитательницы и медсестра зацокали по коридору в обратном направлении.

Я выскочил из комнаты, прошел по коридору, заглядывая в замочные скважины пустых комнат, пока, наконец, не нашел Настю. Я осторожно приоткрыл дверь в спальню, уже готовый выслушивать всевозможные оскорбления.

Настя сидела на кровати по-турецки и плакала, открыв рот и скривившись, как плачут только в одиночестве, когда никто не видит. Ее лицо было совершенно красным и опухло до неузнаваемости, Настя казалась даже какой-то старой из-за морщин, покрывших искаженное лицо: толстые полосы на лбу и между бровями, вокруг носа, у рта. Глаза были красные, заплывшие, растертые, а губы до смешного некрасиво кривились.

Я ждал, что при моем появлении она бросится на меня с кулаками, но она лишь закрыла рукой рот, видимо, чувствуя даже сквозь отчаяние, что выглядит очень смешно, и завывала еще пронзительней. Я подошел, с изумлением понимая, что действительно побаиваюсь ее возможной реакции.

– Ну что случилось?

Настя не отвечала. Я рассудил, что если она сразу не назвала меня дураком, то нужно повторить вопрос три-четыре раза, возможно, поупрашивать ее, чтобы получить ответ. Настя закрыла лицо руками, вой перешел во всхлипывания. Я коснулся ее плеча.

– Ну не плачь, Расскажи, мы придумаем что-нибудь.

Настя убрала руки от опухшего красного лица, мокрого от слез. В этот момент она выглядела устало и как-то глупо, как будто это и не она вовсе. Настя открыла рот, чтобы что-то сказать, но от долгого плача она икала, не могла нормально говорить, нелепость ситуации ее злила, она схватила первое, что попало под руку, – подушку – и кинула ее в стену.

– Я тебе воды налью.

– Да... а... не на-адо мне во-о-ды, – икая, ответила Настя.

Я молча сел рядом с ней. Мне хотелось погладить ее по голове, чтобы успокоить, но я боялся получить от нее затрепину.

Несколько минут мы сидели тихо. Настя, казалось, хотела еще

немного поплакать, раз всё равно уже начала и я всё видел, но у нее теперь получалось только глупо поскуливать, слезы не шли. Она несколько раз нервно вздохнула и сказала ровным голосом:

– Принеси воды.

Когда я вернулся со стаканом, она жадно сделала пару глотков, поморщилась, как будто пила водку, и пробормотала:

– Эти козлы от меня отказались.

– Как «отказались»? Так можно?

– Как видишь. Я не первая. Типичный случай. Подростков часто возвращают. Бракованные, видимо. Ты что, не помнишь, как вернули Мариам?

Я не помнил, но кивнул, боясь ее разозлить. И когда я начал так сильно ее бояться?..

– До нее тоже были, ты тогда еще не появился здесь. Ну, в общем... Теперь вернули и меня. Козлы, полные козлы.

– Полные козлы, – согласился я. – А что ты сделала не так?

– Да не знаю я, – в этот момент голос Насти дрогнул, и мне показалось, что она сейчас опять заплачет. – Я ничего такого не делала. Я нормально себя вела. Я была собой, понимаешь? Собой. А что они ожидали? У меня же есть характер, ну.

– А как вообще всё было? Ты им сразу не понравилась?

– Придурок, если бы я им сразу не понравилось, они бы меня вернули на следующий день. Нет, было не так. Сначала всё было хорошо. Ну, меня немного ругали за то, что я... ну... я была, может, немного вздрюченная и сначала волновалась, и всё такое. Я старалась быть хорошей. Я помогала по дому. И меня хвалили вообще. И гамбургер в Макдональдсе мне покупали, только однажды сказали, что мне нужно поменьше этого есть. Честно, я сахар часто воровала, в кубиках. Но не думаю, что это могли заметить, у них его полно. В школу я пошла другую, рядом с домом, там, в принципе, всё было нормально. Ссорились мы, может, несколько раз, но так ведь сколько прошло – четыре месяца?.. Там, знаешь, что плохо было. У них три кота, пушистые такие, персидские. Классные очень, но оказалось, что у меня аллергия. Я раньше не знала, у моих родителей... ну, в общем... раньше не было у нас кошек. В медкарте моей тоже не было написано. Никто не знал. Ну и вот, оказалось, что у меня аллергия очень сильная, я сразу чихала много, кашляла, по рулону в день туалетной бумаги на сопли изводила, жесь просто... глаза постоянно чесались, даже читать было тяжело. Они, конечно, расстроились, сводили меня к врачу, купили таблетки от аллергии, пылесосили два раза в день. Но мне не помогало, я мучилась. Но знаешь, я не жаловалась. Старалась больше на улице бывать, и всё такое. Всё равно у них было

хорошо, дом большой. Они вообще хорошо ко мне относились, особенно в начале. Подарки разные покупали. Вот эту кофту – вот эту – они мне купили, дорогую и без скидки. А потом, пару недель назад, я заметила, что они как будто не хотят больше на меня тратить – ни денег, ни времени. Они больше не спрашивали, как дела в школе, не пылесосили два раза в день, мама... Ольга не спрашивала, что приготовить. Было странно, но я решила, что теперь я для них вроде как нормальный, обычный ребенок. Ага, держи карман шире, – последнее слово Настя смочила в слезах и, поморщившись, продолжала: – Сегодня они мне сказали, что мы поедem в гости к моей новой бабушке; мама... Ольга собрала мне чемодан. Я еще думала, что уж слишком много там всего. Мы поехали... Я еще подумала, что дорога знакомая. Спросила, а мне говорят: да-да, то же направление, в ту же сторону. Но мне всё равно было тревожно, понимаешь? У меня очень развита женская интуиция. И вот мы едем... И я понимаю, что это уж точно в приют. Я про себя говорила: ладно, ладно, мало ли зачем, может, документы какие забрать, но всё равно начала плакать потихоньку... Ольга в зеркале заднего вида усмотрела, что я плачу, но молча отвернулась. Они ни слова не сказали, и я не говорила, только плакала. Когда мы подъехали, нас уже ждала эта ужасная Валентина со своими гестаповцами. Знаешь, я была в таком шоке, что вообще не сопротивлялась, ничего не сказала, дала себя из машины вытащить вместе с чемоданом и молча за ними пошла в приют. Я, знаешь, обернулась один раз, даже не знаю зачем, я ожидала какой-то драмы. А эти двое уже отъезжали. Они даже не посмотрели мне вслед. Выбросили, как надоевшего котенка, – Настя снова заплакала; она закрыла лицо руками и начала раскачиваться вперед-назад.

Я не выдержал и приобнял ее за плечи. К моему удивлению, она отняла руки от лица и порывисто меня обняла, прижавшись мокрым лицом к моему плечу.

В этот момент у меня мелькнула мысль сказать ей что-то утешительное, напомнить про родителей в Штатах, которые совсем скоро за ней приедут, но что-то подсказало мне, что делать этого не стоит.

* * *

Мы оба вели себя так, как будто никогда по-настоящему не ссорились и не было никаких безобразных сцен в приютской столовой. Первые дни Настя была очень тихой, никуда, кроме школы, не ходила, старалась не привлекать ничье внимание и была со мной очень мила.

К моему изумлению, остальные приютские дети даже не думали ее задирать или вообще как-то напоминать о случившемся. Они делали вид, что Настя никуда и не пропадала. Оставалось только удив-

ляться непоколебимой детской солидарности перед лицом жестокости взрослых.

После всей этой истории даже ко мне начали относиться, как раньше. Настя, отвергнутая новыми родителями, своими страданиями испустила наши с ней грехи.

Однажды, когда мы все вместе сидели в игровой, кто-то переключил на Муз-ТВ. Сначала шел клип, в котором мясистые женщины в купальниках что-то строили или делали ремонт: сверлили, стучали молотками и паяли. Музыка была так себе, зато периодически камера крупным планом показывала то груди, то животы, то зады женщин, которые бодро тряслись под звуки работающей дрели. Клип вызвал оживление среди мальчиков, девочки начали хихикать и требовать немедленно переключить. Я боялся, что придет одна из воспитательниц, и мы вообще останемся без телевизора.

Потом начался другой клип, старый. Нам показали слепую женщину в темных очках, играющую на скрипке в метро, потом вороватого мужчину, таскающего из магазина яблоки, чтобы накормить слепую, затем то, как он выигрывает в казино и ведет женщину к врачу, чтобы ей сделали операцию и вернули зрение. В конце клипа врач печально качает головой: ничего не получится, нет, увы.

Я был так увлечен сюжетом, что не особенно обратил внимание на слова песни. А зря, потому что они вызвали переполох среди приятских. Кто-то начал плакать уже на первых строчках про умершую маму главной героини. Старшие мальчики потребовали, чтобы «эту чушь» немедленно переключили. А Настя, деловито закинув ногу на ногу, презрительно заявила:

— Вообще, отношение к инвалидам у нас в стране безобразное. Только посмотрите на эту женщину, она вынуждена играть на скрипке в метро, и всё равно денег нет.

— Да это же просто клип.

— Ну и что? Ситуация реальная. Кстати, Диана Гурцкая действительно слепая, вы знали?

— Кто?

— Диана Гурцкая, это она поет.

— Ну и что?

— Она знает, о чем говорит.

— Нас тут половина инвалидов, вообще-то.

— Ну да.

— А что, где-то лучше, чем у нас?

— Конечно. На Западе. В Штатах.

— Да много ты знаешь про Запад и Штаты.

— Много знаю. У меня родители в Штатах живут.

Ребята начали переглядываться.

– А ты почему не с ними?

– Они заняты, деньги зарабатывают, когда заработают, придут и заберут меня.

– Ну ясно, ясно...

Настя знала, что ей никто не верит. Она встала и, назвав нас скучными, ушла. Конечно, все сразу принялись обсуждать ее родителей. Кто они? Где они? Они действительно в Америке? Что, правда? А почему дочь не взяли? «Зарабатывают деньги» – это достойная отмаза, как по-вашему? Они наркобароны? Они мафиози? Настя сама не знает, кто они? Они, вообще, есть?

Я попытался оборвать эти разговоры, но никто, естественно, и не думал меня слушать. Тогда я тоже вышел из игровой, не заметив, как за мной проскользнула Аглая.

– Ты чего? – спросил я.

– Да вот, подумала, тебе интересно будет, какие у Насти на самом деле американские родители.

– Да мне плевать.

– Да ну уж, прям.

– Действительно плевать, это ничего не меняет... Да я Насте на слово верю, – добавил я, вдруг спохватившись.

Но Аглая успела заметить мое сомнение.

– Короче, я знаю, слушай...

– Тебе-то откуда знать? Что ты вообще до нее докопалась?

– Ну мы когда-то общались, мне интересно было.

– И она тебе всё рассказала. Ну конечно же.

– Ну не она, а Маленькая Кенни, она многое знала.

– Да вы достали этой своей Кенни, отвали вообще, не хочу слушать эти бредни.

– Хочешь, чтобы я не тебе, а всем рассказала?

– Мне абсолютно всё равно.

– Настю в приют сдала мама. Она жива-здоровая.

Этого я не ожидал.

– Да ладно.

– Да правда.

– И почему же она это сделала?

– В общем... У Насти были мама и отчим. И старшая сестра. Папы не было. Да и у кого в наше время есть папа, ну ты понимаешь. Короче, пока она была совсем маленькая, всё было ничего, жили хорошо. Потом Настя и ее сестра подросли. В год, когда всё случилось, Насте было 9, а ее сестре – 13. В общем, как-то ночью Настя проснулась, потому что услышала, как сестра плачет в своей комнате. Она пошла спросить, в

чем дело, сестра – молчок. Потом опять то же самое, на другую ночь. На третью Настя не легла спать, а села подслушивать. Поздно ночью она услышала, как отчим встал и пошел в комнату к сестре. Настя, конечно, ничего не поняла. Потом услышала... звуки... потом плач. Она не стала тогда сестре ничего говорить. На следующий день пошла к матери, всё рассказала. Та не то что бы поверила, но допросила сестру. А сестра, не знаю почему, начала отнекиваться. Короче, мама Настю жестко отчитала, наказала. Отчиму ничего говорить не стали. Но Настя была не такая простая. Она пошла и всё рассказала школьной учительнице. А дальше... – ну ты представляешь. Завели дело, экспертиза, суд. Выяснилось понятно что, отчиму дали лет пятнадцать. И даже после этого мать не поверила, хотя уже даже сестра сказала, что так и было. Матери удалось сделать так, чтобы Алену у нее не забирали. А Настю она сама в приют сдала. Сказала, что знать ее не хочет. А Алена – что? Живет с матерью, хоть бы хны. Насте даже не написала ни разу. Ей теперь противно, что все всё знают. Мать она ненавидит, но в приют не хочет. Такая история.

– А что... а зачем она вообще всю эту муть про Штаты выдумала?

Аглая задумчиво пожала плечами:

– Ну знаешь, у нас тут разные истории есть. У кого-то родители умерли вообще, у кого-то пьяницы какие-нибудь. От некоторых отказались из-за инвалидности. Но чтобы кого-то мать вот так вот выбросила, у нас нет такого. Я даже не думала, что так вообще бывает.

Я тоже не думал.

* * *

Я так никогда и не спросил Настю, кем на самом деле были ее родители. Конечно, ее собственная версия про удивительную работу в Америке казалась мне теперь неприлично наивной. История о старшей сестре и отчине в духе колонок газет, которые очень любила моя бабушка, слишком уж напоминала другие страшилки Маленькой Кенни. Мне ужасно хотелось знать правду, но я даже не думал спрашивать о чем-то Настю, которая неделями ходила сама не своя, нервная, уязвимая, злая. Иногда я заставлял ее в слезах, порой она казалась очень напуганной; ее соседки по спальне рассказывали шепотом, что по ночам она кричит и дергается, а однажды кто-то видел, как она рано утром сняла с кровати простыню и куда-то с ней пошла.

Я очень долго собирался расспросить ее обо всем, не только о родителях, но и о том, что на самом деле происходило в приемной семье, о том, что ей об этом говорили воспитательницы, а еще я очень хотел узнать у нее, зачем она решила одурачить меня этой историей про ген молодости.

Сначала я долго не решался заговорить, а потом стало уже слишком поздно. Настю опять забрали. На этот раз не было ни скандалов, ни церемоний, просто вечером, перед сном, мы с ней распрощались, ну а утром она не пришла на завтрак, и когда я пошел спросить, сильно ли она заболела, я меньше всего ожидал, что мне скажут: «Настю забрали обратно ее новые родители».

Это казалось невероятным.

– А так можно, да? Подобрать, выкинуть, потом снова подобрать?

– Андрей, ты тут не умничай, когда вырастешь, поймешь. Марш отсюда.

– Я никуда не уйду, я хочу объяснений.

– Смотрите, какой он наглый стал, просто невероятно. Ты бы лучше послушал моего совета и вел себя подобающе. Удивительная неблагодарность. Здесь о тебе заботятся, с тобой носят, нянчатся, а ты относишься к нам совершенно наплевательски. Ничего удивительного, что бабушка от тебя отказалась...

Я ощутил такую ярость, что и сам испугался. В последнее время мне стало трудно себя контролировать, я уже несколько раз ввязывался в драки по самым разным поводам, но драться с Валентиной уже точно не стоило. Я молча ушел, с твердым намерением узнать, где Настя на самом деле.

Я пытался что-то выяснить у Анночки, у воспитательниц, у других детей, но никто не понимал моей тревоги: все считали, что за Настю можно только порадоваться. Но как они все, даже Анночка, могли думать, что можно вот так вот поступать с людьми? Может быть, эти приемные родители мстят Насте за ее поведение, а может, и не мстят, но она скоро вернется обратно, опять в истерику и в слезах.

– Анночка Святославовна, дайте мне позвонить Насте. Или написать. Ну пожалуйста.

Анночка хотела сделать вид, что не слышит моей просьбы, но не смогла.

– Андрюша, мне правила не позволяют, – и вздохнула.

– Анночка Святославовна, ну какие правила, вы же такая добрая, мы вас все любим, ну правда, не то что эту... извините, извините. Дайте мне как-то связаться с Настей. Я хочу знать, что у нее всё хорошо. А если всё плохо, то я тоже хочу это знать.

Прежде чем ответить, Анночка приоткрыла дверь кабинета и выглянула посмотреть, не стоит ли кто у двери. Потом она взглянула на меня и всё так же бессмысленно сказала:

– Андрей, я, правда, не могу.

С Анночкой я играл в ребенка. Притворялся малышом, каким

был когда-то, когда еще жил с мамой. Я попытался взять Анночку за руку, но она смущенно увернулась.

— Анночка Святославовна, ну вы не понимаете. Настя мой единственный друг. У меня больше никого нет. Просто скажите, как у нее дела, а? Может быть, у вас есть ее фотографии с новыми родителями? Она там уже столько времени, должны же быть фотографии. Я просто правда хочу знать, что у нее всё в порядке. Я так рад, что у нее теперь есть родители. А ей нельзя по Интернету написать? Я бы мог. Никто бы не узнал, что я это сделал. Я знаю одного мальчика в школе, у него есть Интернет. Я бы мог.

Анночка стояла, отвернувшись, склонившись над какими-то бумагами. Я вдруг заметил, что она не смотрит на меня, даже не притворяется, что слушает.

— Анночка Святославовна...

В этот момент она приподняла голову и как-то резко, совершенно не в своей манере, проговорила:

— Андрей, просто уйди, пожалуйста.

В тот момент мне показалось, что за этими словами что-то скрывается. Вспомнилась история про гормон молодости. Но ведь это не может быть правдой? Я даже не знаю, почему я поверил в первый раз.

О том, что происходит в приюте на самом деле, я узнал спустя много месяцев после этого разговора, узнал случайно, вопреки всему, и знание это ничего не изменило в моей судьбе, потому что она была решена еще в тот день, когда папа убил маму, а я сидел в соседней комнате и трясся от страха.

* * *

Со временем я оставил попытки что-то выяснить. Жизнь в приюте шла своим чередом, постоянно появлялись новые ребята, периодически кого-то забирали. Чтобы навсегда рассеять все сомнения насчет того, куда исчезают дети, я стал записывать в одной из школьных тетрадей даты поступления детей и дни, в которые кого-то забирали. Я также расспросил большинство «стареньких» в приюте о том, как давно они сюда попали. Я провел настоящее расследование, которым очень гордился, но о котором не мог никому рассказать, иначе бы надо мной обязательно начали смеяться. Я пришел к выводу, что никакой системы в исчезновении детей нет. Были те, кто не задерживался в приюте дольше нескольких дней, обычно младенцы, но были и ребята, которые жили в приюте дольше меня — по пять или даже шесть лет. Я хмурился, вспоминая, как когда-то Настя меня обманула. Как я вообще мог поверить ей? Это могло случиться только из-за моего юного возраста. Теперь всё это было в прошлом.

Я уже и думать забыл обо всей этой истории, когда однажды, спустя много месяцев после исчезновения Насти, я невольно подслушал разговор медсестер.

Получилось случайно, я совершенно этого не планировал и планировать никак не мог по понятным причинам. В тот день с самого утра я ощущал себя неважно, возможно, отравился, завтракать не смог, а перед уходом в школу почувствовал, что из живота что-то стремительно поднимается наверх. Я побежал в туалет, склонился над унитазом, пакость вышла, но минут через десять всё повторилось. Обессиленный, я посидел немного на полу в туалете, а затем, согнувшись, побрел в медпункт.

Идти было тяжело, сил не оставалось, через каждые пять-шесть шагов я сползал на пол и сидел какое-то время, прислонившись к стене. Уже в коридоре у медпункта я прилег на скамейку, чтобы собраться с силами, и уснул.

Спустя некоторое время, сквозь сон, я смутно услышал голоса, показавшиеся знакомыми.

– ...и поэтому я считаю, что это не должно продолжаться.

– Когда мы принимали вас на работу, мы очень четко определили круг ваших обязанностей и отдельно указали на некоторые... особенности, которые характерны для этой работы.

– Я знаю. Я понимаю. Я этого не отрицаю. Но...

– Если вы считаете что-то недопустимым, вы всегда можете найти себе другую работу, раз уж вас эта не устраивает.

– Да вы поймите, я не хочу уходить. Я просто считаю... что всё это неправильно, так не должно быть.

– А, так вы борец с системой? Замечательно. А на вид тихоня.

– Послушайте, я не понимаю, зачем вот этот ваш сарказм неуместный.

– Это не сарказм. Это ирония.

– Да какая разница!..

– Не повышайте на меня голос.

– Извините ... Да, я борец с системой, если вам так хочется.

Пусть.

– Наверное, вам кажется, что вы – героиня из Оруэлла или Замятина. Бунтарка.

– Не знаю, что там у Оруэна и Залятина, но я считаю, что здесь происходит нечто ужасное, даже бесчеловечное. Здесь каждый постоянно говорит о том, как мы любим детей, как заботимся о них, как всё для них делаем. А потом...

– Я не вижу противоречия. Чего же мы не делаем для детей?

– Мы должны быть с ними... до конца.

– До конца? До смерти? Как вы себе это представляете? Нечто среднее между детским домом и домом для престарелых? С элементами дома для молодых и средневозрастных?

– Вы же понимаете, о чем я. Некоторым везет, их усыновляют. Почему другие не могут здесь жить до совершеннолетия?

– Еще раз: как вы себе это представляете? У нас нет такого количества мест. В стране нет. И денег у правительства на это тоже нет. Это раз.

– Но это же самое важное! На что тратить деньги, если не на это?

– Не заговаривайтесь, это не вам решать. Да и проблема не в бюджете. Бюджет – это одна из трудностей, хотя тоже нерешаемая. Что, из-за этих вот детей остальным теперь не жить нормальной жизнью?

– Вы еще спрашиваете?

– Спрашиваю. Потому что я, например, не подписывалась всем жертвовать ради других людей. Я – здоровый нормальный человек из полной семьи, почему я вообще должна чем-то жертвовать? Но я вам повторяю, дело не в деньгах. Просто задумайтесь на секунду об этих детях...

– Я думаю о них каждую секунду.

– Прекрасно. Задумайтесь, кем они станут, когда достигнут совершеннолетия, когда уйдут из приюта. Во-первых, инвалиды... Большинство из них вообще не могут жить самостоятельно. Куда их девать, ну? В дома для престарелых? Это же не жизнь, такая жизнь никому не нужна.

– Разве можно так...

– Да можно, можно. Перестаньте к ним так относиться, как будто они нам... равные...

– А что, нет?

– Ну, на этот вопрос вы сами себе ответьте. Далее. Я сто раз вам об этом говорила, и еще при приеме на работу: они не здоровые и здоровыми не будут. Посудите сами, что мы имеем. Сироты, у которых умерли родители. Травмированные на всю жизнь. Дети, чьи родители – маргиналы. Еще хуже. Последний вариант – отказники. Вообще, туши свет. Эти дети уже ненормальные. Сравните их со своими детьми. Или с племянниками, если они у вас есть. Это травмированные, агрессивные, неадекватные дети.

– Они просто несчастны, им нужна забота. Я знаю, о чем говорю, вам это известно.

– Может быть, но сами они никому не нужны. Большое счастье, если их кто-то усыновляет. Возможно, это что-то и изменит, хотя я сомневаюсь. В любом случае, усыновление как вариант должно

существовать и дальше, это безусловно. Но те, кого так и не берут? Вы их видели? Тех, кто живет здесь по 5-6 лет? Вы представляете, какие маргиналы из них растут? Они все стопроцентно будущие преступники, наркоманы, низы общества. Девочки беременеют в тринадцать, мальчики воруют с младшей школы.

– В наших силах это предотвращать.

– Нет, не в наших. Вы так говорите, как будто вы здесь первая. Первый в мире чадолюб, только посмотрите! Знаете, сколько здесь и в других местах было людей, самых замечательных и благородных людей, которые вот так же, как и вы, мечтали всем помочь, всех спасти? Они сдались. Потому что всем не поможешь. Одному, двум, трем – может быть. Всем – нет. Так устроена наша жизнь. Нельзя нести ответственность за всех. Смиритесь. Перестаньте вы быть эдакой жалостливой клушей, это просто нелепо. В жизни нужно уметь правильно расставить приоритеты. Пока вы вот так на всех жалостливо смотрите, всех подбираете, обо всех хотите позаботиться, всё главное в жизни проходит мимо вас. Подумайте лучше о себе и своей семье. Дались вам эти дети. Сколько их сюда попадает, сколько их еще будет, сколько их по всему миру, заброшенных. Забудьте.

– Но как же... я не понимаю. Тогда зачем вообще это всё? Этот приют, эти люди, которые собирают всех оставленных детей, сирот, несчастных, их сюда привозят, они живут здесь, мы их лечим, когда они больны, когда они попадают сюда, они бывают в кошмарном состоянии, как Андрюша, помните, как он был ужасно избит? Мы столько для них делаем, мы вкладываемся в них, заботимся, привязываемся, мы их кормим и развлекаем, мы даем им надежду, а потом выставляем их в клетках, как животных в зоопарке, мы ни слова не говорим об их будущем... ради чего это всё?

– Ну... Вы не думайте, я же не какое-то чудовище. Меня считают ужасной, но поверьте, я не такая уж и плохая. Я хочу дать этим детям шанс. Мы даем им шанс, огромный. У них есть шанс, что кто-то их усыновит, и тогда их будущее сложится. Да, получается не всегда. Об этом я вам и говорю. Видит Бог, мне... жаль, что у некоторых ничего не выходит. Но всё не напрасно для каждого из них. Посудите сами. Мы даем им кров, стол, мы ухаживаем за ними, даем им образование. Даже если ничего не получается, какое-то время эти дети счастливы...

Голоса стихли. Дверь приоткрылась, Валентина вышла в коридор и увидела меня. Она весьма посредственно скрыла неприятное удивление и отвела меня в кабинет. Прежде чем я успел пожаловаться на боль в животе, Валентина протянула мне какой-то раствор в маленьком пластиковом стаканчике. Я покорно всё выпил, закрыл глаза и погрузился в странные грезы. Проснулся я в середине ночи с

тяжелой головой и уже не помнил, что случилось накануне и как я попал в медпункт.

На следующий день нам объявили, что Анночка больше не работает в нашем приюте.

* * *

В тот день мне исполнилось двенадцать лет. В приюте дни рождения не празднуются: нет средств, да и подарки бы всем пришлось дарить одинаковые, чтобы ребята из-за них не передрались. Но всё равно с утра у меня было приподнятое настроение. Двенадцать лет – это красиво. В голове я перебирал всевозможных персонажей книг, которым тоже было двенадцать. Это и Гарри Поттер в тот год, когда он открыл Тайную комнату, и половина героев ужастиков Роберта Стайна, и в первой книге «Волшебника Земноморья» Геду тоже, кажется, было двенадцать... Я был рад, потому что чувствовал себя взрослым и сильным, у меня уже росли волосы под мышками и в других местах, я стал очень умным и опытным за последние несколько лет, и единственное, что меня расстраивало – мой низкий рост, но воспитательницы говорили, что мальчики растут в более старшем возрасте...

Никто не знал, что у меня день рождения, но я всё равно ощущал торжественность момента. До совершеннолетия шесть лет. До старости – почти двадцать. Фантастически много времени. За этот срок я бы мог прожить множество разных жизней, но я даже не представлял, за какую взяться вначале. Больше всего я, конечно же, хотел быть супергероем, но теперь, в свои 12, я понимал, что супергероев не существует. Еще я мечтал быть киноактером, но это очень сложно и могло не получиться. Может быть, тогда полицейским? Я мог бы заодно разыскать Настю. И наподдать ей как следует за то, что она до сих пор не придумала, как написать или позвонить мне.

Настя теперь, должно быть, совсем большая. Удивительно, как она дружила со мной, когда я был мелкий. Я сам теперь относился к малышам по-отечески, снисходительно.

Я всё чаще думал о том, что меня ждет после приюта. Я пытался что-то узнать у других ребят, постарше, но ответа так и не получил. Говорили, что никто не остается в приюте до совершеннолетия, всех разбирают. И правда, как я заметил в первые недели после того, как попал сюда, старшеклассников среди нас почти не было. В двенадцать лет я уже считался практически взрослым. Возраст и стаж приютской жизни, конечно, прибавляли мне авторитета, я уже не был мальчиком для битья, как пару лет тому назад. Я настолько свыкся с сиротской жизнью, что мне казалась странной возможность быть усыновленным. Я был не уверен, что такой вариант мне еще подходил. Вообще-

то мне очень хотелось нормальной жизни, как при родителях, но я был уже достаточно большой, чтобы понимать, что такого не будет. А если я попаду к кому-то вроде моей бабушки? Я попытался заговорить об этом с одной из воспитательниц, но она только отмахнулась.

– Конечно, тебе будет лучше в семье, а не здесь, о чем ты только говоришь.

– Может быть, но я теперь уже взрослый, вдруг мне не понравится, как со мной будут обращаться, вдруг со мной будут обращаться, как с маленьким?

– Не говори ерунды. Что тебя ждет после приюта, как сам считаешь? Да ничего. Никто не станет тебе помогать. А так у тебя будут родители.

– А если я никому не понравлюсь? До сих пор не понравился, даже когда был мелким. Теперь шансов точно нет. Что же мне тогда делать?

– Да заберут тебя, заберут, не сомневайся. Мы здесь для того, чтобы это обеспечить.

Мой двенадцатый день рождения казался мне началом новой эпохи. Я решил, что наконец стал подростком – это слово отдавало бунтом и чем-то неизведанным. Я думал о своем будущем почти с нежностью. Неважно, заберут меня куда-нибудь или нет. Всё равно я не позволю своей жизни пройти впустую, как это делает большинство взрослых, да почти все, если честно. В свой день рождения я придумал набросать примерный план будущей жизни. Начинался он с пункта «Вступить в театральный кружок и попасться на глаза какому-нибудь известному режиссеру», который я должен был выполнить в этом году, а заканчивался пунктом двадцать «Получить ‘Оскар’ за лучшую мужскую роль первого плана в фильме Спилберга и жениться на Меган Фокс», что, по плану, ожидало меня в 23 года. Дальше я не заглядывал. Двадцати трех лет мне казалось вполне достаточно для осуществления всех моих самых смелых фантазий и получения максимального удовольствия от жизни.

План казался мне не только вполне осуществимым, но даже простоватым. Разве я что-то в нем упустил? Едва ли. Для старта мне не требовались ни деньги, которых у меня не было и быть не могло, ни связи, потому что знаменитый режиссер вполне мог заметить меня в школьном театре, такое часто случается с известными актерами. Неважно, что там будет с семьей и приютом, мне никто не помешает. Единственное, что от меня требовалось, – так это выдающийся талант, который, как я твердо решил, у меня имелся. Я всегда любил кино, и мама часто говорила, что я очень артистичный. Пока что играть в серьезных постановках мне не доводилось, но я уже тайком, когда мог, репетировал роли из знакомых пьес.

Я часто вспоминал свой первый год в приюте. Странные были времена. Мне было так тяжело после всего, что со мной случилось в предшествующие тому месяцы, что сам приют мне виделся какой-то издевкой, напоминал мне одновременно тюрьму и зоопарк с этими странными клетками и воспитательницами, которые пытаются нас держать под контролем. Я вспоминал, как восстанавливался после побоев бабушки и тех странных девочек, которые встретились мне зимней московской ночью. Вспоминал операцию – моя безобразная левая рука теперь меньше напоминала клешню. Об операции договори́лась Валентина, на которую я больше не мог сердиться. В конце концов, она могла быть по-настоящему неприятной, нависающей, утомительной, но в действительности именно она заботилась о нас больше всего, она доказывала свое отношение не словом, а делом. Мама всегда говорила, что важно то, что человек делает, а не то, что он говорит. Я хмурился, вспоминая, каким импульсивным и неблагодарным я был в детстве.

И по-прежнему часто, очень часто я вспоминал свою маму. Конечно, мои детские фантазии о том, что мама жива, но болеет, и что ее скрывают от меня, казались мне теперь просто бредовыми. Я смирился с тем, что ее больше нет. И все-таки, и все-таки... иногда мне нравилось забывать обо всем и погружаться в мир фантазий. Я представлял себе, что я на самом деле – герой фильма или книги, которую прямо сейчас читает кто-то, и что со мной уже очень скоро случится нечто необычное, почти фантастическое, чего читатель ждет и на что надеется. Вдруг окажется, что в книге, героем которой я являюсь, задуман неожиданный поворот событий: мама действительно жива, и всё это время она ждала и искала меня... или нет, она была в коме, но случилось чудо, и она очнулась... или нет, на самом деле папа никогда не бил ее, это всё была просто задумка какого-то злодея, возможно, инопланетянина, который похитил моих родителей и подстроил всё таким образом, чтобы все, и даже я сам, решили, что мой папа убил маму, а сам сбежал. И на полу кухни лежала на самом деле вовсе не мама, а манекен. И очень скоро я узнаю, что кто-то пришел меня забрать. Кто-то особенный...

В тот день, когда мне исполнилось двенадцать лет, после обеда ко мне подошла Валентина, спустя годы уже не так явно возвышающаяся надо мной, и бросила, будто что-то неважное:

– Андрей, зайди ко мне сегодня вечером.

Я понял, что в моей жизни произойдет нечто новое.

Вечером, сидя за столом в своем кабинете, Валентина была сама на себя не похожа. Она неестественно мягко улыбнулась, чем впервые за долгое время напугала меня, предложила мне сесть, протяну-

ла руку, отчего я насторожился, и как-то странно похлопала меня по плечу. Я был в крайнем недоумении: Валентина, изображающая заботливую нянечку?

– Андрюша, – («Андрюша»?! Когда меня в последний раз так называли?), – у меня для тебя просто замечательные новости, чудесные. Случилось то, чего мы все давно ждали.

Я уже знал, что она скажет, но усиленно изображал любопытство.

– Андрюша, теперь у тебя будет новая семья! Тебя усыновляют, представляешь?

Это было ровно то, чего я ожидал, но вместо радости и торжества я ощутил, как внутри у меня что-то упало, вниз, на дно живота, и я почувствовал тошноту.

– Ты так потрясен, что даже не реагируешь. Это нормально, такое бывает. Но ты ведь рад?

– Е-ху... – попытался изобразить я.

Я сам не знал толком, что чувствовал в этот момент.

– Так это... Это те самые, да? – спросил я, прекрасно зная, что Валентина поймет.

Две недели назад к нам приходила пожилая пара искусствоведов. Их дети уже выросли, и они, как водится, решили взять на воспитание ребенка, но только не требующего забот малыша, а подростка. (Интересно, что у них за дети такие, если они решили, что подростки не требуют особых хлопот?)

Честно говоря, я не заметил, чтобы они проявили ко мне какой-то особый интерес. Им понравились буквально все дети, они с восторгом поговорили с каждым из нас, поумилились, покукували с младенцами.

– А я думал, что они Мишу тогда взяли.

Действительно, на следующий день после их появления я заметил, что улыбчивый Мишка, которого некоторые презрительно звали «дауненком», куда-то пропал. Это означало одно – его забрали.

– Да, Мишеньку действительно усыновили. Но они решили, что у них есть возможность подарить радость еще кому-нибудь, – на словах «подарить радость» я изо всех сил постарался не морщиться, – и вот они решили, что берут для Миши братика, тебя.

Быть Мишиным братиком у искусствоведов на пенсии. Наверное, могло быть и хуже. По будням я буду сидеть с братиком Мишенькой, а на выходных ходить в музей. Ладно, может получится приспособить мое новое положение для карьеры актера.

– Мм... хорошо, я рад, даже очень, – я вполне правдоподобно улыбнулся. Я же актер.

Валентина растянула рот и прищурила глаза в знак улыбки.

– Знаете, только у меня есть вопросы. Во-первых, когда они...

– Андрей, давай с вопросами чуть позже. У нас с тобой сейчас есть одно большое дело. Видишь ли, они люди пожилые и со своими... представлениями... в общем, у тебя теперь новая жизнь в других условиях. Приют совсем скоро, уже на днях, останется в прошлом...

– Погодите, погодите, а что, меня прям так сразу забирают? А я не смогу ни с кем общаться?..

– Нет, Андрей, так не пойдет, перебивать меня не надо. Это мы обсудим позже, тебя силком никто никуда не тащит. Давай решать проблемы по мере поступления, хорошо? А сейчас ты дослушаешь то, что я тебе скажу. У тебя начинается новая жизнь, а ведь тебе уже исполнилось двенадцать лет. По нашим правилам тебе в ближайшее время полагается сделать некоторые прививки. Поскольку тебя забирают, мы этим займемся уже сейчас. Тогда твоим новым родителям будет спокойно. Нет, не надо мне сейчас этой лавины вопросов, я всё расскажу потом, а теперь, пока еще не совсем поздний вечер, пойдем на первую прививку.

Пока мы шли, я попытался спросить, о каких прививках вообще идет речь, но даже этот вопрос Валентина хотела обсудить со мной «немного позже». Мы зашли в одну из пустующих палат, Валентина жестом велела мне прилечь на кровать. Она снова вернулась к роли хорошего полицейского, сложила губы в улыбке и сказала, что вернется буквально через пару минут.

Я лежал, глядя в бездумный белый потолок, и даже не знал, за что зацепиться мыслями. Получается, так вот детям объявляют о том, что их забирают? Я уже видел, как это происходит с другими, но мне хотелось чего-то особенного. Уж не знаю, что я там себе представлял, фанфары ли, оркестр, но явно нечто более торжественное, чем разговор с Валентиной в ее кабинете. И почему нельзя было хоть вкратце рассказать мне о том, что меня ждет? Я волновался.

Валентина вернулась в кабинет, держа в руках поднос с маленьким стеклянным стаканчиком и почему-то с молочной шоколадкой «Аленка». Заметив мой любопытный взгляд, Валентина рассмеялась.

– Да, всё для тебя. Я смешала тебе лекарство, надо будет сначала принять. Оно очень горькое, поэтому ты можешь заесть его шоколадкой. И да, от лекарства захочется спать, не удивляйся.

– А что за лекарство? – праздно осведомился я.

– Это что-то вроде витаминов, оно укрепит твой иммунитет. Тебе это сейчас необходимо.

Ответ меня не впечатлил, но мне было, в общем-то, всё равно, мои мысли были уже далеко, в уютной двухкомнатной квартире пенсионеров-искусствоведов.

Валентина присела на край кровати, поставила поднос на тумбочку и протянула мне крохотный стаканчик с мутной жидкостью.

– Погоди, не пей еще, я шоколадку открою.

Пока она шуршала «Аленкой», я схватил стаканчик и залпом осушил его.

— Да можно не весь, пары глотков хватит!

Но было уже поздно, я кряхтел, сморщившись от невыносимо горькой жидкости.

– На вот, заедай.

Шоколад был кстати. Я съел пару кусочков, потянулся за третьим...

Валентина продолжала сидеть на краю кровати, будто наблюдая за мной.

– Ну что ж... теперь прививка? – бодро сказал я.

– Подожди... пару минут. Лекарство должно подействовать.

Я охотно развалился на кровати, продолжая жевать сладкий шоколад, которым никак не получалось перебить горечь снадобья из стакана. Я вдруг ощутил странную радость, вдохновение, желание жить. В своих мыслях я уже просил новых родителей записать меня в театральный кружок или нет, в какую-нибудь крутую театральную студию в Москве; я уже видел, как репетирую роли в гордом одиночестве и в присутствии пенсионеров-искусствоведов, которые будут изумленно переглядываться и тайком между собой говорить о том, как они совершенно случайно набрали на такой удивительный талант; я воображал себе, как мой новый отец обзванивает своих знакомых режиссеров и продюсеров, как меня берут сниматься в фантастические фильмы и детективные сериалы; как мой настоящий папа выходит из тюрьмы и оказывается, что он и не убивал маму, и он говорит о том, какой я молодец и как он мной гордится. Я представлял себе, как очень скоро становится понятно, что мой талант слишком велик для студии «Мосфильм», и я отправляюсь в Лос-Анджелес, в Голливуд, где меня почтительно называют «этот талантливый паренек из России», а я играю роли парня Эммы Уотсон, сына Анджелины Джоли, напарника Мэтта Деймона и брата Леонардо ДиКаприо...

Я вдруг почувствовал сладкую, непреодолимую усталость. Я понял, что вот сейчас, в данную секунду, мне просто нужно немного поспать, отдохнуть, но когда я проснусь, я приступлю к исполнению своего плана; когда я проснусь, Валентина мне подробно расскажет, какой теперь будет моя жизнь.

Я взглянул в сторону Валентины, силясь держать веки открытыми. Она смотрела прямо на меня с непостижимым выражением лица. Я вдруг, безо всякой причины, почувствовал необходимость поде-

литься с кем-то – пусть даже с ней – своим грядущим счастьем. Я мечтательно улыбнулся и пролепетал:

– А знаете, я ведь буду играть в новых «Звездных войнах». И дайте еще шоколадку...

Я закрыл глаза, на секунду...

Когда я снова открыл их, Валентины рядом со мной не было. Я привстал, чувствуя небывалую легкость в теле. За дверью послышался шум, она медленно приоткрылась.

Я увидел свою маму.

Она стояла передо мной, такая же, как и раньше, в летнем платье с крупными синими цветами, которое носила всю мою жизнь. Она совсем не переменялась, и я даже не испытал особого удивления при виде нее.

– Мама, это ты?

Мама спокойно улыбнулась:

– Что за глупые вопросы?

– Мама, а что ты... а как ты... почему... мама, зачем ты пришла?

Она обиженно нахмурилась.

– Конечно, чтобы забрать тебя отсюда, Андрюша.

Так странно. Мама раньше никогда не звала меня Андрюшей.

Я рывком сел на кровати. Мне хотелось броситься к ней, но я будто стыдился чего-то.

– Чтобы забрать меня? Правда? Отсюда? Насовсем?

– Конечно, насовсем. Пойдем скорее.

Я встал, подошел к маме и крепко обнял ее.

Париж

КНИГА И СУДЬБА

Светлана Алексиевич

«Мы совершенно не готовы к будущему»

Интервью Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе (2015), журналисту Н. Ажгихиной

Писатель Светлана Александровна Алексиевич родилась в послевоенной Беларуси в 1948 году. Белорусская земля испытала весь ужас кровавой бойни Второй мировой войны. На этой земле было разрушено почти 98% городов – 209 из 270 – и 9200 деревень; практически уничтожена столица – Минск. За годы оккупации гитлеровцы провели свыше 140 карательных операций, на территории Беларуси было создано около 250 лагерей советских военнопленных, 350 концлагерей для гражданского населения и 186 еврейских гетто, в которых было уничтожено более 715 тыс. евреев. На принудительные работы в Германию было вывезено 400 тыс. человек. За годы войны на земле Беларуси погибло свыше трех миллионов жителей – то есть каждый третий.

Судьба Алексиевич была определена до ее рождения. Войной. Советской диктатурой. Страданием и силой духа ее народа. Из этого был рожден писатель.

Первая документальная книга Алексиевич «Я уехал из деревни» была составлена из рассказов советских белорусских колхозников, бежавших за лучшей жизнью в город; она должна была выйти в 1976 году, но набор рассыпали по указанию отдела пропаганды ЦК компартии БССР за «непонимание аграрной политики» партии. Подлинную известность получили другие ее книги в жанре художественно-документальной прозы – хотя и их путь был тернист. «У войны не женское лицо» стала первой опубликованной книгой С. Алексиевич. Эта документальная повесть, основанная на интервью с женщинами, участвовавшими в Великой Отечественной войне, была опубликована в 1985 году. За ней последовала книга, написанная по воспоминаниям детей, переживших войну, – «Последние свидетели: книга детских рассказов». «Цинковые мальчики» (1989) стала следующей работой Алексиевич – книга об Афганской войне, о погибших на ней молодых ребятах, а еще – о цинизме советских правителей, бросивших этих парней в кровавую бойню. Афганская кампания стала той последней каплей боли и народной ненависти, которой захлебнулась советская диктатура. Власть компартии пала; осталось выжженное ею постсоветское пространство. Которое не

отпускало писателя. Так появились ее «Зачарованные смертью» и «Чернобыльская молитва». Эта, последняя, книга имеет подзаголовок «Хроника будущего», здесь Алексиевич впервые для себя затронула тему техногенной катастрофы.

Далее она обратится к проблеме девальвации культуры, нравственной энтропии современного общества и травме т. н. *homo soveticus*, что не смогла зарубцеваться за прошедшие десятилетия. Об этом, в частности, ее «Время секунд хэнд» (2013). Алексиевич говорит о своих героях: «Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он – это я. Это мои знакомые, друзья, родители...»

Книги С. Алексиевич переведены на английский, французский, немецкий, шведский, польский, китайский, норвежский и другие языки. Она – лауреат множества литературных премий и наград, среди них – премия Ремарка (2001), американская Национальная премия критики (2006), приз читательских симпатий российской премии «Большая книга» (2014), российская независимая премия «Триумф», немецкая премия «За лучшую политическую книгу» и др. В 2013 году Алексиевич стала лауреатом Международной премии мира немецких книготорговцев.

Светлана Алексиевич – лауреат Нобелевской премии по литературе (2015), с формулировкой «за её многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время». Впервые Нобелевская премия была присуждена писателю, работающему в жанре художественно-документальной литературы.

Она пишет на русском языке и считает себя воспитанной русской культурой. Перебрав десяток стран, С. Алексиевич вернулась в Беларусь. Там ее читатель. Ее герой. Иногда ее книги определяют как цикл, как хронику Большой Утопии. Но важно помнить, что ее герои и ситуации – не художественный вымысел, а реальность прошлого, XX века. Как и века наступившего. Мы все, где бы мы ни жили, – герои книг Светланы Алексиевич.

От редакции

Н. Ажгихина: – Светлана, мы с Вами встретились в середине 1990-х, это уже больше 20 лет назад, и всякий раз – в Москве, в Европе, Минске – говорили о человеческой природе, о памяти, о гене агрессии и деструкции в человек, и о том, как его преодолеть. Сегодня агрессия и нетерпимость стали общим местом повсюду; в России после выборов, судя по последним выступлениям СМИ, она даже набрала новую высоту. Мы – «в кольце врагов», все инакомыслящие – тоже «враги»... Почему так?

С. Алексиевич: – Ненависть в обворованных, обманутых, униженных людях ищет выхода. И эти процессы ненависти, в общем, достаточно грамотно направили вовне, против внешнего врага; уже давно

это произошло, произошла полная милитаризация сознания. Это такая форма отвода вовне энергии, которая может взорвать что-то внутри. Ничего нового здесь Путин не изобрел. У меня была статья, которая называлась «Коллективный Путин». Я писала там о том, что дело не в Путине. Путин просто аккумулировал, артикулировал желания – у кого-то ясные, у кого-то неясные, – желания общества, которое действительно чувствовало себя униженным, обворованным, обманутым. Мы, те, кто делал перестройку, задавали себе, среди прочего, вопрос: «Почему молчит народ?» Когда я поездила по России, уже значительно позднее, побывала в глубинке, я поняла, почему молчал: он не понял, что произошло, он не ждал этого. То есть обновления, какого-то освобождения от вранья – ждал. Но то, что произошло потом, ему было просто непонятно. Перестройку делала какая-то часть интеллигенции в больших городах во главе с Горбачевым. А остальные? Люди были в совершенной прострации. Никакого капитализма они не хотели. Может быть, идея капитализма вообще не совпадала с ментальностью русской. И когда Путин произнес: «Вокруг враги, мы должны быть сильными, нас должны уважать», – все встало на свои места. Вот *так* люди знают, как жить. И они опять сбились в мощное народное тело.

Н.А.: – *Но ненависть? Откуда ее столько? Неужели русские такие злые от природы? Неужели в прошлом (а оно как будто замещает настоящее в последнее время) мы хотим видеть только победоносные битвы – неважно, какой ценой победы в них были достигнуты? Только тиранов? Ведь было в истории и много другого...*

С.А.: – Можно сказать, что мы – военные люди, и любая неудача возвращает нас назад. Сейчас мы отброшены почти в Средневековье. Когда я ехала по Москве прошлым летом, то видела огромное количество людей, которые стоят, чтобы увидеть какой-то религиозный обряд. Чьи-то мощи, кажется. Это – форма побега от того, что происходит вокруг сейчас.

В какой-то момент мы сошли с нормального пути, на который, казалось бы, стали, – и, в общем, так и не шагнули в 21 век. Я помню, как в 2000 году ездила в Европу, как нам там радовались, как говорили, что «наконец-то вы с нами». Мы должны понять, как снова стали людьми войны, как забыли то, о чем рассказывали нам отцы.

Н.А.: – *Мои родные и знакомые – фронтовики – не любили День Победы, и вообще не любили вспоминать о пережитом...*

С.А.: – Многие героини моей книги «У войны не женское лицо» говорили, что победа – это не то, о чем нужно говорить и вспоминать. Говорить и вспоминать нужно об опыте, как быть человеком, как не убивать. Одна женщина рассказывала: когда объявили о конце войны,

они с сослуживицами расстреляли весь боевой комплект боеприпасов — снаряды, патроны, все до одного. На следующий день в эту часть приехала комиссия, попыталась в чем-то кого-то обвинить, и все искренне недоумевали — а зачем все это теперь? Людям казалось, что после таких слез, после таких страданий война уже никогда не может случиться. Но сегодня Россия опять ведет две войны, и на русском телевидении снова звучат угрозы — кого-то там можем превратить в «радиоактивный пепел».

Н.А.: — *И в ответ — нарастающая изоляция России, новые санкции, — и в России новый виток воинственной риторики, которая уничтожает все лучше...*

С.А.: — Когда я сама оказалась на войне, то поняла, что человек, взявший в руки автомат, становится другим, не тем, кого мама водила в хореографическое училище. Как будто бы в него вселяется бес, вскормленный военной культурой, которая пронизывает наше общество и безоговорочно в нем властвует. Зло более натренировано, чем добро. У искусства, кстати, есть темная сторона, вдохновленная злом. На войне я увидела, как много там красоты, — что смерть и красота всегда рядом, как в ночном небе летят снаряды, как поют солдаты вечером, каждый на своем языке. Вблизи смерти люди открывают в себе то, что спрятано в них очень глубоко. В первые недели моего пребывания в Афганистане я попала на выставку современного оружия. Человек потратил много времени на то, чтобы сделать зло красивым.

Я недавно видела по телевидению, как духовой оркестр солдат отправляют в Донбасс, героический такой репортаж, но я думаю, что настоящий герой сегодня — это тот, кто не стреляет.

Как писал Достоевский в своих дневниках — «сколько человека в человеке»? Не так много людей об этом задумываются и несут личную ответственность за происходящее в мире. Даже сегодняшняя нарочитая религиозность не принесла этого, она сгруппировала людей как будто в некое народное тело, которое, известно, чувствует, но не думает.

Н.А.: — *В ваших книгах герои, чаще героини, женщины, «проговаривают» самое важное и страшное, то, о чем не пишут в победных сводках и обычных репортажах. Женщинам более свойственно ощущать трагедию?*

С.А.: — У женщин и детей есть какое-то особое знание о человеческом безумии, которое неизвестно каким образом укоренилось в нашей природе. В своих книгах я стараюсь показать голоса и версии людей, которые смотрят на события с разных сторон. Одну войну видела летчица, другую — артиллеристка, третью — женщина, которая была в рукопашной. Она сказала мне: «Я вам расскажу о такой войне,

от которой и генерала стошнит», — это один из лучших рассказов в моей книге. Рассказывает: когда начинается рукопашная и люди сходятся друг с другом вплотную, то человек пропадает, а вместо него остается некий биовид. Когда колют в глаза и в живот, когда не кричат, а мычат, когда работает только один инстинкт, — выясняется, что на самом деле мы припорошены культурой только слегка. И все мне говорили: главное — не встретиться глазами с тем, кого убиваешь, в кого стреляешь. Потому что война требует бездумья, только так можно убивать. Стрелков говорил, что в Донбассе на протяжении первой недели сложнее всего было заставить людей стрелять друг в друга. Потому что для этого нужно из мирного времени шагнуть куда-то туда, где дают медали за то, за что обычно сажают в тюрьму. И сначала люди делали это нехотя, по принуждению.

Я — абсолютный пацифист. Никто не убедит меня в том, что человеческая жизнь чему-нибудь равна, — это божественный дар, и он дан не для того, чтобы умереть где-нибудь в Донбассе или в Сирии. Вопрос неприятия войны каждый человек должен решить для себя, выйти из той системы, не участвовать в ней. Думаю, в глазах потомков мы будем выглядеть, как варвары, — потому что мы так обходимся с человеческой жизнью.

Н.А.: — *Сегодня многие в России разочарованы происходящим на Западе, агрессией по отношению не только к российской политике, но и к русским вообще, активным созданием нового «образа врага». Для российских либералов — это самое горькое разочарование, настоящая травма.*

С.А.: — На Западе традиция демократии все же имеет давнюю историю, люди сами участвуют в демократии. Я верю, что и Европа, и Америка сохранят свои принципы. Я недавно была в Польше и видела, что там происходит. Даже эта страна не устояла; эти темные идеи, поиск врагов — и там. В основе всего этого, мне кажется, — страх перед будущим. Оно настолько новое, пугающее, непривычное, его никто не может прогнозировать. И все же очень важно говорить. Разговаривать с людьми повсюду, попытаться их понять.

Н.А.: — *Вы много лет исследуете «красного человека» — человека советской эпохи. Этот тип уходит уже, кто приходит на смену? На встрече в Гоголь-центре в Москве, в Эрмитаже в Питере в аудитории были совсем молодые люди, которым важны ваши книги и мнение. Они спрашивали вас обо всем, им нужно было на что-то серьезное, чего они еще не понимают, опереться... Что вы думаете о них?*

С.А.: — Надеюсь, они смогут сказать свое слово. «Красный человек» не сумел. Почти за сто лет своего существования в истории.

«Красный человек» — несвободный человек, он не привык к сво-

боде, к самостоятельному выбору. Главные его чувства – обида и ненависть. Как только возникает спор – он готов стрелять в оппонента. Даже образованные вполне люди готовы стрелять. Стрелять, сажать, ждать, что придет кто-то, кто все решит. Во «Времени секунд хэнд» я писала о том, как люди в последние годы вдруг вернулись в привычное состояние: они знают, как надо.

В России был очень краткий период демократии, в Белоруссии – еще короче. Потом пришел Лукашенко, и у нас остался социализм. До недавнего времени у Лукашенко был контракт с населением, он выполнял какие-то обязательства. Такой императорский социализм. Лукашенко сам недавно сказал: «Какая правозащитная деятельность? – все решает один человек». И люди не возражают. Один таксист недавно мне говорит: «Главное, это семья, – заработать денег, новую шубу жене купить, домик в деревне достроить». Это все желания...

Н.А.: – *На встречах в России, и еще раньше в Европе, и в Нобелевской лекции вы говорили о том, что нас ждут еще более страшные войны, чем все предшествующие, – не человека с человеком, но людей с природой.*

С.А.: – Природа будет проверять нас, как Чернобыль, как Фукусима. Сильный тайфун способен превратить цивилизацию в груды мусора. Я была в Чернобыле, когда оттуда вывозили людей. Солдат сказал, что одну женщину не могут силой вытащить из дома. Когда я подошла, она увидела меня одну среди мужчин и сказала: «Деточка, ну разве это война? Посмотри, птицы летают, я даже мышку утром видела». Эта новая опасность не бросает бомбы, не имеет запаха, цвета, она невидимая. Я была после катастрофы на Фукусиме, там было точно то же самое: тысячи людей, согнанные со своей земли, прекрасные дома, прекрасная земля – это оставлено, это один к одному, что я видела в Чернобыле. Такие же лица людей. Правда, люди воспитаны в другой философии, нет такого культа страдания. Они стараются прожить свою жизнь сейчас. У наших людей постарше жизнь была просто перечеркнута после Чернобыля. А в Японии люди пытаются все равно жить. Там тоже жестко государство контролирует, ничего не говорит. Если в Чернобыль можно было приехать журналистам, то к Фукусиме нас только за 10 километров пустили, дальше – военная зона, нельзя.

Н.А.: – *Что сегодня говорят о Чернобыле в Беларуси?*

С.А.: – Ничего не говорят. Это не принято. Ученые старались и стараются как-то помочь; с самого начала собирали деньги, старались сделать что-то для людей, объяснить, как себя вести, что можно, что нельзя. К ним не слишком прислушивались. Очень многие люди умерли. Наши проблемы упираются в проблемы культуры. На

Фукусиме, в общем-то, следят, чтобы меры предосторожности выполнялись, службы работают. И люди делали то, что нужно. А у нас – нет. Даже когда следили, требовали уничтожать продукты зараженные, – люди их не уничтожали. Как крестьянину выбросить продукты? А это смерть, растянутая во времени, это другая смерть, другая реальность. Говорят крестьянину, что перед ним зараженная вода, – он смотрит: вода как вода. Помню, идет бабка, несет молоко, солдат за ней идет, следит, чтобы она вылила его. Но она все равно не выльет, это просто невозможно. И к каждой бабке солдата не приставишь. Это культура. Поэтому так много больных детей. Потому так многие умерли. Я приехала из Европы – очень многие знакомые умерли. Рак. Писатели-фантасты говорили о горизонтах освоения новых энергий и освоении вселенной, а тут мирный атом оказался не наш совершенно, оказался смертельно опасным... Это очень трудно понять и принять. Мы вообще очень хрупки, мы совершенно не готовы к будущему, к новым вызовам.

Н.А.: – *Как быть? Где найти точку опоры?*

С.А.: – Мне кажется, нам надо осмыслить происходящее. Социальное. И более широкое, всеобщее. И разговаривать. Долгое время казалось, что перестройка, все эти процессы – необратимы. Мы были очень наивными, нам казалось: придет демократия, и все решится само собой. Когда я несколько лет назад ездила по России, часто слышала: Светлана, это у вас, в Белоруссии, у нас все это уже позади, возврата к прошлому нет, это невозможно. И вдруг раз – и все возможно. А самое главное – с нами со всеми все возможно сделать. И сопротивления нет. Кто-то уезжает, кто-то уходит во «внутреннюю эмиграцию», кто-то старается как-то мимикрировать и затихнуть.

Я думаю, что это уже становится опасным, если мы будем дальше так же молчать. Придут силы, еще сильнее сегодняшних. Беда, что мы не договорили очень многое в 1990-х. Мы не успели проговорить наше прошлое, отпустить. Осудить сталинизм. Все развивалось слишком быстро, все пошло в материальную сторону. Самое удивительное во всем этом – насколько все вдруг «попались» на материальное. Мне кажется, испытание лагерем люди выдержали лучше, чем испытание долларом. Я долго жила в Европе, помню, что, когда уезжала, в Белоруссии было много людей демократически настроенных, готовых обсуждать, что-то делать. Приехала через десять лет – и не вижу почти никого. Куда они все делись? Не могли же они все умереть и уехать? Может быть, это разочарование... Может быть – что-то поколенческое...

Н.А.: – *Благодаря вам мир узнал о Белоруссии. Вы вернулись в Минск. Вас ценят на родине? Что удастся сделать в Минске первому в истории страны Нобелевскому лауреату?*

С.А.: – До премии иногда некоторые люди говорили: почему я пишу на русском? Но идея говорила на русском. Сейчас я встречаю людей на улице, которые мне рады. Кто-то в кафе торт сделал для меня. Кто-то благодарит. Кто-то просит помочь. Люди сами тоже предлагают помочь. Очень много времени забирают встречи. Подготовка к событиям Клуба.

Н.А.: – *Клуб Светланы Алексиевич вот уже больше года приглашает в Минск выдающихся деятелей культуры Европы и России, собирает полные залы; приезжают те, кого в Белоруссии давно не видели. Вы верите, что эти встречи помогут воспитать новое поколение? Пробудить?*

С.А.: – Когда уезжала, мне казалось, что скоро всё в Белоруссии изменится. Но оказалось, всё надолго. Я живу в Минске, хотя много езжу, выступаю. Решила сократить поездки, надо сохранить время и силы для работы. Почему Клуб? Хотела привезти в Минск людей, которые умеют мыслить самостоятельно. Александр Сокуров, Владимир Сорокин, Ольга Седакова, Александр Морозов, Рута Ванагайте... Это люди, неудобные для многих и у себя дома. Руту Ванагайте просто преследовали после ее книги об участии литовцев в уничтожении евреев. Кстати, и мою статью об этом лучшая независимая польская газета не напечатала. Но именно такие независимые люди, гуманитарии, несут свет.

Новая реальность предлагает и даже навязывает нам технократическую культуру. С одной стороны – люди стали жить больше. Действительно, на 30-40 лет отодвинулась реальная старость, но к этому, кстати, многие люди тоже не готовы. Об этом мало говорят. На Западе – иное, там мои знакомые и в 90 лет активно интересуются окружающим, участвуют в жизни других, молодых. С другой стороны, я заметила: когда людей сажают в тюрьму, а в Белоруссии часто сажают, и в России тоже, – они очень быстро «сдают». Тот же Никита Белых – был цветущий мужчина, а после нескольких месяцев заключения стал просто развалиной. Это напомнило мне фотографии белорусских заключенных. Значит, мы все очень зависим от медицинских технологий. Когда мы оказываемся вне их влияния, в обычной среде, – мы не выживаем.

Н.А.: – *Но технологии реально продлевают жизнь, улучшают ее качество, расширяют возможности человека. Делают возможным то, о чем и не мечтали несколько лет назад, – вспомните недавно ушедшего Стивена Хокинга. Это просто фантастика!*

С.А.: – Сегодня новое популярное веяние – абсолютная вера в технологии. Когда-то так верили в химию. Потом – в физику, это увлечение было до самого Чернобыля. Сегодня многие считают, что именно

технологии, роботы помогут решить все проблемы. Но я верю: мир спасет гуманитарный человек. Лично я удивляюсь и не могу понять, почему русская элита – ведь не все же там путинцы и ура-патриоты, – не говорит о самых важных вопросах: о природе, которая восстала против нас, о гуманитарных знаниях, которые изгоняются из школы. Надо защищать не только отдельного человека, но очень важно защищать гуманитарное знание, гуманитарного человека как вид. Что первое сделал Трамп, когда пришел в Белый дом? Выбросил все, что имело отношение к окружающей среде, к проблемам потепления. Сегодня вообще нет стратегического взгляда в будущее.

В наше время совпали две катастрофы: политическая катастрофа, «холодная война», – и космическая катастрофа. Чернобыль, Фукусима – человек к этому не готов. Политика – это более знакомо; белые, красные – это проще. А Чернобыль показал наше незнание, наши пределы. И я удивляюсь, почему об этом философы не говорят, даже наши белорусские. Сегодня не обязательно воевать, не обязательно Путин или Трамп захотят войну; просто что-то, кто-то может сорваться – и все исчезнет. Технический прогресс – это разновидность войны сегодня. Но мир спасет не технология, а культура.

Н.А.: – *Что могут сделать писатели, гуманитарии в сегодняшнем агрессивном и разорванном мире?*

С.А.: – Вырабатывать культуру сопротивления распаду и агрессии.

Я не знаю, почему либералы стали так рано сдаваться. Потребительство оказалось очень пронырливо. В советское время, в нашем аскетизме, мы не знали, что это такое. И многие боятся... Мы знаем друг о друге на уровне коллективной мифологии и «холодной войны», мы недостаточно любопытны. Все демонизируют Путина, а дело не в конкретном человеке, но в коллективном Путине...

Н.А.: – *Вы были членом российского ПЕНа до его трансформации в прогосударственную структуру, теперь – член инициативной группы Ассоциации «Свободное слово», новой организации, которая защищает права художника и журналиста, право на выражение независимого мнения. Почему это важно для вас? Что могут сделать творческие организации?*

С.А.: – Мы должны не отступать. Беда, что многие такие организации разлагаются изнутри. Как тот же российский ПЕН. Их покупают. Надо искать новые формы сопротивления. Сейчас писатель не соберет стадион, но 700-800 человек точно придут. Надо найти слова, которые помогли бы людям. Мне понравилась одна женщина, она ко мне подошла после выступления и сказала: «Я не сильный человек, но я знаю, что я всегда буду на стороне добра». Надо об этом больше говорить. Политолог Александр Морозов у нас на заседании Клуба об этом очень

точно сказал. Все зависит от личного мужества каждого из нас. Или его отсутствия. Ведь кто-то предал Серебренникова. А Малобродский не предал. И многие именно тогда поняли – это касается всех. И стали солидаризироваться. В следующий раз придут за тобой. Такая проба. Тест. Все стали опасаться и думать, как быть, это уже новый момент.

Н.А.: – Судьба Нобелевских лауреатов в России – быть поруганными соотечественниками. Бунин, Пастернак, Бродский, даже правоверный вполне Шолохов. И вас обвинили в русофобии практически сразу после премии и Нобелевской лекции. Нашлись коллеги-писатели и журналисты, которые не постеснялись просто лгать. Российская Общественная коллегия по жалобам на прессу по обращению Ассоциации «Свободное слово» осудила агентство «Регнум», разместившее сфальсифицированное интервью; к сожалению, об этом решении знают немногие. А о том, что Алексиевич – русофобка, – многие. Вас это тревожит?

С.А.: – Я дала журналисту шанс, хотя понимала, что у него есть своя задача. Я думаю, читатели все увидят сами. Мне лично очень помогают живые лица, голоса тех людей, с которыми я встречалась в Москве, в Петербурге.

Н.А.: – Что бы вы пожелали российско-западному культурному взаимодействию, которое почти заморожено?

С.А.: – Важно дать слово людям культуры, иной диалог сегодня проблематичен. Должны быть личности, готовые включиться в этот диалог. Тот же Международный ПЕН. Не нужно делать массовок, Интернет и новые технологии помогут. Руту Ванагайте, ее выступление у нас в Клубе, посмотрело более миллиона человек. Потом ее перевели на русский. Мне кажется, важно говорить об актуальных темах, которые волнуют людей, определяют наше время. Тема палача и жертвы сегодня оказалась очень актуальна. Я думаю, точно так же надо больше привозить людей в Россию. Надо противостоять ненависти.

Пришло время сопротивляться. В тоталитарном обществе может произойти всё что угодно. Вот российский ПЕН издает воинственные сборники. Представить, что писатель может быть на стороне войны, – это было невозможно еще совсем недавно.

Я вернулась, потому что считаю: писатель должен жить дома. Мы воспитаны в культуре борьбы, но удивительно, как мы потеряли эту культуру. Один писатель мне сказал: «Нам всем есть что терять, Как можно не быть доверенным лицом Путина, если у сына ресторанчик?» Надо сопротивляться!

*Интервью – Надежда Ажгихина,
член инициативной группы ассоциации «Свободное слово»
Минск – Москва*

Антология «70»

К 70-летию государства Израиль

14 мая 1948 года, ровно 70 лет назад, было образовано Государство Израиль. В 2018 году в Нью-Йорке вышла в свет международная поэтическая антология под названием «70», посвященная этому юбилею. Новый концептуальный литературный проект русско-американского издательства KRiK Publishing House собрал под одной обложкой стихотворения семидесяти современных русскоязычных поэтов из четырнадцати стран мира – из Израиля, Австралии, Беларуси, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Латвии, России, США, Украины, Франции, Швеции и Эстонии. Инициаторы проекта и составители антологии – Геннадий и Рика Кацовы. «Новый Журнал» выступил медиа-партнером проекта. Предлагаем несколько стихотворений из Антологии.

Александр Бараш

ПЕРЕЛЕТ

Еще 50 лет назад это были корабли,
как на рубеже новой эры. Последние несколько
десятилетий – самолеты. Но они приближаются
к берегам Святой Земли тоже со стороны моря.
И есть ощущение перехода:
от одной стихии к другой.

Самолет из Рима, на котором я прилетел в Израиль,
приземлился ночью. Духота и влажность,
семейственность и простота нравов. У таксиста,
везущего в гостиницу, вместо салфеток – рулон
туалетной бумаги. Ночной портье, похожий
на сапожника-ассирийца в московской подворотне,
угостил крепким кофе.

Вошел в номер, принял душ, но всё равно словно блин в масле.
За окном – море, чернота и прозрачность, глубокие как обморок.
Это мой новый дом, на песке, в буквальном смысле.
Жесткий, будто волна, если к ней не повернуться боком.
Что это уходит из-под ног? А, это прошлое. Золотое детство

в шапке-ушанке под латунным небом. О'к, всему свое время.
Для того, чтобы выжить, — сто́ит умереть и потом воскреснуть,
если это, конечно, получится. Хочется верить.

Как потом выяснилось, в этот день
на шоссе под Иерусалимом террорист повернул
руль пассажирского автобуса в пропасть. Но я
узнал об этом только через несколько месяцев,
когда начал читать газеты и слушать новости...
Какая связь между приземлением самолета
с сотней репатриантов, мной в том числе, —
и терактом? Похоже, закон сохранения энергии,
в данный момент, в данном месте. Смерти нет,
а «просто» переселение душ. Если
ведешь себя хорошо, окажется,
что это — репатриация.

* * *

Голова в полосе отлива. Воздух сед
и скрипит, как кровать.
Расскажи мне, Иосиф Флавий,
об умении выживать.

Слева пальма, а справа ибискус.
Небосвод — сухой водосток.
Это выход — по кругу и наискось,
переход из стекла в песок.

Я свидетель, почти бесплатно,
но никак не пойму, в чем здесь суть.
Объясни мне, Иосиф Флавий,
как слепить прозрачный сосуд.

Золотому уменью всё бросить
и в другом измерении собрать,

научи, хитроумный Иосиф —
фарисейству не умирать.

Новый день — как пакет для мусора,
Чист, бесцветен и пуст пока.
Слева пальма, а справа ибискус.
Голова затекла, как рука.

Марина Меламед

На восток уходит ветер за пустыней Иудейской,
На холмы и на дорогу скоро выпадет роса.
Кто на ослике гуляет старою тропой индейской,
Кто летает по пустыне, раздувая паруса...
Никогда того не зная, ты включи хотя бы чайник,
Ты свисти хотя бы молча и смотри свое кино.
А пока автобус едет, всех автобусов начальник,
Тут ишак молчит и смотрит на тебя через окно.

Это, что ли, за окошком прямо тут дорога к Храму,
Это, стало быть, за дверью намечается пейзаж,
Там у пальмы на стоянке чья-то мама мыла раму,
А пацан на самокате рисовал крутой вираж.
Ну, а вечером стоянка молча ждет луну и полночь,
Не зовет к себе на помощь ни звезду, ни вертолет.
И идет по ней собака, ты ее, наверно, помнишь –
Даже, если дождь и ветер или ненадежный лед.

Просто улица и полдень, просто день сегодня полный,
Или день как будто круглый, или полная луна,
Но всё реже и всё тише перекачивают волны,
И уже почти не больно, и звезда уже видна.

Елена Аксельрод

Возил по местечку тележку с пивом
Дедушка мой, торгуя вразлив.
Глядел на мальцов своих глазом тоскливым –
Бумагу марают, свечу запалив.
Горькое пиво – пенная грива –
В кусты откатились пробитые бочки.
Громили, куражились – это не диво,
А диво, что сын свои складные строчки
Читал нараспев – и за это в погром
Попал самый черный, – и жизнь кверху дном.

Мой беженец-дед в путь отправился дальний,
Дремал под картузом на лавке вокзальной,

О сыне не знал, лишь в бреду его звал,
Когда прикатил на последний вокзал.
Горькое пиво – белая грива –
Остался он в строчке несуетливой,
Да на портрете у сына другого.
Переселился в рисунки и слово.
С лавки вокзальной – на полку музея, –
Деду не снилась такая затея,
Деду не снился такой оборот:
Мазила – один, а другой – рифмоплет.

Израиль

Владимир Гандельсман

ИЗ ПСАЛМОВ ДАВИДА

* * *

Ни шалых стад,
точащих смрад, –
 блажён, блажён! –
ни жирных шей
властемужей, –
 блажён, блажён!
Волей Его приневолен,
солью Его просолен. –
 Так влагой недр
 вспоенный кедр
остро продóлен
и совершен!
 Нечисти чавк
 в чахлах ночах
сгинет в безвестье.
Вечны созвездья
только у праведника в очах.

* * *

Спаси, Господь! В чести соблазны
лукавых: «Кто нам господин,
когда державным словом властны?»
Кадильщики все как один.

Лишь нищему Ты явлен в Силе
и лишь творящему добро
Твои слова – семь раз в горниле
очищенное серебро.

Повергни криводушных в известь
горящую, чтоб извести
их племя, – здесь, где только низость
и велеречие в чести.

Геннадий Кацов

ИСХОД

Они всё шли и шли, и из-под ила
Тысячелетий липкий хлам вставал,
И вертикально неземная сила
Держала с двух сторон кипящий вал.

Еще рабы под властью фараона,
Еще, по сути, разношерстный сброд,
Не знавшие свободы и закона
И сам в себя не верящий народ,

Они всё шли вперед, для прочих наций
Став навсегда живым примером в том,
Что если уж из рабства выбираться,
То безоглядно и с большим трудом.

ДЕНЬ ОТЦА: ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Послесловие – Слово-итог, как огромный глоток тишины,
Непременно наступит, и тени платоновской мрачной пещеры,
Обернувшись в объем и в прозрачную плоть, отойдут от стены
И вернутся в День Первый, где слово пропахло страданьем и серой.
Там наличие медленных пауз, их гладкий бескрайний поток
Из тягучих молчаний и пены – одно первородное пиво,
Что ничем не заполнено, только течение, а главное – срок
Окончания всех испытаний не знает, как праведный Иов.
Бесконечная масса тоски в виде круговращения мглы

Без объекта любви, ибо случая нет, ибо нету печали –
Полнота невозвратности явится (кольца, прямые, углы)
После Первого Слова, а значит, мы снова в местах изначальных.

ГОД 5776-Й

Память сладкого теста в сплетениях халы,
Наполнявшего прежде вершины холмов,
Чьи скупые ландшафты по вышним лекалам
Человек ни представить, ни помнить не мог.

Чешуя небосвода, плывущего к югу
В рыбьем жире рассветном, сквозь толщу веков,
Где упавшие звезды, прощаясь друг с другом,
Орошают пустыни из черных песков.

Кровяные тельцы в восходящем тумане
Путь меняют на белый, и путник в ответ,
Поминая с тревогой языческий танец,
Расправляет ладонями Ветхий Завет.

Пряный запах над книжной страницей ванили,
Шестикрылого солнца парящий полет,
Желтой ниткой пришитый к пространству – и/или
По деревьям сентябрьским стекающий мёд.

Нина Косман

Как ягнят, их вели на жертву,
но не говорили какую,
а Бог глядел из канавы,
в которой валялись трупы,
а еще Он глядел из щелей
бараков и крематориев,
которые построили люди
по приказу других людей;
бедный Бог, Тебя не спросили,
можно ли умерщвлять миллионы,
а теперь говорят: нет Бога,
раз позволил им так умереть.

А что Бог был одним из ягнят,
которых вели на жертву,
черноглазым мальчишкой был,
мамой с грудным ребенком,
старухой, доковылявшей до рва,
никто об этом не знал,
ни те, кто отдавал приказ –
мол, в мать и ребенка – разом,
чтоб сэкономить пули,
ни те, кто глядел и забыл,
чтоб ничто не мешало спать.
А после земля дышала,
будто двигались трупы,
и встал один, не совсем убитый,
и пошел по лесной тропинке,
по которой никто не ходил,
спал в кустах (мох, как постель, был мягкий),
ягоды ел на обед,
глазами, большими от голода,
смотрел на зайцев и белок,
а волки и прочие хищники
его не трогали, ведь Бога они не едят;
и так он прожил два года,
а как только вышел из леса,
окружили его селяне, и – пальцем на него, пальцем,
вот же, ходячий труп
(заросший был Бог, как Маугли), –
и давай, говорят, отсюда,
не осталось тут для тебя ничего.
Так Он уехал и дожил до старости
в квартире у самого моря,
в городе таком, Бат Яме,
(лучше, чем в Яме, пошучивал Бог),
и когда Он умер,
не осталось от него ничего,
кроме старой тетради,
и в ней два слова:
«Я выжил».

Вырвали из нее лист,
положили в музей.
Вот и всё, что я знаю о Боге.

ССА

Евгений Бунимович

пространство элементарных событий
система простых аксиом
равенство градусных мер воздуха и стакана
что там за фудзияма на горизонте
никак сион

да и не все ли едино
ежели нет стоп-крана

заволокло загустело
хоть пей
хоть ешь
хоть ножом его режь
хоть на хлеб намазывай
дым отечества
метасимвол
обратный слеш
и никак иначе
в такой евразии

жить надо долго и счастливо
счастливо это как
ну тогда долго
ввиду исчерпанности всех остальных вариантов
чего не скажешь про этот
пусть это не довод
не выход
не повод
не диалектический метод

жить надо долго
искусство короче
молодцу плыть недалеко
если корячится
если корячит
если не может быть речи

Россия

Керен Климовски

Я ненадолго, но я здесь жила когда-то:
собирала мяту для чая, срывала гранаты
прямо с дерева, яблоко в мёд макала,
пряталась в тень от солнечного оскала,
и про июльских медуз опять забывая,
входила с размаху в аморфную, липкую стаю.
Здесь всё так же: те же запахи, те же взгляды,
то же русское имя у тяжелых соседских снарядов,
В новостях говорят о войне, как о футболе,
о футболе, как о войне, – не волнуйтесь: в школе
и армии вас научат словам подходящим,
например: он не умер, он просто кажется спящим.
Только рыбы, кусая за пятки, вам правду скажут:
«Не пускайте солнце к воде!» Но на хайфском пляже
слишком долго длится закат, и становится ясно:
эта пауза бесполезна, хоть и прекрасна.

Мне уже не стряхнуть песок, не вернуться домой –
я покрылась соленой памятью, как чешуей.

Швеция

Юрий Михайлик

В Гамале все погибли, кроме двух сестер Филиппа, –
Во время тройной зачистки их не смогли найти.
Гамала относилась к городам крепостного типа –
Осаждающим трудно ворваться, осажденным нельзя уйти.
С трех сторон – высокие стены, а с четвертой – гребень обрыва,
Нависший над черной прорвой, куда страшно даже смотреть.
Около пяти тысяч жителей (пока еще были живы)
Бросились в эту пропасть, предпочитая легкую смерть.
С ними были деньги и вещи (довольно странный обычай), –
Спускаться туда трудно, выбирать еще сложнее.
Но кое-кто из солдатиков всё же вернулся с добычей,
И некоторые предметы сохранились до наших дней.
Хронист, описавший всё это, был горек, сух и спокоен,

Он пришел туда с победителями, в одних цепях, налегке.
До того, как попасть в плен, он был стойкий и храбрый воин
И командовал гарнизоном в небольшом городке.
Потом их загнали в пещеры и обложили туго,
И когда между смертью и рабством им пришлось выбирать,
Они – после долгих споров – поклялись, что убьют друг друга.
Он остался последним. И он не стал умирать.
Он писал превосходные книги. Он улыбался славе.
Его любили красавицы. У него удалась судьба.
В наши дни он известен нам как Иосиф Флавий.
Флавий – это имя хозяина. А Иосиф – имя раба.

Мы обязаны памятью предателям и мародерам.
Мы обязаны сладостью горьким всходам земли.
Мы обязаны жизнью двум девочкам – тем, которым
Удалось спрятаться, так что их не нашли.

Австралия

© KRiK Publishing House

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Ирэн Немировски

Ида

О НОВЕЛЛЕ ИРЭН НЕМИРОВСКИ «ИДА»

К моменту появления новеллы «Ида» Ирэн Немировски была уже известной писательницей. Оказавшись в своем любимом Париже вскоре после революции, она быстро адаптировалась к новой жизни, чему в немалой степени способствовало благосостояние ее семьи, прекрасный французский и с детства привитая любовь к французской культуре. Ирэн поступила на филологический факультет Сорбонны, вращалась в кругах артистической и золотой молодежи, мечтала о карьере французской писательницы. Успех пришел к ней практически с первой крупной публикацией – роман «Давид Гольдер» (1929) был сразу замечен благосклонной критикой. Последующие полтора десятилетия, до депортации и трагической гибели Ирэн в Освенциме в 1942 г., были полны бурной творческой деятельности. Она работала в жанре романа, рассказа, новеллы, биографии.

«Ида» была опубликована в цикле, состоящем из четырех новелл, – «Звуковые фильмы» (1935), который отражает интерес писательницы к модному и бурно развивающемуся искусству кино. В межвоенные десятилетия многим казалось, что кино («седьмой» вид искусства, как его тогда называли) скоро затмит все традиционное творчество, и писатели не скрывали своих страхов перед непосильной конкуренцией. Немировски не только не разделяла этих опасений, но и неоднократно с энтузиазмом говорила о том, что кинематографические приемы могут сыграть благотворную роль в деле обновления литературы. Хотя в данной новелле она тематизирует другой популярный жанр той эпохи – так называемое музыкальное «ревью», или представление мюзик-холла, – ее приемы и поэтика четко маркируют текст как ориентированный на кинематограф, что в целом было характерно для французской прозы ар-деко*. Новелла отличается повышенной визуальностью, частой сменой ракурсов, чередованием крупных и панорамных планов. Искусный монтаж ярких, практически статичных сцен, позволяет представить себе экранизацию данного произведения. Текст написан в сжатой, энергичной манере, быстром темпе, как будто в технике киносценария. Обращает на себя внимание обилие коротких фраз с предельно упрощенным

*Подробнее о стилистике и поэтике ар-деко см. *Мария Рубинс*. Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 328 с.: ил.

синтаксисом и фрагментация нарратива на мелкие эпизоды. Минимализм, использование такого риторического приема, как эллипсис, позволяли читателю додумать детали, заполнить семантические пробелы и тем самым принять более активное участие в сотворчестве. Доминируют глаголы в настоящем времени, что создает эффект сиюминутности происходящего, даже когда речь идет о сценах из далекого прошлого героини. Наконец, непременной чертой фильмов, отмеченных наследием лишь недавно ушедшего в прошлое немого кино, была повышенная экспрессивность за счет акцентировки жестов и гротескного сталкивания разнородных элементов (так, в новелле неоднократно обыгрывается контраст между мертвенностью лица Иды, застывшего в нарочитой гримасе под толстым слоем белил, и раскрепощенными естественными движениями молодого ловкого тела ее соперницы Синтии).

Немногочисленными, но меткими штрихами Немировски воссоздает и более широкий контекст. Пульсация эпохи джаза ощущается в гигантских неоновых панно, преобразующих городской ландшафт, и в «диких» музыкальных ритмах, под которые Ида исполняет свой неизменно популярный номер. Дух времени проявляется в коммерциализации искусства, в культе вечной молодости, которому Ида Сконин приносит в жертву всю свою жизнь, в технологиях создания звезд шоу-бизнеса (в ход идет все – от рекламы и наемных «хлопальщиков» до последних достижений пластической хирургии) и в механических метафорах для атлетического тела (Ида «выдрессировала свое тело, как механизм», Синтия вызывает у восторженных зрителей ассоциации с «прекрасной стальной машиной» – в этих отсылках находят отражение и новые представления о женской сексуальности). В более глубоком подтексте мы находим намеки на настроения французского общества, которые не могли не затрагивать личные струны в душе писательницы, например, растущую ксенофобию французов (Иде поклоняются, но ее не любят, ведь она «иностранка»).

Немировски остается верной главной теме своего творчества – исследованию комплексов и импульсов, характерных, по ее искреннему убеждению, для «еврейской расы». Слово «раса», которое еще не приобрело отчетливо негативных коннотаций, было в ходу во французской культуре того времени. Как и многие ее современники, Немировски активно пользовалась в своей прозе расхожим набором этнических и расовых стереотипов. Большинство ее героев оказываются «безродными космополитами», евреями-эмигрантами из Восточной Европы, пытающимися добиться успеха любой ценой в центре «мировой цивилизации». На неоднократные обвинения в антисемитизме Ирэн Немировски неизменно отвечала, что всего лишь наблюдает за нравами и поведением людей в той среде, которая ей ближе всего по опыту и происхождению.

Ида Сконин, как и многие персонажи романов Немировски, обладает неутолимой жадой деятельности, самореализации, славы, богатства. Эта

кажда позволяет женщине из богом забытого местечка российской империи добиться титула «королевы» парижских мюзик-холлов. Но та же неукротимая амбиция, благодаря которой она восходит на музыкальный Олимп, оказывается и фатальным пороком, приводящим Иду к окончательному падению. Эта двойственность героини накладывает отпечаток на читательское восприятие ее характера. Хотя цикл киноновелл «Звуковые фильмы» подвергся критике за ослабление психологизма, в «Иде» Немировски находит способ раскрыть перед читателем внутреннюю драму своей героини. Текст строится на параллельном монтаже сцен из внешней жизни Иды (репетиции, спектакли, успех) и ее внутренних монологов, воспоминаний, сомнений. За счет этого персонаж, несмотря на все недостатки, становится все более неоднозначным, а в конце начинает вызывать сочувствие. Драма стареющей и заходящей «звезды» оборачивается вполне универсальным страхом старения, увядания, неустраиваемости.

Мюзик-холл фигурирует у Немировски как метафора современной массовой культуры. При этом писательница сознательно использует язык французских авторов, обращавшихся к этой тематике. Например, Пьер Дрие ла Рошель в «Молодом европейце» (1927) предпринимает анализ мюзик-холла как транслокального пространства, лишенного признаков национальной самобытности и оригинальности. По отношению к танцовщицам он использует слово *girls*, и Немировски также предпочитает оставить это английское слово без перевода. Слово это подчеркивает безликость и вырождение современной «общепланетной цивилизации». По словам Дрие ла Рошеля, мюзик-холлы заменили современному человеку храмы. Если в средние века путешественник искал знакомую обстановку в соборах, то сегодня «экуменическое наслаждение» дарует любой мюзик-холл мира – лишенное национальной специфики представление, построенное по одной и той же схеме, с использованием безликих танцовщиц из разных стран и одинаковых спецэффектов, точно соответствует ожиданиям зрителя. Новые каноны массовых развлечений создаются за океаном, а затем распространяются по всему миру, уничтожая местные традиции. Не случайно в новелле Немировски Иду побеждает в конце американка Синтия, прибывшая из Чикаго. Продюсер Симон, много лет сотрудничавший с Идой, начинает перенимать американский способ ведения бизнеса. В этом новом мире царит закон конкуренции, в нем нет места снисхождению, верности, эмоциям: «Мы слишком долго держим наших старых звезд. Американцы правы: триумф, прибыль, затем нокаут – и к новому герою!.. А мы слишком добры...»

Таким образом, эта краткая новелла, созданная Ирэн Немировски как авангардный эксперимент в области кинематографической поэтики, оказывается отнюдь не безделкой, а емким текстом, содержащим скрытый комментарий к целому ряду эстетических и социально-культурных явлений 1920–1930-х гг.

Мария Рубинс

* * *

Каждый вечер она появляется на вершине золотой лестницы из тридцати ступеней в одном из парижских мюзик-холлов. Ее окружает пять-шесть танцовщиц. Она спускается между обнаженными girls, чьи головки украшены шапочками из роз. В руках у каждой – золотой зонтик. Ее лицо обрамляют стеклянные подвески, ограненные камни, зеркальные вкрапления; она облечена в длинный вышитый золотой ниткой плащ, ее украшают жемчуга и перья. Эта женщина уже давно простилась с молодостью, и хотя ее ноги все еще стройны, грудь ее поддерживает корсаж из драгоценных камней, ведь все в конце концов изнашивается...

– Почему, – судачат женщины, – ну почему Ида Сконин, а не кто-то другой?.. Откуда такая известность, такая слава? Она старуха. У нее нет голоса. Она иностранка.

– Почему, – думают они, – эти жемчуга, эти драгоценные камни, эти шикарные меха? Почему у нее, а не у двадцатилетней девушки?.. Почему не у меня?

Подавшись вперед, они не спускают глаз с ее длинных ног, с ее ступни, едва касающейся ступенек, с ее накрашенных ногтей. У нее плоский, девичий живот. Тридцатилетняя дама, сидящая в ложе, пожирает его глазами и думает о своем теле, о своей талии, которая со времени последних родов так и не обрела былого изящного силуэта. Она тихо шипит сквозь зубы:

– Эта женщина... Что, разве не найти двадцатилетнюю красавицу, которая умеет спускаться по лестнице?

Париж взирает на нее с затаенной враждебностью – восхищаясь ею, но так никогда и не приняв ее всей душой, как иных. Ее не любят. Она чужестранка. Иностранцы прославились после войны, в тучные годы, в пору изобилия, когда земля была полна хлебами, работой и золотом, когда во всех странах можно было легко разбогатеть (стоило только приобрести акции на бирже – и они поднимались, как тесто на дрожжах). Она дарила радость и наслаждение американцам, разбогатевшим мясникам и шахтерам, а также красавцам сутенерам, широкобедрым и узкоплечим, с лицами сигарного, хлебного или табачного оттенка, которых так легко было осчастливить. Они предпочитали ее французским актрисам, слишком изнеженным и худым, которые терпели их общество с отсутствующей, любезной, вымученной улыбкой, подобающей, скорее, усталой хозяйке.

Ида Сконин... Никто, подобно ей, не умеет носить головной убор из перьев, золото и жемчуга. Иностранцы давно уехали, но Ида Сконин продолжает царить.

Ею восхищаются, ею бредят Париж и провинции. Перед зданием

мэрии в захолустных городках из граммофона несется ее голос, исполняющий песню «Мой любимый». На парижских стенах ее изображение возникает на каждом углу: она стоит, полуодетая, на золотой лестнице, со страусовым плюмажем на голове; ее имя поминутно гаснет и вновь вспыхивает в мягкой светящейся дымке парижских вечеров.

– Всегда одно и то же, – говорят женщины, – она вообще ничего не меняет...

Да и к чему?... Петь «Мой любимый», носить на голове розовый хохолок, улыбаться, медленно поворачивать голову, демонстрировать свои ноги и живот, выслушивать, не моргнув глазом, как в первых рядах две тугие на ухо старые американки, покрытые слоем румян и белил, говорят друг другу:

– My dear!... She is too wonderful! She does not look a day older than fifty!..

Каждый вечер повторять одно и то же приветствие, одну и ту же песню, сопровождать свой смех одним и тем же движением, сладострастно изгибая шею, все еще прекрасную и без признаков морщин. Она знает секрет славы: во что бы то ни стало идти вперед, неустанно оживляя в памяти мужчин свой нетленный образ. Уже многие годы всё, включая ее духи, остается неизменным. И когда она поет, медленно, словно розовый бутон, открывая губы, все забывают о том, как изменилось и постарело ее лицо. Ее облик точно соответствует ожиданиям, никаких сюрпризов. Аплодирующий ей пожилой американец с золотыми зубами вспоминает свою молодость, военные вечера, миниатюрных девушек из «Максима», в крепком объятии трущихся головами о его портупею, перемирие, потасовки в кафе на палках и с обливанием друг друга из сифонов, годы благоденствия. Большого ему не нужно. Она привила Парижу вкус к пышному музыкальному представлению, к роскоши, к сверкающим на женских шеях драгоценностям.

Она знает цену своему соблазнительному, едва прикрытому плотными и тяжелыми тканями телу в окружении обнаженных женщин. Вначале их было пять или шесть, но публика быстро пресытилась, и ее решили удержать, с каждым сезоном увеличивая количество танцовщиц. Сейчас их уже не пять и не десять, а сорок, сто, целый поток, зыбкое море: ноги, бедра, груди, обнаженные спины, под ровным слоем пудры имеющие оттенок свежезарезанного молочного поросенка. Демонстрация этих прелестей разжигает желание, и вот появляется Ида Сконин. Ее талия стянута двумя огромными фижмами из черного и золотого атласа. Она несет на голове убранство из перьев без единого намека на усталость, кроме маленькой складочки от усилия у самых губ, которая с третьего ряда партера вполне может сойти за улыбку.

На сцене гаснут огни, и ее освещают лишь перекрестные лучи прожекторов. Она высокого роста, у нее прямая спина с легким изгибом внизу, ее подбородок величественно вздернут; красивое неподвижное лицо выражает дерзость, гордость, вызов. Лишь с недавнего времени ее предусмотрительная улыбка иногда исчезает; триумфальная уверенность в себе и воля к счастью чего бы оно ни стоило, которые врезались в ее черты, становятся нежнее, мягче из-за внутреннего беспокойства. Правда, это замечают лишь окружающие ее girls, ведь только они во время грандиозного дефиле Драгоценных Камней и Сокровищ видят сквозь жемчужную сеточку на голове Иды Скониин ее волосы: когда-то черные, затем покрашенные в ослепительно золотой цвет, перекрашенные в темно-рыжий, серебристо-русый и опять в пламенный, эти волосы из-за такого насилия в конце концов вообще потеряли естественный облик и стали сухими и ломкими, как солома, а у корней под слоем краски за один только выходной день может проклюнуться белоснежная изморозь.

Girls по очереди поднимают и опускают то левую, то правую руку; ритмическая зыбь идет по этому морю обнаженных женских тел и по шапочкам из роз. Ида Скониин вышагивает посередине; ее голые ноги ленивым движением отталкивают от себя потоки бархата, блесков, атласа. Когда она останавливается, girls недоброжелательно косятся на ее чистую и крепкую шею, еле заметно подрагивающую, но способную невозмутимо выдерживать сбрую из перьев и цветов. На коже у висков, под золотыми сеточками, поблескивают капельки пота.

Они шепчут:

– Посмотри на нее... Это невозможно, она не выдержит...

– Боже мой, что хорошего еще находят в этой женщине?

– Ей просто повезло, моя милая, в отличие от нас с тобой.

Они размышляют:

– Да, лихая удача!.. И ничто иное. А ведь она просто злока, и сердце у нее как камень. У нее нет возлюбленного, нет никаких капризов, кроме всем известной склонности к юным красавцам, которые покорно убажают ее недельку-другую и исчезают. Уже какое-то время у нее вообще, похоже, никого нет.

– Да и к чему вообще мужчины? – с горечью думают girls. – Ведь ей платят больше, чем американской звезде...

Построившись в две шеренги, освещенные светом прожекторов, они одна за другой поднимают ноги, потом отступают назад, где их усталые безразличные лица скрывает тень.

Дирижер кончиком палочки как будто собирает разбежавшиеся волны, и вновь сосредоточивает их вокруг примадонны. Свободной рукой она легко колышет розовые перья веера. Она вбирает в себя

тепло, мягкие пылинки, струящиеся в лучах прожектора. Из зала доносится приглушенный рокот, подобный морскому прибою. Она поет, улыбается, танцует, но ее занимает единственная мысль, одна забота: ее доля! ее прибыль.

Она думает:

– Вчера субботний утренник и вечернее представление собрали сто тысяч. Сегодня столько же. С каждым днем больше...

И она воображает восходящую кривую, которая заставляет продюсеров говорить о ней с уважением:

– Прибыль приносит Ида Сконин.

Она знает цену этих волшебных слов. Это единственное, что преграждает путь этим жестоким, торопливым, хищным девицам, которые уже годами стремятся занять ее место и только и ждут осечки, падения, мимолетного недуга или усталости, момента, когда так долго сдерживаемый возраст наконец возьмет над ней верх.

– Что ж, подождите. Это наступит не завтра...

Еще долгое время на стенах парижских домов будут висеть ее свежееотпечатанные портреты; каждую ее песню будут напевать рабочие, водители грузовиков, уличные мальчишки; каждый вечер на крышах будут сиять огненные буквы:

ИДА СКОНИН

ИДА СКОНИН

ИДА СКОНИН

Неужели все эти девицы действительно полагают, что она позволит себя одолеть, потому что ей за шестьдесят? Всю свою молодость, как и все они, она тоже ожидала славы, денег, шепота толпы при своем приближении:

– Ида Сконин... Ида Сконин... Вы видели?.. Ида Сконин...

Слава?.. Ею легко насыщаются в двадцать лет, но ей было уже за сорок, когда она ее добилась. В этом возрасте она вызывает лишь еще большую жажду, как морская вода. До войны, несмотря на ее изумруды, ее любовников, ее внешний блеск, ей доставались лишь крохи славы, отклики в бульварных журнальчиках, случайно перехваченные слова: «Ида Сконин?.. Не слышал... Ах да, она хорошенькая...»

Лишь последние пятнадцать лет она пожинает плоды длительного терпения. Разумеется, у нее нет иллюзий. Чего стоят эти шум и блеск, и чего она достигла в результате?.. Обнаженная женщина, спускающаяся по ступеням золотой лестницы... Но если у нее и были иные мечты, она уже давно поняла, что в масштабе человеческой жизни надо довольствоваться полупроигрышем, который называется

успехом, исполнением надежд, вершиной карьеры. – А эти молодые разве это знают?.. Имеют ли они представление о том, сколько потребовалось вложить труда и усилий, чтобы достичь столь смехотворной цели, но в то же время и ее личной вершины, триумфа?.. Изматывающая борьба со временем, с мужчинами... Она все еще помнит этих мужчин, столь сурово и дорого продававших каждый свою услугу, поддержку, ободряющее слово, помощь.

Жирные прыщавые лица, плоские выбритые подбородки, тяжелые веки, старческие отвислые щеки, – эти воспоминания, невозможность освободиться от прошлого есть ее сегодняшняя страховка от напастей будущего (старый финансист и дряхлый президент Совета, которые по очереди делят ее ложе)... Иногда ей кажется, что она никогда не насытится свежей кожей, поцелуями молодых губ, способных стереть грязные прикосновения узловатых рук, увядших тел, раздутых животов на коротких ногах, рыхлых ртов, урчащих от удовольствия у нее на груди...

Пусть же эти юные красотки подождут, как ждала она сама!.. Пусть, как и она, расходуют свою молодость и красоту с умом и терпением!.. Свое место она им не уступит.

Она смеется, кланяется, стоя посреди сцены и сверкая в огнях. Расшитый розовым и золотым узором занавес, в тон ее наряду, медленно опускается.

Служебный выход. Ида Сконин переходит тротуар, слегка орошенный дождем, поблескивающий, как свеженаписанное полотно. Прошло три месяца. Стоит июньская ночь, два часа утра – краткое ночное безмолвие между двумя серебристыми зорями. В садах на Елисейских полях зацветает первая сирень. Светящиеся рекламные панно крутятся лениво и скоро совсем замрут. Короткие желтые язычки пламени высвечивают в нежном прозрачном небе:

ИДА СКОНИН

В руках у нее розы. Проходя перед любопытной толпой, она громко говорит:

– Вчера четыреста букетов и охапок цветов. Это слишком. И эти поздравления, записки... Они меня в могилу сведут.

Она нежно отводит руки преданного друга, который тихо зовет ее:

– Нет, нет, я совершенно разбита... Утренник в субботу, вечерний спектакль, утренник и вечер в воскресенье... Дорогой, я падаю с ног...

– Вы свежи, как букет роз.

– Лыстец!..

Толпа смотрит, слушает, пытаясь угадать слова, которыми обменивается пара у длинной блестящей машины.

Молодой человек без головного убора, с красным кашне вокруг шеи, прижимает к груди букетик роз. Он бледнеет. Он в нерешительности.

Догадывается ли он, что если Ида Сконин, стоя перед открытой дверцей, слегка наклоняет свое мертвенное под слоем грима лицо, приподнимает воротник из ценного меха и медлит, то она это делает ради него? Чтобы оставить этому скромному молодому человеку достаточно времени набраться храбрости, подойти к ней и чтобы она смогла взять эти розы, вдохнуть их аромат, произнести нежным грудным голосом:

– Ах, какие чудесные цветы!.. Это мне?.. Благодарю вас, месье...

И тогда каждый подумает:

– Она все еще обворожительна. Даже вблизи она не кажется старой... Сколько еще у нее должно быть поклонников!.. Вы же видите, что это просто басни про ее возраст и про молодых людей, которым она платит... Она все еще очень даже ничего...

Наконец молодой человек приближается и робко протягивает цветы через дверцу; она улыбается, как и подобает, и глядит на него взором, который, увы, уже не кажется ни сладострастным, ни порочным, как ей бы того хотелось, но напротив – мудрым и глубоким, ведь легче избавиться от морщин, чем замаскировать здравомыслящее и усталое выражение опытной старухи.

Тем не менее она наклоняет голову и шепчет тихим голосом, хрипловатым и певучим:

– Это мне?.. Эти прекрасные цветы?.. Ах!.. (пауза, еще одна улыбка). – Благодарю, месье...

Сыграна последняя на сегодня сцена. Автомобиль может трогаться. Она любит этот путь через сонный и безмолвный Булонский лес, который внезапно становится шумным и ярко освещенным. Каскад подсвечен нежно-зеленым электрическим лучом. Ее дом стоит у кромки леса.

Она откидывает голову, закрывает глаза.

Ей грустно оттого, что бесполезно наносить макияж, кромсать грудь и щеки, массировать лоб, каждый день разглаживать морщины, которые к вечеру упрямо образуются заново; она ничего не может поделать – ее душа порой выдыхается и устает быстрее, чем тело.

Но вот она забывается. Голова падает, подбородок мягко трется о грудь, которая раскачивается слева направо с каждым движением

авто. Она пытается собраться, смотреть в окно. Но бесполезно! В Париже движение, уличный гул, постоянные огни возбуждают, там она чувствует себя более бодрой, более решительной, более живой. А эта тишина сковывает ее, делает ее более вялой, слишком расслабленной.

– После сорока лет следует жить только на Монмартре, – думает она.

Она возвращается. И вот вечерний туалет завершен. Она лежит в постели. Лицо, лоб, кисти рук и шея обернуты полосками ткани, пропитанной густым кремом, от которого исходит легкий аромат трав и эссенций. Окно открыто: первый огненный луч июньской зари уже норовит скользнуть вдоль газона. Горничная плотно закрывает ставни, задергивает тяжелые шторы.

Она должна спать. Раньше было так легко заснуть и проснуться в назначенный час. Она выдрессировала свое тело, как механизм. Как только после процедур и долгой теплой ванны она оказывалась в постели, ею овладевал сон без сновидений.

Через шесть часов она просыпалась, принимала душ, затем гимнастика, массаж, другие процедуры... После этого репетиция, работа. И никогда ни одного потерянного из-за болезни, лени или усталости дня. Но вот уже несколько месяцев у нее бессонница. Сердце бьется порой слишком быстро, порой слишком медленно, а иногда кажется, что оно на секунду останавливается, тычется в какое-то невидимое препятствие, затем вновь нерешительно, с трудом пускается в путь, – она зыдыхается, у нее коченеют руки и ноги, дрожат колени.

– Чрезмерные нагрузки, – говорит доктор.

Она прекрасно догадывается, о чем он думает, отыскивая ее сердце и заодно легко взвешивая на ладони ее совершенно новую грудь, которую уже второй раз этой зимой моделировали, шлифовали, переделывали. (Она с триумфом продемонстрирует ее осенью в новом шоу, а до той поры держит ее в резерве, никому не показывая.)

«Со временем все изнашивается», – думает врач, но бормочет: – У Вас завидное, неслыханное здоровье...

Как часто она слышала эти слова...

– И все же проявляйте осторожность... не злоупотребляйте...

Да, она состарилась... Сердце стало непослушным, а буксующая память, как только она остается одна, без усталости возвращается к давним временам. Как поломанный механизм, она упрямо вызывает из своих глубин старые, ненужные, неприятные образы...

Она закрывает глаза, осторожно отодвигает маску, которая стягивает ее лицо, с усилием вызывает в воображении афишу, которая с начала сентября украсит парижские стены:

15 ноября гала-премьера нового шоу «Империала».

Билеты в открытой продаже.

Знаменитая Ида Скониин поет и танцует в представлении «Женщины на все 100», постановка Симона и Моссуля, новая аранжировка Аришибальда д'Юпона, Станисласа Голдфарба и Малт-Леви. Хореография Жака Жослина.

Звездный состав. Спектакль сопровождает оркестр под управлением Мак-Лойда.

Она представляет себе размер шрифта, которым будет набрано ее имя, сравнивает его с буквами, которыми сейчас печатаются имена ее самых грозных соперниц.

Начало каждого сезона совпадает для нее с началом битвы, которая год от года становится все более жестокой и непредсказуемой. Предстоящая будет особенно тяжелой...

Она вздыхает. Ей чудится, что перед ней появляется Симон и произносит: «Внимание... Публика начинает уставать... Вы очаровательны, чудесны, однако...»

Как всегда, когда он желает ее задобрить, он трясется от чрезмерного усердия, трет свою большую задумчивую голову, опускает свой длинный нос, еще больше кривит свой трепещущий, кривой рот, а черные пряди падают ему на лоб. Этот мужчина привязан к ней и по-настоящему восхищается ею, но больше всего его притягивает то, что она называет своей славой. С отчаянием, но решительно он при необходимости выбросит ее за борт, если публика от нее и вправду устанет. В его лице, верном зеркале его души, сквозит смесь лукавства, алчности, жестокости и чувствительности.

И он добавляет дрогнувшим голосом:

– Вы знаете, что мне можно доверять, разве я вам когда-нибудь лгал?... Вы же меня хорошо знаете, не так ли?..

И добавляет, как окончательный аргумент:

– А что об этом думает Дикран?..

Дикран, закадычный друг Симона, – это толстый, лоснящийся армянин. У него рыхлая трясушаяся грудь, полузакрытые глаза восточной танцовщицы, черные и блестящие, как коринфские виноградины, и вырывающийся из этой обильной телесной массы нежный, мелодичный женственный голос, произносящий самые разумные речи:

– Дорогая, не забывайте, что большая часть ваших капиталов вложена в наше предприятие. Вы так же, как и мы, заинтересованы в успехе...

Симон с любовью смотрит на своего друга:

– Он прав, как всегда... Дики, объясни нашей несравненной богине, что эта Синтия для нее послужит лишь фоном, который еще выгоднее оттенит ее восхитительную красоту... Ведь, в конце концов, это тот же принцип, которым мы уже давно руководствуемся в нашем производстве голых женщин...

В конце концов она согласилась, но сейчас ее гложут сомнения. Разумеется, аморфная голая масса, розовое мясо, на фоне которого выделялась ее фигура, ничем не могла ей повредить, но одна обнаженная женщина, одно женское тело, предшествующее ей, перед пресыщенной, неблагодарной, быстро обольщающейся публикой...

– Мне страшно, – думает она.

Она долго крепилась, чтобы не признаться в этом себе самой.

Даже сейчас, в темноте и одиночестве, она чувствует, что слишком расслабляется, теряет контроль над собой, позволяя этим словам зародиться в глубине ее души:

– Я боюсь...

(И это она, чьим единственным достоинством, единственной добродетелью являются смелость и дерзость!)

Но как только слова произнесены, она испытывает чувство облегчения, покоя, грустного счастья... Уже так давно ей было некому открыться, не с кем посоветоваться... Но об этом – нет, исключено!

Она принимается беспощадно себя ругать. Этого еще не хватало! Чтобы Ида Сконин раскисла!..

– Зачем я согласилась?.. Зачем? Из-за какой еще гордыни?.. Чтобы публика говорила: «Ну, вообще-то это шикарно, это смело, то, что она сделала... Значит, она так в себе уверена?.. Она не опасается сравнений?..» Или потому, что прибыль уже два месяца не увеличивается? Это пока еще не смертельно, прибыль очень существенная, но она еще не достигла максимума и постоянно, без передышки, надо ее увеличивать, чтобы в скором времени она не упала.

В саду радостно щебечут птицы. В густых ветвях сирени поет дрозд.

Ида вздыхает. Она разжимает судорожно сжатые пальцы, кладет руки поверх шелковой простыни. Она все еще рада, что лежит одна в этой кровати, под розовым с золотом балдахином!.. Не так уж давно она может позволить себе роскошь засыпать в одиночестве, зная, что при пробуждении к ней не повернется никакое мужское лицо, чтобы сорвать с ее губ поцелуй. Любовь – это, конечно, хорошо, она производит успокоительное действие, ведь сладкая усталость заставляет о многом забыть... Молодые люди, которым она платит, умеют ласкать ее и молчать, а большего ей от них и не нужно. Но *любители*, думает она с угрюмой усмешкой, а также старые друзья, приберегае-

мые про запас, которые промеж простынь рассказывают ей о своих делах, о своих амбициях, о своих сожалениях о прошлом и о тщетных желаниях, – как же это невыносимо!..

Однако эта гимнастика без удовольствия стоит большего, чем подлинная любовь...

Поворачивая голову к закрытым ставням, она видит лужайку, освещенную пурпурным солнечным светом. Она оттягивает момент, когда, чтобы заснуть, ей придется принять порошок веронала, предусмотрительно положенный на ночной столик.

– Осторожно, – предупреждает врач.

Сердцем, скажем... шестидесятилетнего возраста, которое получает каждый вечер такие нагрузки, не управляют с помощью веронала... Тем не менее за последний месяц она удвоила, а затем и утроила дозу. Но ведь без сна морщины вернутся еще быстрее. Машинально она касается шерстяных полосок, которые стягивают ее лоб, разглаживая их легким, нервным движением. Любовь... В ее ушах звучат забытые имена, в темноте возникают лица, которые исчезнут с наступлением дня...

О ней говорят:

– Эта женщина никогда не любила, она лишь пользовалась мужчинами...

Это верно...

– Нет, я совсем не «славная девочка», – вдруг шепчет она в диком порыве, и давно забытым движением хочет вскинуть голову, но ее вовремя останавливает мысль о ее шевелюре («Вашими волосами нужно трясти как можно меньше, они сухие и ломкие...»). Она вспоминает о юноше, который покончил с собой из-за нее (какая прекрасная бесплатная реклама!); когда его обнаружили, он был распростерт около нее, было это в Антибе.

– Ах, какая мизансцена!.. Это стройное белое тело на террасе, залитой лунным светом, и струйка крови, стекающая на мраморные плиты... И какое триумфальное открытие сезона после этого!... (Но, положив руку на сердце, покончил ли он с собой из-за любви?.. Он был под воздействием кокаина, а в тот день и вообще в полном безумии.)

Несомненно, ее любили. Она умела удерживать мужчин (ее первый, Габриэль Клайв, научил ее управлять их переменчивыми и туманными желаниями...). Многие другие были привязаны к ней, потому что она лестила их самолюбию, и не требовали большего. Этим она не давала ничего иного... Из темноты проступают некоторые лица, которые вызывают у нее большее удовольствие и тайную нежность. Но у нее нет никаких иллюзий... То, что она ценит в них, – это свою молодость.

– Так значит, я никогда не любила? – спрашивает она себя в очередной раз. – Нет. Решительно нет. Что для меня любовь?.. То, что мне надо, то, что я ценю, то, что мне нравится, – это любовь толпы, темнота, желание, это приглушенный шепот, который поднимается в зале, когда я появляюсь, это анонимное вожделение... Как я все это обожаю... Потерять это?.. Нет, лучше умереть... Но чтобы это сохранить, надо оставаться красивой, свежей, молодой... Не нужно больше ни думать, ни вспоминать, не нужно ничего ожидать, ни о чем сожалеть, ничего бояться...

Она закрывает глаза и изо всех сил сдерживает нервный тик у краешка глаза. Как волшебное заклинание она повторяет десять, пятнадцать, сто раз подряд:

– Я спокойна. Я молода. Я красива. Я хочу спать. Я сплю.
Наконец она засыпает.

Осень.

Последние вечерние репетиции.

Зал погружен во тьму. Слегка освещен лишь партер. Слышны хрустальные переливы настраиваемых флейт. Невидимые руки регулируют свет. Золотые пучки, голубые лучи дрожат и исчезают.

На пустой сцене обнаженная танцовщица, Синтия, совершает свои выверенные телодвижения.

– А эта девочка очень хороша, – произносит Ида Сконин.

Затем:

– Но судя по тому, в каком темпе все это происходит, до моего номера, кажется, очередь дойдет только утром.

Она произносит это достаточно громко, и все замирают, почти-тельно вопрошая ее взглядом. Она устало поводит рукой, подавая знак Синтии, которая останавливается, как и все:

– Продолжай, не беспокойся, милочка...

Синтия – белокожая блондинка из Чикаго, where beauty is cheap. У нее продолговатые зеленые глаза, алые скулы на белом как мел, твердом и блестящем лице, квадратная челюсть, сверкающие зубы. Ее худое подвижное тело с удлинненными, тонкими конечностями напоминает стальной механизм.

– Она не так уж красива, – думает Ида. – Я же с моим шиком, репутацией, драгоценностями...

Она ощущает себя неуклюже и скованно. Она сидит в ложе одна.

Она отослала друзей и обожателей. Она держит спину совершенно прямо, неподвижно, чувствуя на себе взгляды, которые в темноте ищут и узнают ее и ее соболиную шубку. (Соболиную, чтобы гово-

рили: «В таком возрасте — и не бояться носить белое, она удивительна!»)

В зале много народа.

— На рабочую репетицию опять пригласили столько же народу, как на генеральную... Но делать нечего, все в неистовстве.

Она очень устала. Скоро три часа утра. Перед ней поставили холодное куриное крылышко и бокал шампанского. Она рассеянно пьет мелкими глотками. Вдыхает знакомый теплый запах пыли. Если бы здесь не было всех этих людей, она бы задремала и отдохнула бы лучше, чем у себя дома. Она забивается в лунки своего театра, как зверь в свою нору.

Она почти засыпает, однако продолжает высоко держать голову — железная привычка не позволяет расслабиться. Время от времени она резко сбрасывает с себя оцепенение, еще больше выпрямляется, протягивает руку для поцелуя одной из теней, скользящей меж кресел, улыбается, шепчет:

— Здравствуйте, здравствуйте, мой милый...

— Ах, как мило с вашей стороны было прийти...

— Как вы поживаете, моя дорогая? Дайте я вас поцелую... Какая же вы душка...

Но постепенно она погружается в молчание, и ее оставляют в покое, наблюдая издали со смешанными чувствами ее розовую напудренную щеку, ее длинную белую кисть, украшенную знаменитыми кольцами, небрежно свисающую с барьера ложи.

Синтия удалилась. Устанавливают декорации.

Играет оркестр.

— Да это просто новая аранжировка «Тарарабум дье»*. Где же я слышала эту мелодию?.. Где я видела этого огромного рыжего цыгана?

Повторяется неизбежная ретроспективная сцена. Частный красно-черный кабинет 1900 года, кружева, черный корсет и попури из старинных вальсов.

— А, помню, — думает Ида.

Зачем искать в столь отдаленном прошлом? Определенные лица и воспоминания должны почить в памяти, навеки погребенные... Но как назло они продолжают ее преследовать. И она замечает, что время от времени она невольно вздыхает, как старая одинокая женщина... Она просыпается, приветствует жестом проходящего мимо мужчину, хотя и не узнает его. Софиты плохо настроены.

Тональный крем певицы отливает зеленому.

* Популярная американская песня, написанная в конце XIX в. (слова и музыка Генри Сейера).

– 1900-й... В те времена... Да, да, к чему лукавить... В конечном итоге это воспоминание – единственное, которое чего-либо стоит... Габриэль и... снова Габриэль...

Она слышит свой громкий голос:

– Что за смехотворная тяга к ретроспективам, это уже становится традицией.

Кто-то смеется. Кто-то спрашивает:

– А наша несравненная не слишком устала?

– Я?... Что вы, дорогой мой, подобное лихорадочное существование – это ведь моя жизнь, вы же отлично знаете...

– Она чудесна!

Пре-Каталан* июньским вечером, золотистым и розовым, как персик. Ее только-только начинают узнавать, замечать, разглядывать... Какое упоение!.. Она прекрасно знает, что обязана этим Габриэлю, тому мигу, когда среди тысяч других женщин только она сумела поймать и удержать взгляд Габриэля Клайва. Она, никому не известная иностранка...

– Какой же красавицей я была тогда! – думает она и с горькой досадой смотрит на сидящую в партере Синтию – ее голые блестящие ноги наполовину прикрыты вызывающим коротким манто из красного меха.

Габриэль... Она старается вызвать в памяти черты его лица и внезапно видит его, как будто он все еще сидит рядом, склонившись к ней: большой нос с горбинкой, почти крючковатый, как клюв хищной птицы; острые, четко вытесанные скулы, светлые глаза с расширенными, как у наркоманов, зрачками, длинное худое и гибкое тело, красивые нервные руки, все время еле заметно трепещущие, дрожащий, чувственный рот старого странствующего комедианта. Его лицо было бледным и прозрачным, это была бледность человека, проводящего все дни за письменным столом, чья кожа со временем начинает как будто походить на лист бумаги. Он преувеличивал свою кошачью походку, преувеличивал дьявольский излом своих красивых бровей, которые он выщипывал, словно старая кокетка... Глаза цвета льда, мания носить под костюмом только сорочки из самого тонкого полотна, чтобы женщина, которую он по обыкновению обнимал за плечи, чувствовала изгиб и жар его красивого тела, которым он так гордился...

– Ну а с нравственной стороны? – думает Ида в очередной раз. – О, роковой мужчина, просто мужчина-«вамп»... Меж бесчисленными женщинами, которых он брал и бросал одну за другой, лишь я, видимо, сумела заставить его страдать именно так, как он того желал...

*Пре-Каталан — парк внутри Булонского леса, где в начале XX в. был построен элитный ресторан.

Ах, его страдания, его наслаждения!... Изменяя ему, мучая его, она всегда чувствовала, что, по большому счету, играет в его игру, исполняет роль, которую он определил для нее в комедии с невидимыми зрителями... Он искренне гонялся за смертью: искал ее в открытом море, за рулем спортивных автомобилей, однако горячо любил жизнь... Он был тщеславным, чистым, его легко было обмануть...

– Паяц, – думает Ида. – В этом и заключался его знаменитый шарм, в этой вечной комедии, которую он ломал для себя и для других. Он властно царил над всеми и был настолько избалован удачей, что его жесты и голос приобрели некую дерзкую беспечность, благосклонную усталость властелина.

– Я умела им пользоваться, а он умел пользоваться мной, – вспоминает она. – Его легендарная ревность... Как же я умела вызывать в нем именно те эмоции, которых он жаждал... Эта смесь гордости, чувственности, беспокойства, какая другая женщина смогла бы находить правильную дозировку ему в угоду?..

Благодаря ему она попала в мюзик-холл. Больше всего ему нравилось смотреть, как она танцует полуобнаженная, «на потребу зверям», как он говорил с легкой гримасой на тонких сухих губах и с тревожным огоньком в бледных глазах... Он любил...

Старая женщина пожимает плечами своим воспоминаниям...

Он ревновал лишь к одному существу на свете... по-настоящему, не блефуя, не испытывая скрытого удовольствия... Жестокий и распушенный, он причинил несчастье и даже смерть лишь одному существу...

– Полчетвертого, – думает Ида в растерянности, в то время как на сцене girls уже в десятый раз репетируют движения кордебалета, как одну вскидывая сорок ног из-под коротеньких пышных юбочек из черного атласа. – Сердце покалывает... Опять слишком много приняла веронала прошлой ночью... А сейчас я почти сплю...

Постепенно она приходит в себя, улыбается, протягивает руку по направлению к лицу мужчины, который возникает из темноты, поднимается и целует ее пальчики:

– Когда ваше выступление?

– Говорят, пятнадцатый номер.

Друг удаляется. Она улыбается, радостно произносит в ответ на его приветствие *So long*... Впрочем, кто же это? Надо было его задерживать. И вновь, едва оказавшись одна в своей темной ложе, она погружается в полудрему, в воспоминания и мечты.

Он ревновал к одному существу на свете, к Марку...

Она произносит это имя вполголоса и с удивлением прислушивается к его отголоску. Как давно она забыла Марка, своего мужа... Даже тогда, когда она познакомилась с Габриэлем, Марк существовал лишь

в ее тени, на обочине ее жизни... А ведь он был ее мужем пятнадцать лет, но постепенно она его отодвинула, удалила... «Однако лучшего друга у меня никогда не было...» Бедный Марк... Очки, большой белый лоб, спокойная, умиротворенная улыбка, которая превращалась в легкую гримасу боли, но все равно всегда была заметна в нежных складках губ, овал полных, почти детских щек, – как же ее раздражал их розовый цвет по сравнению с бледностью Габриэля...

– Ах, какой же я была дурочкой. Я была молодой и влюбленной. Нет, не влюбленной, скорее, я была... покорена, ослеплена...

«Никто не знал, что я замужем, как никто и не узнал об этом с тех пор, и все могло бы оставаться по-прежнему. Я сама рассказала Габриэлю...»

Ей кажется, что она слышит голос Габриэля:

– Как же это интересно... Так он вас любит и готов все терпеть?... Как любопытно, этот менталитет иностранца... Я хотел бы с ним познакомиться... Это было бы вполне в духе Достоевского...

– Паяц, – вновь думает она с ненавистью.

«Мой бедный Марк... Нежным задыхающимся голосом он говорил ей: ‘Как ты суеишься... Зачем, бедняжка моя?’ Единственный человек на свете, который говорил ей подобные вещи...»

Лишь его ладони, легко касающиеся ее запястья, могли успокоить ее, укротить огонь, бурлящий в ее крови... («То, что тебе надо, то, что тебе по душе, – это не только деньги и драгоценности... но чтобы твое имя произносили повсюду, чтобы люди приподнимались с мест при твоем появлении, чтобы толпились вокруг тебя, бросались тебе вслед... Какая угодно слава...»)

В своей темной и теплой ложе она шепчет, как некогда, стоя рядом с ним:

– Я несчастлива...

Он хорошо ее понимал. Чтобы сохранить эту «славу» – ах, ветреную, тщетную – и все же единственное, ради чего стоит жить, она всем пожертвовала, потеряла свое счастье и свою душу.

– Бедный Марк. И тебя я потеряла, – думает она.

Очень быстро Габриэлю надоело терпеть молчаливое присутствие Марка, впрочем, столь неприметного на их блестящем фоне. Он знал, что никогда не сможет одержать победу над этим соперником. А в подобной ревности не было ничего пикантного...

– Этот человек!.. Я не могу больше выносить, что он на тебя смотрит, говорит с тобой!.. Пусть убирается!..

Она подчинилась. Из-за любви?... Нет, конечно, просто чтобы не говорили: «Послушайте, малышка Сконин уже надоела нашему красавцу донжуану! Надолго ей его не удержать».

Возможно и потому, что он написал для нее свои знаменитые песни – «Дикие ритмы», благодаря которым к ней пришла известность.

– Презренное сердце, – думает старая Ида Сконин.

Она удержала Габриэля Клайва. Она исполняла его мелодии. Она появлялась рядом с ним, демонстрируя изумруды и жемчуга, которыми он ее осыпал; она подчинилась, вняла его лихорадочному, угрожающему, умоляющему голосу, день и ночь бубнящему ей в ухо:

– Пусть убирается!.. Это так просто!.. Он же российский подданный... Хватит одного моего или твоего слова – и его под тем или иным предлогом вышвырнут из Франции... Проще простого!.. Он даже не догадается!.. В конце концов, здесь он страдает еще больше, зная, что ты – моя любовница!.. Нормальный мужчина не может испытывать дружеских чувств к такому прекрасному существу, как ты!.. Наверно, ты любишь его больше и лучше, чем меня!.. Ему достается твоя нежность, твое доверие!.. А я лишь машина, поставляющая тебе удовольствия!.. Удали его, отошли!.. А то уйду я...

Каким жестоким он был... А в то же время, опасаясь недуга и уверенный, что у него больные легкие (впрочем, и это входило в его репертуар!), он мог неподвижно просидеть всю ночь на террасе, продуваемый промозглым ветром Ниццы в конце зимы, чтобы не побеспокоить больную кошку, уснувшую у него на коленях.

Она поговорила с Марком. Он опустил голову и пролепетал:

– Да, я понимаю... Ида, уверяю тебя, я все понимаю...

За все пятнадцать лет они ни разу не расставались... Прогнать его без всяких объяснений, как предлагал Габриэль? Он вернулся бы... И все-таки он стал... мешать... Ведь этот Марк Сконин остался робким маленьким часовщиком, каким он был раньше... Он даже не говорил по-французски... Он яростно отказывался брать у нее деньги и носил зимой и летом старый истершийся плащ и позеленевшую фетровую шляпу...

Она шепчет:

– А все-таки, возможно, стоило...

Крик Симона:

– Опускайте купол!

Голос из полутьмы:

– Что мы делаем?

– Все в порядке, Ноэль?

Закрыв глаза, Ида Сконин видит в глубинах времени неподвижную фигуру Марка, свисающую с золотого потолка ее спальни.

Она вздрагивает. Вот это стереть невозможно... Другой, молодой пьяный мальчик, неподвижно раскинувшийся на мраморных плитах в ароматной ночи, принадлежал некоторым образом ее публичной

жизни, декорациям, миру обманок и рекламы. А этот жалкий труп с болтающимися ногами в сиреневых носках, нужно было спрятать, убрать, чего бы это ни стоило, спешно похоронить, чтобы не оскорбить Габриэля столь неэстетичной сценой...

— Но никто так ничего и не узнал!.. Я никогда ни у кого ни о чем не просила, — думает она с гордостью, — я никогда не хныкала, не умоляла об утешении или о помощи...

Ее связь с Габриэлем продлилась четыре года. За ней последовали другие, столь же лестные для ее самолюбия и выгодные... Она вспоминает, как десять лет назад увидела Габриэля, старого, немощного, с крашеными волосами и выступающим меж желтых впалых щек огромным узким носом. Он, который притворялся, что испытывает к женщинам легкую и презрительную благодарность («Я без усталости желаю добра всем тем, кто меня любил...»), отвернулся в гневе и страдании.

Ида Сконин машинально начинает напевать: «Мой любимый!..»

— Ваш выход, мадемуазель Сконин! Вы здесь, мадемуазель Сконин? Мы репетируем третий номер. Вы не слишком устали?

— Я никогда не устаю, мой дорогой, вы же прекрасно знаете.

— Она удивительна...

— Какая неувядающая молодость!..

— Какие ноги!..

— Вы знаете, сколько ей? Говорят...

— Неужели?.. Это невозможно...

— Нет, ну посмотрите-ка на нее. Она великолепна!..

— Какие ноги!.. Какая талия!..

— Должно быть, у этой женщины не было в жизни никаких бед!..

— Она победительница...

— Конечно!.. Она слишком стерва, для того чтобы страдать.

— Вы знаете, сколько ей лет?..

И так далее, и тому подобное. Ночная репетиция продолжается.

Это неотвратимо! Гала-премьера нового шоу

«Женщины на все 100».

Билеты в открытой продаже.

Танцует и поет Ида Сконин.

На улицах вокруг театра уже в начале вечера образовались пробки. Слышится клаксоны. Публика с билетами на галерку спускается из отдаленных кварталов к Елисейским полям. Небо над крышами как будто пылает в свете прожекторов и неоновой рекламы. Люди переговариваются, смеются. Слышится:

— Ида...

– Ида...
– Красотка Ида...
– Скажите, по крайней мере, вечно прекрасная Ида...
– Вы знаете, что эта Синтия будет настоящим гвоздем программы.
– Только сумасшедшая могла позволить двадцатилетней красавице появиться рядом с собой!..

– Она смелая!
– Вы думаете, женщина способна заметить, как она стареет?
– Признайтесь все же, что мы идем посмотреть, как зверь сожрет укротителя!

– Да, не без этого...

Подъезжают машины. Из них выходят женщины. Идет дождь. Большие капли дождя с шумом разбиваются о ветровые стекла.

Толпа упрямо остается стоять под зонтиками.

– Взгляни-ка на старуху, вон там, Густав...

– Красиво, голубое платье с серебром... и соболя...

– Да, еще не все денежки перевелись в Париже...

Мальчишки кричат:

– Покупайте последний выпуск «Интрансижан»*!

Затем они ныряют в темноту и туман соседних улиц.

– Требуйте создания нового министерства!

– Ида Сконин! А я ее люблю, эту шлюху!

Терпеливая и насмешливая толпа повторяет известные имена, жадными глазами пожирает лица знаменитостей, провожает их нежным и влюбленным ворчанием.

Помимо подобной капризной популярности, которой ее одаривает парижская публика, Ида выискивает самых чувствительных зрителей, обладателей дешевых билетов, завсегдатаев галерки. Она прислушивается к сопровождающему ее глухому ропоту, верному спутнику на протяжении стольких лет, и измеряет по нему свою славу и истекшее время... Вечером после премьеры она медленно проезжает на машине, оставляя уличным мальчишкам достаточно времени, чтобы прижаться губами к окнам, послать воздушный поцелуй, прокричать при ее удалении краткую лестную дерзость, тогда она закрывает глаза, наслаждаясь этим шумом и шутовскими выходками, то опуская окно, чтобы лучше их расслышать, то откидывая на подушки свое озаренное триумфальной улыбкой лицо, и думает: «Сорок лет назад...»

– Ида Сконин!.. Ида Сконин!.. Браво!..

*«Интрансижан» (*L'Intransigeant*) – французская газета, основанная в 1880 г. как рупор левой оппозиции. К 1920-м гг. превратилась в основную газету правого направления.

Сколько среди них тех, кому Симон платит за эту работенку сорок су в час? Этого ей не хочется знать.

А те, что спрашивают:

— Ну почему при ее богатстве она не уходит со сцены?.. В конце концов, наступает определенный возраст...

Могут ли они понять, что этот нежный рокот при ее появлении позволяет заглушить вопли из глубин прошлого, которые она все еще иногда слышит в своей памяти: «Крючок... Крючок!..»*

И эти раскаты смеха, сотрясающего запрокинутые головы, напряженные глотки, эти крики, этот свист:

— Убирайся, иностранка!.. Выучи сперва французский, эй девка!.. Ну и прелести у тебя!.. Тебе надо перышки почистить!.. Крючок!.. Крючок!..

Это было сорок лет назад, на Монмартре, в кафе-шантане, где она дебютировала...

Однако она была тогда красива и молода и обладала непоставленным, но глубоким и чистым голосом. Но одета она была в чудовищное черное платье, которое разошлось по швам у локтей, как только она поднялась на сцену. Она еще не умела ни накладывать грим, ни причесывать свои густые черные космы, которые было никак не удержать шпильками и которые топорщились вокруг ее лица. Она никогда раньше не пудрилась. В тот день она смазала щеки кремом «Симон», а поверх нанесла белую пудру, похожую на свинцовые белила. Ее выдавало все: ее бледное лицо, впавшие глаза, иностранный акцент, несколько заученных наизусть французских слов, которые она повторяла, не понимая их смысла, да и весь царивший вокруг нее дух бедности.

— Тошная волчица, — со смехом закричал кто-то из толпы. А как же она все-таки ждала этого дня, какие безумные мечты питала до того, как поднялась на эту эстраду во время знаменитого шоу «Ловля на крючок», которое в 1894 году дарило грубое удовольствие зрителям в кабачках на Монмартре!.. Как она верила в свою счастливую звезду и сколько раз она повторяла Марку во время долгих бессонных ночей:

— Я не боюсь!.. Я знаю, что у меня красивый голос!.. Пусть я худая и страшная, но голос у меня прекрасный!..

Ее голос?.. Никто им не восхищался ни тогда, ни позднее. Впрочем, она умудрилась потерять его в течение всего нескольких лет в результате ряда ангажементов в маленьких прокуренных залах,

* Музыкальное представление «Ловля на крючок», в ходе которого певицы состязались за зрительские симпатии. Когда публика начинала кричать «крючок», ведущий вылавливал крючком неудачницу и сбрасывал ее со сцены.

нищеты, холодных ночей, проведенных на парижских скамьях в конце месяца, недолеченного бронхита, который преследовал ее всю зиму. При первом выступлении в «Диких ритмах», услышав жалкий, хриплый тембр рвущегося из ее груди голоса, она подумала:

– У меня была молодость, талант, красота, и никто не смог этого разглядеть! А сейчас они бросаются мне вслед, как гончие!..

С каким горьким тщеславием она украшала свое тело изумрудами Габриэля!..

То, что надо было демонстрировать с самого начала, – это ноги и грудь, которые она считала бесполезными и ничтожными. Но она была юной и наивной.

Она вспоминает «Ловлю на крючок»: плывущую дымовую завесу, девушек в ложе, медленно жующих апельсины, этого мясника с черными сальными волосами, поблескивающими на его низком лбу, как крылья бабочки, его красные руки в перстнях, обхватившие за шею сидящего рядом матроса в тельняшке, и этот крик, рвущийся из их распахнутых глоток:

– Крючок!.. Крючок!..

И железный крючок в руках ведущего, вразвалочку приближающегося по сцене, цепляет ее за воротник и бросает ее в темноту кулис... На черной и холодной улице сквозь слезы дрожат тысячи фонарей. Марк... Нет, об этом не надо думать! Для этого нет лекарства.

Прошло сорок лет, и на нее (старую, увядшую) с воплями напирает толпа:

– Ида Сконин!.. Ида Сконин!.. Браво-о-о!..

Однако сегодня эти крики менее покорные и безмятежные. На нее смотрят, но кричат мало и не улыбаются. Они озабочены; они видят на стенах театра объявление со следующими словами (ах! совсем маленькими буквами, резко отличающимися от тех, которыми написано ее собственное имя):

СИНТИЯ обнаженная танцовщица

Она слышит:

– Красивая девочка, кажется, и молодая...

Ида Сконин сжимает губы, еще больше выпрямляется. Ошиблась ли она на этот раз, пойдя на поводу у своего инстинкта, у своей храбрости, которые всегда заставляли ее искать схватки и риска? Нет, нет, она снова ощущает себя бодрой и ловкой, с твердостью в сердце и невозмутимым духом. Сердце?.. Ах, если бы только оно не билось в ее груди так глухо и ушащенно... Как старые желтые часы в углу мастерской, где Марк работает у свой стойки, а она баю-

кает ребенка, который скоро умрет... Да, ее гладкие бока и девственная фигура в течение девяти месяцев вынашивали хилого младенца... Она окунается в глубь прошлого, как в морскую пучину. Все глубже и дальше, к тем темным зонам молчания, которые, как ей казалось, были навсегда изгнаны из ее воспоминаний... Часовая мастерская в маленьком восточном городке, где родились они с Марком, циферблаты на стенах, медлительные движения маятников, бой, приглушенное шипение, мучительное, как человеческое дыхание, этих желтых часов с надтреснутым тембром, висящих в их спальне в темной глупине мастерской, Марк... снова он... и плач ребенка в тишине...

Ну, ну, хватит уже. Все это в прошлом. Она же – Ида Сконин, красивая, обожаемая, знаменитая. А этим вечером состоится гала-премьера нового шоу «Женщины на все 100». Билеты в кассе.

Гримерная звезды. Стены обтянуты розовым, огромные зеркала, тысячи огней; от пола до потолка высятся легчайшие сооружения из перьев и жемчугов. Костюмерши пришивают последние ряды блесков на подол плаща, тисненного золотом.

Заходят и выходят авторы, сценографы, модельер с помощниками, модистка, парикмахер, ювелир, костюмер, Симон, Дикран.

– Ну вот и конец глупым мечтаниям, – думает Ида Сконин, жадно вдыхая знакомый запах пыли, духов, обнаженных тел, проникающий из кулуаров в ее гримерную. – Конечно!

Она голая стоит за ширмой, а тем временем двери хлопают и ее одолевают лихорадочными вопросами; она смеется, отвечает, болтает без умолку. Гримерша заканчивает наносить ей пудру на ноги и живот.

Корзинами и охапками приносят цветы; лепестки роз, растопыренные, чтобы создать впечатление большего объема, опрысканы духами.

Костюмерша считает вполголоса:

– Раз, два, три... Уже больше ста, мадемуазель...

– Как мило, что вы пришли, господин посол!

Она протягивает обнаженную руку для поцелуя седовласому старому павиану, который берет ее своими дрожащими пальцами, надушенными фиалкой, и долго трется о нее сухими губами, над которыми висится пучок редких седых волосков.

– Ну, ну, дорогая... А ведь мне было нелегко найти свободную ложу. Вы знаете, что для сегодняшнего спектакля организовали специальный рейс Кройдон – Бурже?...

– В самом деле?.. Это неудивительно. У меня много друзей в Лондоне...

Старик произносит, понизив голос:

– Эта девочка Синтия, о которой все говорят, я попросил разрешения взглянуть на нее. Ничего особенного!

– Ей двадцать лет, мой милый друг, и в этом ее главный козырь, впрочем, единственный, так как, между нами, танцует она весьма посредственно...

– Разумеется!.. Но все восхищаются вашим благородством!..

– Вы так милы!..

Ее голос становится ласковее, она нежно проводит кончиками пальцев по склоненной к ней дряблой старческой щеке; он вдыхает ее аромат и пытается разглядеть кусочек ее тела, который остается скрытым под кружевным поясом с жемчугами; она думает: «Старая сальная обезьяна!..»

– Будьте так любезны!.. Выйдите!.. Вы меня задерживаете!

По коридору пробегают girls; под ними сотрясается пол. Поровнявшись с гримерной грозной звезды, пронзительные юные голоса замолкают, резвые ножки стараются ступать мягче.

Ида Сконин сидит перед зеркалом, вокруг нее суетятся парикмахер и гримерша. На ее лицо заканчивают наносить слой белого грима, гладкого и твердого, как фарфор, – на дистанции, под софитами он придаст ее старой и усталой коже видимость хрупкой и нежной щечки молодой женщины, девственной и свежей, как цветок. На ноги ей надевают золотые сандалии, по краям которых расположатся, подобно ракушкам, накрашенные пальчики. На голову надевают розовый парик с буклями и тугими завитками, а сверху водрузится диадема, увенчанная белыми и пламенно-красными перьями.

Girls бегут, как стадо. Через приоткрытую дверь Ида видит сверкающие под гримом обнаженные тела с обвитыми вокруг бедер переливающимися повязками, вышитыми серебром и блестками.

Вот так же было в доме, где она родилась, в припортовом борделе, который содержала ее мать...

С гневом и безнадежностью она стискивает зубы:

– Что? Опять начинается?

Да, ничего не поделаешь. Образы минувших лет, которые долгие годы были покрыты пагиной забвения, как черным и густым пеплом, но которые так и не исчезли окончательно, а совершенно спокойно в течение более пятидесяти лет дремали в тихой заводи на дне ее сердца, медленно поднимаются из прошлого.

Ее мать. Дом. Ночи, когда ее запирали в комнате, и как она старалась учить уроки и ничего не знать, ничего не слышать. Она закрывала уши руками и прижимала их так сильно, что не слышала ничего, кроме пульсации крови, тем самым успешно заглушая рокот голосов, доносящихся снизу, из общей залы, – мужской крик, женский визг.

Она сидела на подоконнике, глядя на порт, на пустынные улочки, и думала:

– Я вырасту. Я уеду из этого проклятого городишка. Мне вслед больше не будут кричать: «Ида... Маленькая Ида... Дочь хозяйки борделя... Девчонка из Дома в Конце Набережной».

Эти слова и насмешки сопровождали ее с самого рождения...

Наконец она засыпала со слезами на глазах, уткнувшись лбом в холодное стекло, под несущийся снизу голос матери:

– Барышни, сюда. Господа прибыли!..

И тогда за ее закрытой дверью, как и сейчас, был слышен топот женского стада, подпрыгивание голых ног по деревянным ступенькам. Вокруг них реял похожий аромат дешевых духов, пыли и пота, исходящего от голых тел. Они спускались бегом, держась одной рукой за перила, перепрыгивая через ступеньки, почти их не касаясь; за их напудренными плечами развевались в спешке наброшенные пеньюары. А Иде тогда было пятнадцать лет, она носила школьное коричневое платье с черным передником. Ее косы были уложены корзиночкой. У нее был чистый и нежный голос.

– Она могла бы стать красавицей, – думает Ида Сконин. – У меня были отличные задатки.

Она размышляет с грустью:

– Отличные задатки, храбрость, неукротимая гордость, но не хватало одного, без чего все остальное бессмысленно, – гениальности...

Она стоит: на ее фигуре закрепляют шелковые ткани, шали. Она взирает на свое отражение в зеркале. Сама поправляет некрасивую складку, падающую ей на бедро; немного наклоняется, чтобы ей на голову водрузили конструкцию из страусовых перьев, колышущихся и монументальных, – это знакомая ей ноша, под тяжестью которой она не согнется, но еще с большим достоинством и энергией выпрямит спину. Она болтает, улыбается, но мысли ее далеко. Воспоминание рисует перед ней рынок на главной площади городка, зеленые арбузы, разрезанные пополам, из которых течет розовый сок, груды апельсинов, острых перцев, огромных зеленых огурцов, связки чеснока, тележки, нагруженные помидорами и баклажанами, голубое небо, морской бриз и маленькую дрожашую девочку, которая слышит, как переговариваются, смеясь, торговки:

– Это девчонка из... вы сами знаете откуда, девчонка из...

А позднее те же голоса будут говорить:

– Сын Скониных?.. Сын часовщика подобрал этот отброс, девчонку из борделя, и собирается на ней жениться?..

– Скоро ваш выход, мадемуазель Сконин. Дефиле Фруктов, Синтия, а затем вы.

Она вздрагивает, как будто очнувшись от глубокого сна.

Она готова; она выходит, нацепив браслеты, за ней следует почтительный кортеж: ювелир, гримерша, обувщик, парикмахер и два сценографа.

Ей хочется вблизи увидеть танец Синтии.

– В сцене Прекрасные Фрукты Франции!..

Она замечает Синтию. Та стоит за подставкой для софита, в напряженном внимании, уже одетая для выхода, нервно пощелкивая своими тонкими пальцами. У нее пока нет никаких перстней... Лишь девственного отлива кожа, бледная и свежая.

Ида испытывает мгновенную радость, наблюдая в профиль твердую челюсть Синтии, разработанную жевательной резинкой. Но рядом с Синтией вьется Симон. Он кажется озабоченным и втайне довольным. Как же хорошо Иде знакомо это выражение его лица... Она читает его мысли по глазам. Уже столько лет они идут рука об руку. Она прекрасно его знает. Он сделал ставку на эту девочку: ему необходимо, чтобы сегодня вечером у нее был успех. Он потирает руки, еле заметно трясущиеся от возбуждения, страха и надежды. Его рот постоянно кривится, иногда он сухо цокает языком, как будто подбадривает скаковую лошадь. Легонько похлопывая стройные голые ножки, он тихо бормочет:

– Good gal...

– А я? – думает Ида. Сквозь стиснутые зубы она бормочет, как заклинание:

– У меня есть деньги, драгоценности, изумруды... Американские ценные бумаги, земли, дома, все, что было приобретено упорством и выносливостью... Я – Ида Сконин, королева мюзик-холла... (Королева?... Но столь же одинокая и покинутая, как и раньше...)

У нее сильно бьется сердце и время от времени кажется, что оно трепещет и стучается о щит ее плоти, как будто красивая и совершенно новая грудь сузила ее грудную клетку. Как трудно поднимать голову, улыбаясь, удерживать на лбу множество эгреток, протягивать руку для поцелуя, равнодушно ронять с накрашенных губ:

– Эта девочка совсем не плоха... Когда я увидела, как она танцует, я потребовала, чтобы Симон взял ее в труппу...

Пройдя мимо нее, Синтия выскакивает на сцену. В ноздри Иды ударяет сильный запах вульгарных духов, – она вздрагивает и откидывает голову. Но под слоем эмали никто не замечает ее бледности. Она поднимается, подается вперед, смотрит.

Ни длинных бус, ни перьев, ни жемчуга, ни искусно обнаженных частей тела; между софитами появляется худая девушка с тренированными мускулами. Как она танцует... Ее быстрые ножки едва

касаются пола. С тяжелым сердцем Ида Сконин вспоминает громы-ханье, которое уже несколько лет сопровождает каждый ее шаг по сцене. А ведь она худая. Это ей хорошо известно: каждое утро она в этом убеждается, вставая на весы. Массаж и уход, конечно, вносят свой вклад, но невзирая на них, годы наполнили ее тело невидимой вязкой жидкостью, которая как будто тянет ее к земле, стремится пригвоздить к полу. О, божественная легкость молодости...

А эта Синтия как будто летает. Она воздушная и хрупкая. Ида уже не замечает ее квадратную челюсть, холодные глаза. В какое-то мгновение ей удастся увидеть ее в перспективе из темного зрительного зала, откуда видна красивая обнаженная женщина в свете прожекторов. Черт лица издалека не разглядеть. Оттуда совсем не важными оказываются намалеванные щеки, красный рот, рыжие волосы, короткие и гладкие... Затаив дыхание, зрители следят за тем, как она кружится и мечется, подобно язычку пламени; ее голые ноги, длинная обнаженная спина, небольшая совершенная грудь не внушают желания, а скорее нечто вроде влюбленного изумления, которое мужчина испытывает перед прекрасной стальной машиной, точной и блестящей.

За спиной Иды два парня в свитерах (электрики? рабочие сцены?) произносят вполголоса:

– Да это Модель-34, старик!

Другой колеблется, пытается выразить свою тоску, свое вожделение и восхищение и наконец томно тянет:

– Ах, Боже мой, какая сучка...

Ида машинально заламывает свои длинные белые руки, пропитанные кремом, пудрой, белым жиром, с огромными жемчугами, скрывающими маленькие подагрические узелки.

Но какой триумф!.. Какие аплодисменты поднимаются из невидимого зала, откуда доносится лишь глухой гул, похожий на рокот моря. Рядом с ней Симон утирает со лба пот и, как он это делает в непринужденную минуту, опирается на Дикрана, нежно прижимаясь к жирной груди армянина. Аплодисменты стихают, затем раздаются с новой силой: занавес вновь взлетает, сияющая запыхавшаяся Синтия опять выходит на поклон, широко улыбаясь.

Проходя мимо Иды, она открывает в победном смехе большой рот, обнажая свои длинные блестящие зубы, сверкающие, как акульи клыки.

– Один, два, четыре вызова, – тихо считает Симон, и его слова повторяет вся собравшаяся у него за спиной раболепная толпа:

– Два, три, четыре вызова, это невероятно...

И когда Синтия возвращается и закутывается в свой пеньюар, покрытый пятнами жирной помады и вазелина, вся свита, которая

окружала Иду, привыкшую к ее рокоту, шагам и голосам у себя за спиной, откатывает от нее, оставляя ее одну, и группируется вокруг новой звезды, как морская вода, бегущая от берега, чтобы слиться с новой сверкающей волной.

Но Симон взмахивает руками, кричит:

– Ваш выход, мадемуазель Сконин.

Ведь ему подводить итоги разыгрываемого матча, который должен, с божьей помощью, привлечь в его театр публику, как будто это бокс или петушиный бой.

Он думает:

– Это справедливо. Мы слишком долго держим наших старых звезд. Американцы правы: триумф, прибыль, затем нокаут – и к новому герою!.. А мы слишком добры...

Выпрямившись, Ида идет на сцену, и никому не приходит в голову, сколько силы и мужества ей требуется для того, чтобы управлять этим уставшим телом.

И вот она стоит на вершине золотой лестницы из тридцати ступеней, под ее ногами струится сверкающая дорожка. Собираясь начать спуск, она ждет первого звука оркестра. Эта минута тишины предусмотрена, подготовлена заранее, чтобы продемонстрировать ее во всей ее красе и дать публике время на привычные аплодисменты и приветственные возгласы:

– Ида Сконин!.. Bravo!..

Насладившись этим шумом, который в ее ушах звучит, словно небесная мелодия, она приподнимает руку, подавая знак, понятный лишь внимательному дирижеру, и музыканты начинают играть.

Но сегодня ее встречает странное молчание. Аплодируют наемные хлопальщики, да еще несколько вялых рук, затем все смолкает. Зал смотрит и думает: «Всегда одно и то же...»

Каждый все еще представляет себе двадцатилетнюю красавицу, которая так легко порхала по сцене. Мистическим образом они начинают прозревать. Конечно, эта женщина была красива, но... Какая же она старая, какой дряхлой она кажется сегодня вечером. Кто-то произносит:

– Нет, ну в самом деле, она не знает меры...

А Ида смотрит на них. Как и во все другие вечера на протяжении стольких лет за ярко освещенной рампой и темной пропастью оркестровой ямы она видит зал, погруженный в полутьму, прорезанный перекрестными лучами прожекторов. Блестки голубой пудры падают на голый, вытянутый, шишковатый, отполированный грушеподобный череп, окруженный венчиком из редких седых волос. Ледяные манишки в темноте отливают голубизной и сверкают, как снег.

Она разглядывает женщин и видит их спокойные, самодовольные лица, их массивные кольца мерцают тысячью огней в ложбинке на шее.

– Чего она ждет? – думает Симон, сперва с удивлением, затем с беспокойством, переходящим в тревогу, которая вызывает у него бледность и дрожь в конечностях. Но он старается себя убедить: – Ну не в первый же раз!.. Минутное колебание, слабость, затем она с собой совладает, и всё...

Но нет...

– Это не в первый раз, – упрямо повторяет Симон, дрожа, но не покидая свой пост, – уже случалось, что ее встречали прохладно, но всегда чистым усилием воли она брала над ними верх! Схватка ей по душе. Она... Но какой же усталой и слабой она кажется сегодня вечером...

Ее покрытое эмалью лицо неподвижно, как маска, но Симон ясно видит отяжелевшие колени, которые дрожат под прозрачным платьем.

Смешки, покашливания, приглушенный смех начинает пробегать по черной поверхности этой неразличимой массы, как рябь по воде.

Он смотрит на Иду с возрастающим беспокойством. Да нет, золотой шлейф чудесно примостился у ног звезды. Она не рискует упасть. Но как же она бледна, как она дрожит...

– Но чего же она ждет, черт возьми!.. – в отчаянии думает Симон.

Смех. Откуда-то из-под купола доносится голос:

– Ну же, мы на тебя уже достаточно поглазели!.. Двигайся!.. Хочешь, чтобы мы заняли твоё место?..

– Вот-вот, то, что нужно, – думает Симон, – галерка обожает ее дразнить, как быка, чтобы он ринулся вперед. Она всегда черпала удивительные силы в этих криках, в этих насмешках, которые несутся изо всех концов зала. Этот галдеж ее возбуждает.

Лихорадочно Симон пытается вспомнить один вечер в Чикаго, когда после града оскорблений она вышла победительницей. Пятнадцать лет тому назад... Да, пятнадцать лет... к сожалению.

Однако она вздрагивает и поднимает руку, преодолевая необъяснимую слабость. Раздается музыка. Она движется вперед.

– Все спасено, – думает Симон, чувствуя, будто он тает.

Но в тот момент, когда она собирается поставить свою знаменитую ножку с золотыми ноготками на вторую ступеньку, непонятно откуда раздается свист. Она продолжает идти вперед.

– Вот это хорошо, – шепчет Симон, опираясь на Дикрана, застывшего рядом с ним, – назад нельзя, а то все потеряно. Но меня пугает ее лицо... Взгляни, Дики, она не улыбается, черты застыли... Ах, Боже мой, Боже мой, какой же она вдруг кажется старой!.. Да с

такой рожей впору играть Федру, это просто невозможно!.. А на этих-то, на этих-то посмотри, уроды!..

Публика смеется. Видны белые запрокинутые лица, темные дыры распахнутых ртов. Смех усиливается, его раскаты сотрясают зал, как буря.

Она движется вперед. Сжав зубы, прикусив губу, которая начинает немного кровоточить, хотя она этого и не замечает. Тоненькая струйка крови течет на гладкую фарфоровую щеку, издалека напоминающая расплывшуюся косметику. Смех заметно усиливается.

Она напрягается. Это ничего. Гвалт. Ей это знакомо, как и всем. Она даже повторяет вполголоса пересохшими губами:

– Ну и что, просто галдеж!.. От этого еще никто не умирал!..

Никогда еще она не ощущала себя такой разбитой и больной. И никогда раньше, продвигаясь вот так под крики и зубоскальство, она не вспоминала...

Она думает:

– Лестница в порту...

И как только она позволила этому воспоминанию сложиться в картинку в глубине ее памяти, оно поднимается и накрывает ее, как волна. Никто об этом не догадывается. Но она больше не Ида Сконин, старая прожженная дама, разукрашенная и нагримированная, несущая на себе перья и жемчуга, знающая и любящая бурю и опасность.

Она – маленькая девочка в коричневом школьном платье, с двумя длинными косичками до пят, стоящая одним мартовским утром на старой каменной лестнице... Как и сейчас, радостные и злые крики «у-у-у-у» несутся со всех сторон. Внизу у лестницы орут школьницы с булыжниками в руках, и их смех сливается с шумом волн и с ветром:

– Вперед!.. Подожди немножко!.. Иди сюда!.. Иди туда!.. Ида, Ида, дочь...

Из-под ее ног между высоких портовых зданий бежит вниз белая лестница. Перед окнами сушится белье, его треплет ветер. Заходит солнце, отбрасывая на лохмотья алый отблеск. На мостовую упал цветочный горшок, прямо ей под ноги: красная герань, раздавленная и разорванная в клочья. Школьницы бегут к ней, вот-вот они до нее дотронутся. Они волокут за собой в пыли свои ранцы, растрепавшиеся космы бьются им о щеки. Бешеные порывы ветра сгибают их пополам, и каждая наклоняется на бегу, чтобы поднять камень. Первый день Иды в школе. Впервые в ее ушах раздаются слова: «Шлюха... Дом для матросов!..»

И когда она кричит, как другие: «Я маме пожалуюсь...», они начинают улюлюкать и приплясывать вокруг нее: «Маме!.. Своей маме!.. Слышите?.. Хозяйке Дома в Конце Набережной!..»

Ледяной ветер задувает ей под юбку. Вопли, рычание, угрожающий глухой шум моря, резкий свист, пронзительные крики сливаются в общий гул, который, как пощечина, бьет ее прямо в лицо – этого она никогда не забудет.

– У-у-у!..

Как и сейчас.

Публика забавляется. Галерка скандирует:

– Синтия!.. Синтия!.. Бис!.. Бис!..

В партере женщины повскакали на кресла с криками:

– Это нелепо!.. Но, в конце концов, они правы!.. Эта старуха смешна... Она не дает дорогу молодым!.. У-у-у, Ида!..

Громоздкие галоши шаркают по каменным ступенькам. Летят булыжники. У запыхавшегося ребенка кровь стучит в висках. В отчаянии она закрывает лицо руками и кричит:

– Что я вам сделала, подлые?..

Измученная старая женщина защищает лицо обнаженными руками, украшенными браслетами, и кричит:

– Подлецы!.. Что я вам сделала?..

Она падает и катится вниз до самой последней золотой ступеньки.

Прежде чем броситься к ней и узнать, жива ли она, Симон, который своей душой униженного еврея способен сочувствовать и многое угадывать, но который прежде всего остается продюсером звезд, бросает Дикрану:

– Запри Синтию в ее гримерке!.. Все остальные подонки пусть подождут!.. Подпиши с ней контракт по крайней мере на три года!.. И осторожно с деньгами, руки у нее загребушие.

Париж, 1934

Публикация, перевод с французского – Мария Рубинс

© Мария Рубинс

Л. М. Савелов

Эвакуация

О НАСЛЕДИИ Л. М. САВЕЛОВА В ЭМИГРАЦИИ

К 150-летию со дня рождения

12 мая 2018 года исполнилось 150 лет со дня рождения знаменитого русского генеалога, литератора, библиографа Леонида Михайловича Савелова. Неутомимая энергия и высокие организаторские способности позволяли Леониду Михайловичу совмещать ответственную государственную службу с его научной и литературной деятельностью. Огромное творческое наследие оставлено неутомимым исследователем русской старины в российских архивах и библиотеках.

С первых дней жизни в эмиграции в Греции Савелов начал объединять единомышленников, создав Монархическое общество и научно-литературный кружок в Афинах; он становится председателем греко-русского Пушкинского комитета. В 1933 г. Савелов издает фундаментальный труд «Древнее русское дворянство». В 1934 г. Леонид Михайлович начинает выпускать генеалогический журнал «Новик» и публикует исторические статьи и заметки в русской эмигрантской периодике. С переездом в США его энергия направляется на создание генеалогического Русского историко-родословного общества.

В 1943 году к 75-летию Л. М. Савелова княгиней Любовью Николаевной Щетининой был составлен библиографический указатель «Литературные труды Леонида Михайловича Савелова (Савелова-Савелкова)», включающий в себя изданные книги, статьи и очерки известного генеалога с 1915 по 1942 гг. и с января по 13 мая 1943 г.¹ В свою очередь, Леонид Михайлович о своей близкой знакомой и единомышленнице восторженно писал: «...к счастью, среди общего отрицания и пренебрежения к прошлому, сохранились еще отдельные лица, которые 'историю ведают, старину ценят и не пресмыкаются перед настоящим', и сохраняют в себе культуру ушедших поколений, и эти одинокие лица светят среди тьмы, окутавшей современный мир, как небольшие звездочки, горящие на темном небосклоне, и мы должны позаботиться, чтобы имена их сохранились в памяти людей <...> Такие светлые точки мы находим и среди русской эмиграции, заброшенной в далекую Америку. Для начала назову княгиню Любовь Николаевну Щетинину (ур. княжна Щетинина, из Ярославских князей, потомков Рюрика)»². Благодаря труду княгини Л. Н. Щетининой, становятся известными многие события из научной и литературной деятельности Л. М. Савелова за долгие годы его

жизни вдали от России. Прежде всего это относится к воспоминаниям Леонида Михайловича, написанию которых он уделил особое внимание.

Касаясь темы воспоминаний Л. М. Савелова, Любовь Николаевна Щетинина сообщала следующее: «Переписка Л[еоида] М[ихайловича] за время 1917 по 1937 г. передана им в Пражский русский исторический архив, которому он продал право издания его 'Воспоминаний', им передан в этот архив черновой экземпляр, но беловая рукопись со многими портретами находится пока у него, ее участь Леонид Михайлович никак не может решить <...>»³. Здесь необходимо отметить, что «беловая рукопись» «Воспоминаний» Л. М. Савелова была передана им в Русскую Дворянскую Ассоциацию в Нью-Йорке и насчитывает 455 страниц рукописного текста. Автор назвал свой труд «Воспоминания генеалога». Рукопись этих воспоминаний хранится в архиве Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле.

В кратком предисловии Леонид Михайлович писал: «Четвертый или пятый раз берусь я за свои воспоминания и каждый раз эти воспоминания кончают свое недолгое существование в печке – возможно, что эта участь постигнет и эти, во всяком случае, о прожитых шести десятках лет. Мы живем теперь в период всевозможных воспоминаний и мемуаров, особенную массу их вызвала революция <...>»⁴. Л. Н. Щетинина, продолжая тему воспоминаний Леонида Михайловича, также сообщала, что: «...его 'Воспоминания' за время эмиграции (на машинке) также ожидают своей участи, они им не закончены»⁵.

Машинописная копия эмигрантских воспоминаний Л. М. Савелова и имеет название «Воспоминания в эмиграции (Греция – Югославия – Греция)»⁶. Первая часть их начинается с главы «Эвакуация», но в машинописном тексте из архива Русской Дворянской Ассоциации сохранилась только первая страница этой главы. Позже мне удалось выяснить, что Леонид Михайлович напечатал без указания места издания и даты брошюру «Из моих воспоминаний 1914–1920 гг.»⁷. Текст этого труда состоит из нескольких глав, которые составлены из личных воспоминаний автора о Москве в первый год Первой мировой войны, о событиях 1917 года, о жизни в Ялте в 1920 году. Завершает публикацию Л. М. Савелов главой «Эвакуация».

Творческое наследие Л. М. Савелова в эмиграции, сохранившееся в напечатанном виде во многих русских зарубежных периодических изданиях, еще предстоит изучить и оценить. Ряд публикаций на страницах «Нового Журнала», посвященных юбилею знаменитого ученого, позволит обогатить знания об оставленных им в наследие многочисленных исследованиях по генеалогии российского дворянства и казачества, его литературных произведениях, а также о деятельности многих исторических и научных организаций, которые Савелов создал за время своей жизни в изгнании.

Ниже мы предлагаем главу «Эвакуация» из «Воспоминаний» Л. М. Савелова, хранящихся в архиве Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле в фонде Русской Дворянской Ассоциации. Текст оригинала

напечатан по новой орфографии с сохранением некоторых особенностей стиля автора.

Андрей Любимов, Джорданвилль

1. Княгиня Л. Н. Щетинина. Литературные труды Леонида Михайловича Савелова (Савелова-Савелкова). – Бриджпорт. 1943. Данный библиографический указатель напечатан на машинке по старой орфографии и не предназначался для издания; Holy Trinity Orthodox Seminary Archive. Russian Nobility Association Library and Archives. Temporary Box 40. Folder 1. Княгиня Любовь Николаевна Щетинина (1865–1947) в США поселилась в г. Бриджпорт, шт. Коннектикут. Владела магазином русской книги. Похоронена на Польском Национальном кладбище святого Иосифа на русском участке в г. Стратфорд, шт. Коннектикут.

2. Holy Trinity Orthodox Seminary Archive. Leonid Mikhailovich Savelov Papers, 1892–1992. Box 1. Folder 13.

3. Holy Trinity Orthodox Seminary Archive. Russian Nobility Association Library and Archives. Temporary Box 40. Folder 1.

4. Holy Trinity Orthodox Seminary Archive. Leonid Mikhailovich Savelov Papers, 1892–1992. Box 1. Folder 12.

5. Holy Trinity Orthodox Seminary Archive. Russian Nobility Association Library and Archives. Temporary Box 40. Folder 1.

6. Ibid. Folder 3.

7. Ibid. Folder 2.

* * *

Несется благовест... Как грустно и уныло
На стороне чужой звучат колокола.
Опять припомнился мне край отчизны милой,
И прежняя тоска на сердце налегла.

К. Р.

Стояла дивная Крымская осень – ничто как будто не предвещало надвигающейся катастрофы. Ялтинский «Осваг»¹ говорил о неприступности позиций, защищавших подступы к полуострову, и публика верила этим заведомо неверным сведениям. Но со середины октября 1920 года поплыли зловещие слухи о ненадежности «Акманайских» позиций², но к ним публика отнеслась не особенно доверчиво, больше доверяя сообщениям властей, и жизнь в Ялте протекала сравнительно спокойно, хотя цены на все возрастали с каждым днем и английский «фунт» к концу октября дошел до 500 тысяч рублей; наша семья, состоявшая из пяти человек, живя впроголодь, тратила в месяц 800 тысяч, причем я был еще в лучшем положении, чем многие другие, т. к., будучи председателем Ялтинского отдела «Комитета скорой

помощи Добровольческой Армии», пользовался некоторой скидкой в ресторане, устроенном «Комитетом».

Наконец, в самом уже конце октября была объявлена эвакуация, заставшая всех врасплох. Начали составлять по организациям списки, публика заметалась, особенно та ее часть, которая не входила ни в какую организацию. Мне, как председателю организации, созданной для помощи Добр[овольческой] Армии, члену Главного Совета Народно-Государственной партии (монархической) и управляющему ее делами, оставаться в Ялте было, конечно, совершенно невозможно. Я с семьей получили билеты на пароход «Крым», но появилась конница генерала Барбовича³ и нам переменили пароход, и мы попали на «Константина». Хаос при посадке был невероятный. Посадка происходила 31 октября, каждый боялся остаться, и толкотня увеличивала еще больше общий беспорядок метавшейся публики, которому содействовали и распоряжения военных властей, которые не умели справиться с наседавшей публикой, охваченной уже паникой, которой способствовали всевозможные слухи, распространяемые прибывшими с фронта войсками.

Мы устроились на палубе. Среди невольных пассажиров «Константина» оказалось немало знакомых (семья князя Павла Борисов[ича] Щербатова, семья Дмитр[ия] Никол[аевича] Петрова, князь Ник[олай] Серг[еевич] Путятин, известная киевская артистка Ал[ексан]дра Вас[ильевна] Дарьял и др.⁴) Между прочим, я хотел увезти все денежные книги и пишущую машинку Комитета, которые были уложены в отдельный сундук, который находился уже на молу, но погрузить его не удалось из-за всеобщей суматохи и спешки, и все это пришлось оставить на молу, и только в последнюю минуту я успел бросить ключи от сундука члену правления Комитета Козлову⁵, оставшемуся в Ялте и, кажется, расстрелянному большевиками со всеми членами Комитета. Спешка была такая, что мы не успели взять у прачки наше белье. Надо заметить, что было объявлено о разрешении взять с собой минимальное количество вещей, что было исполнено лишь наивными людьми, другие же взяли все, что только могли, так, например, заведывающий кооперативом Народно-Гос[ударственн]ой партии Кушнырь-Кушнарев⁶ вывез все имущество кооператива, что, конечно, весьма помогло ему в первое время эмигрантской жизни; я же оказался в числе наивных и оставил даже свои книги, которых теперь так не хватает мне на чужбине.

Ночью «Константин» перешел на мол. Настало последнее утро на родине; освещенная взошедшим солнцем красавица Ялта как бы замерла в ожидании грядущих событий, когда широкой волной полилась кровь русских людей, проливаемая по приказу Бела Куна, неистовавшего в Крыму.

Раздался благовест (1 ноября приходилось в воскресенье) — казалось, родина прощалась с нами и посылала нам свое благословение. В 10 ч[асов] утра 1 ноября караван судов двинулся в путь, увозя в «неведомое» русских людей, бегущих от русских же людей, соблазнившихся райским житьем под властью еврейского интернационала.

Долго стояли мы и прощались с родиной, которую многим из нас, конечно, не придется увидеть вновь, найдя вечный отдых на чужбине. Когда из глаз скрылась Ялта и родные берега, начались поиски наших вещей, разбросанных при суматохе по всей палубе; один из наших чемоданов попал на нос, где была размещена Ялтинская Комендантская команда, чемодан я нашел в гряде вещей, но содержимое было уже украдено, в том числе костюмы жены и мой портфель с письмами, карточками и др[угими] вещами, дорогими для меня, но не для вора. Я заявил о краже коменданту парохода, но никаких мер к розыску вещей принято не было.

По приходе в Константинополь стали на якорь в Мраморном море. Начались толки о дальнейшей судьбе, составлялись списки, кто куда желает попасть, — все это было, конечно, ни к чему, наша судьба была в руках людей, которых наши желания нисколько не интересовали, меньше всего интересовала наша судьба наших бывших союзников, для которых мы являлись лишь неприятной обузой. Я, конечно, мечтал о Египте, но это было только мечтой. Наконец нам объявили, что Румыния берет часть эмиграции на свое иждивение, что для нас приготовлены гостиницы со всеми удобствами. 13-го ноября «Константин» направился в Констанцу, по приходе в которую мы сторяча послали благодарственные телеграммы румынским властям и, если память не изменила, королеве, вперед предвкушая райское житье в румынских гостиницах, но действительность оказалась совершенно иной, — началось с того, что нам не разрешили сойти на берег и поставили часового, чтобы наблюдать за нами. Единственно, чем румыны проявили свою любезность, — это был даровой хлеб, правда из затхлой муки, но т. к. он был даровой, то и за это надо было быть благодарными. Неопределенное положение продолжалось 4 дня. 18 ноября на пароходе появились командир порта и губернатор, наговорившие массу любезностей, но попросившие нас убираться из Румынии, что мы и сделали в тот же день вечером. Ночью шли мы с потушенными огнями, боясь появления на пути большевиков, и на следующий день были опять в Константинополе, для чего необходимо было получить разрешение от французского командования; [я] побывал у архиепископа Анастасия⁷ и получил разрешение на помещение нас в общежитие, которым мы не воспользовались и, вероятно, к счастью. Неожиданно на мосту через Золотой Рог я столкнул-

ся с мужем моей сестры Иос[ифом] Валер[ьевичем] Созентовичем и с гр[афинею] М... Чернышевой-Безобразовой⁸, которая помогла мне разменять чек на 5 англ[ийских] фунтов, который никто не хотел брать, а это было мое единственное достояние.

Затем начались переводы нас с одного парохода на другой, сначала на «Херсон», затем на турецкий, где мы лично были помещены хорошо.

Наконец нам объявили, что везут нас в Грецию, которая согласилась принять 1000 «избранных», и мы перешли на французский пароход «Аргентину». С нами ехал генерал Томилов, назначенный комендантом Салонникского лагеря, куда нас и направили.

5-го дек[аб]ря вечером «Аргентина» снялась с якоря, и мы двинулись в путь. Потянулись унылые берега Мраморного моря, прошли мимо Сан-Стефано с его русским «братским» кладбищем; проходя мимо французских кл[адби]щ на Галиполийском полуострове, все русские военные были выстроены на палубе и отдали честь павшим союзникам, своим же братьям делать этого, очевидно, не стоило, — ведь они — русские.

Помещались мы в трюме и в довольно-таки скверных условиях, но к нашей небольшой группе (ген[ерал] Теплов⁹, семья Петровых и мы) относились с большим вниманием и накануне прихода в Салоники устроили нам прощальный обед, прошедший очень сердечно.

11/24 дек[аб]ря мы были уже в Салоникской бухте, и была спущена на берег 1-ая партия, на следующий день нам дали рано утром обед в 9 ч. Началась высадка нашей партии. Предстояла дезинфекция наших вещей и баня для нас, о которой мы мечтали, т. к. пробывши на различных пароходах в ужасных условиях, покрытые насекомыми, с которыми большинству пришлось встретиться впервые.

Дезинфекционная камера и «баня» были устроены тут же, на берегу, заведывал всем этим «директор», говоривший по-русски. В опустошенный нашими русскими спутниками чемодан мы сложили все меховые вещи, кодак и все, что могло испортиться от дезинфекции. Я попросил «директора» этот чемодан не отдавать в дезинфекцию, он обратил внимание на висевшую на нем мою карточку, на которой было обозначено мое придворное звание и должность во время войны (представитель Верховн[ого] Нач[альни]ка Санитар[ной] части), спросил меня: «Это Ваша карточка [?]», я ответил, что моя. — «Так не беспокойтесь, все Ваши вещи не пойдут на дезинфекцию, а Ваш чемодан будет стоять здесь», при этом указал место, охраняемое часовым. Затем мы направились в «баню», предвкушая удовольствие смыть с себя грязь, накопившуюся за 1 1/2 месяца пребывания в трюмах различных пароходов с непрошенными «обитателями», в большом количестве насе-

лявших наши тела. Сразу же началось наше разочарование: в раздевальной скамеек не было, пришлось раздеваться на полу, все наше платье сейчас же было забрано, а мы отправились в «баню», воды долго не подавали, шаек не было, приходилось мыться под кранами, наконец вода пошла – оказался крутой кипяток, который сменился ледяной водой, – в результате, промучившись часа два, мы вышли из «бани» такими же грязными, какими пришли. В одевальной была одна скамья, но пол был покрыт на вершок жидкой грязью, и когда принесли наши одеяния, то их выворотили прямо в эту грязь, началась разборка вещей – один кричит: моих штанов нет, другой не находит чего-либо другого из своего туалета, а к довершению этого стоял собачий холод, т. к. дверь нельзя было закрыть и она оставалась полузакрытой, а в декабре в Салониках бывает обычно очень холодно, особенно когда дует северо-восточный ветер. Наши вещи, к счастью, оказались налицо, и даже уцелела часть их обитателей. Но еще большее разочарование ожидало меня после «бани»: нашего чемодана не оказалось, хотя часовой продолжал его охранять. На мой вопрос «директору», куда девался мой чемодан, он ответил, что не надо беспокоиться, что в эту же ночь он будет найден, но чтобы я об этом никому не говорил, чтобы не спугнуть вора. В результате чемодан так и остался у вора.

Кончились наши мытарства уже ночью в 11 ч., на грузовиках нас отвезли в лагерь, голодных и холодных, мы не ели с 8 ч. утра, т. е. 15 часов. Упустивши из виду, что мы не в России, мы мечтали о горячем чае, но нас ожидало полное разочарование: мы получили по одной копченой рыбе и апельсин. Легли спать не раздеваясь, т. к. все были помещены в бараках, мужчины и женщины вместе. Через два дня мы перешли в другой барак, где мы поместились с семьей Петровых, отгородившись друг от друга одеялами, которые были выданы в большом количестве.

Началась наша лагерная жизнь под начальством французского консула и какого-то «директора» – французского поляка или польского француза, а вернее всего – «жида из Гомель-Гомеля». Начальство наше держало себя довольно-таки заносчиво и при каждом случае грозило выселить из лагеря, наш же милейший и симпатичнейший командант, ген[ерал] Томилов¹⁰, был бессилен, с ним власти не считались. Объявили нас в карантине и запретили выходить за проволоку, которой был обнесен лагерь, даже в лагере была черта, указанная небольшими ямками, переступать которую было запрещено. Карантин продолжался недолго, и в январе нас выпустили на свободу. Кормили вначале в общем недурно, но продолжалось это недолго, постепенно паек сокращался, пока не прекратили выдачу совсем. Началась продажа того, что вывезли из России, пошло все, конечно, за гроши; начались поиски

работы, что было нелегко, но все же часть кое-как устроилась. Зима проходила нелегко, стояли холода, в нашем бараке замерзала вода, спали не раздеваясь, начались болезни, но местная малярия некоторое время никого еще не тронула, она началась лишь летом 1921 г. В нашей семье первой заболела дочь Лена, и заболела так, что мы не надеялись на благополучный исход, ее спас только переезд в Афины; вторым заболел я, и очень тяжело. Моя болезнь затянулась на несколько лет и вызвала наш переезд в Югославию. Среди населения лагеря находилась ряд генералов, во главе с бывшим командующим Кавказской армией Пржевальским¹¹, которому, к стыду наших союзников, пришлось служить ночным сторожем на каком-то заводе, а его весьма немолодая жена смазывала в арсенале ружья. Ген[ерал] Пржевальский был назначен председателем дисциплинарного суда, я же – членом. Этот суд мало кем признавался, это была какая-то детская игра, т. к. своих приговоров мы не имели возможности приводить в исполнение. В соседнем с нами бараке жила семья б[ывшего] Задонского (Ворон[ежская] г[уберния]) пред[седате]ля дворянства Ал. Ал. Савельева¹², находившаяся в очень тяжелом материальном положении. Выехали они из своего имения на лошадях, выгнанные большевиками, на Дону их ограбили казаки, и добрались они до Новороссийска едва ли не пешком и без каких-либо вещей. Сам С[авелье]в зарабатывал гроши, копая ямы для деревьев, его жена служила в лагерной кухне судомойкой, два их сына служили в какой-то лавочке. У них не было ни платья, ни белья, спали на грязных тюфяках без простынь. Я помнил А[лександра] А[лександровича] молодым человеком, всегда элегантно одетым, теперь же он был похож на нищего, умер он в Салониках, а семья перебралась, кажется, в Сирию. Дальнейшей их судьбы я не знаю. Жила в лагере и поэтесса Столица¹³.

Весной 1921 г. я организовал Монархическое Об[ществ]о, куда сразу же вошло 88 человек. Совет составили: я (пред[седате]ль), Леонид Гавр[илович] Жохов (секретарь), члены С[ове]та: Бор[ис] Федор[ович] Лебедев[ич]-Драевский, ген[ерал] Влад[имир] Никол[аевич] Попов и Бор[ис] Ив[анович] Бессеребренников¹⁴. Я объявил об основании Об[ществ]а в Глав[ный] Монарх[ический] Совет и получил от него сообщение, что в Афинах существует уже Мон[архическ]ое Объединение, – с советом списаться с ним. Одновременно с этим я получил письмо из Афин от Л[ео]нида Ал[ександровича] Сенько-Поповского¹⁵, с которым я познакомился в Новороссийске в 1919 г., где он был вице-губ[ернаторо]м, а затем городским головой. Меня приглашали в Афины, чтобы сговориться о слиянии салоникского Мон[архического] Об[ществ]а с афинским. В августе я поехал в Афины и остановился у секретаря Королевы Ольги и, в то же время, директора

русской больницы в Пирее Мих[аила] Юрьев[ича] Гаршина¹⁶. Наши переговоры кончились на том, что с[алоникс]кое Об[щест]во вошло в афинское как его отдел. Кроме того, меня уговорили перебраться с семьей в Афины, обещая меня устроить, что мы и сделали.

Вернувшись из Афин, мы сейчас же начали готовиться к отъезду, что было нетрудно, т. к. багаж наш был весьма незначительный. Мы с особой радостью покинули беженский лагерь, где жизнь проходила слишком уж на глазах всех, от непроходимой скуки возникали сплетни, которые стали затем одной из особенностей беженской жизни.

В сентябре мы перебрались на новое место, больную дочь мы довели еле живую и поместили ее в Пирейском русском госпитале. Перемена климата быстро сказалась, и скоро она стала совершенно на ноги.

Дочери поселились в Афинах, где можно было найти какую-нибудь работу, а мы с женой устроились в Новом Фалеро, но это место оказалось совершенно неподходящим для меня, захватившего жестокую малярию; не проходило месяца, чтобы меня не отвозили в пирейский госпиталь, – пришлось перебираться опять, мы поселились в предместье Афин.

Скоро я получил место инспектора и преподавателя истории и географии в Афинской русской женской гимназии. Был избран председателем Монархического Объединения и назначен представителем парижского Земгора, был также членом совета при представителе Лиги наций, которая, впрочем, ничем себя не проявляла.

Малярия меня не покидала, и в 1923 году мы с женой и дочерью Леной уехали в Югославию, где я проболел еще целый год. В 1925 г. дочь уехала во Францию, а в 1926 г. мы с женой вернулись в Афины, где оставалась дочь Ариадна, младшая же дочь Вера в 1923 г. уехала в Америку¹⁷.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ОСВАГ (Осведомительное Агентство). Информационно-пропагандистский орган Добровольческой армии, основанный ген. А. И. Деникиным.
2. Имеется в виду Ак-Монайский перешеек Керченского полуострова, где происходили бои во время Гражданской войны в 1919 г.
3. Барбович Иван Гаврилович (1874–1947). Генерал-лейтенант. Род. в Полтавской губернии в дворянской семье. Участник Первой мировой войны. С начала 1919 г. в рядах Добровольческой армии. В эмиграции в Югославии и Германии. Умер в Мюнхене.
4. Щербатов Павел Борисович, князь (1871–1951). Полковник. Личный адъютант Великого князя Николая Николаевича. В эмиграции в Греции, затем в Бельгии. В 1929 г. назначен секретарем Комитета по сооружению храма-

памятника Иова Многострадального в Брюсселе. Женат на княжне Анне Владимировне, урожд. Барятинской. Петров Дмитрий Николаевич (1862–1941). Генерал-майор. Участник Первой мировой войны. В эмиграции в Греции. Затем жил в Бельгии. Скончался в Брюсселе. Путятин Николай Сергеевич, князь (1862–1927). Контр-адмирал. В 1918–1920 гг. в рядах Белой армии. В эмиграции в Греции. Затем жил во Франции. Умер в Париже. Дарьял Александра Васильевна (наст. фам. Демидова), драматическая актриса. Умерла в 1932 г.

5. О Козлове сведения не найдены.

6. Кушнырь-Кушнарев. Очевидно, речь идет о Григории Ивановиче Кушнырь-Кушнареве (1884, Харьков, – ?). Титулярный советник, чиновник, активный участник Академического движения, член Русского Собрания (РС) и Главной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила Архангела (РНСМА). Окончил Санкт-Петербургский Лесной ин-т. Участвовал в студенческих беспорядках, лидер правого движения. Был одним из организаторов и членом президиума Первого Всероссийского Академического студенческого съезда. Как активист Академического движения, дважды представлялся Императору Николаю. В 1916 был членом Главной Палаты РНСМА. В годы Первой мировой войны возглавлял «Общество по борьбе с дороговизной». В апреле-мае 1917 г. совместно с супругой допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства в качестве свидетеля при расследовании деятельности правых партий. Дальнейшая судьба неизвестна, однако «Воспоминания» Савелова позволяют проследить его судьбу до 1920 года, до момента эвакуации (ранее в словарях смерть Г. И. Кушнырь-Кушнарева датировалась предположительно 1917-м).

7. Митрополит Анастасий (в миру Александр Алексеевич Грибановский, 1873–1956), архиепископ Кишиневский и Хотинский. В эмиграции митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, один из организаторов и глава Русской Православной Зарубежной Церкви. Погребен в Св.-Троицком мужском монастыре, Джорданвилль, шт. Нью-Йорк.

8. Созентович Иосиф Валерианович (1868–?). Полковник. Участник Русско-японской войны. Чернышева-Безобразова – по всей видимости, речь идет о графине Марии Николаевне Чернышевой-Безобразовой (урожд. княжне Щербатовой), 1877–1977. Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.

9. Теплов Владимир Владимирович (1861–1924). Генерал-лейтенант. Участник Первой мировой войны. После 1917 г. в Белой армии. В эмиграции в Константинополе, Югославии, Франции.

10. Томилов Петр Андреевич (1870–1948). Генерал-лейтенант. Участник Первой мировой войны. С 1918 г. в Добровольческой армии. В эмиграции во Франции. Скончался в гор. Ницца.

11. Пржевальский Михаил Алексеевич (1859–1934). Генерал. Двоюродный

брат знаменитого путешественника Н. А. Пржевальского. Во время Первой мировой войны командовал Кавказским фронтом. С 1918 г. в рядах Белой армии. После оставления Крыма жил в Югославии. Умер в Белграде.

12. Савельев Александр Александрович, предводитель дворянства Задонского уезда Воронежской губернии. Умер в 1925 г. в Салониках (Греция). Погребен на городском кладбище.

13. Столица Любовь Никитична (урожд. Ершова, 1884–1934). Поэтесса, прозаик. Родилась в Москве. С 1906 г. начала публиковать стихи в журнале «Золотое руно». Автор сборников стихов, пьес. В эмиграции в Греции, затем в Болгарии.

14. Жохов Леонид Гаврилович (1896–1972). Из рода дворян Жоховых, занесенных в Родословные книги Костромской и Ярославской губ. Л. Г. Жохов служил в гор. Кологриве Костромской губ. земским начальником, коллежским асессором. В эмиграции в Греции, Австрии, Германии, затем в США. Оставил после себя литературные произведения, изданные в США: «Лесные рассказы», «В усадьбе», «Быль прошлой жизни». Похоронен на Успенском кладбище Св.-Троицкого монастыря в Джорданвилле, шт. Нью-Йорк. Лебедев-Драевский Борис Федорович (1894–1934). Адъютант-капитан. Входил в Союз русских офицеров в Салониках (председатель – генерал-лейтенант Федор Дмитриевич Лебедев-Драевский). Других сведений нет. Попов Владимир Николаевич, генерал (1874, ст. Кочетовская, –?). Генерал-лейтенант. Командир бригады 5-й Кавалерийской дивизии. В 1920-м – в резерве Донского корпуса. Член Дона, ВСЮР и РА. В эмиграции в Греции. Член Общества русских монархистов в Греции, затем в Югославии. Бессеребренников Борис Иванович, ротмистр (1883–?). Сведений нет.

15. Сенько-Поповский Леонид Александрович (1885–1931). Служил в Петрограде, в 1916 был назначен вице-губернатором Черноморской губернии. Последний городской голова Новороссийска. В эмиграции в Греции, затем в Германии. Жил и умер в Гамбурге.

16. Гаршин Михаил Юрьевич (1882–1942). Морской офицер, капитан I ранга. Секретарь Вдовствующей императрицы Ольги Константиновны (1851–1926). Автор книги «Королева эллинов Ольга Константиновна» (Прага, 1937).

17. Савелова Елена Леонидовна (1896–1986). В эмиграции жила во Франции. Была замужем за Борисом Васильевичем Мильцыным (1892–1973). Савелова Ариадна Леонидовна (1898–1969). Замужем за коллежским асессором Василием Анастасиевичем Бессмертным (1888–1985). Жили в г. Анн-Арбор, шт. Мичиган, США. Похоронены на кладбище «Forest Hill». Савелова Вера Леонидовна (1902–1995). Переехала в США и вышла замуж за Иллариона Илларионовича Бибилова (1900–1952). Жили в окрестностях Детройта, шт. Мичиган. Похоронены на кладбище «Гленвуд».

А. П. Богаевский

1918. Воспоминания

Африкан Петрович Богаевский (1872–1934) – последний Атаман, выбранный на Донской земле.

Родился А. П. Богаевский 27 декабря 1872 года в казачьей семье в станице Каменской. В 1890 г. окончил Донской Императора Александра III Кадетский корпус; в 1892 г. стал юнкером Николаевского Кавалерийского училища. Вышел хорунжим в Лейб-Гвардии Атаманский полк. В 1900 г. окончил с отличием Николаевскую Академию Генерального Штаба, причислен к Генеральному Штабу и назначен на службу в Петербургский военный округ, где он и служил в течение 1900–1914 гг.

Первая мировая война застала его в должности начальника Штаба 2-й Гвардейской Кавалерийской дивизии, с которой он и выступил на фронт. С 13 октября 1914 года по 14 января 1915 года командовал 4-м Гусарским Мариупольским полком, затем до октября 1915 года – Лейб-Гвардии Сводноказачьим полком. В сентябре 1915 года был зачислен в свиту Его Величества, с октября 1915-го до 7 апреля 1917-го. был начальником Штаба Походного Атамана всех Казачьих войск Великого Князя Бориса Владимировича. На этом посту оставался до революции.

В апреле 1917 г. назначен начальником Забайкальской Казачьей дивизии, в августе того же года принимает командование 1-ой Гвардейской Кавалерийской дивизией, с которой остается до ее развала. По приказу Атамана Каледина уезжает на Дон, где с 5 января по 9 февраля командует Войсками Ростовского района. После падения Новочеркасска уходит с ген. Корниловым в 1-й Кубанский поход («Ледяной поход»), командуя сначала Партизанским полком (состоявшим преимущественно из донцов), а затем 2-й Пехотной бригадой.

После окончания Кубанского, похода по предложению Донского Атамана ген. Краснова, в мае 1918 г. занимает должность Управляющего отделом иностранных дел и Председателя Совета Управляющих отделами Правительства Всевеликого Войска Донского*. В августе 1918 г. Большим Войсковым Кругом за службу Дону был произведен в генерал-лейтенанты, а 6 февраля 1919 г. был выбран Войсковым Атаманом Всевеликого Войска Донского. Имел многочисленные ордена и знаки отличия, среди них – Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, 3-й ст. с мечами и 2-й ст., Св. Анны, 3-й ст., Георгиевское золотое оружие и Георгиевский крест 4-й ст. и др. Из иностранных орденов: Черногорского кн. Даниила 1-й, 3-й и 5-й ст., шведский орден Меча, персидский

Льва и Солнца 1-й ст., сербский Белого Орла, французский Командорский крест Почетного Легиона, английский Св. Георгия и Михаила 2-й ст.

После окончания Гражданской войны на юге России и эвакуации Крыма до ноября 1921 г. Атаман Богаевский находился в Константинополе, затем переехал в Софию, а в конце октября 1922 г. в Белград. Во время пребывания в Турции в апреле 1921 года в Константинополе по инициативе Богаевского был создан Объединенный Совет Дона, Кубани и Терека, в состав которого вошли три Войсковых Атамана и три председателя Войсковых правительств. Богаевский был всегда убежденным и последовательным сторонником общеказачьего объединения. А. П. Богаевским и председателем Правительства Н. М. Мельниковым была разработана Общеказачья программа, единогласно принятая ОСДКТ и всеми 188 общеказачьими организациями в 18 странах.

В ноябре 1924 г. Атаман переехал в Париж, где и скончался 21 октября 1934 года. Согласно документам, умер он «от болезни почек и сердца». Похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. После 2-й Мировой войны в военной казачьей среде установилась традиция в субботу накануне Войскового Праздника Покрова Пресвятой Богородицы на могиле Атамана А. П. Богаевского служить панихиду по всем погибшим и умершим казакам.

В данную публикацию вошли главы из книги «Воспоминания генерала А. П. Богаевского. 1918 год. 'Ледяной поход'» (Нью-Йорк: Изд. «Музея Белого движения» Союза первопоходников, 1963). Также предлагаем читателям впервые публикуемую рукописную Докладную записку А. П. Богаевского от 28 мая 1920 года о судебном деле казачьих генералов В. И. Сидорина и А. К. Кельчевского, обвиненных в казачьем сепаратизме (из личного архива Ю. А. Сандулова). Тексты печатаются по современной орфографии с сохранением прописных букв в указании военных званий и наименований, как это было принято в Добровольческой армии.

Юрий Сандулов

* Всевеликое Войско Донское (1918–1920) – республика, провозглашенная Кругом спасения Дона 18 мая 1918 г. после установления казаками контроля над Новочеркасском 10 мая 1918 г. ВВД было утверждено постановлением Большого Донского Круга 15 сентября 1918 г. Название предложил Атаман П. Н. Краснов, опираясь на историческое обращение к казакам в царских посланиях на Дон в XVII в.: «...ко всему Великому Войску Донскому».

НА ДОН

От Киева до Луганска. Арест в Луганске. Ст. Миллерово. Первые впечатления о казаках.

Пережив в Киеве тяжелую драму полного развала и бесславной гибели, без единого выстрела, 1-й Гвардейской Кавалерийской диви-

зии, которой командовал около четырех месяцев, я получил официальный отпуск на семь недель и 27 декабря 1917 года выехал на Дон, куда уже давно звал меня мой брат, помощник Донского Атамана Генерала Каледина – Митрофан Петрович Богаевский¹.

В это время большевики уже твердой ногой стояли у власти. Внешний боевой фронт быстро разваливался под умелым руководством главковерха прапорщика Крыленко, но зато создавались уже внутренние и одним из них являлся Донской фронт. С легкой руки Керенского, хотя он и отказывается теперь от этого, взваливая вину на Верховского, против Атамана Каледина и Донцов как контрреволюционеров были мобилизованы два округа, Московский и Казанский, и собранный таким образом довольно беспорядочный сброд запасных частей, с прибавкой дезертиров, был направлен на Дон. Правильного и решительного руководства этими ордами, по видимому, не было. Руководителям этого каинова дела как будто еще стыдно было идти войной на казачество, всегда бывшее оплотом России. Но, тем не менее, почти на всех дорогах к Донской области с севера и запада на ее границах уже второй месяц шли упорные стычки между большевиками и Донцами.

При таком положении проехать на Дон прямым путем из Киева было очень трудно. Поезда ходили крайне нерегулярно. Было много случаев, когда большевики захватывали их и расстреливали всех, кто казался им подозрительным.

Но другого выхода у меня не было, и я выехал в поезде, к которому был прицеплен вагон с какой-то кавказской делегацией, случайно попавшей из Петрограда в Киев и теперь возвращавшейся домой. Председатель делегации, молодой грузин, любезно предоставил мне диванчик в своем вагоне, и вскоре мы тронулись в путь.

Весь поезд был битком набит солдатами, частью отпускными, а главным образом дезертирами. Не говоря уже о внутренности вагонов, напминавших бочки с сельдами, всё это облепило вагоны со всех сторон, галдело, ругалось. Сидели на подножках, на крышах; вообще поезд представлял собою обычную для того времени картину путешествующего базара, какого-то Хитрова рынка на колесах.

После бесконечных остановок, а иногда и обратного движения, когда узнавали, что впереди большевики, добрались мы, наконец, через четыре дня до станции Волноваха и здесь узнали приятную новость, что все пути на восток разобраны, и поезд дальше не пойдет. Я собирался уже, было, вместе с несколькими офицерами, которые были в том же поезде, ехать на санях прямо на юг и перебраться по льду через Азовское море, но путь вскоре исправили, и поезд двинулся дальше. К вечеру пятого дня он неожиданно остановился среди

поля недалеко от Луганска. Навстречу шел паровоз с красными флагами, вооруженный пулеметами. Не доходя до нас около двух верст, паровоз остановился. В нашем поезде поднялся большой переполох. Наши дезертиры быстро составили летучий митинг и решили послать на разведку свой паровоз, украсив его тоже какими-то красными тряпками. Прошло несколько минут тревожного ожидания. Наш паровоз вскоре вернулся, и поехавшая на нем депутация рассказала, что только вчера на этот район совершил налет партизан Чернецов² со своим отрядом и на ближайшей станции повесил двух большевиков-рабочих. Местные большевики приняли наш поезд также за чернецовский и решили вступить в бой, выслав паровоз с пулеметами. Недоразумение выяснилось к общему удовольствию, и мы поехали дальше.

На станции Луганск я и все офицеры, бывшие в поезде (семь человек), были арестованы. Сначала нас переписал какой-то молодой человек, по-видимому офицер, с зеленым аксельбантом, но без погон, важно развалившись на стуле и не предложив никому сесть, а затем, под конвоем каких-то четырех ободранных молодых парней в солдатских шинелях, с винтовками, нас отправили в «штаб командующего войсками», помещавшийся в городском клубе. Пришлось идти около версты. Было уже темно, и это спасло нас от оскорблений со стороны рабочих, которые вначале на вокзале отнеслись к нам очень недружелюбно. Нас сопровождал какой-то старик рабочий, который почему-то проявил к нам удивительную доброжелательность и успокаивал, уверяя, что с нами ничего дурного не сделают.

Был уже второй час ночи, когда нас привели в «штаб». Здесь только что кончилась встреча Нового года, и городская публика почти вся уже разошлась, кроме довольно большой группы в вестибюле, из середины которой неслась неистовая трехэтажная ругань. По-видимому, готовилась драка, и зрители с удовольствием ожидали ее. Недалеко в стороне на лестнице стояла молодая девушка, которая в ужасе закрывала уши руками. Ее кавалер в толпе готовился вступить в бой. Занятая пьяным скандалом, публика не обратила на нас никакого внимания.

Нас провели в какую-то маленькую комнатку, где за столом сидел, подперев руками голову, очень мрачного вида рабочий, а на полу храпел совершенно пьяный солдат. После долгого ожидания здесь, во время которого рабочий, оказавшийся помощником коменданта, не пошевелился и не проронил ни одного слова, нас повели вниз в бильярдную, где и оставили в ожидании прихода коменданта, за которым побежал наш старичок, заявив, что «если он дрыхнет, то я вытяну его за ноги из постели». В бильярдной была невероятная грязь. На самом бильярде спал какой-то мужик, а в ногах у него другой что-то ел. В

комнату заглядывали какие-то субъекты. Один из них, белобрысый, парикмахерского вида молодой человек, заложив руки в карманы, подходил к каждому из нас и с большим участием расспрашивал, кто мы и куда едем. Ласковый тон и внимание, которое он проявлял к нам, заставили некоторых из нас поверить его искренности и рассказать ему, может быть, лишнее. Тяжелое положение, в котором мы неожиданно оказались, ожидание возможности не только тюрьмы, но, может быть, и расстрела – все это располагало к откровенности к человеку, который проявил в такой обстановке неожиданную любезность и участие. Однако очень скоро нас постигло жестокое разочарование: опросив всех, «парикмахер» отошел в сторону и, смерив нашу группу полным презрения и ненависти взглядом, выругал всех нас площадными словами и заявил: «Знаем мы вас, контрреволюционеров! Все вы к Корлядину едите! А вот доедите ли – это еще неизвестно...»

Невольно руки сжались в кулак при этом неожиданном и наглом оскорблении... пришлось молчать, затаив обиду. В это время только что приведенный стариком комендант начал по очереди вызывать нас в соседнюю комнату. С тяжелым чувством входил каждый из нас в эту комнату, где должен был решиться, может быть, вопрос нашей жизни и смерти. Но комендант – видимо, после хорошей новогодней выпивки, – был в добром настроении духа и никого не задержал. Когда очередь дошла до меня, он долго вертел мой отпускной билет, что-то вспоминая, и наконец сказал: «Богаевский... где я слышал эту фамилию?» Тогда один из двух рабочих, сидевших по обоим его сторонам, зло посмотрел на меня и сказал: «Да это, вероятно, родственник Богаевского, который у Калядина помощником». На вопрос по этому поводу коменданта я ответил утвердительно, добавив, что еду через Дон на Кавказ. Комендант, очевидно, последнему не поверил, и я пережил несколько очень жутких минут, когда он, насмешливо улыбаясь, молча вертел в руках мой отпускной билет. От одного его слова зависела моя свобода, а может быть, и жизнь... Но вдруг он решительным движением протянул мой билет и веселым тоном сказал: «Ну, Бог с вами. Езжайте к своему Калядину!»

Тяжелый камень свалился у нас с души... Комендант ушел вместе со своими двумя архангелами, а нас под тем же конвоем, в сопровождении радостно суетившегося старика рабочего, отправили обратно в свой вагон. Поезд с нашими дезертирами уже ушел: «товарищи» не захотели нас дожидаться, но все же были так милостивы, что вагон наш отцепили. После всего пережитого я с огромным удовольствием растянулся на своем грязном диванчике, с благодарностью отказавшись от ужина, которым хотел нас угостить наш ангел-хранитель старичок рабочий. Жив ли еще этот милый старик? Никогда не забуду его

искреннего участия и ласки к нам, чужим ему людям, попавшим в беду. Я не раз вспоминал его впоследствии, когда в моих руках была жизнь пленных большевиков. И может быть не один из них обязан своим спасением воспоминанию о доброй душе этого простого русского человека... Он сказал мне свою фамилию, но, к сожалению, я ее забыл теперь. Мы сердечно с ним простились и, вероятно, навсегда.

Спустя несколько часов наш вагон прицепили к поезду, который шел на станцию Миллерово. Хотя нас и освободили от караула, но мы все еще не верили своей свободе, и только на границе Донской области, когда глубокой ночью в наш вагон вошел проверявший пассажиров казачий патруль во главе с бравым усатым урядником, с огромным рыжим чубом из-под лихо надетой набекрень фуражки, мы все радостно вскочили и готовы были обнять и целовать усатого вестника настоящей свободы...

Я был уже на родной земле, на свободном, вольном Дону...

Только к вечеру 1-го января мы прибыли на станцию Миллерово. С этой станцией у меня связаны воспоминания почти сорока лет моей жизни, в течение которых я ездил в имение моего покойного отца, находившееся в сорока пяти верстах к востоку от станции, на реке Ольховой. На моих глазах она развилась из маленькой степной станции в обширный железнодорожный узел, а небольшой поселок при ней — в целый почти город.

С какой радостью когда-то я с братьями детьми уезжал со станции Миллерово домой на Рождество или летние каникулы! Пара сытых лошадей, широкие сани или тарантас, друг детства и юности кучер Егор или старый Николаевский солдат Алексеевич, сладкий сон под теплой шубой в санях среди необозримых снежных равнин или летом среди зеленых волн ржи и пшеницы, радостная встреча дома с отцом и матерью, — как все это уже далеко ушло в вечность!..

На вокзале и в ближайших постройках толпилась масса офицеров и казаков. Было шумно, накурено, грязно... В ближайших окрестностях стояла одна из Донских дивизий на случай наступления красных с севера. На вокзале находился, по-видимому, штаб дивизии.

Первое впечатление о первой Донской воинской части, которую я увидел на Дону, было не особенно благоприятное: не было и намека на выправку, подтянутость, соблюдения внешних знаков уважения при встрече с офицерами. Казаки одеты были небрежно, держали себя очень развязно. У офицеров не было заметно обычной уверенности начальника, знающего, что всякое его приказание будет беспрекословно исполнено. Потолкавшись в толпе казаков (я был без погон, и никто из них не обратил на меня внимания), я пришел в грустное настроение духа: здесь не чувствовалось уверенности в себе и желания упорно

бороться с наступающими большевиками... Шли уже разговоры о том, что нужно хорошенько узнать, что за люди большевики, что, может быть, они совсем не такие злодеи, как о них говорят офицеры, и т. д.

Впоследствии я узнал, что в то время настроение дивизии действительно было уже очень ненадежное и что по поводу одного из распоряжений начальника дивизии у него было крупное столкновение с казаками одного из полков, которое только случайно закончилось сравнительно благополучно...

На вокзале от офицеров дивизии я узнал, что один из моих спутников, переодетый рабочим, сумел избежать ареста на ст. Луганск и на сутки раньше приехал в Новочеркасск, где и рассказал Митрофану Петровичу о том, что я был арестован большевиками. Брат поднял тревогу; Атаман Каледин³ уже назначил сумму в несколько тысяч рублей на выкуп меня; был послан офицер для переговоров с большевиками по этому вопросу. Я немедленно послал телеграмму о том, что уже нахожусь на свободе, и через час двинулся на юг.

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ КУБАНЬ. БОИ ПОД ЕКАТЕРИНОДАРОМ

Моя бригада шла в авангарде. Отдохнув немного в ауле Панахес, мы прошли дальше 10 верст и 26-го утром начали переправу на пароме, который мог поднять не более 50 человек или 4-х запряженных повозок. С помощью еще другого парома, поменьше, и нескольких рыбацких лодок 2-я бригада к вечеру перебралась на другой берег и заняла без боя станицу Елизаветинскую. Жители обширной, богатой станицы встретили нас спокойно, — скорее с любопытством, чем с радостью. Ночь прошла спокойно.

За второй бригадой тянулся наш огромный обоз, увеличивавшийся с каждой остановкой в станице. Корнилов всеми силами боролся с этим, нередко пропускал обоз мимо себя, беспощадно выбрасывая лишние повозки и выгоняя в строй всех, кто был способен носить оружие. Назначали для проверки повозок особые комиссии. Но все эти меры давали слабые результаты. Обоз на походе растягивался на несколько верст и вести его в полном порядке было крайне трудно.

Марков⁴ с 1-й бригадой оставался сзади, прикрывая обоз от возможного нападения с тыла. С военной точки зрения переправа у ст. Елизаветинской являлась редким образцом наступательно-отступательной переправы. Будь противник более активным, он мог бы легко прижать нас к р. Кубани с обеих сторон, и вся переправа могла бы окончиться катастрофой... Но к счастью, большевики нас не трогали, и только на другой день, 27-го марта, их авангард, стоявший впереди

Екатеринодара, повел наступление на ст. Елизаветинскую, обстреливая ее и переправу усиленным артиллерийским огнем. Мне было приказано отбросить его.

Красные сильно наседали на сторожевое охранение корниловцев. Уже Неженцев⁵ ввел в бой весь свой полк. После полудня я приказал двинуть ему на помощь Партизанский полк. Ген. Казанович⁶ смело повел его в наступление и после упорного боя у кирпичного завода, на полпути от Екатеринодара, сбил и отбросил противника до предместья кубанской столицы – фермы, в 3-х верстах от города.

Задача моя – прикрытие переправы у ст. Елизаветинской – была исполнена: решительным ударом мне удалось далеко отбросить красных. Видимо, подавленный этой неудачей, противник не подавал более признаков желания перейти в новое наступление, и я, подождав до вечера, приказал бригаде вернуться на ночлег в станицу, оставив на высоте кирпичного завода сторожевое охранение. Обоз наш спокойно продолжал переправу.

Удачный бой 27-го марта и паническое отступление красных к Екатеринодару толкали меня на дальнейшее движение вперед и атаку врага своей бригадой, но не получив на это приказания Корнилова и не желая ставить Добровольческую Армию, в случае неудачи, в отчаянное положение, так как Марков был еще на другой стороне и не в состоянии был бы помочь мне, я с сожалением вынужден был отказаться от этой мысли. Останавливало меня еще и то соображение, что если б я даже и взял Екатеринодар, то удержать его до подхода Маркова я был бы не в состоянии, так как большевики очень легко могли подвезти по жел. дороге значительные силы, окружить меня в обширном городе, где было немало и местных большевиков, и попросту уничтожить. Последующие события оправдали это мое соображение.

Во время этого боя, когда был уже захвачен кирпичный завод, мне пришлось наблюдать одну сцену, которая навсегда осталась у меня в памяти.

Осматривая со своего наблюдательного пункта у кирпичного завода поле сражения, я заметил впереди, на боевом участке Партизанского полка, курган, на котором трещал пулемет среди кучки людей. Видно было, что этот пункт привлек особое внимание красных: около него беспрерывно рвались их гранаты, но, к счастью, ни одна на него не попадала. Я пошел туда.

На вершине невысокого кургана с отличным обстрелом стоял почти открыто наш пулемет. Около него лежал молодой офицер (прапорщик Зайцев, прекрасный офицер, скоро убитый) и как виртуоз разыгрывал страшную симфонию на своем смертоносном инстру-

менте. Выпуская одну ленту за другой, он, видимо, прямо наслаждался своей меткой стрельбой... И действительно, она была великолепна. Вот выезжает у фермы красная батарея на позицию. Ленту – по ней. Падают несколько солдат, ранены 2 лошади, и «товарищи» сломя голову удирают к пушкам за рошу. Навстречу им показались какие-то повозки, не то обоз, не то зарядные ящики. Снова лента – и, переворачиваясь на поворотах, исчезает и этот обоз... То же случилось и с группой всадников, по-видимому начальством, выехавшим на возвышенность у фермы. Пол-ленты – и «главковерхи» разлетелись стремительно в разные стороны.

Тут же на холме находились и оба командира полков со своими адъютантами – и среди них молоденькая сестра милосердия в черной косынке – Вавочка, которая, сидя спиной к противнику, старательно набивала пулеметную ленту патронами и весело болтала с окружающими.

– Это что такое, Вавочка, зачем вы здесь? – строго спросил я ее, меньше всего ожидая встретить молодую девушку в таком опасном месте.

– Ваше Превосходительство, позвольте мне остаться: здесь так весело, – отвечала она, умоляюще сложив маленькие ручки, и, улыбаясь, ждала ответа.

Я позволил до своего ухода.

Вавочка, падчерица Донского полковника К. М. Грекова, – любимица всей Добровольческой Армии. Веселая, всегда жизнерадостная, цветущая чистой нетронутой юностью, она не состояла ни при одном лазарете, а появлялась всюду, где нужна была помощь раненым, которым отдавала все свои молодые силы и часто все из своей одежды, что можно было разорвать на бинты. Жила она, как птица небесная, при какой части придется, – везде была желанной гостьей. И несмотря на свою молодость и окружающую обстановку, Вавочка сумела так себя поставить, что в ее присутствии никто не позволял себе брани, нескромной шутки или пошлого ухаживания. Ее нравственная чистота, веселость и сердечная доброта вызывала общие симпатии, как к милому шаловливому ребенку.

Часто заглядывала она и в мой штаб, всегда с веселой шуткой или какой-нибудь безобидной выходкой, иногда жила по нескольку дней. Нередко являлась в мужской одежде, так как юбку и косынку успевала уже порвать на бинты. Тогда офицеры дарили ей юбку, купленную тут же у хозяйки; и для нее это был очень приятный подарок.

Однако наш пулеметчик, видимо, уже очень обозлился «товарищей». Гранаты стали падать у кургана все чаще и чаще. Одна из них взрыла огромный черный фонтан земли перед самым пулеметом,

засыпав ее комьями всех нас. Вавочка встряхнулась, как утка, и продолжала весело болтать, набивая ленту.

Пора было уходить. Красный пушкарь видимо уже пристрелялся и следующая «очередь» будет «в точку»... Забрав Вавочку и лишних офицеров, я ушел с холма. И вовремя. Вскоре град снарядов снова осыпал курган, и один из них упал на то место, где мы только что лежали. Пулеметчик остался невредим, но должен был переменить позицию. Вавочке я запретил появляться в боевой линии. Но она меня не послушалась. Через день ее принесли мертвой с боевого участка Партизан.

Ее нашли вместе с убитой подругой в поле за цепями, с несколькими шрапнельными пулями в груди и маленькой куколкой, зажатой в застывших руках, – шутивым подарком одного из офицеров. Я видел ее, лежащей на телеге у штаба Корнилова перед отправлением в ст. Елизаветинскую, где ее похоронили вместе с подругой у церкви. Скорбно были сжаты красивые губки, умевшие так весело смеяться в минуты смертельной опасности. Суров был облик милого лица. К Богу отлетела чистая душа, никому в своей коротенькой жизни не сделавшая зла...

В Добровольческой Армии было около 2-х десятков женщин и девушек. Некоторые из них несли службу в строю, как рядовые, остальные – как сестры милосердия. И те, и другие оставили у нас прекрасную по себе память. Многие из них погибли во время похода, живые разбрелись по свету. В своем рассказе мне еще придется говорить о некоторых из них.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ У СТАНИЦЫ МЕДВЕДОВСКОЙ. ПОДВИГ ГЕНЕРАЛА МАРКОВА. СТ. ДЯДЬКОВСКАЯ. РАНЕНЫЕ. СНОВА НА ДОН. ОКОНЧАНИЕ 1-го КУБАНСКОГО ПОХОДА

Колония Гначбау⁷, оставившая у нас тяжелое воспоминание, осталась далеко позади. Артиллерийский огонь красных постепенно затих. Наша колонна длинной лентой обоза вытянулась по широкой степи. Моя бригада – в арьергарде. Марков – впереди.

Предстояло снова переходить через железную дорогу. Для нас она была злейшим врагом: везде шныряли красные бронепоезда, на станциях стояли готовые эшелоны, и мы, с нашим ничтожным запасом снарядов, бессильны были вступить с ними в серьезный бой. А ведь на переход всего 10-верстного обоза с ранеными нужно было не менее 2-3 часов.

Около 4-х часов утра, пройдя 24 версты, наш авангард подошел в темноте к железной дороге у станицы Медведовской. Сторож у

переезда был арестован нашим разъездом, и ген. Марков, приехавший с ним, заставил его, крайне перепуганного, успокоить по телефону эшелон большевиков на станции, слышавших подозрительный шум нашего движения и спрашивавших о нем сторожа. В это время части ген. Маркова уже развернулись и приготовились к атаке станции. Все шло хорошо, но вдруг с последней раздались выстрелы: наш разъезд спугнул красных часовых. От станции отделился бронепоезд и тихо, с закрытыми огнями, двинулся к переезду, где уже находился штаб Д[обровольческой] Армии, вместе с ген. Алексеевым и Деникиным, и куда подошла голова обоза. Бронепоезд был уже в нескольких шагах от переезда. Вдруг ген. Марков закричал машинисту, чтобы он остановился, т. к. в противном случае «своих подавит», и когда ошалевший большевик действительно остановил поезд, — он схватил ручную гранату и бросил ее в паровоз. Немедленно с поезда начался адский огонь во все стороны, ружейный и пулеметный. Офицерский полк во главе с ген. Марковым вступил в горячий бой с гарнизоном бронепоезда, который упорно защищался. Полк. Миончинский почти в упор всадил гранату в паровоз из своего оружия и разбил его переднюю часть; часть вагонов удалось поджечь.

Когда раздались первые выстрелы, я поспешил со своим полком на помощь Маркову, с трудом обгоняя по вспаханному полю растянувшийся обоз, среди которого было очень тревожное настроение. По пути получил приказание от ген. Деникина спешить. Навстречу мне скакали в темноте из головы колонны, неожиданно попавшие в бой какие-то обозные сановники, и отчаянно вопили, чтобы я шел скорее. Своим криком и передачей каких-то нелепых приказаний от имени ген. Деникина, которых он и не думал отдавать (напр.: «конницу в атаку на бронепоезд»), эти господа вносили панику среди населения обоза. Чтобы прекратить это безобразие, я приказал своему конвою арестовать их и вести за собой. Это скоро охладило рвение бунтовщиков. Присоединившийся ко мне М. В. Родзянко⁸ успокаивал их.

Когда я подошел к переезду, здесь уже все было кончено. Тушили горевшие вагоны, вытаскивали из бронепоезда снаряды и патроны, переносили раненых. Неутомимый Марков, герой этого блестящего дела, весело рассказывал ген. Деникину и штабу подробности боя. Севернее ген. Боровский⁹ со своими юнкерами атаковал станцию и взял ее. Моя батарея понадобилась, чтобы несколькими выстрелами отогнать появившийся с юга новый бронепоезд. Обоз быстро переходил через ж. д. и рысью въезжал в станицу, попадая по пути в сплошную полосу пулеметного огня со станции.

Стало уже светать, когда утомленные бессонной тревожной ночью, но счастливые успехом, мы расположились на короткий при-

вал в станице Медведовской. Потери наши были незначительны, а трофеи – до 100.000 ружейных патронов и 400 артиллерийских снарядов – снова дали нам бодрость и веру в победу.

Еще 17 верст в пути – и мы в станице Дядьковской, где была назначена дневка. В этой станице нам пришлось во второй раз оставить наших тяжелораненых, которые все равно не вынесли бы дальнейшего похода. В первый раз пришлось это сделать в ст. Елизаветинской при уходе из Екатеринодара.

Тяжело было ген. Деникину решиться на такую страшную меру, но другого выхода у нас не было. Был созван совет из старших начальников и некоторых других лиц, имевших отношение к этому вопросу. Были горячие споры. С тяжелым сердцем строевые начальники настояли на оставлении раненых, на попечении станичного сбора, который обещал сохранить их. Всего осталось 119 человек. Приняты были все меры, чтобы обеспечить им жизнь и питание. Оставлены были с ними врач, сестры милосердия, достаточно денег и несколько заложников-большевиков, среди которых был видный деятель Лиманский, честно исполнивший впоследствии свое обещание защищать раненых.

При решении этого тяжелого вопроса приходилось думать о спасении еще здоровых бойцов. Мы все время были окружены красными; для более быстрого передвижения и маневрирования ген. Деникин приказал своей пехоте сесть на повозки; это значительно увеличило нашу подвижность и сберегало силы, но положение тяжелораненых, не выносивших быстрой езды, становилось отчаянным. Несколько человек умерло в дороге, не вынеся тряски и отсутствия отдыха и ухода. Нужно было или двигаться только шагом, рискуя всей Армией, или решиться на тяжкую в моральном отношении меру. Но все же, вероятно, на нее не решились бы, если бы не было получено в это время известие, что раненые, оставленные в ст. Елизаветинской, также со всеми мерами для сохранения их жизни, не были тронуты большевиками. Это известие решило вопрос. Впоследствии оно оказалось неверным: большинство было зверски убито. Но в Дядьковской мы еще не знали об этом ужасе.

К счастью, эта мера оказалась удачной: впоследствии стало известно, что большевики убили только 2 человек, 16 – умерли от ран, а 101 человек были спасены.

Но все-таки это решение произвело тяжелое впечатление на Добровольцев, и полки употребили все усилия, чтобы все же увезти своих раненых из числа 200 человек, которых врачи признали, что они не перенесут перевозки. Таких было увезено около 80 человек. Многие из них умерли по дороге.

В эти дни мы еще раз живо пережили весь ужас Гражданской

войны с ее зверской беспощадностью и бессердечием. В обычной регулярной войне среди цивилизованных народов раненых охраняют международные законы и обычаи, Женевская конвенция; враги не воюют с безоружными. А здесь – могли ли мы верить большевикам?

Наши силы значительно пополнились мобилизованными кубанскими казаками. Явилась возможность развить боевые действия в более широком масштабе. Ген. Деникин решил использовать благоприятную обстановку и захватить в свои руки участок Владикавказской жел. дороги Сосыка – Крыловская, чтобы парализовать опасное для нас постоянное передвижение красных войск. Был отдан приказ о наступлении на этот участок, причем ген. Эрдели¹⁰ с конницей должен был захватить станцию Сосыку, а моя бригада – ст. Крыловскую.

От станции Екатерининской, где в это время мы находились, до ст. Крыловской было около 15-ти верст. Дав отдохнуть войскам, я в тот же день поздно вечером начал наступление на Крыловскую. Ночь была темная; дневная разведка дала сведения о том, что никаких препятствий по пути нет, станция занята несколькими эшелонами, которые слабо охраняются. Однако наше наступление неожиданно кончилось неудачей: в трех-четыре верстах от станции мы наткнулись на крупную красную часть, которая встретила нас сильнейшим пулеметным и ружейным огнем. Принимать бой, не зная сил противника, с войсками, значительная часть которых еще ни разу не была в бою, при крайней трудности управления ночным боем, – все это заставило меня прекратить наступление и отойти назад, на станцию Екатерининскую, оставив на пройденном направлении один батальон в виде заслона.

Для овладения станцией я принял немедленно другой план: кружной ночной обход и атака станции в другом направлении. Этот план удался вполне. Приказав оставленному батальону заслона все время вести огонь в прежнем направлении и беспокоить противника, я с остальными силами бригады в полной тишине выступил около полуночи, когда уже вся станция спала, в южном направлении и, сделавши почти без дорог около 15 верст, на рассвете вышел в двух верстах против юго-восточного угла станции. В этом направлении моей конницей была внезапно захвачена застава большевиков с пулеметом, причем несколько человек из ее состава застрелились.

Наше появление для большевиков было полной неожиданностью. Вся станция мирно спала, так же как и 7 эшелонов красных войск, которые на них находились в поездах. Еще до восхода солнца бригада развернулась для атаки, и с первым лучом солнца моя батарея открыла огонь по большевистским поездам. Моя пехота пошла в атаку.

Трудно себе представить ту невероятную суматоху, которая началась на станции: крики, беспорядочная стрельба, свистки паровозов, — все это слилось в невообразимый шум, прерываемый частыми и меткими выстрелами моей батареи. Снаряды пронизывали насквозь вагоны, из которых в дикой панике, часто в одном белье, с неистовым гвалтом выскакивали большевики и бежали в поле по всем направлениям. Вскоре, однако, три поезда один за другим полным ходом двинулись в направлении на станцию Сосыку. Все они попали в руки ген. Маркова. Остальные четыре поезда двинулись на север, откуда вскоре показался бронепоезд, который начал осыпать нас издалека своими снарядами. В этом направлении я двинул ген. Казановича с Партизанским полком, который был у меня в резерве: молодым кубанским казакам, составлявшим в это время значительную часть его состава, пришлось сразу попасть в упорный бой с пехотой красных, наступавшей вместе с бронепоездом.

Между тем, после короткого боя с большевиками, еще занимавшими станцию Крыловскую, Корниловцы захватили ее, взяв богатую добычу, оружие, патроны и 2 орудия. Когда я со штабом приехал на вокзал, там было большое и радостное оживление: подсчитывали добычу, весело делились впечатлениями боя и спешили выпить чаю, которым буфетчик, только что угощавший им большевиков, так же усердно угощал и нас.

Однако опомнившиеся большевики, по-видимому, решили отобрать у нас станцию, и целый день вели упорное наступление со стороны станицы. Раненый ген. Казанович с величайшими усилиями удерживал наступавших, хотя это было и очень трудно, т. к. молодые казаки под вечер и ночью уже начали уходить поодиночке в свои станицы.

Проведя на станции очень тревожную ночь, на другой день я с бригадой отошел обратно к станице Екатерининской, испортив на станции все, что было возможно. Сам ген. Деникин, находившийся в это время со своим штабом в станице Крыловской, едва не погиб от красного снаряда, который попал в дом, где он жил, и убил одного из его вестовых.

В станице Успенской у нас была большая радость: возвратился из Донской области Генерального Штаба полк. Борцевич¹¹, посланный ген. Деникиным с разездом из станицы Ильинской на разведку на Дон, и привел с собой депутацию от Донцов из южных станиц — 17 человек. Отважный полковник Борцевич с опасностью для жизни пробрался туда и привез на Дон известие, что Добровольческая Армия жива и продолжает бороться с большевиками. Эта весть радостно всколыхнула южных Донцов, которые уже опомнились от

красного угара и возненавидели большевиков. Немедленно было решено установить связь с ген. Деникиным, и полтора десятка смелых казаков вместе с полк. Борцевичем пробрались мимо красных отрядов и прибыли в станицу Успенскую.

Все начальствующие лица собрались в станичной школе, и там старший из Донцов (все это были простые казаки) в своей горячей речи заявил, что весь Дон уже поднимается и ждет к себе на подмогу Добровольческую Армию. Приезд этой делегации окончательно решил вопрос о дальнейшем направлении нашего движения. Всякие колебания были кончены. На Дон – было единогласное решение, отозвавшееся глубокой радостью в наших сердцах. Забыты были все пережитые страдания и невзгоды, у всех была одна мысль – скорее на север, где уже, по словам делегатов «всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон»...

Двинулись снова на Лежанку, куда прибыли на Страстной неделе. Тут нам дали дневку, но отдыхать долго не пришлось. Здесь получены были пока что неясные сведения о том, что в станицах, ближайших к Новочеркаску, уже начались восстания казаков. Но в южных станицах и особенно в крестьянских слободах было еще много большевиков – и местных, и более или менее организованных отрядов красной гвардии. Они мешали казакам сорганизоваться и оказать деятельную помощь добровольцам. Добровольческая Армия должна была играть роль ядра, около которого могли объединиться казаки. Но вместе с тем нужно было по-прежнему вести энергическую борьбу с красными, не давая им возможности мешать общей организации.

19 апреля я получил приказание от ген. Деникина двинуться в северо-западном направлении и, выйдя в тыл большевикам, которые с запада наступали на станицу Мечетинскую, разбить их.

Рано утром я выступил с бригадой в указанном направлении. Пройдя по разным мелким хуторам около 15 верст, я получил донесение, что после первых стычек моих головных частей с большевиками последние прекратили наступление на Мечетинскую и стали поспешно отступать на слободу Гуляй-Борисовку. При этом было захвачено несколько пленных, от которых мы узнали, что большевики наступали на ст. Мечетинскую тремя колоннами, причем, когда командующий всем ядром (фамилии его не помню) узнал, что у Лежанки находится Деникин, а на фланге появилась моя бригада, – приказал немедленно уходить назад, отдав панический приказ, с приложением даже чертежа, на котором весьма примитивно изображались посередине пушки, а кругом в виде квадрата – пехота. В общем, смысл приказа был такой: «Спасайся, кто может». Сам главноверх вскочил в автомобиль, предусмотрительно уложив туда все деньги отряда, и скрылся в неизвест-

ном направлении. За ним последовали начальники других колонн. Вся масса большевиков, около 3-4 тысяч, рассеялась, и мы догнать их не могли.

Наступала уже ночь, когда я прекратил преследование. Мечетинская станица была свободна. Остановившись на ночлег в одном из больших хуторов, я получил известие, что довольно значительная группа красных сосредоточилась в слободе Гуляй-Борисовка, которая у местных жителей считалась гнездом большевизма. Считаясь с положением этой слободы – на фланге нашего дальнейшего движения – я решил взять ее ночной атакой, послав об этом донесение командующему Армией.

После хорошего отдыха на хуторе моя бригада выступила около 10-ти часов вечера и, пройдя несколько часов в полной тишине, перед рассветом атаковала слободу Корниловским полком, который шел во главе колонны. По-видимому, большевики совершенно не ожидали нашего появления. Из крайних хат началась беспорядочная стрельба. Суматоха поднялась по всей слободе. Цепи корниловцев во главе с полковником Кутеповым бегом ворвались в нее и через несколько минут все было кончено. Мы взяли в плен свыше сотни большевиков, много оружия и запасов всякого рода. Все большевики, которые только могли скрыться, бежали из слободы. Наши потери были ничтожны – 5-6 раненых.

После станицы Крыловской я еще раз убедился, какое огромное значение имеют в гражданской войне ночные атаки: внезапность налета, полная растерянность противника, ничтожные потери у нас и большие трофеи – результат такой операции. Но, конечно, они были возможны, главным образом, благодаря отличной сплоченности и втянутости в боевые действия добровольцев и малой организованности и плохому несению сторожевой службы со стороны большевиков.

Ген. Деникин был, видимо, очень доволен нашими действиями и разрешил моей бригаде остаться в Гуляй-Борисовке и встретить здесь Пасху.

Светлый день мы встретили в исключительной обстановке. Сколько было радости, бодрости и веры в скорое избавление от проклятого большевизма.

В первый день Пасхи я зашел к старшему священнику, у которого хотел расспросить относительно деятельности местных большевиков, попавших к нам в плен. Красивый, еще не старый батюшка лежал на постели больной – в последнем периоде чахотки. Я помню, как он горячо защищал своих бывших прихожан, стараясь найти в деятельности каждого из них хотя бы малейший повод к снисхождению. По моему приказанию военно-полевой суд принял во внимание

все свидетельства умиравшего батюшки. Но, к сожалению, суровая действительность заставила суд отнестись к некоторым из них более строго, чем он этого хотел, исполняя свой христианский долг. Через два дня священник умер.

Через несколько дней я был вызван в станицу Мечетинскую на военный совет, на котором был принят план наших дальнейших действий. Уже стало определенно известно, что в районе Новочеркасска казаки поднялись и постепенно начали очищать от большевиков ближайшие станицы. Антибольшевистское движение все больше и больше охватывало Донскую область. Но Деникин не хотел сразу возвращаться к Донской столице. Слишком много еще было дела на юге. И поэтому решено было пока остаться на юге Донской области, что давало возможность надеяться на скорый подъем и на Кубани.

Вскоре моя бригада была переведена также в Мечетинскую станицу, где и расположилась на отдых. Наступило временное затишье. Добровольческая Армия приводила себя в порядок и отдыхала после своего тысячеверстного похода, залечивая свои раны.

«Ледяной поход» был окончен.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Богаевский Митрофан Петрович (1881–1918) – историк казачества, педагог. Заместитель Войскового атамана, в 1917–18 гг. возглавлял Донское войсковое правительство. В нач. 1918 г. вместе с А. М. Калединым ушел в Донские партизаны. Попал в плен, был расстрелян.
2. Чернецов Василий Михайлович (1890–1918) – военачальник, полковник. Донской казак. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Активный участник Белого движения на Юге России. Командир и организатор первого Белого партизанского отряда. Кавалер многих орденов, обладатель Георгиевского оружия.
3. Каледин Алексей Максимович (1861–1918) – военачальник, генерал от кавалерии, войсковой атаман Дона, деятель Белого движения. Был награжден Георгиевским оружием, орденом Георгия 4-й степени и 3-й степени. В 1917 г. Каледин стал первым выборным атаманом Войска Донского после упразднения процедуры выборов в нач. XVIII века. Ген. Каледин, Алексеев и Корнилов вошли в т. н. «триумvirат», который встал во главе Донского гражданского совета, созданного для руководства Белым движением на всей территории бывшей Российской империи. В нач. 1918 г. сложил с себя полномочия войскового атамана в связи с тем, что в результате военных поражений Добровольческой армии стала невозможна защита Донской области от большевиков (оставалось 147 штыков). Покончил с собой выстрелом в сердце (по другим сведениям, А. М. Каледин погиб в результате удавшегося – третьего – покушения на него).

4. Марков Сергей Леонидович (1878–1918) – военачальник, политический деятель, военный ученый. Участник Русско-японской войны. Военный преподаватель Академии Генерального штаба. Участник Первой мировой войны, заместитель начальника оперативного отдела штаба Ставки Верховного Главнокомандующего, затем начальник штаба Западного и Юго-Западного фронтов (1917). Генерал-лейтенант Генерального штаба (1917). Поддержал Корниловское выступление, был арестован Временным правительством. Участник Гражданской войны, первопоходник. Один из лидеров Белого движения на Юге России. Получили известность личная храбрость и тактическое мастерство Маркова. Погиб в бою в начале Второго Кубанского похода (1918).
5. Неженцев Митрофан Осипович (1886–1918) – полковник Генерального штаба. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Командир Корниловского ударного полка, первопоходник. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, обладатель Георгиевского оружия. Участвовал в 1-м Кубанском «Ледяном» походе, во время которого был убит при штурме Екатеринодара.
6. Казанович Борис Ильич (1871–1943). Генерал-лейтенант. В Добровольческой армии находился с самого начала (близкий друг ген. Л. Г. Корнилова со времени службы в Туркестанском ВО). В 1-й Кубанский поход пошел рядовым, участвовал во всех атаках Партизанского полка. Вскоре после соединения с Кубанским отрядом принял полк. Участвовал с полком в штурме Екатеринодара в конце марта 1918 г. Тяжело ранен во время штурма. Был назначен начальником 1-й пехотной дивизии, с которой участвовал во всех боях во время 2-го Кубанского похода. Затем – командир 1-го армейского корпуса. После эвакуации из Крыма и пребывания в Галлиполи проживал в Королевстве СХС. Председатель Главного правления Союза участников 1-го Кубанского похода (до конца жизни). Одновременно был председателем Общества офицеров Генерального штаба в Югославии, а в 1931 был избран председателем Общества изучения Гражданской войны. Скончался в Панчево под Белградом. Похоронен на Новом кладбище.
7. Одна из немецких колоний на восточном берегу реки Понуры (Паныри).
8. Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – политический деятель, лидер партии «Союз 17 октября», действительный статский советник. Председатель Государственной Думы третьего и четвертого созывов. Один из лидеров Февральской революции 1917 года, возглавлял Временный комитет Госдумы. После Октябрьского переворота выехал на Дон, находился при Добровольческой армии, первопоходник.
9. Боровский Александр Александрович (1877–1939) – генерал-лейтенант, военачальник Русской Императорской и Добровольческой армий. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Первопоходник. В эмиграции в Югославии.
10. Эрдели Иван Георгиевич (1870–1939). Генерал-лейтенант. Участник

Первой мировой войны, командующий Особой армией. Участник мятежа Корнилова, был арестован Временным правительством. Участник Гражданской войны, первопоходник. Представитель Добровольческой армии при Кубанском красном правительстве. Командир Отдельной конной бригады, затем – 1-й Кавалерийской дивизии. С 1919 г. командующий войсками Терско-Дагестанского края и войсками Северного Кавказа. В эмиграции с 1920 года во Франции. Председатель Комиссии по расследованию «Дела (предательства) Скоблина» в 1938 г. Умер в Париже.

11. Барцевич, Владимир Петрович (1887–1920) – полковник Генерального штаба, участник Первой мировой войны и Белого движения. 23 ноября 1917 года назначен и. д. начальника штаба 135-й пехотной дивизии. 19 февраля 1918 года вступил в Добровольческую армию. Участвовал в 1-м Кубанском походе в составе разведывательного отдела штаба армии. Затем был начальником отдела формирований штаба армии. После взятия Киева Добровольческой армией был киевским градоначальником. В 1919 г. – начальник штаба 4-й Конной дивизии Донской армии. Входил в ближайшее окружение барона Врангеля. В июле 1920 года был направлен в Киев с правами командующего армией для организации подпольной работы, руководил местным отделением секретной организации «Азбука» (псевдоним «Фита»). После раскрытия организации ЧК был арестован и расстрелян.

О деле генералов Сидорина и Кельчевского*

[В левом углу – штампель]

Донской Атаман

28 мая 1920 г.

№ 3040

г. Новочеркасск [перечеркнуто, от руки написано: Джанкой]

[Поверх штампеля от руки написано: «Прошу сохранить и возвратить мне. А. Богаевский»]

Отношения Командарма с ген. Деникиным совершенно испортились во время Н[ово-]Российской катастрофы. По плану генерала [В. И.] Сидорина¹ Донармия от Екатеринодара должна была отступать на Туапсе, в это время 3-го марта Верховный Круг своим предательским (говорю это прямо и готов ответить за свои слова) постановлением о разрыве с Глав. Командованием заставил ген. Деникина изъять Добровольческий корпус из ведения ген. Сидорина и

* Рукописная записка ген. А. Богаевского.

направить его прямо на Н[ово-]Российск. Естественно, раз казачество отказалось от совместных действий, то ген. Ден[икин] имел право позаботиться о тоннаже исключительно для добровольцев, тем более, что в начале Дон [ская] армия и не собиралась идти в Н[ово-]Российск. Через несколько дней, когда выяснилась полная безнадежность на помощь кубанцев и непроходимость гор, — решено было отступать через Тамань — в Крым. Но было уже поздно: красные захватили Анапу и, несмотря на превосходство наших сил, все донцы (вставка карандашом. — Ю. С.) ринулись к Н[ово-]Российску. Корабли были уже распределены, добровольцы никого не пускали на них, кроме своих; новых судов было недостаточно, власть Глав[ного] Ком[андован]ия пала настолько, что приказание ген[ерала] Д[еникина] почти не исполнялись. Ген[ерал] Сидорин в весьма резком тоне не один раз говорил по этому поводу с ген. Д[еникина]м. Но последний уже ничего не мог сделать. Остатки Д[онской] Армии подобрали англичане и французы на воен[ные] суда.

Донцы пришли в Крым в ужасном виде: и вот, по сведениям к[онтр]разведки, вместо того, чтобы их успокоить и привести в порядок, Донское командование поддерживало в казаках раздражение против ген. Д[еникина] и добровольцев не только в разговорах, но и в газете «Донской вестник»; дошло до того, что в Феодосии ген. Д[еникин] предложил мне вести переговоры с Грузией и убрать туда донцов, т. к. судя по их настроению и командного состава, он не только не надеется на их помощь при обороне Крыма, но и опасается давать им оружие, т. к. имеет сведения, что они употребят его только для того, чтобы захватить корабли. Я не знаю, какие еще сведения о деятельности Сидорина имел ген. Д[еникин], но (кажется, 15 марта) он прислал мне проект телеграммы об отчислении его от командования Дон[ским] корпусом. Я просил этого не делать, предлагая лично уладить всё. Телеграмма послана не была. Мои переговоры по прямому проводу с ген. Сидориным с предложением уйти самому, т. к. при создавшихся отношениях совместная служба с генералом Д[еникина]м была невозможна, — успехом не увенчались.

Затем ген. Д[еникин] ушел, и всё, по-видимому, успокоилось, и я думал, что с ген. Врангелем отношения наладятся.

Однако уже через 3-4 дня ген. Врангель жаловался мне, что сепаратные стремления в Дон[ском] корпусе не уменьшаются; казаки, по-видимому, не желают исполнять данной им задачи — перейти в Керченский район, и Дон[ское] Командование поддерживает их в этом, под предлогом, что там они оружия не получают. Главнокомандующий находил желательной смену ген. Сидорина ген. Абрамовым или ген. Красновым. И на этот раз я отговорил его, надеясь, что время и отдых

сгладят все трения. В моих разговорах с ген. Сидориным за это время постоянно проводилась им мысль о необходимости иметь в тылу корабли отдельно для Дон[ской] Армии на случай отхода. Я же требовал – как можно быстрее привести Армию в порядок, поменьше заботясь о бегстве в случае неудачи. В это время Армия переформировывалась в Корпус. Никаких сведений о беспорядках до меня не доходило, кроме слухов о недовольствии казаков на слишком широкий образ жизни Штаба ген. Сидорина (будто бы 800.000 рублей были истрачены на встречу св. Пасхи).

6-го апреля ген. Врангель вернулся с фронта, немедленно пригласил меня и, очень взволнованный, передал мне несколько №№ «Донского Вестника» с заявлением, что он решил арестовать Сид[ори]на и Кел[ьчевско]го² и предать их в[оенно-]полевому суду за то, что посредством своей газеты они сеют раздор и ненависть между донцами и добровольцами и, т[аким] о[бразом], способствуют провалу всего дела. К сожалению Штаб Сид[ори]на не находил нужным присылать своему Атаману эту газету, и я до тех пор ее не читал. Просмотрев номера, я нашел там несколько статей и выражений, которые не позволил бы печатать, если бы знал их заранее. У ген. Врангеля был уже заготовлен приказ об отчислении Сидорина и Кельчевского, и мне с большим трудом, с помощью ген. [П. Н.] Шатилова, удалось только отговорить Глав-го от ареста и предания суду ген. Сид[ори]на и К[ельчевско]го. 12-го апр[еля] оба они прибыли в Севастополь, сдав корпус генералу Абрамову. Я дал им отставку как донским генералам, приказал выдать всё положенное содержание и разрешил уехать за границу со всеми лицами, о которых они просили. Я уехал затем в Евпаторию, принял Д[онскую] Армию. Никаких волнений среди казаков, как последствие смены ген. Сидорина, не было: большинство отнеслись равнодушно, а часть даже с злорадством; только часть Штаба, чем-либо связанная с Командармом и его Нач[альником] Штаба, подала в отставку. Я никому не препятствовал. Ходили темные слухи о слишком широкой жизни Штаба, о спекуляции на казенные деньги лиц, близких к ген. Сидорину и пр. Чтобы выяснить истину, я назначил особую контрольно-ликвидационную комиссию ген. Ситникова^{*}, которой поручил проверить правильность расходования каз[енных] денег во всей Д[онской] Армии, в том числе и в Штабе. Комиссия работает.

Через несколько дней в Евпаторию приехал на смотр донцам и ген. Врангель. Здесь он сказал мне, что, согласно с мнением Гл[авного] Прокурора, он передаст В[оенному] Суду ген. С[идори]на и К[ельчев-

^{*} В оригинале подчеркнуто красным карандашом.

ско]го, т. к. желает, чтобы Суд вынес беспристрастный приговор их деятельности в Евпатории, для того, чтобы никто не мог обвинить ген. Врангеля, что он сводит с ними какие-то личные счёты. Я снова решительно протестовал против этого решения, доказывая, что все это создает для обоих только славу политических мучеников, борцов за идею казачества и отнюдь не будет способствовать улучшению отношений между донцами и добровольцами. Заметив, что ген. Врангель колеблется, я вдогонку за ним послал еще телеграмму о том же. По прибытии в Сев[астопо]ль ген. Вр[анге]ль все же решил предать их суду. Я был вызван в качестве свидетеля. Мое показание есть в газетах. Я не сказал ни одного дурного слова о них. Два дня продолжалось это кошмарное дело. Приговор суда известен. Я употребил все усилия, чтобы резолюция Глав-го была возможно мягче, так же как еще раньше добивался отмены караула у обвиняемых, а затем разрешения свободно уехать за границу.

Мое настоятельное представление о том, чтобы обоих генералов судил Донской суд, осталось без последствий: ген. Врангель считал, что их судят как военных, не на Донской земле, а потому он считал себя вправе передать их общему суду, как Глав[нокомандую]щий своих подчиненных.

Вот беспристрастное краткое описание всего дела. Я говорил всем и теперь повторяю, что считаю всю эту историю излишней и вредной. Пока донское казачество довольно равнодушно отнеслось к ней. Но в будущем – я уверен, все, кто пожелает использовать ее как семя раздора между Доном и ген. Врангелем или как предлог агитации против меня, – найдут в ней достаточно материала для патриотических речей об унижении Дона, его продаж кому-то и пр[очее].

Генерал-лейтенант Богаевский

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сидорин Владимир Ильич (1882–1943) – генерал-лейтенант Генштаба. Окончил Донской кадетский корпус, Николаевское инженерное училище и Николаевскую военную академию. Участвовал в Русско-японской войне и Первой мировой. После окончания Академии поступил в Авиационную школу, получил диплом пилота и наблюдателя. С февраля 1919 г. назначен на должность командующего Донской армией. Затем был обвинен в сочувствии казачьему сепаратизму и по приказу генерала Врангеля предан суду. Суд под председательством генерала А. М. Драгомирова приговорил генерала В. И. Сидорина к четырем годам каторжных работ, впоследствии генерал Врангель помиловал его и уволил из армии без права ношения мундира. В эмиграции – в Болгарии, Чехословакии, Германии, автор многочисленных

статей по истории Донской армии; статьи написаны в ярко выраженном сепаратистском ключе. Они регулярно публиковались в издаваемом в Париже И. А. Билым журнале «Вольное казачество» (1936–1938). Скончался В. И. Сидорин в Берлине 20 мая 1943 г. Похоронен на русском кладбище Тегель.

2. Кельчевский Анатолий Киприанович (1869–1923) – генерал-лейтенант Генштаба. Окончил Псковский кадетский корпус, 2-е военное Константиновское училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Первой мировой войны. В Белом движении – начальник штаба группы войск генерала К. К. Мамонтова, затем начальник штаба Донской армии. В 1920 г., будучи начальником штаба Донского корпуса в Крыму, арестован за сочувствие казачьим сепаратистам и предан суду. Отрешен от должности и выслан из Крыма генералом П. Н. Врангелем. В эмиграции жил в Берлине, сотрудничал с редакцией журнала «Война и мир». Скончался в Берлине в 1923 г. Похоронен на русском кладбище Тегель.

Публикация, примечания – Ю. Сандулов

Николай Моршен

Киевские стихи 1936–1947

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ?

Стихи Н. Моршена, не вошедшие в его книги

Имя поэта послевоенной эмиграции Николая Моршена (1917–2001) прочно вошло в сознание читателей как классика поэзии Русского Зарубежья.

Уже его первые стихи были отмечены И. Одоевцевой¹ и Г. Ивановым². О его творчестве писали ведущие критики Зарубежья Семен Карлинский, Владимир Вейдле, Ирина Вайль, Борис Нарциссов, Юрий Линник, Валентина Синкевич, Ольга Раевская-Хьюз³ и целый ряд других поэтов и литературоведов. Достаточно большая литература посвящена поэту и в России. Неутомимым пропагандистом его стихов является Евгений Витковский⁴. В 2009 году была защищена диссертация Александра Грищенко «Идеостиль Николая Моршена»⁵. Глава о Н. Моршене и И. Елагине входит в школьный учебник для 11 класса⁶. Настала пора академического изучения творчества поэта, его истоков, связей с предшественниками, творческой лаборатории работы над словом, ценителем которого он всегда был. К сожалению, именно здесь исследователя ждут трудности. Поэт не любил рассказывать о процессе работы над стихами. Почти никогда не показывал свои черновики.

В те два раза, что я гостил у Николая Николаевича, я неоднократно пытался разговорить его. Иногда это удавалось. Он пояснял свои принципы работы. Показывал скрытые рифмы в стихах. Но чаще отделялся фразой: «Кое-что можно рассказать. А черновики и неудачи мои смотреть... нет...» Лишь однажды поэт показал мне небольшую, как он ее назвал, «Киевскую тетрадь». Мне было дано несколько часов, чтобы с ней познакомиться. Увы! Тогда не было телефонов с фотоаппаратами, чтобы переснять все страницы. Удалось только переписать оглавление и семь стихотворений, первое из которых помечено 1936 годом, последнее – 1940. Восемь текстов из оглавления поэт в дальнейшем регулярно включал в свои сборники, начиная с первого – «Тюлень» (1959).

В предлагаемой публикации дается полный текст оглавления «Киевской тетради». Выделены эти восемь стихотворений и приведены те семь, что сохранились у меня. Сравнивая первое весьма несовершенное стихотворение

«Пурпурное окно» (явное подражание Н. Гумилеву) с выбранными мной более поздними, уже можно увидеть, как быстро обретал поэт свои темы (поэзия, философия), как становилось его мастерство владения словом.

Видимо, кроме той, первой, тетради, до которой я был допущен, у автора хранились и другие. Об этом говорит заголовок опубликованного в 1949 году в пятом номере журнала «Грани» цикла стихов под заголовком «Из Киевской тетради».

Судьба этих тетрадей драматична: вдова поэта, несмотря на советы сохранить оригинальные тетради или сдать их на хранение в библиотеку какого-нибудь университета, весь архив сожгла. Рукописи – увы! – горят.

Нельзя не упомянуть как безусловно одно из первых, написанных в эмиграции в лагере ди-пи и получившее в 1948 году премию на конкурсе поэтов-дипийцев, стихотворение «У маяка»⁷. Тем не менее оно не вошло в нашу публикацию, т. к. автор публиковал его под названием «Здесь на юг пролетают птицы» во всех своих сборниках.

Некоторой заменой несохранившихся рукописей могут служить для исследователей и поклонников поэзии Н. Моршена стихи, публиковавшиеся в «Гранях» и «Новом Журнале», в антологиях «Литературное зарубежье» (1958) и «Содружество» (1966), но не включенные автором ни в одну из книг его стихов.

Дело будущих исследователей – высказать предположения, чем руководствовался поэт при отборе. В некоторых случаях это очевидно: в публикации соседствовали близкие по теме стихи и предпочтение отдавалось какому-то одному. В отдельных случаях поэта, видимо, не устраивало отсутствие столь любимого им подтекста (стихи о поездке через океан). Хотя и эти стихи написаны вполне в стиле Моршена.

Готовя публикацию, передо мной встал вопрос, давать ли тексты в хронологии их создания или в порядке публикации в журналах. Проблема осложнялась тем, что автор лишь в отдельных случаях ставил год создания того или иного стихотворения. И атрибутирование дат написания других грозило произволом. Поэтому выбран второй путь.

Талант Н. Моршена был достаточно широк. В редких случаях поэт-философ позволял себе прямую социальную сатиру («Азбука коммунизма» или «Ква-с»). Принадлежит ему и до сих пор неопубликованный коллаж: картина Верещагина с горой черепов и кружащимися над ними воронами и сопровождающий текст В. Маяковского: «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм». Однако чаще Моршен прибегал не столько к иронии, сколько к юмору. При этом смеялся он и над друзьями, и над собой.

В публикацию входят затерявшиеся на страницах «Нового Журнала» пародии некоего *Анонима* (конечно, это был Моршен) на стихи Ю. Иваска, И. Чиннова, В. Маркова, И. Елагина и... Моршена.

Название «Киевские стихи» принадлежит Николаю Моршену. В настоящей публикации жирным шрифтом выделены стихи, в дальнейшем включенные в сборники поэта.

Не предназначались для печати, но несут на себе все признаки манеры Моршена, экспромты из писем поэта автору настоящей публикации.

Хочется надеяться, что не за горами академическое собрание сочинений поэта, куда войдут и материалы этой публикации и, может быть, другие тексты, сохранившиеся у друзей и поклонников поэта.

Владимир Агеносов

1. НЖ, 1959, № 58.

2. Письма Г. В. Иванова и И. В. Одоевцевой В. Ф. Маркову (1955–1958). – Бохлау. 1994. URL: <https://www.libfox.ru/395945-georgiy-ivanov-pisma-g-v-ivanova-i-i-v-odoevtsevoy-v-f-markovu-1955-1958.html>

3. Карлинский С. Н. Моршен после «Эха и зеркала» / НЖ, 1967, № 88; Вейдле В. Двое других / «Новое русское слово». 1973, 28 окт.; Нарциссов Б. Под знаком дифференциала» / НЖ, 1976, № 125; Вайль И. Николай Моршен и мы, или Ритм и смех / НЖ, 1986, № 165; Линник Ю. Поэзия Николая Моршена. / «Грани». – Мюнхен. 1994. № 171; Синкевич В. Воспоминание о Николае Моршене // Синкевич В. «...с благодарностью: были». – М., 2002; Раевская-Хьюз. О Николае Моршене и его поэзии» / НЖ, 2011, № 264.

4. Витковский Е. Рец. На «Собрание стихов» Н. Моршена. / НЖ, 1997, № 208; «Лицо перемещенной национальности» / «Независимая газета». – М., Ex libris. – 2000. 16 нояб.

5. Грищенко А. И. Идеостиль Николая Моршена. – М.: МПГУ. 2009. Ему же принадлежит рецензия на книгу Н. Моршена «Пуще неволи» (НЖ, 2000, № 223), очень порадовавшая поэта. По воспоминаниям В. А. Синкевич, автор книги позвонил ей и сказал: «Если молодежь в России так понимает мои стихи, то стоило их писать».

6. Русская литература XX века. Учебник для 11 класса. – М.: Дрофа. 1996–2015.

7. О чем сообщалось в газете «Эхо». Г. Регенсбург, Германия. 1948, 22 янв. № 3 (56).

1936

1. Пурпурное окно
2. Цветут каштаны
3. Цапля
4. Пруд
5. Много девушек красивых
6. Погода
7. У моря
8. Гляжу я на закат
9. Ночь
10. Старая башня
11. В саду

12. Опять каштаны
13. Валюшке
14. Я пьян
15. У меня стоит шкатулка

1937

1. Болото
2. Кто я?
3. Из цикла «Вечера». Вечер первый
4. Вечер второй
5. Вечер третий
6. Вечер четвертый
7. Полуденный зной...
8. Если бы я жил...
9. Бесприданница
10. Милосердие
11. Разговор с дьяволом
12. Дон-Кихот был мечтатель...
13. Алоха оз (?)
14. Не мечтал о снежной Беатриче
15. Песенка

1938

1. Ты к другому теперь придешь...
 2. Поэтам
 3. Запутанную нитку...
 4. Как птицы дни мои...
 5. Звезды в небе смотрят...
 6. Возвращение
 7. Прощальное письмо
 8. Сонет о сонете
 9. Желтеют листья
 10. Сидеть в саду
 11. Сонет-акrostих
- Акварели [нет в оглавлении]

1939

1. Мы
2. Листья вянут...
3. Ноябрьский снег на желтых...
4. По-звериному жизнь любя...
5. Странно быть в любви...

6. Ты мне пишешь: «Ты любил...»
7. Ты мне пишешь: «Ты жалок...»
8. Злой ветер...
9. Все к лучшему...
10. Когда запуталась жизнь...
11. Легенда
12. Опечатка
13. Прощалась ласково с тобой...
14. Что за страсть...

1940

1. Случайно выпавшего снега...
2. Над пробудившейся рекой...
3. **Крыса**
4. Все, что случилось раньше...
5. **Из цикла «На реке». Утро**
6. **День**
7. **Вечер**
8. **Ночь***
9. Чайка
10. Роняют фонари
11. Рожь молодая...
12. О, Время! Я теперь постиг...
13. **Мой Киев спит**
14. **Андреевская церковь**
15. Зимнее

* Номера 6, 7, 8 Моршен отмечает, как отдельные стихотворения, а потом публикует как цикл. (В. А.)

1941

1. **Ночлег**
2. Полонені
3. Кружит метель
4. 1938 год
5. Закат зовет

[Перечеркнуто автором крест накрест:]

1942

1. Нас каждый день...
2. Коптилка гаснет...

1943

1. Все небо в красках...
2. Глашатаи

1944

1. Разве дело в вере
2. Песня

1945

1. Последнее сражение

1946

1. На северных широтах
2. Послевоенные поля
3. **Исход**
4. Обреченность

1947

1. Весна
2. Не суетись
3. Поэт
4. Мудрость
5. Время
6. 2-е августа
7. Виселица
8. **Журавли**
9. У малины (?)*

* Так у Моршена (В. А.)

Стихи из тетради**ПУРПУРНОЕ ОКНО¹**

Стена суровая сереет,
Угрюмый дом стоит давно.
Ютятся трещины, как змеи
И одинокое окно.

Когда слетает сумрак серый,
Зияют трещины в стене.
И узкое, как вход в пещеру,
Окно застыло в вышине.

Когда ж с палитрой акварели
На землю молча ночь сойдет,
Замажет черной краской щели
И тень на землю наведет,

Плеснет на звезды синей сталью,
Потом слегка посеребрит,
Мазнет по месяцу эмалью
И бронзой брызнет в фонари,

Что далеко – вдруг станет близко,
И темь – упругое сукно,
Тогда в стене багровой искрой
Вдруг загорается окно.

Кто там живет? Быть может гномы
Нашли там временный приют?
При свете горна в этом доме
Мечи и панцири куют?

Иль пляшут эльфы там с потемок
И феи водят хоровод?
Или алхимиков потомок
Проводит ночи напролет?

Он зажигает красный пламень,
Он серой курит, как в аду,
И ищет философский камень
И плавит в тигелях руду.

Молчит пурпурное окошко
Лишь светит молча с вышины,
Как сердоликовая брошка
На черном бархате стены.

1936 г.

1. Сбоку от заголовка рукой поэта написано: (Гумилев). (В. А.)

АКВАРЕЛИ

Желтеют листья в осени лучах,
Чтобы весною вновь зазеленеть.
Вот так и стих –
Застынет на устах,
Чтобы потом по-новому звенеть.
1938 г.

* * *

По-звериному жизнь любя,
Грусть и радость равно принимая,
Землю я, как невесту в хмелю,
Каждым розовым утром встречаю.

Вижу жизни я каждый штрих,
Каждый шорох и отблеск внемлю,
Ощущаю я каждый миг,
Как деревья корнями землю,

Как весною – запах лесов,
Как жужжанье пчелы над ухом,
Как на крепких зубах песок –
Осязанием, вкусом и слухом.

Я восторженно в жизнь иду,
Упоенными глядя глазами,
Над собой пронося мечту¹,
Как солдаты проносят знамя.
1939 г.

1. В зачеркнутом варианте 2-х последних строк:

*И сквозь жизнь проношу мечту,
Как проносят воины знамя.*

* * *1

Когда запуталась жизнь и кажется, что конец,
И спасенья от горя нет,
Когда стреляется трус и убегает храбрец –
Слагает стихи поэт.

Когда равномерна жизнь, как хлев или тюрьма,
И спасенья от пошлости нет,

Когда процветает глупец, а гений сходит с ума –
Слагает стихи поэт.

Когда приходит смерть, отчаянье и страх,
И спасенья от гибели нет,
Когда молится атеист, и дьявола кличет монах –
Слагает стихи поэт.

1939 г.

1. Рукой автора: (Кузмин). (В. А.)

ОПЕЧАТКА

Все заранее рассчитано Судьбой,
Внесено все в Книгу Жизни кратко...
Только встреча вот моя с тобой,
Верно, в книге этой – опечатка!

1939 г.

* * *

О, Время! Я теперь постиг –
Неровен бег твой в бесконечность:
Час до свиданья с милой – вечность,
И ночь свиданья с нею – миг!

1940 г.

АДВОКАТ ДЬЯВОЛА¹

Двуэпиграф:

– Жить не по лжи.

– Нет,

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман.

Нас приземляет правды взор,
Когда глядит она в упор,
А кривда бродит, словно квас,
Чтоб вознести, как пробку нас.

Ее благославил Поэт,
Который проклял правды свет
И выдвинул смещенный план,
Дабы героем стал тиран.

С тех пор одобрен и внедрен
Нас возвышающий шаблон,
И выложить не сложно ложь:
Отштамповал – вынь да положь.

А правды и взойдет заря,
Да только совершенно зря:
Лишь облучит она тебя
В последнем приближении,
Грибок брожения губя
И самовозвышение.

1. В оглавлении отсутствует. В эпиграфе соединены цитаты из А. Солженицына и А. Пушкина. (В. А.)

ОПУБЛИКОВАННЫЕ, НО НЕ ВХОДИВШИЕ В СБОРНИКИ СТИХИ:

СЛОВА СЧАСТЬЯ¹

Кто хоть раз счастливым был, припомни,
Как для чувства этого сперва
Мы слова всё ищем погромней,
А потом поласковой слова.

«Счастье – это теплое такое,
Что-то вроде летнего дождя»...
Так искали слово мы с тобою,
Сидя над вечернею рекою,
И умолкли, слова не найдя.

Неспеша, костра ночного пламя
Ярко разгоралось вдалеке,
И мерцали звезды перед нами,
Как кувшинки, плавая в реке.

А когда задорно и уныло
Первые пропели петухи,
Ты сказала: «Вот и счастье, милый!»
И, понизив голос, попросила:
«Почитай печальные стихи».

1. НЖ, 1949, № 21.

В ЦАРСКОМ САДУ¹

Сидеть в саду на крашеной скамейке,
Смотреть на пятна черных грачьи гнезд,
На слабый блеск кленовых почек клейких,
Похожий так на блеск далеких звезд.
Следить во тьме идущих силуэты,
Закрывать глаза и долго не глядеть:
Шепча стихи любимого поэта,
От строк знакомых медленно пьянеть.
Смотреть, как мир, одев венец жестокий –
Венец из звезд, – торжественно затих.
Вдыхать прохладу ночи синеокой
И вспоминать прохладу рук твоих.
И забывать, что мир давно развенчан,
А рук печальных мне не целовать,
И слушать смех идущих мимо женщин,
И строк напевы молча повторять.

1. «Грани». 1949, № 5. Под рубрикой «Из Киевской тетради».

СУМЕРКИ¹

Роняют фонари на тротуары свет,
А липы – листья бережно роняют.
И мальчик лет шести,
На корточки присев,
В букетик желтый листья собирает
И улыбается.

1. Там же. Под рубрикой «Из Киевской тетради».

* * *¹

В осеннем ветре желтыми губами
Деревья тихо шепчут о стихах.
Стих паутинкой пролетит над нами,
Землею жирной липнет на ногах.
И если ты увидел и постиг,
Что нет строки, от жизни делимой,
То твердо знай, что ни один твой стих
Не пропадет неслышно и незримо.
Рожь молодая тянется упорно,

Она растет, живет и колосится
И наливает золотые зерна,
Чтоб в них весною снова возродиться.
Рожь молодая тянется упорно,
И зреют в нас дела, слова и песни.
Когда-нибудь и мы в них возродимся.
Одно лишь жаль: что мы уж не воскреснем.

1940

1. «Грани». 1949. № 8.

СТАНЦИОННЫЕ ОГНИ¹

С тех пор, как слово «заграница»
Мне заменило слово «дом»,
Я в книгах разлюбил страницы,
Где говорится о чужом.
Но хоть меня иные страны,
Лагуны, гавани, моря,
Надокеанские туманы,
Заокеанская заря
И прочие приманки детства
Не привлекают больше, нет,
Однако же одно наследство
Осталось мне от детских лет.
Когда, скрывая всё из вида,
Ночь хлынет с ветром заодно,
И город, словно Атлантида,
Весь погружается на дно,
Тогда, простясь на миг с тоскою,
В даль привокзальную взгляни,
Где с силой – явно колдовскою –
Перекликаются огни;
И память пустится вприпрыжку,
Подобно горному ручью,
И все майн-ридовские книжки
Сольются в ней в одну струю,
И, как мальчишка босоногий,
Ты замечтаешься о том,
Чтоб без пути и без дороги,
Забыв друзей и отчий дом,

И не раскаиваясь в этом,
Лететь, всему наперекор,
Куда манит волшебным светом
Зеленоглазый семафор.

1. Там же. Без указания даты.

Океанские стихи¹

ПРОЩАЛЬНАЯ

До края наливая,
Мы чарку пьем до дна.
Прощай, моя родная,
Родная сторона.
Плывем на пароходах
За синий океан,
Найдем, быть может, отдых
В одной из дальних стран.
Но сердцем по-иному
Не жить нам вдалеке —
Эх, воротиться б к дому
С винтовкою в руке!
Кричит на море чайка,
Ее печален зов.
Налита нами чарка
До самых до краев.
И, не роняя звука,
Мы пьем ее до дна...
Разлука ты, разлука,
Чужая сторона!
По палубе пустой
Брожу я на рассвете,
Беседует со мной
Восточный легкий ветер.
Меня то по спине
Потреплет он любовно,
То что-то шепчет мне
И ободряет словно.
На родине моей
Отысканные где-то,

Он от моих друзей
Принес слова привет.
Но из друзей моих
Лишь он на пароходе:
Единственный из них,
Который на свободе.

1. «Грани». 1951. № 12. Под этим заголовком опубликованы 8 стихотворений. В том числе 2, включаемых в Собрания сочинений («Если всё-таки ты уцелел...» и «1943»). (В. А.)

ДЕЛЬФИНЫ

За стеною тумана,
Где темно и пустынно,
Посреди океана
Проплывают дельфины.
Ох, морские паяцы,
Они скачут, как белки,
И нельзя не смеяться,
Видя эти проделки.
Но, не правда ли, странно:
Они лезут из кожи
В океанских туманах –
Для чего, для кого же?
Ой, дельфины, дельфины,
Ой вы, черные спины,
Вы плывите, дельфины,
К берегам Украины!
Украины, Кавказа,
Где, при солнечном свете,
Увидавши вас, сразу
К морю выбегут дети.
Ой вы, дива морские,
Вы устройте потеху:
Пусть детишки в России
Не разучатся смеху!

* * *

Словно ласточкин хвост, за кормою
Разделяется надвое след
И бежит, колыхает волною,
В те места, где меня уже нет.

Так везде на путях моих странствий
Продолжением прожитых лет
Оживает и бродит в пространстве
Многократно дробящийся след.
Пролетают ветра над полями
И метут невесомую пыль.
Под бурьяном, в загаженной яме
Это кости лежат не мои ль?
А бухгалтер, который в колхозе,
Пол-литровкой разбавив печаль,
Пишет скверные вирши о розе,
Соловьях и любви – не я ль?
Педагог, обреченный лукавить,
Обучает детей предавать –
Это трижды, четырежды я ведь
Возникаю в тумане опять!
А вон там, в полутемном подвале,
Две секунды, летящие вскачь,
Измеряю шагами не я ли,
Не за мной ли шагает палач?
Но движением точным и скорым
Чья метнется рука, как змея?
Пулей тот меня скосит, которым
Буду тоже ведь, тоже ведь я!
Небывало, нелепо, неожиданно
Небоскреб в отдаленье возник,
И глядит на него с океана
Мой неправдоподобный двойник.

ЗЕМЛЯКИ

Хороший выдался денек,
И небо голубое...
Давай присядем на пенек,
Поговорим с тобою.
Поговорим с тобой, земляк,
Давно ли ты оттуда?
Что в нашем городе и как,
Что хорошо, что худо?
Как город справился с войной,
На что он стал похожим?

Как обстоят дела с едой
И с выпивкою тоже?
Цела ли опера, вокзал,
Стоит ли крытый рынок ?..
Когда-то ночь там проторчал
За парюю ботинок.
Что наши парки? Как река?
Как площадь за забором?
Достроен, что ли, дом ЦК
Над снесенным собором?
На нашей улице жила
Одна девчонка – помнишь?
Голубоглазая была...
Да нет, не там, где дом наш,
А там, где рос большой платан
За первым поворотом,
Напротив жил еще пацан,
Работавший сексотом!
Случайно, может, или как,
Слышал, что стало с нею?
Ну, не томи, давай, земляк,
Рассказывай скорее!

* * *

Подходит к берегу волна
И, вздыбясь на бегу,
С тяжелым грохотом она
Сгибается в дугу.
Смотри внимательно: нигде
Ее отныне нет.
Ни на песке, ни на воде
Ее не виден след.
Ни на воде, ни на песке,
Но в полусогнутой строке
Сверкает солью пыль.
Волна стоит в стихе – ну, что ж,
Запоминай скорее, иль
Забудь и уничтожь.

* * *

О память сердца! Ты сильнее
Рассудка памяти печальной...

Батюшков

Еще до наступления морозов
В полях хватали сборщиц колосков,
И по ночам гудели паровозы
На север уходящих поездов.
Но помню утро. Вогнутое небо,
Узор деревьев, труп недалеке
И на трехпалой вздувшейся руке
Колючий иней – первый – вместо хлеба.
Брось! Замолчи. Стихи твои пусты.
Отсутствует в них трепет изначальный.
Когда б ты мог: «О память сердца, ты
Сильней рассудка памяти печальной».
Нет, и не так. Ведь можно жизнь прожить
И не забыть ни крошечной детали,
Но, вспоминая, в сердце не открыть
Ни ненависти, ни печали.
О нет! О нет! Пошли мне всё забыть:
Гудки, деревья, руку эту, иней,
Но только полной мерой сохранить
Святую дрожь, доступную мне ныне!

* * *1

По тропинке по лесной
Два солдата шли весной.
Их убили, их зарыли
Под зеленою сосной.

Кто убил и почему
Неизвестно никому –
Ни родному, ни чужому,
Разве Богу одному.

Через год иль через два
Прорастет кругом трава,
Всё прикроет, припокоит,
Приголубит трын-трава.

У тропинки у лесной
Запоет гармонь весной:
«Слышу, слышу звуки польки,
Звуки польки неземной».

1. Входило в цикл «Из шести стихотворений» (НЖ, 1954, № 36) под № 3. Остальные пять («Повисла ива у обрыва...», «Напрасно я со страхом суеверным...», «В час, когда соловьями из клетки...», «Как круги по воде, расплывается страх...», «Он прожил мало: только сорок лет...») в дальнейшем регулярно входили в сборники. (В. А.)

ПОСТУЛАТЫ БЕССМЕРТИЯ¹

1

...И развевался в отдаленье
Флаг на линейном корабле,
Когда по щучьему веленью
Исчезли люди на земле.

Еще крутился вал шарманки,
Дудя в какую-то трубу,
И попугай тащил из банки
Несбудущую судьбу.

И в подозрительном отеле,
Где ночевали, кто хотел,
Еще постели не успели
Изгладить отпечатки тел.

В дверях распахнутого храма
Сновала взвешенная пыль,
И выл из придорожной ямы
Свихнувшийся автомобиль.

Кресты и башенные шпили
Шли параллельно в эмпирей
И в бесконечности сходились
В равнобесцельности своей.

1. Антология «Литературное Зарубежье». – Мюнхен, 1958.

2

Бессмертия сон золотой.

Георгий Иванов

Ты смотришь, как рушатся рощи,
Как никнут и вянут цветы –
И сетуешь, мудрствуешь, ропщешь:
Бессмертия требуешь ты.

Ты требуешь дивного права –
Своей не кориться судьбе.
И вот уже ангел лукавый
Бессмертье дарует тебе.

.....

Эпоху сменяет эпоха.
Среди оголенных равнин –
Ни слова, о друг мой, ни вздоха! –
И ты остаешься один.

А солнце гудит, свирепея,
Растет до планетных орбит,
Чудовищной силой своею
Планеты оно пепелит.

Лишившись земли постоянства
И сил тяготенья ее,
Несется в пустое пространство
Бессмертное тело твое.

Давясь многократными тьмами,
Сгибаясь в неравной борьбе,
Слабеет о прожитом память,
И – что ж остается тебе?

Надежда? Надежда на что же?
На то ль, чтоб во тьме светолет
Хоть отблеск увидеть, похожий
На звезд забываемый свет?

3

Осенний жалуется норд,
Своей не веря жалобе,
А волны хлещут через борт
И мечутся по палубе.

Народ к бортам идет, скользя.
Покрыты шлюпки пеною.
Но много брать с собой нельзя –
Берут лишь драгоценное.

Вот этот с кольцами идет,
Тот – с манускриптов пачкою,
Кто фотографии несет,
Кто носится с собачкою.

Что ж – с Богом! Через день-другой
Мотанья океанного
Швырнет их на берег прибой
И жизнь начнется заново.

.....

Ко всем нахлынет смерть из тьмы,
Как те валы осенние,
И окунемся в вечность мы
Без шансов на спасение.

Шепнуть, что где-то есть прибой,
В порыве откровенности?
Но что захватишь ты с собой –
Какие драгоценности?

Глубокомысленную ложь
Да истины убогие?
Иль страх, что Божьим ты зовешь,
Продукт физиологии?

К чему ж бессмертия прибой
Потомку человечьему?
Живи, и жизнь твоя с тобой,
Но воскресать в ней – нечему.

* * *1

Закат вчерашний не поблек,
Не стоял прошлогодний снег,
Не смолк далекий соловей
В волшебной памяти моей.

Что ей пятнадцать лет назад ?
Что тридцать лет? Что сорок лет?
Вдруг вспомнятся – то снег и град,
То смех и грех, то свет и цвет.

О, памяти земной река,
Ты здесь светла и широка,
Но как найду я путь во тьму,
Туда, к истоку твоему,

Где хлещет темная струя
Из пропасти добытия ?

1. Антология «Содружество». – Вашингтон: Изд. Victor Kamkin, Inc. – 1966.

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ¹

я тут мотался по горам
под водопадный тарарам,

валялся на траве густой
и мял альпийский травостой,

а под орехом закусил –
ого, как он плодоносил!

А этим летом всё не так:
не водопад – а водокап,
не травостой – а травояг,
и тот орех плодоослаб.

1. НЖ, 1968, № 91.

БУДЕМ ЦЕНИТЬ¹

Быков – по племени,
А злак – по семени.

Коров – по вымени,
Бояр – по имени.

Солдат – по знамени,
Любовь – по пламени.

А как же быть с поэтами
И с песнями пропетыми?

Ни знамени, ни семени,
Ни вымени, ни племени –

Есть только пламя-строчество,
Да имя-(один)отчество.

1. НЖ, 1968, № 93.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ РАДУГИ¹

Взошла роскошной аркой –
О! в семи-само-цвётах
И триумфально яркой,
Как память о поэтах.

А после быстро гасла
В небесных лабиринтах,
В глубины пряча краски,
Как память о поэтах:

О шумных и о дивных,
Запретных и открытых,
Наивных и заумных,
Маститых и отпетых.

1. НЖ, 1968, № 93.

АЛЬПИНИСТЫ¹

Прямо в пропасть вьется тропка,
Презирая рифму «робко».

Залегли в ущелья тучи,
Рифмой брезгуя «летучи».

И растрескался гранит,
Отвергающий «хранит».

Прековарнейший пейзажик
Не сулит стихам побряжек –
Мелюзга зайдет на пик,
Что рифмуется с «тупик».

Мы из гласных и согласных
Отберем лишь первоклассных
И отпустим на тропу
Острошипую стопу.

Мы осилим эту тропку,
Зарифмуем стихофобку!

1. НЖ, 1968, № 93.

Вольнодумные стихи с двумя эпитафиями¹

1. РОДНОЙ ОБЫЧАЙ СТАРИНЫ
(С древнегреческого)

– Да будет проклят правды свет...
– Нет, этого я не могу допустить, –
тихо промолвил Алеша.

Пушкин – Достоевский

Даже бежавшему, жутко рабу
Перешагнуть вековое табу,

Но не могу не поставить всерьез
Музу и душу гнетущий вопрос:

1. НЖ, 1976, № 124.

Если невольника правнук-рапсод
Первенца в рабство опять отдает,

Если народ забывает про это
Рабское (барское?) дело поэта

И упивается снова и снова
Самодавляющей вольностью слова

Клио, скажи мне, куда забредет
Спутавший слово и дело народ?

2. ПО-ЧИТАТЕЛИ И ПО-СЛЕДОВАТЕЛЬ

– Иль мало нас?

– Нас тьмы, и тьмы, и тьмы...

Пушкин – Блок

Есть рифмы словно побрякушки –
Держи лишь ушки на макушке!
В иных же светится, двоясь,
Вполне осмысленная связь.

Народ орет. Он славит слепо
Жестокую поводья,
Как будто знает: слепо – лепо,
А зря, так станет видно: зря.

Ведь если зрение добыто,
Оставит, отступая, тьма
След опыта у следопыта,
У тиходума – ход ума.

И он за маской демагога
Увидит Гога и Магога
(Как в деве – Еву, в Ниле – ил),
И как бы все ни распинались,
Одержит верх того анализ,
Кого последователь скрыл.

Чужие голоса¹*(Не прямо криптограммы, а вроде и пародии)*ОСЕЛ ВО ПОЛУНОЧИ²*Ю. Иваск**сЮпрпИз*

А и в хлеву я не горюю
 И рай люблю я для зверей.
 Сарай за рай благодарю я,
 Взмахну ушами: ну! Ей-ей
 Уже лечу я в эмпирей,
 Вопя, играя и ликуя:
 «Хрю-хрю» ору, «кукареку» я
 Благодарю, благодарю:
 И я, и я, и я парю!

И знаю, ждя хлыста: хвала
 Моя притворна – ой! – была.

1. НЖ, 1975, № 119. Автором указан *Псевдоним*.

2. Пародируются сборники Ю. Иваска «Хвала» (Вашингтон, 1967) и «Золушка» (Нью-Йорк, 1970).

Из сборника «капрИЧчио и опрИЧьего»

* * *

*И. Чиннов**лиЧно*

Ели пилили, валили Емели
 Волгу сдавили в плотины и мели,
 Иволги, волки и лошади долго
 Пили каспийский рассол, а не Волгу,
 Ибо и небо на розы расколото
 Призрачным кленом прозрачного золота.

Жизнь, как индейка на блюде, не движется.
 Что предложу ей – мыслете иль ижицу,

Если, фраскати хлеща на террасе, я
Вижу в закате лишь аллитерации?

Пародируются ранние сборники И. Чиннова: «Монолог» (Париж, 1950), «Линии» (Париж, 1960), «Метафоры» (Нью-Йорк, 1968).

ПлеВоназМ

В.Марков

ВаМ

Сочинять одностроки – плевое дело!

Пародируется сборник стихов В. Маркова из одной строки «Поэзия и одностроки» / Gedichte und Einzeiler. Einleitung von George Ivask. – Центрифуга, 51. München, 1983.

О поэтИкЕ и тематИкЕ

И.Елагин

nИиЕт

Своя тематика у каждого поэтаика,
Своя поэтика для каждого предметика:

Кто с грустью воспоет Париж,
Кто - сыр московский со слезою,
Я раздраконю скаты крыш,
А ты – огни палеозоя.

Нажив артрит или гастрит,
Молчит старик или острит,
А юный тычет всем герой
Свой кариес иль геморрой.

Я для души найду такую нишу,
В которой жизнь течет как можно тише,
А стих оставляю в блеске, в лаке, в храме,
В нажиме, в драме, в гриме, в громе.

Пародия построена на стихах из сборника И. Елагина «Дракон на крыше». – Нью-Йорк, 1973.

ВНепоэтический аМпутант

*Н.Моршен**аноНиМ*

Над кем смеетесь? [зачеркнуто]

Недавно, по своей оху,
 Я написал одно стихо.
 Стихо, по-мо, дово свежо,
 Поско в нем мысли не разжѐ,
 Поско все рифмы в нем новы,
 Поско всё шиворот-навы,

Стихо психо, стихо га-га,
 Как полага для аванга.
 А в довершение всего
 В нем вышло квази-квипрово:
 Горит над ним, горит под ним
 Прозрачный псевдо-псевдо-
 НиМ.

Автопародия на экспериментальные стихи, вошедшие позже в сб. «Эхо и зеркало». – Беркли, 1979.

К ВОПРОСУ О БЕССМЕРТИИ¹

Истлевают груды книжек,
 Выцветает след чернил,
 А счастливчик-чижик-пыжик...

...Чижик-пыжик, где ты был,
 Что ты ел и что ты пил,
 Где наклонул плёвый стих
 И бессмертия достиг?

Но и химик не смекнет,
 Что за влагу птичка пьет,
 Заливаясь: «Пью-пью-пью»
 У фонтанчика в раю.

1. Стихотворение, предназначавшееся для публикации в «Знамени», но не вошедшее в нее.

Юбилейные¹*К своему шестидесятилетию (Самонадеянное)*

Как можно строже
От болтовни
Пустопорожней
Себя храни.
Жалей животных,
Жалей людей,

Но строк пустотных
Ты не жалей.
Забыв про жалость,
Сожми строфу,
Дабы держалась
Не на фуфу.

1. Стихи опубликованы в «Знамени», 1999, № 8. Кроме «К своему восьмидесятилетию».

К СВОЕМУ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ

(Недоуменное)

Все говорят, что в старости
Хоть и не много радости,
Зато на смену бодрости
Приходит масса мудрости,
Перспектива, конечно, заманчивая.

Так почему же, заканчивая
Жизненную эпопею
И вспоминая прежнее,
Я вижу, что всё безнадежнее
Беспамятею и глупею?

К СВОЕМУ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ¹*(Наукообразное)*

В 1937 году,
Когда отмечали столетие
Со дня смерти Пушкина,
Меня, двадцатилетнего,
Отделяли от смерти поэта
Пять моих жизней.

А от Октябрьской революции –
Только одна.

А сейчас, в 1997 году,
Меня отделяют от смерти Пушкина
Две моих жизни.

Но от Октябрьской революции –
По-прежнему только одна.

Что ни говори,
А странная это единица времени –
Человеческая жизнь!

1. В публикации «Знамени» выпущено.

К СВОЕМУ ДЕВЯНОСТОЛЕТИЮ (*Оптимистическое*)

Нелегко до девяноста,
Ну, а до ста
Будет просто!

К СВОЕМУ СТОЛЕТИЮ (*Ретроэволюционное*)

На детском фото круглые черты
Тебя немножко делают похожим
На ангела: как будто вправду ты
Задуман образом,
 подобием быть Божьим.
Но если, бреясь, в зеркале считать
Морщины, складки, прочие изъяны,
То видно, что еще лет сорок пять,
И ты-таки дойдешь до обезьяны!

Монтерей

Из писем

* * *

Надоело забывать и путать,
В голове то тут, то там провал,
«Бригантину» спутал с Брамипутрой,
Емельяном Ленина назвал.

Спутал Окуджаву с Джугашвили,
«Беспредел» назвал я «беспример»...
Ряд извилин стал совсем дебилен
И в мозгах рассеянный эклер.
(19 авг. 1997)

ПОПЫТКА МЕДИТАЦИИ,
или
ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ГУРУ

Я полежал в нирване в ванне,
Потом – в нирване на диване,
Сейчас – в саду я на шезлонге:
От мира чувства далеки –
Не барабанят перепонки
И не хрустаются зрачки.

Листвы не вижу разноцветной,
Не слышу звуков лир и труб,
Лежу абстрактный, беспредметный,
Беспозвоночный, бесхребетный,
Совсем оглох, ослеп, оглуп.

Но тут идет моя Наталья
Васильевна в сиянье дня,
Лентяя жуткого кляня.
Все чувства вдруг на место стали,
И ясно, что презрев натуру,
Полез я в шкуру гуру сдуру:
Ведь бороды нет у меня!

(2 сент. 1998)

Публикация – В. Агеносов

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

Елена Дубровина

«Тайнопись неизреченного»

О поэзии первой волны эмиграции

Поэзия и религия – две стороны одной и той же медали. Обе требуют духовной работы.

Николай Гумилев

В ПОИСКАХ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Уезжая в эмиграцию после революции от «принудительного творчества», русские литераторы искали не материального благополучия, а свободы самовыражения. «...В чем же основа нашей непримиримости? В индивидуальной нашей катастрофе, в потере имущества, тех самых ‘чайных ложек’, над которыми столько смеются иностранцы? – задает вопрос читателю литературный критик Юрий Владимирович Мандельштам, и далее поясняет. – Нет, конечно, поскольку мы эмигранты, а не абсолютно несознательные беженцы, спасавшие шкуру и остатки благосостояния. Мы все понимаем, что не в одном терроре и дело, как и не в одном лишь политическом и социальном строе. Мы не приняли насилия над свободой личности, над свободой человеческого творчества в любой области, над духовным обликом человека»¹.

Оказавшись в новых условиях еще «ненайденной отчизны», молодым поэтам нужно было не только приспособиться к новым условиям жизни, но и начать с нуля жизнь творческую. Вл. Диксон, чья поэзия имела две главные отличительные черты – метафизическую направленность и глубокую тоску по родине, писал:

Давно без Родины живем,
Забыты там, и здесь – чужие,
Горим невидимым огнем,
Не мертвые и не живые.

Нам не открыты времена,
Мы только ждать и верить можем,
Что за грозою тишина
Придет в благословенье Божиим.

В статье «В поисках литературного направления» Александр Бибииков отмечал в 1931 году: «Мы, ‘дети страшных лет России’, удостоившиеся услышать ‘музыку революции’, были бы куда ближе к пониманию основных задач искусства, если бы оглохли к ее победным отзвукам и занялись усовершенствованием единой формы...»². Об уходе от принудительного творчества писал и Николай Оцуп, стихи которого явились четким отражением сути эмигрантской поэзии. Примером могут послужить заключительные строки его стихотворения «Эмигрант»:

...Но под приказом тоже не поется,
И, может быть, в потомстве отзовется
Не их затверженный мотив,
А наш полузадушенный призыв.

Эмигрантская литература, по словам Бориса Поплавского, «вздохнула свободнее, освободившись от невыносимого лицемерия общественников, не достаивавших внимания личную жизнь»³. «Да. А для нас свобода — нищета / И одинокий подвиг созерцанья», — так воспринимает свободу Лидия Червинская. Эта новая концепция свободы, новое ее ощущение, отразилась в творчестве многих поэтов первой волны эмиграции:

Странно видеть мне в себе самом
До конца раскрытую природу.
Я гляжусь в неясное потом,
Вечную предчувствуя свободу.
Николай Оцуп

Раскрепощение литературы в условиях эмиграции открывает дорогу для поиска новых направлений. Однако важно отметить, что при этом поэзия диаспоры корнями все-таки уходит в Россию, оставаясь поэзией национальной. «Мне кажется, что одна из духовных насущнейших задач, вставших за последние годы перед молодым литературным поколением, задача метафизического оправдания искусства как дисциплины служения жертвенного, требующего от художника беззаветной самоотдачи... в органическом усвоении, в том, чтобы прояснилось перед нашим внутренним взором национальное лицо родной литературы», — продолжал свою первоначальную мысль Александр Бибииков в статье «В поисках литературного направления»⁴.

Вопрос о новом направлении поэзии широко обсуждался на страницах русской прессы 1920–30 гг. Можно отметить статьи Н. Тера-

пиано, П. Бобринского, А. Бибикова, Н. Бердяева, Г. Струве, Г. Газданова, Ю. Мандельштама, Б. Поплавского и многих других. Поиск эстетического направления для национальной литературы вне России стал основной задачей молодой эмигрантской поэзии. Этот «новый трепет» «новой эры» выразила четко в своих стихах Нина Берберова.

Он был по-своему поэт,
И новой эры возникало
Неотвратимое начало
На тысячу и больше лет.

Поиск иного направления приводит поэтов к развитию метафизической темы – темы тайны человеческой души, религии и морали, жизни и смерти, а также добра и зла, заложенными еще такими поэтами, как Иннокентий Анненский, Федор Глинка, Федор Тютчев, Евгений Баратынский, Константин Бальмонт.

Не плоть, а дух растлился в наши дни.
И человек отчаянно тоскует..
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, роппет и бунтует.
Федор Тютчев

Однако полностью отказаться от прошлого поэты первой волны не могут, как и не могут они отойти от влияния на их поэзию французских поэтов-декадентов и поэтов-символистов: Шарля Бодлера, Мориса Метерлинка, Поля Верлена, Поля Клоделя, Альфреда де Виньи, Виктора Гюго, Альфреда де Мюссе, Анри де Ренье и др. Однако осознав необходимость для себя нового подхода к поэзии, они нашли только им присущий творческий почерк.

ДЕКАДЕНТСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ

В 1886 г. Анатолий Бажо основал в Париже журнал «Декадент» (*Le Décadent*). В 1887 г. он издает брошюру «Декадентская школа» (*L'Ecole décadente*), вскоре ставшую манифестом многих поэтов. В ней он отмечал, что будущее поэзии принадлежит декадентству.

В 1902 году в Санкт-Петербурге была напечатана небольшая брошюра сейчас забытого русского философа и поэта Ипполита Андреевича Гофштеттера под названием «Поэзия вырождения. Философские и психологические мотивы декадентства». В этой статье он разделяет декадентскую поэзию на два направления. Первое – это

поэзия настроения, часто обращенная к смерти. В ней много драмы, загадочного и символичного. Чтобы понять себя и окружающих, делает вывод философ, надо взглянуть на мир из тени смерти, понимая, что завтра ты умрешь. Как пример, он приводит стихи французских поэтов. Вот отрывок из стихотворения Поля Верлена «Тоска»:

Устал я жить, и смерть меня страшит. Как челн,
Забытый, зыблемый приливом и отливом,
Моя душа скользит по воле бурных волн.

Второе направление, о котором говорит философ, – *мистическое, или метафизическое*, – обращено, в конечном итоге, к вере. Именно из этих двух направлений, на мой взгляд, выкристаллизовалась позже метафизическая поэзия первой волны эмиграции. Атмосферу декадентства, как и у Верлена, можно было почувствовать еще в первом сборнике стихов Иннокентия Анненского «Тихие песни», изданном в России. Из этого сборника – стихотворение «Тоска»:

Но, лихорадкою томимый,
Когда неделями лежишь,
В однообразьи их таимый
Поймешь ты сладостный гашиш,

Поймешь, на глянце центифолий
Считая бережно мазки...
И строя ромбы поневоле
Между этапами Тоски.

В стихотворении «Путешествие на остров Цитеру», греческий остров любви и красоты, французский поэт-символист Шарль Бодлер пишет: «Себя окутала навек моя душа / Тяжелым саваном зловещих аллегорий». В сборнике Георгия Иванова почти под таким же названием – «Отплытие на остров Цитеру» – есть строки, перекликающиеся с бодлеровскими по настроению:

Моей тоски не превозмочь,
Не одолеть мечты упорной;
Уже медлительная ночь
Свой надвигает призрак черный.

В поэзии Георгия Иванова мы находим декадентские мотивы, хотя он в стихотворении «Летний вечер прозрачный и грустный»,

иронизируя, как бы предупреждает читателя: «Берегись декадентской отравы: / 'Райских звезд', искаженного света, / Упоенья сомнительной славы, / Неизбежной расплаты за это».

Сам Г. Иванов сказал как-то про себя, что он «наследие декадентства». Юрий Мандельштам, размышляя на эту тему, сравнивает Г. Иванова с Г. Адамовичем: «Декадентства больше, чем у Иванова, но нет преображающей музыки. Адамович – декадент рассудительный».

Еще Мережковский в своей книге «Не мир, но меч» предсказал: «Можно с уверенностью сказать, что если когда-либо суждено зародиться самобытной русской культуре, то она вырастет из русского декадентства»⁵. Именно декадентские мотивы неоднократно звучали в стихах поэтов, принадлежащих по своему мировоззрению к «парижской ноте». Если задать себе вопрос «почему?», то ответ найти нетрудно. Переход из старого мира в мир новый, не желающий принять в свои объятия чужестранцев, постоянная борьба не только за духовное, но и материальное и физическое выживание, приводят поэта к состоянию безнадежности, и выход часто видится в уходе из жизни, в смерти. У поэта возникает необходимость искать свой путь из того замкнутого круга безысходности, в котором он оказался. Стихи многих представителей парижской ноты овеяны мыслями о близком конце, тоской о прожитом и о неясном будущем:

Не правда ли, такие облака
Возможны только на парижском небе...
Такая вдохновенная тоска
При тихой мысли о насущном хлебе.

Лидия Червинская

«Боже мой, какая грусть! / Господи, какая боль!», – восклицал в 1922 году В. Ходасевич в стихотворении «Вечер», обращаясь к Богу, выражая тем самым общее декадентское настроение молодой эмигрантской поэзии.

ПЕРЕОЦЕНКА ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Изменение жизненных обстоятельств приводило к переоценке духовных ценностей как в быту, так и в поэзии, ибо, по словам французского философа Жака Маритена, «поэзия рождается при контакте реального с духовным»⁶. В Советской России литератору уже не было места. Там – гибло творчество. Здесь – в эмиграции – появилась свобода самовыражения, но материальное неблагополучие, обособленность – все это создавало некий вакуум, темный провал, из которого

душа поэта искала путь к свету. Мысль о поиске света во тьме, где ночь – это смерть, а свет – пробуждение, выразил Ю. Мандельштам в одном из своих лучших стихотворений:

Не потому, что близок мой черед:
Он, может быть, настанет и не скоро.
Не потому, что смерть меня влечет
(О, вечный ужас смертного позора)...

Но с каждым днем – во мне, вокруг меня –
Темнее тени боли проблеск тайный,
И свет ночной живет света дня,
Незабываемый и неслучайный.

Однако строить жизнь на новом месте, разрушая прошлое, страдая и радуясь одновременно, было задачей нелегкой. «Каждое время ставит перед поэтом свои задачи, обойти которые невозможно», – писал Юрий Мандельштам в статье «Поэт-одиночка»⁷. Процесс создания эмигрантской поэзии по существу своему являлся также процессом и освобождения, и созидания одновременно, трансформации душевных и поэтических сил. Говоря словами французского философа Жака Маритена, «творческая способность человеческого духа жаждала чистого созидания»⁸.

Стихи стали своеобразными дневниками духовных исканий. В поисках такого нового пути поэзия выходит за пределы земного в мир духовный, поэт как бы приглашает читателя войти с ним в другую вселенную – вселенную его собственной души. Борис Закович писал: «И вот с тех пор мы бродим, плачем, верим, / Зовем друг друга и пространства мерим, / Ища наш дом под небом ледяным». Метафизическое осмысление жизни отразилось в творчестве:

Время взгляд человеческий сушит,
Он с годами острей и трезвей...
Нет, не вещи я вижу, а души,
Невесомую суть вещей.

Вера Булич

ОККУЛЬТНЫЕ МОТИВЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Начало 20-го века совпало в России с интенсивными религиозно-философскими исканиями. Но многие из тех, кому материалистическое мирозерцание оказалось чуждо, одновременно не были удовлетворены и традиционным христианством. Поэтому часть из них

обратилась к так называемым оккультным учениям – теософии и антропософии, которые примерно в это же время проникли в Россию. (Теософия, однако, вскоре оттолкнула многих своим нехристианским содержанием.)

В 1926 году, будучи уже в эмиграции, Н. Бердяев прочитал доклад «Теософия и христианство». Теософия, как известно, по-гречески – «богомудрие». Однако в теософии начала прошлого века теодицея, как и теология, отсутствовали (скажем, в популярных тогда учениях Е. Блаватской и Р. Штейнера). Теософия есть искание других духовных миров, и именно такая концепция в основном и была принята эмигрантской поэзией. Ярким примером такого подхода к творчеству является стихотворение В. Ходасевича «Баллада», написанное в 1921 году:

Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытием,
Стопами в подземное пламя,
В текущие звезды челом.

Теософия играла значительную роль в русской духовной жизни. Среди русских поэтов было много последователей Рудольфа Штейнера: в России среди них – поэты М. Волошин, А. Белый; в эмиграции – Б. Поплавский, П. Булыгин, Н. Белоцветов, З. Гиппиус, Дм. Мережковский, Г. Елачич, Дм. Кленовский и другие. Так, например, Николай Белоцветов считал себя ясновидящим, а поэт Гавриил Елачич (кузен композитора Игоря Стравинского) и его жена, поэтесса Нина Рудникова, устраивали у себя дома еще в Санкт-Петербурге спиритические сеансы.

Борис Поплавский проявил с детства интерес к теософии, оккультизму, познанию души и духовного сознания, который углубился позднее, отразился на его творчестве и положил начало его «путешествию в себя». В 17-летнем возрасте, еще в Константинополе, Поплавский вступает в теософское общество. В 1922 году в Берлине он отметит в своем дневнике: «Я познакомился с теософическим учением, которое есть раньше всего упорное воспитание интеллекта и чувства через сосредоточенное мышление и молитву».

Однако более глубокий отклик встретила в творческих кругах антропософия (выросшая из теософии, но затем с нею порвавшая), которая «с догматами древнейших религий человечества соединила неотделимые от русского сердца истины христианства», как отмечал поэт второй волны эмиграции Димитрий Кленовский в статье «Оккультные мотивы в русской поэзии». (В 1912 г. и сам Р. Штейнер

оставил теософию и основал Антропософское общество, став духовным руководителем этого течения.)

Увлечение антропософией, которую философ Николай Бердяев считал частью теософии, было особенно широко распространено среди русских поэтов эмиграции. Для многих из них теософия и антропософия стали тем единственным мостом, по которому они могли перейти к духовной жизни и уйти от бездушия современного мира. Мысль о том, что теософия и антропософия «своеобразно преломляются в русской душе», отмечал тот же Бердяев.

И хотя теософия/антропософия уже завладели умами поэтов еще в России, здесь, в эмиграции, она пустила корни и глубже, и шире. Знания религиозной философии, к примеру, для другого русского поэта – Павла Булыгина, жившего в далекой африканской стране Абиссинии, были глубокими и серьезными. Об этом нам говорят его стихи. Приводимое ниже стихотворение Булыгина – маленький шедевр, в котором емко уместились основные мысли теософического учения:

Предчувствие встреч. Предначертанность чисел.
Разгадка в прошедшем грядущих событий.
Ушедшего сна неосознанный смысл.
Дрожание с небом связующих нитей.
Вдруг проблеск того, что не знал никогда, –
Как будто смещение всех ощущений:
Теперешних, здешних, знакомых всегда
С забытою жизнью иных ощущений...

В процессе поиска нового направления, опираясь на философские мировоззрения современности, молодая эмигрантская поэзия приобретает, наконец, свой новый метафизический смысл.

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ НОТА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ИСКАНИЯ

Английский поэт П. Шелли определил метафизику как исследование тех вещей, которые принадлежат к внутренней природе человека или с нею связаны⁹. Метафизика уходит своими корнями в область «вечного», изолирует некую тайну, чтобы ее познать. Путь духовного пробуждения поэта ведет его к вере, к обращению к Богу. Однако у многих поэтов вопрос веры оставался неразрешенным. Так, поэт Г. Росимов обращается к Богу с вопросом: «Отчего Ты не видишь, Бог, / Как Твою распинают землю?»

«...Существует только одна парижская школа, одна метафизическая нота, всё время растущая, – торжественная, светлая и безнадежная», – писал Борис Поплавский в статье «О мистической атмосфере

молодой литературы в эмиграции»¹⁰. О какой же «метафизической ноте» писал Поплавский? Почему так часто в русской зарубежной прессе 1920–30-х годов шел разговор о метафизической атмосфере эмигрантской литературы? Особенно четко эта мысль прозвучала в многочисленных критических статьях Юрия Мандельштама. «Мы не приняли насилия над свободой личности, над свободой человеческого творчества в любой области, над духовным обликом человека. Хотим ли мы того или не хотим, понимаем ли это или не понимаем, но эмиграция фактически оказалась явлением метафизическим»¹¹.

И хотя концепция эта не нова и известна еще со времен Ницше, русский философ Н. Бердяев осветил ее по-своему в вышедшей из печати в 1931 году книге «О назначении человека», в которой автор призывает читателя найти свою дорогу к Богу. Бердяев дает блестящую характеристику природы творчества и глубокий анализ возникающих в творчестве конфликтов. Творчество происходит от свободы, а «свобода не сотворена Богом, а равноправна ему», заключает Бердяев. Но главное, он останавливается на тех проблемах, которые глубоко волновали творческую эмиграцию, и дает ответы на многие мучившие литераторов вопросы, давая возможность разобраться и познать самого себя, поверить в высшее и божественное начало, чтобы «И петь, и чутя над собой / Творца внимающее ухо» (Н. Белоцветов).

Особенно остро метафизическая тема прослеживалась в духовной поэзии Бориса Поплавского. В стихотворении «Молитва» он в страшный час, в «бледную страшную ночь», когда «никто уж не в силах помочь», обращается к Богу:

Лучше сердце раскрою, увижу
МалOVERЬЕ и тщетную тьму.
Осужу себя сам и унижу,
Обращусь беззащитно к Нему.

Каждое такое поэтическое произведение – выражение некоего духовного опыта, который с большей или меньшей степенью связан с биографией самого поэта. Но у каждого из поэтов был свой личный разговор с Богом.

Так много слов. И все слова – не те.
Ты, как слепой, в безмерной темноте
Напрасно шарить мертвыми руками.
Ты знаешь: свет. Ты чувствуешь его,
Протягиваешь пальцы – ничего.
Или холодный и бездушный камень.

Все пустота. Все темнота. Все лед.
И жалок твой мучительный полет.
Бессильны перейти черту неволи,
Так никогда и не добьешься ты
Предельной ясности, предельной простоты,
Последней, самой светлой боли.

– писал поэт Борис Вильде (псевдоним Борис Дикой), возглавивший в годы войны французское Сопротивление и погибший за Францию как герой. Он оставил после себя только горстку стихов, четко выражавших настроения тогдашних молодых поэтов. Поэтесса Анна Ней (наст. имя Жозефина Пастернак, сестра Бориса Пастернака), как и Б. Дикой, оказавшись на чужой земле, искала ответы на еще неразрешенные вопросы:

Что это: сказка или сон?
Иль жизни хаос: тьмы и света?
О, назови мне свой закон!
...Или останусь без ответа.

Неоднократно обращался к Богу в своих стихах Анатолий Гейнцельман – поэт, живший в Италии. Оставшись рано сиротой, тяжело больной туберкулезом, он, исходив дороги эмиграции, чудом избавился от своего недуга. Именно это произошедшее с ним чудо заставило поэта поверить в существование Бога.

С младенчества я находил лишь в Слове
Тебя, – повсюду сокровенный – Бог!
Лишь в красоте – Твоя первооснова,
Других нигде не видел я дорог.

Итак, в литературе 1920–1930-х годов мы наблюдаем господство религиозного духа. Пережитые испытания, страдания, одиночество должны были, в конечном итоге, привести эмигрантских поэтов к религии и вере: «Естественное разрешение духовных конфликтов обращено к вере» (Ю. Мандельштам)¹².

И не знаю, где же разница
Между Богом, миром, мной,
Колокольным звоном праздника
Все слилось в один покой.

Такое присутствие Бога ощущала и поэтесса Елизавета Скобцова,

Мать Мария, погибшая в газовой камере концлагеря Равенсбрюк за несколько месяцев до освобождения.

Путь, выбранный эмигрантскими поэтами, был путь поиска метафизической правды. «Мы – литература правды о сегодняшнем дне, которая, как вечная музыка голода и счастья, звучит для нас на Монпарнассском бульваре, как звучала бы на Кузнецком мосту, только что здесь в ней больше религиозных мотивов», – писал Б. Поплавский в статье «Вокруг Чисел»¹³. Молодой поэт искал для себя личного спасения, движимый «трансцендентным эгоизмом», как шутливо назвал этот феномен русский философ Леонтьев; христианство, считал он, есть учение и путь именно личного спасения. Такая точка зрения разделялась многими поэтами.

Раздвоенность в себе я ощущаю:
Жизнь тела дух давно опередил;
В исканиях сокрытых вечных сил
Я духом в неизвестности блуждаю...

Павел Булыгин

Стихи поэта нового времени – это не столько отражение самого времени, в котором он жил, сколько отражение его личного духовного состояния. Как показало время, окончательный внутренний идеологический разрыв с новой Россией произойдет у поэта эмиграции только тогда, когда он придет к христианству и Богу, пойдет по пути, чуждому постреволюционной Советской России. Но это никак не означает, что он излечится от чувства ностальгии по той России («Помню Россию так мало. / Помню Россию всегда» – Н. Гронский), которая осталась в памяти. «Люблю тебя, проклиная, / Ищу, теряю в тоске, / И снова тебя заклинаю / На дивном твоём языке», – писал Юрий Терапиано. Русскому поэту приходилось жить «под чужим солнцем» и «чужими звездами»:

И словно люди забыли
О том, что гнетет бывшее,
Что в сердце так много пыли,
И Солнце, Солнце – чужое.

Александр Перфурьев

Или:

И, пробегаю цепи дней,
Душа сгоревшему прощает.
И небо Африки родней
Чужими звездами ласкает...

Павел Булыгин

Тоска по России, перенесенные страдания поэзии не убили, а породили ее новую форму – форму мистическую, метафизическую и онтологическую.

Но верю, Россия осталась
В страдании, в мечтах и крови,
Душа, ты стократ умирала
И вновь воскресала в любви!
Владимир Смоленский

В этих строках Владимир Смоленский, один из любимейших поэтов эмиграции, выразил то состояние души, в котором находились многие поэты, оторванные от родной земли, но верящие в воскрешение в любви той души, которая уже не раз умирала от горя, одиночества, потерь.

Я здесь одна. К стволу каштана
Прильнуть так сладко голове!
И в сердце плачет стих Ростана,
Как там, в покинутой Москве,

– писала Марина Цветаева в стихотворении «Париж». Музыка поэзии была минорной; метафизические, исповедальные и декадентские аккорды звучали в ней неоднократно. Таким образом, поиски нового направления приводят некоторых поэтов на путь метафизический и к обращению к Богу. В стихотворении Ирины Сабуровой эта линия прослеживается особенно четко:

Упасть и не подняться. Не могу
Идти я больше. Господи, помилуй!
Я думала, что память сберегу,
А я и память вынести не в силах.

Запуталась. Разбилась. Не дано
Ни жить самой, ни жизни дать другому.
Какою бы дорогой всё равно
Мне ни идти – я не дойду до дому.

На всех путях поставлены кресты,
На всех крестах прибито слово «милый»
Гвоздями в сердце. Господи, хоть Ты,
Хоть не меня, кого-нибудь помилуй!

Описывая свое земное существование, эмигрантская поэзия была вся пронизана метафизическим призывом: «Но кто поймет? И кто услышит? / Я в темной пропасти забыт», – восклицает забытый всеми в эмиграции К. Бальмонт в 1922 г. Так появляется в эмигрантской литературе «феномен открытости», предельной обнаженности души, поиск своего нового «я».

ПОЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ

Процесс нахождения своего пути всегда не прост, особенно если это поиск Истины, поиск самого себя, нового человека, оказавшегося в иных условиях. И проходит этот путь, в первую очередь, через изучение собственной души. Еще Валерий Брюсов писал в 1902 году в «Мире искусства», что художник в творчестве озаряет свою собственную душу – и в этом есть наслаждение творчеством, – и что, знакомясь с художественным произведением, мы узнаем душу художника. Но при этом поэт должен быть честен с самим собой. Жестокость, царившая в революционной России, привела молодых эмигрантских поэтов к поиску Добра через пережитые страдания и там, на родине, и здесь, в эмиграции. Как вспоминает поэт Леонид Мунштейн (псев. Лоло):

Снова оттуда идут
Страшные, жуткие вести...
Казни... Неправедный суд...
Мор... Вакханалия мести.

По словам поэта и философа П. Бобринского, взаимная близость поэтического вдохновения и умозрительного опыта философа – очевидна. «Где-то, в какой-то плоскости чистая поэзия и чистое умозрение соприкасаются, даже сливаются», – писал он в газете «Возрождение»¹⁴. Писал именно потому, что уже в 1920-х годах философский подход к поэзии стал актуален.

Чтобы обратиться к читателю, поэт должен, прежде всего, познать самого себя, ибо чуткий читатель легко распознает поэтическую фальшь. Душа поэта должна найти своего читателя, должно произойти слияние двух душ – пишущего и читающего. Поэзия призвана произвести на читателя магическое действие, приобщить его к чувствам и мировоззрению поэта, к его эмоциональному восприятию окружающего мира. И постигая этот мир, только сам поэт открывает читателю тайну своего «я», тайну своей души, свой путь от внешнего созерцания к духовному осмыслению бытия, духовному развитию и поиску того абсолюта, который может привести к гармонии или смерти. «Искусство – это частное письмо, отправленное по неизвест-

ному адресу», – писал Борис Поплавский¹⁵. В стихотворении «Биография души» Николай Оцуп обращается к будущим биографам, которые станут искать в стихах поэтов их «громкие дела», «а души неровная стезя» пройдет мимо них стороной:

Как она незримая жила,
Вы узнать, увидеть не хотите,
Вам бы только громкие дела,
Ложь и скудность видимых событий.

Муза, ты свидетель, запиши,
Как таинственная зреет сила,
Чтобы наша летопись души
Хронику никчемную затмила.

К сожалению, Оцуп оказался прав, в поэзии и жизни литераторов первой волны последующие исследователи часто ищут сенсации, копаются в их интимной биографии, вместо того, чтобы проследить их душевный и духовный рост. В вышедшей в 1928 году поэме Оцупа «Встречи» главной темой является тема внутреннего созревания героя и его восхождение к Богу:

Миражи и проблески – только предтечи
Того, что сегодня случилось со мной, –
С Тобой на земле неожиданной встречи
В суровой и нищей ночи мировой.

В ПОИСКАХ «ИСКУССТВЕННОГО РАЯ»

Размышления о тайнах человеческого бытия, о жизни и смерти, о тайне потустороннего мира мы находим еще в поэзии А. Пушкина: «Я видел смерть; она в молчанье села / У мирного порога моего». Поэт – одна из жертв времени. В эмигрантской поэзии размышления о смысле жизни и смерти стали центральной темой. Трагедия литераторов первой волны была даже не в соприкосновении с самой смертью, а в постоянных размышлениях о ней в четырех стенах своего одиночества.

Заклятье: живи, кто может,
Но знай, что никто не поможет,
Никто не сумеет помочь.
А если уж правда невмочь –
Есть мутная Сена и ночь.

Анатолий Штейгер

Душа – узница собственных сомнений, и чтобы освободить душу из плена, нужно было найти ответы на мучившие их вопросы о добре и зле, лжи и правде. Недаром в книге «Назначение человека» Бердяев останавливается в некоторых главах на вопросах правды и лжи, совести и свободы, страха и ужаса, тоски, любви и страдания. И если поэт в новом мире, в котором он оказался, чувствует себя потерянным и одиноким, то трагедия его становится главным предметом искусства. «Чем хуже жить, тем лучше можно творить», – писал матери А. Блок. Казалось, что было только два выхода из замкнутого пространства – смерть или поиск нового пути из состояния обреченности.

Уход в творчество, поиск ответов на мучившие его вопросы, осмысление действительности настоящей, а не иллюзорной, помогали поэту выстоять и победить. «Но чем печальней доля – / Тем выше в небе Дух», – восклицает Вл. Диксон в стихотворении, написанном незадолго до внезапной кончины. Однако многие уходили от жизни в мир мистический не через творчество, а с помощью наркотиков, избавляющих от тех трудностей, моральных и физических, которые стали частью эмигрантской жизни.

О, столько лет! Нет, рану не залечишь,
Ни мышьяком, ни бромом не помочь.
И судорожно вздрагивают плечи
В чернеющую мартовскую ночь!

Вера Лурье

Та реальность, в которой оказались молодые поэты диаспоры, вызывала надсоновские настроения, при которых «гаснет жизнь, разрушается заново тело», т. е. нигилизм, скептицизм, отрицание будущего, желание уйти в мир несуществующих грез стали мотивом их творчества. Пребывание в «искусственном раю»¹⁶ уводило поэтов от страшной действительности, погружая их в мир потусторонний, нереальный, где парили они на грани счастья и смерти, между небом и землей, балансируя между миром иллюзий и снов и миром реальным, чтобы «сосредоточиться в боли», «выразить хотя бы муку того, что невозможно выразить».

Сколько раз свои сердца,
Не спасая от контузий,
Мы шатались без конца
По республикам иллюзий.

Дон Аминадо

В сборнике стихотворений Бодлера «Цветы зла» можно проследить эти «наркотические состояния», когда: «И сердце, полное тоскою, / Приблизит к вечному покою».

На одном из литературных собраний в Париже в 1930 году Нина Берберова уже тогда отмечала, что поэты предавались наркомании, кончали с собой пулей или газом, как Виктор Гофман, Муни, Надежда Львова, Борис Койранский, Нина Петровская. В 1931 году Н. Бердяев публикует небольшую брошюру «О самоубийстве», где он пишет, что самоубийца есть человек, потерявший веру: «Только Бог дает смысл жизни. И борьба против самоубийства, против самоубийственных настроений есть борьба за религиозный смысл жизни, борьба за образ и подобие Божие в человеке»¹⁷. Одной из трагедий в литературной жизни Парижа стала гибель в 1935 году от наркотиков любимого поэта эмиграции Бориса Поплавского.

А в малое мгновенье
Понятно, что чашу с ядом
Хотя и страшно выпить,
Но все-таки возможно.

Ю. Мандельштам

Недаром повествование Михаила Агеева «Роман с кокаином», отрывки из которого впервые были напечатаны в журнале «Иллюстрированная Россия»¹⁸ в 1934 году, и вышедший в 1937 г. роман русской писательницы Е. Кортоли¹⁹ «Снег»²⁰ (на ту же тему) нашли глубокий отклик в эмигрантской прессе того времени. «Неужели эта тема так волнует сознание эмигрантских писателей? Эпоха 'искусственного рая' в литературе, казалось бы, давно уже отошла в прошлое», — размышляет Юрий Мандельштам в рецензии на роман Кортоли «Снег»²¹. Однако в одной из своих статей он отвечает сам на поставленный им вопрос: русская литература и жизнь эмигрантских писателей были отмечены трагизмом особым, что часто приводило к наркотикам. Чуткое сердце поэта тоскует, память еще живет в душе непроходящей болью, и тогда некоторые из них видели выход в уходе от реальности. Поэты понимали, что в жизни всякого художника существует переломный момент, момент для них — катастрофический, когда трагедия внутренняя воплощается в жизни.

К чему же песни, — светлый бред земли,
Навстречу существу цветенье духа,
Когда неисцелимая разруха
В изгнания час взошла на корабли.

Николай Станюкович

А пока шла борьба за выживание в этом «трагическом, нищем раю», уход от страшной действительности в мир творческий, мистический и нереальный, спасал от страшной смерти:

Люблю войти в пустой Господний дом
И в тишине, где шепот невозможен,
Забыть о том, как шумом мир тревожен,
И замереть в безмолвии святом.

Татьяна Тимашева

И хотя этот кризис знаменовал начало зрелости художника, только перенеся подобную катастрофу, переступив черту отчаянья, отдавшись от юношеских разочарований и начав жизнь заново, поэт мог создать самые значительные свои произведения, открывая для себя тайну «нового мира» через творчество.

ПУТЬ К ТАЙНЕ БЫТИЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ИНТУИЦИЯ

Суть творчества заключалась не только в том, чтобы раскрыть тайну своей души, показать трагедию существования своего поколения, свои метафизические переживания, а еще и в том, чтобы увидеть мир по-своему, пропустив через свое восприятие, ибо поэзия – «это не отображение предмета как такового, как созерцаемого объекта, а он (творец) запечатлевает в этом предмете черты своей индивидуальности» (Ж. Маритен)²².

Я верил в духов страшных и чудесных,
Бродя осенним вечером меж скал.
Незримо я касался тайн небесных,
Загробных, страшных теней бытия,
Видений без конца и без начала.

Юрий Терапиано

Поиск тайны и ясности, просветленного мгновения, блаженства познания Вселенной и стремление к духовному совершенствованию – смысл поэзии. И лучше всего – просто и ясно – выразил эту мысль поэт Даниил Ратгауз, поэт, живший в эмиграции в Праге.

Быть может, то, что нам нельзя
Понять и в год, и в два, и во сто,
В разгадке тайны бытия
Так гармонично и так просто.

Георгий Адамович так определил сущность поэзии: «В чем смысл поэзии? Чем настойчивее и упорнее об этом думаешь, тем неотвратимее втягиваешься в области почти метафизические». И далее он говорит о том, что поэзия должна «служить единственно важному человеческому делу: одухотворению бытия, тому торжеству духа, которое, может быть, и свершится в далеких будущих веках...»²³. И только через мистический подход можно постичь сокрытую от глаз тайну бытия – такую мысль выражает поэт Борис Божнев:

Скрыта звучная струя
Деревьями густого сада...
Так между тайной бытия
И человеком есть преграда.

Но зеленью сокрытый шум
До слуха сладко достигает...
Так вслушивающийся ум
Невидимое постигает...

В основу многих учений того времени была положена философия Востока, важной заповедью которой была заповедь забыть о себе; поэт смотрит на вещи и размышляет о смысле предмета, о тайне мироздания, старается проникнуть в тайну жизни и смерти, указывая при этом путь другим через свой опыт постижения божественного.

Причалив к лунным берегам,
Покорный теплой власти Рока,
Открою душу странным снам,
Ночным шуршаниям Востока.
Павел Булыгин

В таком творческом поиске помогали и учения модных тогда философов. Важно отметить, что поэзия первой волны эмиграции находилась под влиянием французской философии – тех трудов, в которых доминировала метафизическая тема. «Поэзия есть онтология», – писал французский философ Жак Маритен²⁴. Среди тех, кто повлиял на творчество русских поэтов-эмигрантов, можно назвать Габриэля Оноре Марселя (Gabriel Honoré Marcel, 1889–1973), автора работ «Метафизический дневник», «Опыт конкретной философии», «Таинства бытия» и др.; Жака Маритена (Jacques Maritain, 1882–1973) – «Творческая интуиция в искусстве и поэзии» и «The situation of poetry» («Положение поэзии»), а также «От Бергсона к Фоме Аквинскому: очерки метафизики и этики».

Философия Анри Бергсона заслуживает в этом контексте особого внимания, в частности, его работа «Введение в метафизику» (1903). Бергсон был представителем интуитивизма, автором «Творческой эволюции», за которую и получил Нобелевскую премию по литературе (1927). О нем как о человеке надо упомянуть отдельно – а именно тот факт, что будучи евреем, в оккупированном немцами Париже, Бергсон, больной, ослабевший, отказавшись от всех своих почестей и наград, отказавшись и от помощи властей, простоял в многочасовой очереди, чтобы зарегистрироваться как еврей. Анри Бергсон умер от пневмонии в Париже, оставив после своей смерти важнейшие философские труды, открывшие новые пути к пониманию тайны человеческого бытия.

Философия Бергсона была популярна еще в дореволюционной России. Например, поэт Николай Оцуп в 1913 году посещал его лекции в Париже. Вернувшись на родину, под влиянием философии Бергсона он стал писать стихи, в которых четко прослеживается данная философская линия. Отголоски этой философии можно заметить в поэзии Бориса Поплавского, Владимира Смоленского, Юрия Мандельштама, Павла Булыгина, Николая Белоцветова, Владимира Диксона и других. О влиянии Бергсона упоминают и некоторые прозаики. Оно особенно заметно у Вл. Набокова, например, в романе «Король, дама, валет».

В работе «Творческая эволюция» Анри Бергсон пришел к заключению, что интеллект способен создавать только «отвлеченные» и «общие» понятия, а воспроизвести реальность можно, лишь воссоздав ее с помощью творческой интуиции, «которая, будучи непосредственным переживанием предмета, внедряется в его интимную сущность». По его мнению, интуиция и есть сам дух. Николай Лосский, в отличие от Бергсона, считал, что мир и жизнь мира объясняет интеллектуальная интуиция, и в ней существенен разум. У Бергсона же интуиция родственна скорее инстинкту, чем уму; дух в форме инстинкта, луча света, мгновенно проникающего и озаряющего. В своих воззрениях Бергсон видел жизнь как некий метафизически-космический процесс, как поток творческого формирования мира путем интуитивного подхода к нему.

Здесь прослеживается близость философии Бергсона и русской эмигрантской поэзии, которая шла, в основном, путем интуиции и которую можно назвать Божьим даром. За десять дней до смерти 29-летний поэт Вл. Диксон, который прекрасно знал богословие и стихи которого пронизывает глубокая религиозность, писал:

Если завтра в последний раз
Вижу солнце и звезды, и сына,

И не обрадует жадных глаз
Родной земли скупая равнина –
Что на дорогу мне сказать?

Да будет легка дорога к теням.
Да будет милостив ко мне Господь.

«УГАДЫВАНИЕ ДУХОВНОГО В ОСЯЗАЕМОМ»,
ИЛИ ТАЙНА ТВОРЧЕСТВА

В 1927 году во французском журнале «Chroniques» («Хроника») была напечатана статья Ж. Маритена «Границы поэзии» – трактат, который вызвал огромный интерес в литературном мире не только у французских поэтов, но и в кругу русских литераторов. В этой же статье Маритен приводит мысль о том, что поэзия есть «угадывание духовного в осязаемом, дабы это духовное снова выразить в осязаемом». Иными словами, чтобы изобразить «осязаемое», творец должен сначала преобразить его в душе и потом, в преображенном виде, донести до читателя. Творчество, преображенное через духовный опыт, и есть истинное творчество. Искусство реально преображает мир по образу и подобию того, что уже изначально заложено в душе художника. В этом «преображении» заложена Тайна творчества.

Да, только в творчестве, на мраморных ступенях,
Ведущих в храм стиха и божества,
В словесных сочетаниях, в узорных светотенях
Есть радость несказанная святого колдовства.

Алексей Колчев

По словам Вяч. Иванова, поэзия есть «тайнопись неизреченного». Он видел ценность стихотворной речи в «недосказанности», «утаенности смысла»: «Особенная интуиция и энергия слова, какое непосредственно ощущается поэтом как надпись неизреченного, вбирает в свой звук многие неведомо откуда отозвавшиеся эхо и как бы отзвуки разных подземных ключей...»²⁵.

Поэзия для многих литераторов первой волны эмиграции становится новой формой выражения своих идей посредством образов, «несказанных» (Блок) и «неизреченных», ведущих к постижению вечных смыслов. «Русские декаденты – самозародившиеся мистики, первое поколение русских людей, взыскавшее тайны», стремящееся «из старой, теперь уже бессознательной мистики в новое религиозное сознание», – писал Д. Мережковский²⁶. Именно здесь вспоминаются строки из стихотворения Юрия Владимировича Мандельштама, сум-

мировавшего то, о чем писали поэты русской диаспоры, — в поисках своей неземной Тайны, в поисках того, «чего на земле не найти», они «прорываясь сквозь стратосферу / в безграничную звездную ночь».

Но будто предчувствуя будущее забвение, поэт В. Сумбатов сетовал: «Как жутко знать, что от меня следа / Никто не встретит ни в какой тетради». Поэт оказался прав — все еще остается недостаточно исследованным духовный конфликт, отраженный в поэзии первой волны эмиграции, метафизический поиск нового направления и их путь к разрешению вечного вопроса жизни и смерти.

В хрустальном мире ритмов и созвучий,
 Душа, ты только скрипка, не смычок,
 Благословим за подвиг их певучий
 Всех, кто стихами в жизни занемог.

Юрий Джанумов

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Мандельштам Юрий*. Коммунизм и христианство. // «Возрождение», №4075, 24 апреля 1937.
2. *Бибиков Александр*. В поисках литературного направления // «Возрождение», № 2116, 19 марта 1931.
3. *Поплавский Борис*. Вокруг «Чисел» // «Числа». — Париж, 1934. — № 10. С. 204.
4. *См. Бибиков*. Указ. сочинение.
5. *Мережковский Дмитрий*. Не мир, но меч. К будущей критике христианства. — СПб.: Издание М. В. Пирожкова, 1908. С. 98.
6. *Maritain, Jacques and Raissa*. The Situation of Poetry. — N.Y.: Philosophical Library, 1955. P. 21.
7. *Мандельштам Юрий*. Поэт-одиночка. // «Возрождение», № 3895, 1 февраля 1936.
8. *Maritain Jacques*. Creative Intuition in Art and Poetry. — N.Y.: The New American Library, Inc., 1954.
9. *Шелли П. Б.*. Размышления о метафизике. // Шелли, Перси, Биши. Полное собрание сочинений в переводе Бальмонта. Том 3. — СПб.: Изд-во «Знание», 1907.
10. *Поплавский Борис*. Неизданное. Дневники. Статьи. Стихи. Письма. — М.: Христианское изд-во, 1996. Сс. 256-259.
11. *Мандельштам Юрий*. Коммунизм и христианство. // «Возрождение», № 4075, 24 апреля 1937 г.
12. *Мандельштам, Юрий*. Дом в Пасси. // «Возрождение», № 3676, 27 июня 1935.
13. *Поплавский Борис*. Неизданное. Дневники. Статьи. Стихи. Письма. Сс.299-304.

14. *Бобринской Петр*. О границах поэзии // «Возрождение», № 709, 12 мая 1927 г.
15. См. *Поплавский Борис*. Указ. издание.
16. Название книги Бодлера, изданной в 1860 году, в которую входило три раздела: «Вино и гашиш», «Поэма о гашише» и «Опиоман».
17. *Бердяев Николай*. О самоубийстве. – Париж: УМСА Press, 1931.
18. «Иллюстрированная Россия» *La Russie Illustrée* – еженедельный литературный иллюстрированный журнал. Издавался в Париже на русском языке с 1924 по 1939 год.
19. Е. Кортоли – данных о писательнице найти не удалось.
20. *Кортоли Е.* Снег. Роман. – Берлин: «Парабола», 1937. 382 с.
21. *Мандельштам Юрий*. Снег // «Возрождение», № 4060, 9 января 1937..
22. *Maritain Jacques*. Creative Intuition in Art and Poetry. – N.Y.: The New American Library, Inc., 1954.
23. *Адамович Г. В.* Комментарии. – Вашингтон: Изд-во Виктора Камкина, 1967.
24. *Maritain Jacques*. Указанное сочинение.
25. *Иванов Вячеслав*. Заветы символистов. В книге «Борозды и межи». – М.: 1916. С. 135.
26. *Мережковский Дмитрий*. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. – СПб.: Типолитография Б. М. Вольфа, 1893.

СПИСОК ИМЕН ЛИТЕРАТОРОВ-ЭМИГРАНТОВ

- Агеев Михаил* (наст. фам. Марк Лазаревич Леви, 1898–1973) – писатель, филолог-германист, переводчик, советский внешнеторговый деятель. С 1924 г. жил в Германии и Франции. С 1942 года жил в Ереване.
- Бибиков Александр* – литератор, общественный деятель, член Союза молодых россов.
- Белоцветов Николай Николаевич* (1892–1950) – поэт, прозаик. Уехал из России после революции. Жил в Берлине. Широко печатался в эмигрантской периодике. Автор 3-х сборников стихов. Был последователем антропософского направления, рано увлекся мистикой и учением Рудольфа Штейнера.
- Бобринской Петр Андреевич*, граф (1893–1962) – поэт, историк, журналист, масон, философ. В 1920 году эмигрировал в Париж. Широко печатался в эмигрантской прессе.
- Божнев Борис Борисович* (1898–1969) – поэт. Эмигрировал в 1919 г. С 1922 г. жил в Париже, с 1939 г. – в Марселе. Писал по-русски и по-французски. Широко печатался в эмигрантской периодике.
- Булыгин Павел Петрович* (1896–1936) – поэт, офицер Русской Императорской армии, участвовал в спасении царской семьи, белоэмигрант. В 1921–22 гг. жил в Берлине. С 1924–1934 гг. жил в Абиссинии, где написал свои лучшие стихи. Долгие годы был незаслуженно забыт как поэт. Умер в 40 лет в Парагвае.

Булич Вера Сергеевна (1898–1954) – поэтесса, прозаик, литературный критик, автор четырех сборников стихов. После революции жила в Финляндии. *Вильде Борис Владимирович* (псевд. Борис Дикой, 1908–1942) – поэт, прозаик, ученый-лингвист и этнограф, участник французского Сопротивления, основатель и редактор газеты «Résistance». Уехал из России в 1922 г. сначала в Латвию, потом в Германию, а в 1934 году – в Париж. Писал на русском и французском языках. В 1942 г. был расстрелян нацистами. Национальный герой Франции.

Гейнцельман Анатолий Соломонович (1879–1953) – поэт первой волны эмиграции. Осенью 1920 г. Гейнцельман бежал из России, окончательно поселился во Флоренции. Он вел затворнический образ жизни, почти не соприкасаясь с эмигрантскими литературными кругами.

Гофштеттер Инполит Андреевич (1860–1951) – поэт, философ и богослов. С 1922 г. жил в Салониках, Греция.

Гронский Николай Павлович (1909–1934) – поэт первой волны эмиграции. Уехал из России в 1920 г. Погиб под колесами поезда метро. Три недели спустя смерти Гронского была опубликована его поэма «Белладонна» (при жизни он своих стихов не печатал), о которой Цветаева в декабре 1934 года написала статью «Посмертный подарок». Марина Цветаева посвятила ему несколько стихотворений. Сохранилась обширная переписка двух поэтов – Цветаевой и Гронского.

Джанумов Юрий Александрович (1907–1965) – поэт. Уехал из России в 1919 г. Жил в Германии. В 1944 переехал в Чехословакию, где был арестован НКВД и год провел в тюрьме, из которой ему удалось бежать снова в Германию. Единственная книга стихов вышла посмертно.

Диксон Владимир Вольтерович (1900–1929) – русский и английский поэт, прозаик, переводчик, основатель издательства «Вол» в Париже. В 1917 г. уехал из России в Америку. Учился в Гарвардском ун-те. С 1923 г. жил в Париже. Умер после операции аппендицита.

Дон Аминадо (наст. фам. Аминад Петрович Шполянский, 1888–1957) – поэт-сатирик, мемуарист, адвокат, масон. В 1920 г. эмигрировал в Париж.

Елаич Гавриил Александрович (1894–1941) – поэт, двоюродный брат композитора И. Ф. Стравинского. Увлекался эзотерикой и оккультизмом, состоял в мистических обществах. Участник Гражданской войны, Северо-Западная армия ген. Юденича. Жил в Эстонии, участвовал в литературных объединениях русских эмигрантов. В 1921 г. уехал в Югославию. Погиб при бомбардировке Белграда нацистской авиацией. Его многообразное литературное наследие еще не изучено.

Лурье Вера Иосифовна (1901–1998) – поэтесса. В 1921 году эмигрировала в Берлин. Выпустила одну книгу стихов. Писала на русском и немецком языках.

Мандельштам Юрий Владимирович (1908–1943) – поэт и литературный кри-

тик. Уехал из России в 1920 году. Жил в Париже. Заменял Ходасевича в 1939 г. на посту гл. редактора критического отдела газеты «Возрождение». Был женат на старшей дочери Игоря Стравинского, Людмиле. За свою короткую жизнь опубликовал около 400 статей в русской и французской периодике. Погиб в Освенциме 15 октября 1943 г.

Мать Мария (в миру Елизавета Юрьевна Скобцова, 1891–1945) – поэтесса, мемуаристка, монахиня; участница французского Сопротивления, спасшая тысячи людей от нацистских концлагерей. Переехала в Париж в 1924 г. Погибла за несколько месяцев до освобождения.

Мунштейн Леонид Григорьевич (Леон Гершкович; псевдоним Лоло, 1866–1947) – поэт, публицист, драматург, театральный деятель. С 1920 г. жил во Франции.

Ней Анна (наст. Жозефина Леонидовна Пастернак, 1900–1993) – поэтесса, сестра поэта Б. Л. Пастернака. В 1921 г. уехала в Берлин, позже переехала в Англию (Оксфорд). Издала один сборник стихов.

Офросимов Юрий Викторович (псевд. Г. Росимов, 1894–1967) – поэт, журналист и театральный критик. Участник Белого движения. Эмигрировал в Берлин в 1920 г. В 1933 г. переехал в Белград. Во время войны был в немецком плену. После войны жил в Швейцарии.

Оцуп Николай Авдеевич (1894–1958) – поэт и переводчик, брат поэтов С. Горного и Г. Раевского. В 1922 году покинул Россию. В 1930 г. основал журнал «Числа». Во время Второй мировой войны служил добровольцем во французской армии. Совершил два побега из концлагерей. Принимал участие в итальянском Сопротивлении, получил несколько наград. Автор сборников стихов, романа и ряда статей.

Перфильев Александр Михайлович (1895–1973) – поэт, публицист, литературный критик. Муж поэтессы и прозаика Ирины Сабуровой. Жил в Латвии и Германии. Романс «Ах, эти черные глаза» был написан Оскаром Строком на слова А. Перфильева. В последние дни Второй мировой войны Перфильев оказался в Праге, где попал в руки Красной Армии и был приговорен к расстрелу как власовец. Благодаря счастливому стечению обстоятельств ему удалось бежать из-под расстрела. Работал на радиостанции «Свобода». Выпустил несколько сборников стихов и прозы.

Раевский Георгий Авдеевич (настоящая фамилия Оцуп, 1897–1963) – поэт. Брат поэта Николая Оцупа и Сергея Горного (наст. Александр Авдеевич Оцуп). Эмигрировал в Париж в 1920 г. В 1926 г. организовал вместе с Ю. Терапиано, В. Смоленским, Ю. Мандельштамом и Д. Кнудом группу «Перекресток». Во время оккупации Парижа немцами его и его семью спасла от лагерей поэтесса Мать Мария.

Ратгауз Даниил Максимович (1868–1937) – поэт. Эмигрировал в 1921 году, жил в Берлине и Праге. При жизни издал один сборник стихов.

Рудникова Нина Павловна – поэтесса, жена Гавриила Елачича, исследователь

эзотеризма и мистицизма. Родилась в Петербурге в конце XIX века. После революции жила в Эстонии. Успешно занималась духовным целительством. Ее работа была тесно связана с теософскими и рериховскими кругами, а также с таллиннским обществом метапсихических исследований.

Сабурова Ирина Евгеньевна (1907–1979) – поэтесса, прозаик. Жила в Германии, печаталась в эмигрантской периодике, автор романов и одного сборника стихов.

Смоленский Владимир Алексеевич (1901–1961) – поэт, прозаик. Уехал из России через Крым сначала в Тунис, потом во Францию. Широко печатался в русской зарубежной периодике. Умер от рака горла.

Станюкович Николай Владимирович (1898–1977) – поэт, прозаик, переводчик, литературный критик; участник Белого движения. В эмиграции жил в Белграде, Берлине и Париже. Автор статей об эмигрантских поэтах и писателях.

Сумбатов Василий Александрович (1893–1977) – поэт. В 1920 году уехал из России, оставшуюся жизнь (40 лет) прожил в Риме. Выпустил три сборника стихов.

Терапиано Юрий Константинович (1892–1980) – поэт, прозаик, мемуарист, литературный критик, переводчик, организатор и участник ряда литературных объединений русского Парижа. В эмиграции с 1920 года.

Тимашева Татьяна Николаевна (псевд. С. Горлова, 1891–1950) – поэтесса. После революции была арестована большевиками, сидела в тюрьмах. В 1921 г. бежала в Финляндию. В 1926 году поселилась в Париже, в 1939 г. переехала в США.

Холчев Алексей – поэт. «В двадцатые годы в Париже появился никому не известный Алексей Холчев. В 1924 г. он издал свою первую книжку ‘Гонг’. Как и многие сборники эмигрантских стихов, ‘Гонг’ не прозвучал, а лучше сказать – никто его не услышал. Ничего не было известно о его авторе – ни возраста, ни отчества, ни прошлого... Жил замкнуто, и в их памяти следа не оставил... Что же все-таки известно? До революции обитал в Крыму – возможно, в Севастополе, после революции участвовал в Гражданской войне. Вот, собственно, и все. В декабре 1929-го вышла вторая, и последняя, его книга – ‘Смертный плен’. Г. Иванов прочитал и пленился. Написал отзыв и, каким-то образом встретив Холчева лично, предложил ему присылать стихи в ‘Числа’». (*Вадим Крейд*. Из статьи «Георгий Иванов в 20-е годы»).

Червинская Лидия Давыдовна (1907–1988) – поэтесса первой волны эмиграции. В 1920 г. эмигрировала с семьей в Константинополь, с начала 1920-х гг. жила в Париже. Печатила стихи с 1930 года.

Штейгер Анатолий Сергеевич (1907–1944) – поэт, представитель «парижской ноты». Уехал из России в 1920 г. Жил в Чехословакии, Франции и Швейцарии, где умер от туберкулеза.

Геннадий Кацов

Бах: гений – парадоксов друг

О Вагриче Бахчаняне

«– Нет ли лишнего партбилетика?»

В. Бахчанян, у входа в театр

«Какой Идиот сказал, что красота мир спасет?»

В. Бахчанян

«Но я понимал, что написать так, как Леонардо да Винчи или Рафаэль, не смогу, потому даже пытаться нет смысла. Каждый художник должен сделать то, что не сделано, неважно, в каком плане и чем нарисовано: ослиным хвостом или колонковой кистью № 1.»

В. Бахчанян, 2008

Вагрич Акопович Бахчанян родился в 1938 году в Харькове. По паспорту – Владимир; себя называл «Владимир Траншеевич»; друзья разумно сократили длинную фамилию до скромной и понятной не только немцам – «Бах». Есть история о том, как некие случайные пионеры из Армении, познакомившись с Бахчаняном в московской гостинице, узнали его имя-фамилию и отреагировали мгновенно: «Ты не Володя, а Вагрич». Армянин Бах, который никогда не был в Армении, имя поменял, но отыгрался годы спустя на самом святом, предложив переименовать российский город Владимир во Владимир Ильич и поместив в 1975 году на одной из самых известных своих книжных обложек Ленина, поднявшего девочку на руки (кадр из фильма «Ленин в 1918 году»), с подписью: «Владимир Набоков. Lolita». Поскольку Ленин и Набоков – тезки, мы имеем здесь дело, видимо, с юмором в квадрате.

Вообще, с чем мы имеем дело, говоря о творчестве человека, чьи имя, отчество и фамилия вызывают сомнения, а место, которое занимает его искусство в истории современной культуры, невозможно определить? Например, философ, поэт и журналист Борис Парамонов теряется в догадках: «Очень трудно ответить на вопрос: а кем был Бахчанян?»¹.

Мой дядя по матери до мозга костей любил картофельное пюре и обзывать проходящих мимо блондинок солдатскими

подстилками. В 1934 году он был зачислен в высшее учебное заведение, где и научился произносить слово 'шедевр' на французский манер. Он считал себя человеком выдающегося ума, хотя голова его была значительно меньше спичечного коробка. Его восхищал дом лорд-мэра в Лондоне...²

Писатель Юрий Милославский, знавший Баха с юных лет, уходит от ответа, туманно рассуждая о том, что «... Вагрич Бахчанян <...> был создателем направлений в искусстве, т. е. главным конструктором. Он, таким образом, создавал эссенции <...> О главном конструкторе потребители либо толком не знают, либо – если им предложат хлебнуть эссенции – обжигают языки. И в этом состоит трагедия главных конструкторов»³. А писатель, эссеист и журналист Александр Генис, друживший и много общавшийся с Бахчаняном в Нью-Йорке, заметил, что «Вагрич <...> был самым принципиальным человеком в истории искусства. Он был его рабом и хозяином. <...> Вагрич умер. Как хотел»⁴.

Соглашусь с Генисом – человек, по своей воле ушедший из жизни, умирает так, как посчитает нужным, и тогда, когда задумал. 12 ноября 2009 года.

Не уверен, что Милославский прав, говоря о «направлениях»: безусловно, Вагрич принадлежит соц-арту, и найдется немало тех, кто справедливо причислит его к создателям этого течения (Виталий Комар неоднократно в своих интервью рассказывал о том, как они с Меламидом в начале 1970-х придумали соц-арт), но с «направлением» во множественном числе не могу согласиться. И, наконец, не оспаривая сомнений Бориса Парамонова, попробую, приблизительно и будучи ограничен рамками этих заметок, пояснить, кем и как видится мне Вагрич Бахчанян – прозаик, поэт, драматург, афорист, художник, акционист, концептуалист, коллажист, фроттажист, скульптор, книжный дизайнер, «непосредственный наследник классического русского авангарда», как называли его кураторы одной из выставок, «художник слова» и «чемпион мира по войне», как он называл себя сам. «Чем я занимаюсь? – отвечал художник на вопрос о своей профессии. – Подменой занимаюсь, меняю мысли, понятия, иногда букву одну»⁵.

Игорь Макаров, коллега Вагрича Бахчаняна по «Клубу 12 стульев», отмечал: «Исследовать его творчество – неблагодарное дело, равное по никчемности 'туалетной бумаге для рисования'»⁶. Очевидно поэтому большая часть рассуждений о творческом наследии Баха неизбежно сводится к тому, что он был непосредственен, как ребенок; был, как ребенок, парадоксален в своих арт-действиях и писательских трудах; и, как ребенок, был полифоничен (только ни

слова о фугах Баха!), полистилистичен и всеохватен. Расхожий для нашего времени взгляд на художника слова и дела, который Пабло Пикассо компактно перевел в сентенцию, как говорят, на 60-летию примитивиста Анри Руссо: «В 17 лет я рисовал, как Рафаэль, зато всю жизнь я хотел рисовать, как ребенок».

Если мы поймем значение определения «как ребенок», то, вероятно, сможем навести фокус на творчество Бахчаняна как на явление и культурный жест.

Понятно, что говоря так о взрослом человеке, «художнике слова», пребывающем в обывательской суете и проживающем в реальном времени ежемесячных оплат за квартиру, походов в магазины, взаимоотношений с женой, начальством, окружающим миром, мы не имеем в виду инфантильного, впавшего в младенческую прострацию джентльмена, которому если чего-то и не хватает, так это памперсов. Мы подразумеваем под этим «как ребенок» нечто другое, обобщающее и одновременно внеположное по отношению к нам конкретно и, вероятно, ко всему, что вокруг нас.

Сверхтвердый сплав леса – тоже жизнь, в которой всякое бывало...

(Сочинение № 92)⁷

У Жан-Франсуа Лиотара: «... Позиция первобытного человека противопоставлялась современной, научной, структуралистской позиции – как то, что находится в соответствии с природой, противопоставляется тому, что от нее отделено, а сама природа понималась как совокупность призывов, на которые люди отвечают своей жизнью, своим мышлением. Утверждалось, что эти призывы перестали быть слышны современному человеку, что мышление и существование ‘дикаря’ и цивилизованного человека, конечно, тождественны в своем функционировании, но сильно отличаются своими позициями, что между ними имеет место недоразумение...»⁸.

Если ранняя пора человечества – это «детство», то сегодняшний «ребенок» – сродни медиуму на спиритическом сеансе, то есть тому, кто не потерял связи с «детством», с естественной природой и естественным знанием, кто способен услышать «призывы». Нередко такой медиум выглядит дикарем в урбанистическом пейзаже, неадекватным современником, недоразумением, но таков побочный эффект непростой его участи и призвания.

Главное – восстановить силы и стать похожим на небольшую скалу в кресле-качалке, чтоб не гнить и не отпадать, и не сгорать в огне, умея при этом определять время по собст-

венной тени, и чтобы окружал меня усиленный проволочный забор каштанового цвета, помогая освободиться от обязательств восседать на лошади, крепкой, как немецкое темное пиво. Не желаю добираться до сути, искать причину, вникать, понимать...

(Сочинение № 89)⁹

Такие люди не могут обойтись без помощи и поддержки, и в случае с Бахчаняном его помощником, собеседником, другом была жена Ирина, которая после смерти мужа прилагает все усилия для того, чтобы его артефакты не пропали и в истории культуры не потерялся его след. Так же, как с не меньшей степенью заботы, к примеру, удивительная Эмми Хеннингс в судьбе Хуго Балля – одного из основателей дадаизма, автора парадоксальных сочинений, брюистской (шумовой) музыки и симультанных поэм, вроде «Когда мысль рождается во рту» – видимо, по мотивам знаменитого афоризма Тристана Тцара. Хэннингс сохранила и издала дневники Балля, в которых был отражен процесс создания Dada и велась летопись скандальных вечеров в цюрихском «Cabaret Voltaire».

Дада не случайно возник в этом месте заметок и в это время. Вспомнить о легендарном модернистском течении имеет смысл не только потому, что одна из популярных буффонадных находок Бахчаняна – «ПРАВ ДАДА!», и Курт Швиттерс, еще один отец-основатель Дада, часто вспоминаем Бахом в разных с ним интервью, из чего легко сделать вывод, что он – один из любимых его художников. Если «есть особое мнение», что Бахчанян – футурист, то мне фигура Бахчаняна-дадаиста представляется очевидней. Синяевский называл его «последним футуристом», – но тогда, скорее, в направлении не столько Маяковского, сколько Бурлюко-Хлебникова, то есть еще и будетлянин.

Иже еси на Би-би-си. Мысль Дежнёва. Сергей Декамеронович Киров. Декарточный домик. Державная морда. Дерсу узья. Детдом в Детройте. Джакарта бита. Джером-баба. Джиокондовый художник. Джордано Бруно Ясенский. Уолт Ди с ней. Добрыня Никитич Хрущев. Альфонс до «Д». Внуково-Домодедово. Авиарейс в Досталь и шлак. Клад в Закопане. Сноповязалка «Мате Залка». Зам. Бези. Иудушка Искарот. Приключения Казановы в районе Аскания-Нова. Кара-Богаз-Гол как сокол...

(Сочинение № 55)¹⁰

И футурист, и дадаист – исследователи возможностей языка, пределов своих инсталляций, акций, знака как такового, его степеней свободы. Наверняка, Бахчанян видел всё окружающее своей лабораторией, в которой ему, главному лаборанту, дано заговаривать и менять/переставлять колбы звуков, выплескивать их в новые слова, составлять/разъединять цвета и объемы, в которые можно, как одежду в платяной шкаф, загрузить и вселенную разом, и все любопытные ее детали, включая прежде всего самого себя. А если вы попали в сферу его авангардистской деятельности, вы становились таким же лабораторным образцом, как и стул, на котором сидели. Как стол, за которым едят.

Лет двадцать назад я провел с Вагричем часов пять-шесть в его манхэттенской квартире, готовя материал для одного журнала, в котором, будучи главредом, отвел журнальный разворот под фразы и искусства Баха. Первое, что предложил Бахчанян, едва я вошел, – нарисовать картинку в его альбоме. Не вспомню, было ли задание тематическим, или мне предлагалось сочинять от вольного. Однако как только я признался Бахчаняну, что рисовать не умею, он замурлыкал довольно под нос, мол, не все рождены быть художниками, и тем интересней, что же я, лапоть в изобразительном деле, придумую. Я был поставлен в неудобное положение и ему, как естествоиспытателю, оказался тем более интересен. Кстати, толстый блокнот для рисования был наполовину пуст, так что можно было догадаться, что я не первая жертва.

Окровавленный от обжорства изменник родины – породистый интеллигент с большим пятном на голове, привыкший к роскошному столу, неумышленно изучал язык хиндустани в судовом лазарете, покрытом листьями, переходящими из одной тональности в другую.

Всякий читатель/зритель в лаборатории Вагрича Бахчаняна оказывается в неловкой, если не сказать – незнакомой для себя ситуации. С одной стороны, привлекают его странные книжные обложки, описания и забавные фотоакции, краткие запоминающиеся словесные формулы, в которые мутируют после бахчаняновской инъекции крылатые фразы и расхожие афоризмы; с другой, на ином уровне, при чтении массива текстов начинаешь понимать, что тебя, читателя, вовлекают в игру, правила которой постоянно меняются, о чем тебя не только не предупредили, но и предупреждать некому. Не покидает ощущение, что внутри словесных коллажей тот, кто их писал, переходил от буквы к букве вслепую, не по шрифту Брайля, а по наитию,

и правила этого письма он выверял исключительно шестым чувством. Интуитивно доходил до какого-то предела, его не переступая. Ведь дальше всё длится в полном молчании, после «дыр бул щыл» Кручёных, полотен Поллока и фри-джаза Колтрейна – «Поэма конца» Василиска Гнедого, «0.00» и «4.33» Кейджа, уже написанные «Сто тысяч миллиардов стихотворений» Раймона Кено, мобили Колдера, в конце концов – бесконечная цепочка интекстов в движении по нисходящей: «У попа была собака...»

Мудрый не по летам Агасфер происходит из старинного рода начальников императорских коров, людей, подверженных галлюцинациям. Он – само предательство, говорили об Агасфере представители народности гумус, беспощадные свиноводы и литературные поденички с крепкими мускулами, жадные поедатели мяса с горчицей. Скверно одетый Агасфер, ворчливый, брюзгливый и вечно недовольный, с бурдюком вина из искусственной кожи на спине и в лошадиной маске на лице, стоя на коленях перед английским монархом, обрушил поток красноречия на красные тюльпаны, разбросанные среди желтых...

(Сочинение № 90)¹¹

Нужно ощущать себя не иначе, как демиургом, чтобы координировать, изобретая и ёрничая, этот безостановочно формирующийся, макаберный, воскрешающийся, стихийный словесный поток (сознания?), при этом периодически выходя из него, то есть удерживая себя в границах реального времени. И понимая, что в каком бы месте в этот поток ни войти, главное – проплыть его до конца, а если поперек, то до другого берега. И там – встретить Слово, распавшееся у истока, и спустя долгий, высланный черно-белыми текстами путь, собранное в широко раскинувшемся устье единым пазлом.

«Где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?» Предполагаю, что вопрос самоидентификации для Бахчаняна, в силу его абсолютных претензий, стоял едва ли не на первом месте. В разговоре с ним я узнал, что соц-арт – его изобретение, да и в эволюции поп-арта во вселенной – немалая его заслуга.

А. Генис: «Я ведь помню, что проблема приоритета была для него весьма болезненной. ‘Постмодернизм, – говорил Вагрич, – это когда все у меня воруют’. У него даже была такая шутка: ‘Приговор: Пригов – вор’. Пригов, надо сказать, фразу оценил и включил в свою книгу»¹².

По воспоминаниям знакомых с юности, у Вагрича всегда было представление о собственной исключительности, что характерно для

большинства творческих людей, но здесь – с нажимом на универсальность Творца ренессансного масштаба: «А Бах был довольно самоуверенный. Однажды сделал удачную фигуру углем. Щеглов посмотрел, сказал: ‘Хорошо!’ Бах в ответ: ‘Я сам знаю!’»¹³.

Интересно, что тому же Баллю, как и множеству дадаистов да авангардистов, тяга к осмыслению собственного величия была свойственна в высшей мере: «...мой голос, у которого не было другого выхода, избрал каденцию церковного песнопения <...> Я начал распевать свои ряды гласных речитативом в церковном стиле <...> Тут погас, как я и велел, электрический свет, и меня, вспотевшего ‘магического епископа’, снесли с подиума вниз»¹⁴.

В
ЭТОМ
ПРЕДЛОЖЕНИИ
ТРИДЦАТЬ
ДВЕ
БУКВЫ

Самооценка творческих, акцентуированных личностей в подавляющем количестве судеб невероятно высока. После «Лингвистического поворота» (выход в 1967 году книги с одноименным названием под редакцией Ричарда Рорти), объявившего, что не мы говорим, а язык говорит нами, тот, кто исследовал язык на практике, препарировал его, хирургически вмешивался на морфологическом уровне, мог по праву ощущать себя Творцом. Причем как в деле создания языка, так и в работе над созданием человека (лингвопроводником языка в мир). Бог вылепил человека из глины, но и скульптор работает с массой глины или мрамора, а литератор и музыкант – с массой букв и звуков.

...Я живу в волшебной стране и чувствую себя ребенком, оставленным эльфами взамен похищенного с клеймом на ухе, истекающем кровью – промежуточным продуктом в антисанитарном состоянии. Тревожные мысли покрываются тонкой пленкой, заставляя забыть о непорочном зачатии в период жары и упасть на спину, не разбирая дороги, и в эксцентрическом танце запачкать крахмальный воротничок, имеющий форму петли. Дорогой мой мальчик, сын мой неродившийся, прости меня! Ты был бы славный парень и наверняка получил бы «Оскара» за исполнение роли своего отца, и в светлолиловой мантии твоя порода древнего типа завладела бы тронном рисовальщиков серебряным карандашом (эта

сцена запечатлелась у меня в памяти), но увы, твой отец жил в стандартное декретное время и был флегматичный мистик, а не биржевой маклер. Ужалить бы всевидящее око, и пусть смерть остановит полет шмеля...

(Сочинение № 89)¹⁵

Dada – по-французски «деревянная лошадка», а в переносном смысле – бессвязная речь, подражание детскому лепету. Современный философ и социолог, один из ведущих представителей Люблянской школы теоретического психоанализа Рената Салеццл отмечает, что «в языке всегда действует некий непредсказуемый элемент, который неожиданно появляется и уничтожает то, что мы хотим сказать. Лакан назвал этот элемент лялязыком <...> В качестве примера лялязыка можно взять детский лепет или неправильное употребление слов, неправильно построенное предложение»¹⁶.

Достаточно поверхностного взгляда на созданные Бахчаняном неологизмы, каламбуры, поливы*, игры с мемами (крылатые слова и фразы, лозунги, известные литсюжеты, расхожие визуальные образы, мелодии шлягеров, даже кулинарные рецепты...), чтобы ощутить его родство с дадаистами 1915-го года разлива. Да и с нынешним неодадаизмом – только с характерным для Бахчаняна переносом акцента в сторону политики и социальности, в сторону соц-арта.

Вначале была слава. КПСС появилась после. Дождик был в четверг. У Робинзона был Пятница. У Пятницкого был хор по пению. Ваша песенка спета, сказал Маяковский, наступая на горло собственной песне уже без слов.

(Сочинение № 88)¹⁷

Любопытно, что дадаисты тоже приценивались к лениниане, естественно, в том ее состоянии, когда Ленин еще не стал дедушкой с октябрятского значка и вождем-учителем с Ордена Ленина. 7 июня 1916 года Балль записал в дневнике: «Странная штука: когда у нас в Цюрихе, на Шпигельгассе, 1, было свое кабаре, напротив, на той же Шпигельгассе, в доме № 6, если я не ошибаюсь, жил господин Ульянов-Ленин. Вероятно, он каждый вечер слушал нашу музыку и наши тирады, не знаю, с удовольствием ли и с пользой ли для себя. А

* «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский полив!» – Вайль П., Генис А. Страсти по Ерофееву (Вайль П., Генис А. Современная русская проза. – Ann Arbor, «Hermitage», 1982. С. 41).

когда мы на Бангофштрассе открыли галерею, русские уехали в Петербург, чтобы готовить революцию. Является ли дадаизм как символ и жест противоположностью большевизма? Противопоставляет ли он разрушению и доведенной до совершенства расчетливости абсолютно донкихотскую, не признающую какую бы то ни было целесообразность, непостижимую сторону мира? Будет интересно понаблюдать, что произойдет там и что тут»¹⁸.

Понаблюдали – и теперь полны знаний. Для энциклопедий и учебников, дадаизм – детский лепет, лошадка и прочие бла-бла, то есть ля-ля. На деле же, dada на французском сленге – смесь кокаина с героином, и реальная возможность для дадаиста выйти в непостижимое, в обещанное белым порошком безмолвие, в отсутствие любых признаков цивилизации, к тем самым дикарям, которые общаются по всем правилам глоссолалии, о которых знают лишь посвященные.

У писателя есть только один шанс туда попасть – словарь, весь его тезаурус, используемый в данном случае как средство передвижения. Художник добавляет к этому бумагу-холст-картон, краски, товары из канцелярского отдела в виде клея, ножниц и прочего, а перформансист – себя анфас и в профиль. Так получается произведение под названием «художник слова».

*Новинки: Нерастрескивающийся химический карандаш
Шоколадный суп Вредная вата Копченое вино Холодное лекало
Многонаселенное окно Грязный пирог с бараниной Супруга
без единого пятнышка Прыщеватый квартет Болотистый
новобранец Рисунок на мясе Вдова бессмертного писателя
Игривый покойник Изобилие плеврита Потная бабочка
Электрическая паутина.*

На известной картине Магритта изображена курительная трубка с подписью: «Это не трубка». К сообщению не подкопаешься: никакой трубки в действительности нет – на холсте ее более-менее реалистическое изображение, даже не в натуральную величину. Образ трубки. Задача же современного художника слова – поместить фон, на котором нарисована трубка, или саму картину, с рамой или без, так, чтобы можно было сказать, что это – не картина, не фон, не задник. Ничего сейчас там нет. Внушить исподволь, убедить в отсутствии холста («белое безмолвие», безразличие), или в том, что перед нами не картина вовсе, а, к примеру, объект № 49-M'W, или аппарат машинного доения, – и тогда трубка может остаться трубкой, а может стать и ручкой к этому аппарату или каким-нибудь выпускающим клапаном.

Юсуп ест суп. Над ним Буше. Бушуют страсти. Амур бросается в омут. Мутно. Утро стрелецкой казни. Козни. Казна без дна. Колесо без покрышки. Покрашено яйцо, осторожно! Сторож-старожил сторожит 100 рож (черная сотня). Черновик Саши Черного (Пушкина). Болдинская осень. Пир во время чумы. Чумаки в Крыму, все в дыму, ничего не видно. Видно дно. Сухаревская башня смерти. Нашла коса на камень за пазухой. На груди пригrel змеевик. Самогонка за лидером. Пятнадцатисуточные щи хлебает лаптем Хлебников. Смехачи: Бим, Бом и Олег Попов, изобретатель лампочки Ильича. Лапочка Ильича (Крупская) Надежда фабрики «Большевичка». Из двух зол выбираю Меньшикова в березовой роще. 3-я ковская галерея...

(Сочинение 104)¹⁹

Кстати, у Бахчаняна есть рисунок: воблами выложено слово РАКИ. Вполне концептуальная работа, когда стирается грань между обозначаемым и обозначающим, то есть здесь подвергается сомнению сам знак, который «является неразрывным единством того и другого» (Соссюр. «Курс общего языкознания», I, глава 1). Этим и занимается в большинстве своих текстов Вагрич Бахчанян: перелицовкой самой ткани речи, сращиванием ее фактуры – фоном, соединением противоположностей в языке, которые либо уничтожают друг друга, множа лингвистический фон, шум, интонации и развивая основные представления фонологии Бодуэна де Куртенэ, либо, как при трении кремня о камень, выскалывается искра, способная разжечь какие-то невероятные «глаголы в сердцах людей».

Всё может быть всем на этом фоне, и каждый из нас способен повторить таким образом рожденный шедевр. Было бы желание играть в слова, в звуки, в краски, в бисер. Лучизм Ларионова и абстракция Поповой, «Мы в 40 лет – / тра-та – / Живем, как дети: / Фантазии и кружева / У нас в глазах. / Мы все еще – / тра-та / та-та...» Василия Каменского, «Мотма борма смений / Выборма вылирма вымотма / Выбормотался гений / Вот как» Игоря Терентьева и «Жарбог! Жарбог! / Я в тебя грезитвой мечу, / Дола славный стаедей, / О, взметни ты мне навстречу / Стаю вольных жарирей...» Хлебникова не кажутся настолько сложными или герметичными, чтобы этого нельзя было воспроизвести, пусть не буквально, но близко к оригиналу. И эту эстафетную палочку авангардизм протянул дадаизму.

Дада – это совсем не модерн. Дада – это скорее возвращение к буддистской религии всеобщего безразличия. Основания

Дада лежали не в искусстве, но в отвращении. Все, что человек видит, ложно. ДАДА против высоких цен на жилье. ДАДА – общество с ограниченной ответственностью для эксплуатации идей. У ДАДА есть 391 точка зрения и цветов в соответствии с полом президента. Дада меняется – утверждается – говорит противоположностями – неважно – кричит – идет рыбачить. Дада – это хамелеон непрерывной эгоистичной смены цвета. Дада против будущего. Дада умер. Дада абсурден. Да здоровствует Дада. Дада это не литературная школа (вой)²⁰.

С появлением в конце 1840-х фотографии, ослабевает господствовавший в визуальных искусствах с древнейших времен миметический принцип (подражания природе – создания копии, подобия, визуального двойника, отображения скоропреходящих материальных предметов и явлений, увековечивания их облика в более прочных материалах искусства: стена, холст, глина, мрамор, гранит, медь-бронза), и большинство направлений авангарда и модернизма сознательно от него отказываются. Он сохраняется только в массовой культуре и консервативно-коммерческой продукции. Элитарные визуальные «-измы» все дальше уходят от действительности: в последней трети XIX века художник уже рисовал так, как чувствовал (импрессио- и постимпрессионизм), затем так, как мыслил (кубизм, супрематизм, абстракция) или воображал (дадаизм, фовизм, сюрреализм, постмодерн). Понятно, что искусство – всегда вещь условная, но есть огромная разница между дверью винного погреба, которую расписал Нико Пиросмани (луна, звезды и фраза прописью), и ветхой дверью с щелью в работе Марселя Дюшана «Дано: 1. Водопад. 2. Газовый светильник».

Актуальное искусство, оперируя приемами деконструкции языка, не только формирует новую реальность, но и приучает зрителя-читателя к тому, что созданные миры – безошибочней, верней, даже единственно возможны. Я говорю не о фантастике, а об изменении самой структуры мышления, которое в первую очередь есть язык: «Орудием мышления является язык, а также другие системы знаков (как абстрактных, например математических, так и конкретно-образных, например «язык искусства»))²¹

НАТЮРМОРТ С ПРЕДАТЕЛЕМ: Клетка для домашних кроликов, слоеное тесто, возбуждающее средство, ночной морской бинокль, носогрейка, молодое растение, предатель.

НАТЮРМОРТ С ЧЕЛОВЕКОМ, ЛЮБЯЩИМ ЛЕЗТЬ НЕ В

СВОЕ ДЕЛО: Каблограмма, толстый конец чего-либо, халцедон, кольд-крем, человек, любящий лезть не в свое дело.

Балль критически видит современное ему искусство как набор предписанных реакций и приемов. Искусство же, по мнению дадаистов, должно быть иррациональным, оно должно оставлять после себя слова не объяснения, но парадокса. Как, к примеру, дзэнские коаны. Парадоксом же старый мир до основания разрушим, поскольку это в наших, художников слова, силах. Здесь сказывается влияние демиургических личностей творцов, которые приобретают статус легенд, получают всемирное признание; их обожают сегодня при жизни, а созданное ими, их достижения в наше время оцениваются астрономическими суммами. Их, творцов, можно понять: Хлебников, представляя свою историческую роль в деле изменения всенародного сознания, называл себя Председателем Земного шара; футуристы распеваались с мировой культурой, сбрасывая классиков с корабля современности; а тот же Дюшан в дадаистской работе «L.H.O.O.Q.» пририсовал усы и бороду к портрету Джоконды, объявив, что его произведение гораздо лучше. После чего долгое время Мона Лиза Дюшана находилась в офисе Французской компартии в Париже.

«Чтобы жить в Мире, необходимо его сотворить», – нарративно обозначил Мирча Элиаде. Мир Бахчаняна сотворен из странных текстовых – и изобразительных, а также хэппенингов в дадаистско-обэриутской традиции с уклоном, как уже здесь отмечалось, в социум, в пародийное воспроизведение эстетики соцреализма, с синхронизацией своей частной жизни с общественно-политическими событиями. В статье «Искусство как прием» Виктор Шкловский говорит о том, что цель искусства – вывести наше восприятие из автоматизма, прервать инерцию существования, обнаружить странность того, что кажется привычным. Если этот завет Бахчаняна реализовывал на практике, то справился он со своей работой блестяще.

Море. Прилив жалости. Импульс нормальный. Колебание атмосферного давления в лодке. Горизонтальная качка. Кровь прилила к ее щекам. У Кутузова верный глаз. Укутался Кутаиси аистами и астмами пап. Папоротник попал попу под попону. Тревожно треноге на двух ногах без правды. Газета известила: подорожала известь и пастила в великий пост (скриптим Стравиниуса). Вариации на тему акации (долго не прекращающиеся). Все встанут по стойке «смирно». Я бы ябедам без дам шаши шашкой запретил.

(Сочинение № 10)²²

Бахчанян стал заслуженным мастером «языковой игры». В точности, как в терминологии Людвиг Витгенштейна, который считал, что весь процесс употребления слов в языке можно представить «в качестве одной из тех игр, с помощью которых дети овладевают родным языком»²³. Таким образом, Л. Витгенштейн видел язык в общем, как совокупность языковых игр, лингвистических явлений, благодаря которым языковая игра приводит к плюрализму смыслов. Что же это за явления – пафосно говоря – в творческой лаборатории Вагрича Бахчаняна, превращающие экспериментальные образцы в коллекционные экземпляры?

*«Как повяжешь галстук, береги его,
он ведь с красной рыбою цвета одного!»*

Наиболее известны его игры с мемами: деконструкция популярного высказывания с одновременным внесением в него нового значения. Чаще всего, эти свежие конструкты созданы благодаря звуковому подобию – омонимы, омофоны, омографы. Особо мастерски Бахчанян работает с паронимазией, что, как стилистическая фигура речи, есть образное сближение схожих по звучанию слов при частичном совпадении морфемного состава. Такие слова являются паронимами (созвучные разнокоренные слова, разные по значению).

«Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», «Вся власть – сонетам», «Бумажник – оружие пролетариата!», «Агония, пли!», «Перекуем мячи на орала!», «SOSреализм», «Древко поэзии», «Высшая мера поощрения», «Еврейка! – воскликнул Архимед»...

Смешение паронимов кажется, на первый взгляд, грубой лексической ошибкой, после чего мгновенно возникает подозрение в преднамеренности автора, что вызывает к чувству юмора и вызывает смех.

Паронимы пребывают, как жемчужина в раковине или насекомое в янтаре, внутри речевых штампов, культурных, пропагандистских форм и формул, которые меняют, благодаря этой экспансии, свои ценностные и смысловые качества. Такие метаморфозы рассчитаны, как и всякий анекдот или каламбур, на посвященного, «своего» читателя, и это ощущение доверительности, взаимопонимания глубины подтекста также несет в себе смеховой, карнавальный эффект. Как не вспомнить бартовскую «вертушку» (tournoiquet) коннотативного знака, где постоянно происходит «...чередование смысла означающего и его формы, языка-объекта и метаязыка, чистого означивания и чистой образности»²⁴.

Магазины: Живые ткани Хлеб с маслом Инструменты мужские Вино любви.

Еще один распространенный прием: добавление буквы к слову, изменение букв или их порядка в слове (из разряда чеховских «хохороны»), либо размещение с существительным некоего «постороннего», из иного контекста, прилагательного, что в корне меняет не только коннотацию слова, но и суть всей фразы.

«Враги сожгли родную МХАТу», «бутербРодина», «Но Мопассан!», «Инфракрасное знамя», «Знак злокачества», «Друг товарищу брат!», «Мертворожденный ползать не может!», «Молочные реки повернем вспять», «Всеми правдами и неправдами – жить не по лжи!», «Бей баклуши – спасай Россию!», «Искусство принадлежит народу и требует жертв», «Дурная слава КПСС», «Язык мой – враг мой руки перед едой!», «Пусть крепнет дружба между нар... (не окончено)», «Дышите на ладан как можно глубже!», «Лучше умереть стоя, чем жить с кем-нибудь на коленях!», «Лестничный марш Дунаевского», «Жилплощадь Восстания», «Передовики перепроизводства, выше знамя капитализма!», «Наставлять рога на путь истинный», «Могильная электрическая плитка шоколада».

Причем, это может происходить не только на уровне слов, но и текста целиком (рассказы по Хармсу, где вместо хармсовских персонажей введены имена современников Бахчаняна):

Как известно, у Бродского никогда не росла борода. Бродский очень этим мучился и всегда завидовал Солженицыну, у которого, наоборот, борода росла вполне прилично. «У него растет, а у меня не растет», – частенько говаривал Бродский, показывая ногтями на Солженицына. И всегда был прав.

Особое внимание вызывают книжные обложки, поскольку, кроме всего прочего, благодаря им языковая игра выходит из плоскости в объем: «Женитьба баллазамированного», «Отцы и дети капитана Гранта», «Пиковая дама с собачкой», «Сорочинская ярмарка тщеславия», «Витязь в тигровой шкуре неубитого медведя», «Трое в лодке, не считая собаки Баскервилей», «Синьяк под глазом или пуантель-авивская поэма»...

«Полив», как беспроегранный прием деконструкции и фразы, и

рассказа, используется Бахчаняном сплошь и рядом. Читателю только и остается, что улавливать родственные связи между разнокоренными словами. Короче, наличествует интрига:

Была ни была думаю если что так тому и надобно жить как-то без всяких винегретов с колбасами овощными помидорными с огурцами и крепкими яблоками народной мудрости и идиотизма чтобы другим неповадно было делить шкуры в зоопарках всех стран и противоречий плечей шей и ушей ходячих по земле двуногих особей по обе стороны железного занавеса...

(Сочинение № 68)²⁵

Мастерски Бахчанян работает в жанре экфрасиса, сводя слово с изображением. Это различные коллажи и декупажи, фотографии с перформансов и хэппенингов, вроде «30 выставок в один день» (в 30 нью-йоркских галереях костюм художника был обвешен различными лозунгами). В 1980-х в Москве мы передавали друг другу смешной – и антисоветский, безусловно, – сюжет: можно к любому заголовку из советских газет приложить фото полового акта – и это будет стопроцентное попадание. Только в США я узнал о серии работ Бахчаняна «Голая 'Правда'», которую он создал, едва оказавшись в Нью-Йорке в 1974 году: вырезки из газеты «Правда» он вручную приклеил к непристойным сценам, срисованным с эротических журналов. Теперь представьте: софт-порно как иллюстрация к идейно выдержанным и асексуальным «Пока клюшки отдыхают», «Солидарность с патриотами Чили», «Когда соседи соревнуются», «Правые не унимаются», «Прямо с грядки», «Один хозяин лучше»...

Изобразительные работы, в основном графические, не менее пародийны, при этом его талант пересмешника и интерпретатора был направлен практически всегда в сторону СССР и России. С английским Вагрич так и не подружился, и американский антураж его мало интересовал, за исключением, возможно, тех часов, которые он проводил с удочкой в Централ-парке, ловя окуньков и карпов в мелких его водоемах.

Америка как фигура умолчания. Если в формате текста, то почти ничего, кроме «Американской Таблицы Умножения»: 2x0=\$0, 2x1=\$2, 2x2=\$4, 2x3=\$6..., или «Американские слова»: СШАБАШ СШАВКА СШАЙБА СШАЛАШ СШАЛЬ СШАМАН СШАМАНСКОЕ СШАМПИНЬОН СШАМПУНЬ СШАНКР...; а в изобразительном ряду – не более, чем соединение, с иронией и сарказмом, советской и американской символик, словно Бахчанян – не земляк Лимонова, которому, как считается, этот псевдоним и придумал, а потомок пере-

селенцев из набоковской Амероссии. «В Америке Вагричу, – написал А. Генис, – не хватает России.»²⁶

Сегодня его графика смотрится, как ретрознак исторической эпохи по существу и визуальный вариант политического анекдота по жанру. Безусловно, читатель/зритель, имея с этим дело, должен представлять контекст и быть, что называется, «в теме». Но и для непосвященных не могут остаться незамеченными ювелирная техника, использование дадаистско-дюшановской практики *ready made*, мудрый прищур философа в каждой его работе, неистощимая способность смешить, не скоморошествуя, а на уровне основных проблематик современного искусства.

Большинство его работ не устаревают со временем, как к примеру, серия из 80 графических листов «Американцы глазами русских» 1983 года. В духе шаржей Кукрыниксов, Бахчаняна маркером и тушью создал галерею портретов «проклятых капиталистов» и «американской военщины». Вроде бы, стиль советской карикатуры, но, занимавшая на выставке в Фонде Stella Art Foundation (2010 год) длинную стену, эта серия – не только наглядное пособие по истории антиамериканских настроений времен СССР, но и ныне здравствующих в государстве российском. Как классический концептуалист, художник слова не оставлял в покое смыслообразующую форму: замечательна компиляция «Джамбул-коллаж»²⁷ из текстов казахского советского поэта-акына, лауреата Сталинской премии 2-й степени (1941) Джамбула, – в результате перестановки строк смысл песен акына ничуть не меняется. Попробуйте сами:

*Пусть солнечный Сталин, избранник всех стран,
И дальше ведет наш большой караван,
Туда, где мечты поколений слились –
В джайляу веков – коммунизм!*

Еще пример – поэтический сборник «Стихи разных лет»²⁸. В подобных сборниках автор обычно предлагает читателю избранное из созданного за многие годы – от юношеских экзерсисов до произведений зрелых и получивших признание. В сборнике Бахчаняна стихотворения признанные, из хрестоматии: от Лермонтова и Крылова до Маяковского и «Широка страна моя родная...» Получился изящный концептуальный продукт, когда содержание точно отражает смысл названия. Ни больше и ни меньше. При этом, поскольку даны только названия стихотворений под одним именем Вагрича Бахчаняна на обложке, создается эйфорическое ощущение, что все эти тексты, да чего там – вся русская поэзия, написаны одним автором.

Можно долго перечислять, классифицируя, техники монтажа, методы и направления (проза, стихотворения, пьесы, арт, хэппенинг, перформанс, акционизм) творческой, фонтанировавшей деятельности Вагрича Бахчаняна, но если вернуться к изначальному «как ребенок», то стоит напомнить, что ребенок всё, попавшееся под руку, ломает, крушит и препарирует не столько из желания уничтожить, сколько надеясь понять, что же там внутри, как оно устроено и почему работает? Отвечая на эти вопросы, ребенок взрослеет, человечество выходит из «детства», а писатель, распахив по карманам «лишние детали», с удивлением обнаруживает, что изобрел машину времени, потому что язык – древнее писателя, моложе писателя и принадлежит всем писателям и читателям сразу.

С таким художником слова, как Вагрич Бахчанян, литература начинает представлять свое будущее, а читатель осознаёт себя ребенком. Большим, смеющимся над бесконечно разнообразными недоразумениями и парадоксальными строчками, распадающимися на буквы, которые теперь можно складывать как угодно – как будто еще не существует сотен языков и не написан ни Вертер, ни Твиттер. Как будто уже указан метод, по которому эти буквы в перспективе удастся собрать. И если вы забыли или сомневаетесь в схеме сборки, раскройте книгу Вагрича Бахчаняна – любую, и вам повезет.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Радио «Свобода»/ Поверх барьеров с Иваном Толстым. 10 ноября 2010 г.
2. *Бахчанян В.* Мух уйма: Художества. – Екатеринбург: «У-Фактория». – 2003. С. 36. Далее к этой книге относятся все не отмеченные сносками цитаты из В. Бахчаняна.
3. Журнал «Новая кожа» / Koja Press. № 3, 2010.
4. Там же.
5. *Горькова А.* Бахчанян, «художник слова». – «Октябрь». № 5, 2010.
6. *Коркунов Владимир.* Вагрич Бахчанян. Записные книжки. – «Знамя». № 9, 2012.
7. *Бахчанян В.* Сочинения. Библиотека московского концептуализма Германа Титова. – Вологда. – 2010. С. 247. URL: http://www.conceptualism-moscow.org/files/Vagrigh_Bakhachan.pdf
8. *Лиотар Жан-Франсуа.* Индейцы не рвут цветы. Комментарий к собранию избранных трудов К. Леви-Стросса. – Эстетический логос: Сб. статей. / Институт философии РАН. – М., 1990. Сс. 127-129. Перевод Михаила Рыклина.
9. *Бахчанян В.* Сочинения. С. 236.
10. Там же. С. 155.
11. Там же. С. 241.

12. Радио «Свобода» / Художник слова. К годовщине со дня смерти Вагрича Бахчаняна. 9 ноября 2010 года.
13. *Бахмет Татьяна*. Бахчанян как миф. – Журнал «Новая кожа» / Koja Press. № 3, 2010.
14. *Балль Хуго*. Бегство из времени. / Вступительная статья, составление, перевод и примечания В. Седельника. – «Вопросы литературы». – 2007, № 4.
15. *Бахчанян В.* Сочинения. С. 237.
16. *Салецл Рената*. (Из)вращения любви и ненависти. / Перевод с английского Виктора Мазина. – М.: «Художественный журнал». 1999. С. 122.
17. *Бахчанян В.* Сочинения. С. 234.
18. *Балль Хуго*. Бегство из времени.
19. *Бахчанян В.* Сочинения. С. 237.
20. *Тцара Тристан*. Семь манифестов дада. / Глава: Манифест дада 1918. – Изд-во «Государственный музей В. В. Маяковского». – 2016. С. 51.
21. Философский энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «Советская энциклопедия». – 1983. С. 391.
22. *Бахчанян В.* Сочинения. С. 24.
23. *Витгенштейн Л.* Философские исследования. Языки как образ мира. / Перевод с немецкого М. С. Козловой. – М.: АСТ»; СПб. – 2003. С. 227.
24. *Ролан Барт*. Избранные работы. Мифологии. / Глава «Значение». – М.: Из-во «Прогресс». – 1989. С. 88.
25. *Бахчанян В.* Сочинения. С. 188.
26. *Генис А.* Предисловие к книге «Мух уйма: Художества».
27. *Бахчанян В.* Джембул-коллаж. – Журнал «Новая кожа» / Koja Press. № 1. 2007. С. 75.
28. *Бахчанян В.* Стихи разных лет. – Париж: Изд-во «Синтаксис». 1986.

Нью-Йорк

Валентина Синкевич

Вспоминая Ирину Ратушинскую

Пребывание Ирины Борисовны Ратушинской на Западе было не столь уж долгим (1986–1998), но ярким, запоминающимся. Мне довелось быть свидетелем ее славы (да, именно славы!) за рубежом, где за несколько лет до ее освобождения имя поэтессы стало появляться в газетах и журналах. Были публикации и в эмигрантских периодических изданиях («Грани», «Континент»), выходили ее поэтические сборники, быстро переведенные чуть ли не на два десятка языков, хвалебные о ней слова писались известными поэтами и не только...

Ратушинская давно мечтала о заморских странах. Еще в Киеве, до ссылки, писала: «Мы уедем в страну Италию, / А оттуда еще куда-нибудь...» Или: «Где-то там, далеко-далеко, есть такая страна, / Мне знакомая с детства по книгам и вытертым картам. / Белый берег из моря встает, как из давнего сна...» Когда, наконец, с помощью политических фигур самого высшего уровня – Рейган, Маргарет Тэтчер, Горбачев – поэтесса вышла на свободу, она была уже знаменита. Из разных стран на нее посыпались предложения преподавательской работы, выступлений, публикаций стихов и автобиографической прозы, особенно описаний на тему «Как я выжила?».

Да, действительно, – как? Ведь была проклятая Малая зона в Мордовии. И даже в ней мятежная каторжанка Ратушинская часто сидела в ШИЗО (штрафной изолятор). Но и в нем писала стихи. Например – такой верлибр:

Я сижу на полу, прислонясь к батарее. –
Южанка, мерзлячка!
От решетки до лампочки тянутся тени.
Очень холодно.
Хочется сжаться в комок по-цыплячьи.
Молча слушаю ночь,
Подбородок уткнувши в колени.
Тихий гул по трубе.
Может, пустят горячую воду?
Но сомнительно.
Климат ШИЗО. Крайнозойская эра...

И еще на вопрос – как? – она отвечает:

...Мы давно отмолчали допросы,
Прошли по этапу,
Затвердили уроки потерь –
Чтоб ни слез и ни звука!
Мы упрямо живем –
Как зверек, отгрызающий лапу,
Чтоб уйти от капкана на трех...

А мечталось в той проклятой Малой зоне, что: «...будет вечер – теплый, как настойка / На темных травах: лень и тишина. / Тогда отступит лагерная койка, / И холод камеры, и ветер из окна...»

В прозе поэтесса говорит так же убедительно и понятно: выжила, опираясь на глубокую веру в Бога (веру, до конца дней озарявшую всю ее жизнь и ее творчество), надежду на воссоединение с верным и любимым мужем Игорем Геращенко, и крепкую дружескую связь с каторжанками, подругами по несчастью. Этим она жила и выжила в Малой зоне.

Поэтесса сполна воспользовалась свободой: побывала в знаменитых европейских и американских городах – Лондон, где приземлилась и даже пожила, затем Рим, Милан, Роттердам, Амстердам, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго... Ведь действительно:

Есть на свете края, что вбирают глаза,
Есть такие до грусти красивые страны!
И вечерние горы – на все голоса,
И открытые всем скоростям автостреды.
Сладок яблочный запах иных языков,
И доверчивы реки, где пляшут форели.
Далеко-далеко
От родных и врагов
По нерусским домам нас друзья отогрели...

Ирина Ратушинская мимолетно посетила даже «мою» Филадельфию. То было суматошное, интересное и веселое для меня время, когда я часто читала на миниатюрных поэтических собраниях и даже по радио свои стихи по-русски и свои переводы на свой же английский. Я тоже была приглашена в какой-то фешенебельный частный дом в центре города для встречи со знаменитой русской поэтессой, недавно вырванной из советской лагерной неволи. На вечер должны были приехать литературные знаменитости. Народу в доме

собралось видимо-невидимо. Но кто был кем – я так и не узнала, потому что никто ни с кем никого не знакомил.

Поговорили мы немного с Сюзан Зонтаг, запомнились ее черные волосы, и в них декоративная седая прядь. Стихи не читали. К гостье подходили какие-то люди, разговаривали. Я тоже, улучив момент, подошла, попросила подборку стихов для «Встреч». Ирина Борисовна указала на сидевшего неподалеку мужчину, сказав, что об этом я должна говорить с ее агентом. С ним я, понятно, не говорила, так как знала, что никакой агент дармовых стихов никому никогда не даст. Но стихи от Ирины Ратушинской для «Встреч» я вскоре получила – по просьбе израильской поэтессы Рины Левинзон, они друг друга знали.

В честь Ирины Борисовны я тоже выкатила свой «красный коврик»: чуть отодвинула от первых страниц «Встреч» глубоко уважаемые мною имена Елагина, Моршена, Кублановского, Кенжеева... Года два ежегодник начинался с ее стихов. И страницы эти были достойны читательского внимания.

Почему Ратушинская долго не задержалась за рубежом? В одном из своих очерков московская журналистка Юлия Горячева приводит слова Ирины Борисовны: «Я принципиально не согласна работать против России. Понимаете, одно дело – разбираться с коммунистическим строем. Только коммунизм у нас уже кончился, а Россия осталась» (НЖ, № 286, 2017). Это чистый и благородный патриотизм – без всякой дурной примеси. Такая принципиальная установка могла повлиять на ее желание вернуться в Россию, потому что за рубежом она стала постепенно превращаться в политическую фигуру, в ходкую тему для политиков, еще борющихся с русской коммунистической системой. От нее ждали того же. Было у нее и вполне естественное желание воспитывать детей на родине.

Я дерзну предположить еще одну причину, хотя не главную, но может быть, всё же – причину. В Америке, при всех неоспоримых достоинствах этой страны, поэт меньше, чем поэт. В очерке Юлии Горячевой упоминается конвоир, с интересом слушающий в этапном вагоне выступление арестантки, – в Америке такого конвоира днем с огнем не сыщешь.

В связи с этим мне вспомнился рассказ известного американского поэта Карла Сэндберга. Он мастерски читал свои стихи, исполнял под гитару народные песни и развлекал слушателей забавными историйками, чаще всего из своей жизни. Например, такой случай: ехал поэт в поезде, балагурия со своими спутниками. Его спросили – кто он по профессии. Сэндберг ответил: поэт. Все в вагоне расхохотались, решили, что человек пошутил.

Ратушинская не могла не желать большего внимания к ее поэзии,

чем к ее биографии. Или хотя бы равного интереса к тому и другому. Ждала серьезную критику на свои поэтические, а не только политические книги. И вот в престижной американской газете «New York Times Books Review» (30 октября, 1988) появляется большая рецензия на книгу Ратушинской о мордовской ссылке – «Серый – цвет надежды» («Green is the Color of Hope») Книга была издана в знаменитом нью-йоркском издательстве Alfred A. Knopf, 1988. Попасть на страницы «New York Times Books Review» в качестве рецензента или рецензируемого – большая честь для каждого писателя. На книгу русской поэтессы нашли достойного критика – известную писательницу Франсин дю Плесси Грэй (Francine du Plessix Gray) – прозаика, мемуариста и литературного критика. Рецензия была очень хвалебная, но главным образом, о прозе Ратушинской. Рецензент высказал свое мнение и о стихах поэтессы. Вот оно в моем переводе: «...Но у меня есть важное замечание по поводу этой блестящей книги. В ней досадное несоответствие между высоким мнением мисс Ратушинской о своем поэтическом даре и теми стихами, которые она разбрасывает по своему мемуару. Правда, заметна большая разница в качестве между ними и традиционными, завершенными стихами, опубликованными в ее поэтических томах. Но и они в сравнении с этой незабываемой книгой, выкованной ею из тюремного опыта, – не впечатляют».

Мне кажется, что подобное «важное замечание», да еще известного литературного критика, не могло бы не ранить любого поэта. А здесь эти слова написаны о молодой поэтессе, только что перенесшей «тюремный опыт», из которого не приведи, Господь, никому «выковывать» «незабываемые» книги, «впечатляющие» нью-йоркских критиков. Рецензент мог бы поинтересоваться, что пишут о стихах Ратушинской русские критики, особенно поэты. Хотя бы вот это, написанное не очень щедрым на похвалы, Нобелевским лауреатом по литературе И. Бродским: «Ратушинская – поэт чрезвычайно подлинный, поэт с безупречным слухом, равно отчетливо слышащий время историческое и абсолютное...» (Предисл. к книге «Стихи», 1984, на русском, английском и французском языках.)

И еще вопрос: по какому переводу судили о стихах Ратушинской? Здесь легче всего было бы напомнить дю Плесси Грэй слова классика – поэта Роберта Фроста: «То, что непереводаемо, – и есть поэзия». Впрочем, дело обстоит не так просто – дю Плесси Грэй могла знать русский язык: ведь ее мать – русская, знаменитая красавица Татьяна Яковлева, любовь Маяковского. Это на свидание с ней «тов. Правительство» не соизволило дать поэту разрешение слетать в Париж. Кто знает, может быть тогда он полностью осознал бы, что находится в западне. И нашел бы из нее свой выход.

Отец Франсин был французским аристократом, виконтом дю Плесси, рано погибшим в авиакатастрофе. Яковлева вторично вышла замуж за известного фотографа и скульптора Александра Либермана. В Нью-Йорке она стала модным дизайнером дамских шляп. Франсин жила в богатом доме на попечении слуг, заброшенная родителями, всецело занятыми своей карьерой и светской жизнью. По ее словам, ей иногда забывали даже дать позавтракать. В доме явно не было ни унесенных ветром времени негритянских нянюшек, ни русских. За свое детство Франсин затем отплатила матери и отчиму, опубликовав о них книгу беспощадных воспоминаний: «*Them; Memoir of Parents*». («Они; воспоминание о родителях»). В данном случае *Them* переводится как «Они»; *здесь* обыгрывается название мемуарной книги А. Либермана «*Then*» («Тогда»).

Могла ли Франсин дю Плесси в той, описанной ею обстановке, знать родной язык нелюбимой матери? А если она его всё-таки знала – то достаточно ли хорошо, чтобы так безапелляционно судить об иностранной (всё же!) поэзии? Помнится, что в одном из своих эссе Вирджиния Вулф вспоминала американца Генри Джеймса, пишущего о британцах, – в его словах, по мнению писательницы, не было прошедшего времени. А у писателя-эмигранта Владимира Рыбакова в романе «Тавро» одна из героинь говорит по-русски, но «за ее словами нет родины». Весьма возможно, что и в русском языке Франсин дю Плесси Грэй не было ни прошедшего времени, ни родины. А без этого – как услышать своеобразное звучание чужого языка и уловить его естественное поэтическое дыхание?

Каюсь, меня тоже часто «не впечатляли» стихи некоторых американских поэтов. В их строках я не слышала ни ритма, ни рифмы, да еще с превеликим трудом (иной раз безрезультатным) приходилось добираться до смысла. И не так уж редко мне вспоминались слова Александра Сергеевича: «Что, если это проза, да еще и дурная?» Но я свое мнение об американской поэзии никогда бы не осмелилась высказать в американской же печати, потому что понимаю: дело здесь в другой эстетике.

Ирина Ратушинская, покинув Америку, поселилась в Англии. Здесь у нее в доме бывал молодой поэт Гари Лайт, о котором Андрей Вознесенский сказал, что это «американский поэт с русской душой». Гари Лайт до сих пор вспоминает Ирину Борисовну и говорит о ней как о необыкновенно добром и чутком человеке, некогда охотно и щедро поделившимся своим творческим опытом с ним, тогда еще очень молодым поэтом. Она даже написала замечательное предисловие к его первому сборнику «Треть» (1995). По моей просьбе поэт прислал мне это предисловие. Вот его начало: «Когда-нибудь наше время будет

называться Вторым великим переселением народов. И – уж неизвестно, каким по счету – великим противостоянием. Разъединения, воссоединения, миграции, эмиграции... Взрывы национальных чувств, споры о территориях. Непохоже, что человечество готово просто перемешаться и на этом успокоиться. Как-то не так идет процесс «переплавки», как рассчитывали прекраснодушные утописты прошлого века. Чем больше мы все зависим друг от друга – тем горячее страсть к независимости, и вот наша планета исподволь накаляется.

А тем временем – миллионами или сотнями тысяч считать поколение, выросшее на переездах между странами и культурами? Это был не их выбор, Но их судьба.

‘Сынок, а ты, должно быть, не отсюда.’ Это Гари Лайт недавно слышал в России. И когда в США приехал мальчишкой, тоже был «не отсюда», и когда ездил поклониться земле предков... Большое сердце нужно иметь, чтобы – ни тени жалости к себе, ни намека на обиженность – не впустить в свои стихи молодому поэту. А ведь игра в непонятность и разочарованность – бич как раз молодых поэтов.

Редкий дар Гари Лайта – неисчерпаемая на любовь душа. Он своей присяги на вражду и противостояние не дает, просто не видит в них смысла. ‘Ни там, ни здесь отречься не смогу.’ А ведь на отречение толкали, иначе бы не возникла тема. Отсюда – ‘Неумение мыслить / Скрупулезно и зло.’»

В самом факте написания этого предисловия знаменитой тогда за рубежом Ратушинской видно замечательное качество ее характера: желание подбодрить, помочь молодому дарованию. В случае с Гари Лайтом она не ошиблась: сейчас это полностью сложившийся, зрелый поэт со своим индивидуальным почерком и голосом.

А вот как Ратушинская увидела своими русскими глазами Великобританию:

В этой стране хорошо стареть,
В этой стране хорошо расти.
Первая треть, последняя треть.
Время собаку себе завести:
Песьего мальчика – глаз из шерсти
Не разгрести.
В этой стране – ходить по траве,
Вдумчиво разжигать камин,
Считать корабли в ничьей синеве.
У них флаг – синева, кармин,
Но все-таки белое во главе –
На каждом льве.

Странно, как здесь уважают львов.
Это эстетика всех ворот,
Стен, оград, и старых домов –
С римских времен, с южных широт.
Станный народ.
Юным положено уезжать.
В Австралию или еще куда.
В этом сходятся плебс и знать:
Выросли – стало быть, из гнезда.
Порой возвращаются. Не всегда.
Плачут ли мамы?
Нет.

«Встречи», 1996

Да, хоть в такой стране хорошо и стареть, и расти, но в ней «странный народ», у которого не плачут мамы по улетающим из гнезда своим птенцам. И она улетила из чужих гнезд. Поселилась с мужем и двумя сыновьями в Москве.

Ирины Ратушинской нет больше с нами. Но у нас есть ее стихи, в которых слышатся отголоски былин и напев русских народных песен, и что-то от богатства Серебряного века, и от Цветаевой...

О себе могу сказать: равнодушно стихи Ирины Ратушинской я не могла читать в прошлом веке, не могу и в нынешнем.

Филадельфия, 2017

ОБ АВТОРАХ

АЖГИХИНА Надежда, (1960, г. Томск). Журналист, прозаик. Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет журналистики в 1982 г., канд. филологических наук. Старший преподаватель факультета журналистики МГУ. Работала в «Огоньке», «Независимой газете», Союзе журналистов России. Ведущая рубрик и авторских колонок в «Журналисте», куратор портала «Публицистическое приложение к НЖ». Вице-президент Европейской федерации журналистов, соорганизатор ассоциации «Свободное слово». Автор и редактор 19 книг и сборников о современной культуре, развитии СМИ, правах человека и гендерном равенстве. Живет в Москве.

АКСЕЛЬРОД Елена. Поэт, переводчик. Окончила литературный факультет МГПИ в 1954 году. Автор книг для детей. Автор восьми поэтических сборников. Переводила поэзию и прозу с идиша, иврита, немецкого, английского, норвежского, датского, румынского и др. языков. Член Союза писателей СССР с 1968 года. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля за лучшую поэтическую книгу года на русском языке (1995 год), член международного ПЕН-клуба. Живет в Израиле.

БАРАШ Александр. Поэт, прозаик, эссеист. Окончил филологический факультет Московского пединститута. Школьный учитель. Стихи, переводы, проза и эссе публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «Воздух», «Иностранная литература», «Знамя», «Интерпоэзия», «Text only» и др. Лауреат Премии Тель-Авивского фонда литературы и искусства (2002), журнала «Интерпоэзия» за лучший стихотворный перевод (2011). Автор пяти книг стихов, романов «Счастливое детство», «Свое время», книги переводов ивритской поэзии «Экология Иерусалима» (2011). С 1989 г. в Иерусалиме.

БЕЛОЗЕРОВ Андрей (1966, Бендеры). Прозаик. Учился в Кишиневском пединституте и в Институте искусств. Окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького. Публиковался в журналах «Кодры. Молдова литературная»; «Наш современник», «Топос», «Дружба народов», «Новый Журнал». Лауреат Литературной премии им. Марка Адданова, премии «Древний город». Живет в Приднестровье.

БУНИМОВИЧ Евгений (1954, Москва). Поэт, педагог, публицист и общественный деятель. Преподаватель, автор школьных учебников. Один из основателей московского Клуба «Поэзия». Лауреат Премии Москвы в области литературы и искусства и Премии Союза журналистов России. Первая книга стихов издана в 1990 г. в Париже. Стихи печатались в переводах на английский, французский, немецкий и др. языки. Живет в России.

ГАНДЕЛЬСМАН Владимир (1948, Ленинград). Поэт, эссеист, переводчик. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Работал инженером, сторожем, кочегаром, гидом, грузчиком. Преподавал русский язык в Vassar College, шт. Нью-Йорк. Автор более 10 книг стихов и ряда переводов современной американской поэзии. Лауреат премии «Anthologia» (2012). Лауреат «Русской премии» (2008). В 2011 году за книгу «Ода одуванчику» удостоен премии «Московский счет». С 1990 г. живет в США.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор книг стихов «Прелюдии к дождю» и «За чертой невозвращения», романа «In Search of Van Dyck»; составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology». Печаталась в «Гранях», «Континенте», «Встречах», в НРС и др. Была членом редколлегии альманаха «Встречи»; гл. редактор ж. «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present» (США). Стихи вошли в антологию английской поэзии «Liquid Gold». Лауреат Национальной литературной премии Шекспира за мастерство переводов. В США с конца 1970-х. Живет в Филадельфии.

КАРИМОВА Асият (1992, Москва). Прозаик. Окончила филологический факультет МГУ и Институт восточных языков и цивилизаций (Париж). Живет во Франции.

КАЦОВ Геннадий (1956, Евпатория). Поэт, писатель, журналист, эссеист и литературный критик. Окончил Николаевский кораблестроительный институт. С 1989 года живет в США. В 1989-91 гг. вел передачи по культуре в программе «Поверх барьеров» на радио «Свобода». Гл. редактор портала RUNYweb.com; также работает на телевидении RTN/WMNВ. Автор книг «Игры мимики и жеста», «Притяжение Дзэн», «Словосфера», «Меж потолком и полом», «25 лет с правом переписки», «Три 'Ц' и Верлибратий», «Нью-йоркский букварь» и др.

КЛИМОВСКИ Керен. Поэт, драматург, прозаик, переводчик. Окончила ф-ты театральный и сравнительной литературы в Brown University (США). Публикации в журналах «Нева», «Новая юность», «Интерпоэзия», «Октябрь», «Дружба Народов», в «Иерусалимском журнале». Жила в Израиле и США. Лауреат конкурса «Илья-Премия» (2007). Живет в Швеции.

КОСМАН Нина. Поэт, прозаик, драматург, художник. Автор поэтических сборников. Публиковалась в журналах «Номо Legens», «Крещатик», «Волга», «Новый берег», «Новый Журнал», в англоязычной периодике США и Канады. Перевела две книги поэзии Цветаевой на английский и стихи Кавафиса на русский. Составила антологию стихов «Gods and Mortals» / «Боги

и смертные» (Oxford University Press, New York), автор рассказов «Behind the Border». Премия Британского Пен-клуба и Юнеско за прозу на английском. Живет в США.

ЛОГОШ Ольга. Поэт, критик, переводчик. Автор книг стихов «В вересковых водах», «Лётный лес», соавтор «Словаря ‘Маятника Фуко’» (вместе с В. Петровым). Стихи, статьи, переводы публиковались в журналах «Арион», «Дети РА», «Зинзивер», «Shamrock Haiku Journal» (Ирландия), «Новая Польша» и др., в антологиях. Лауреат премий журналов «Футурум АРТ» (2008) и «Зинзивер» (2015). Стихи переводились на английский и испанский языки.

МЕЛАМЕД Марина. Поэт, эссеист. Окончила филфак Харьковского ГУ и Иерусалимскую школу визуального театра. Член СП Израиля. Автор четырех книг прозы и сборника стихов. Лауреат премии «Олива Иерусалима» (2007), лауреат премии «Тарбут Ру» (2009). Живет в Израиле с 1990 года.

МИХАЙЛИК Юрий. Поэт, прозаик. Окончил филологический факультет Одесского университета (1961). Автор 12 книг стихов и 5 книг прозы. Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Звезда», «Огонек», «Радуга» (Киев) и др. Составитель антологии неофициальной одесской поэзии «Вольный город» (1991) и сборника стихов одесских поэтов «Глаголы настоящего времени» (Киев, 2013). Живет в Австралии.

МАРК Григорий (Ленинград). Поэт. Автор четырех книг стихов: «Гравёр», «Среди Вещей и Голосов», «Оглядываясь Вперед», «Глаголандия», и двух книг прозы. Печатался в ж. «Арион», «Время и мы», «Грани», «Дружба Народов», «Звезда», «Знамя», «Континент», «Новый Журнал» и др. Переводы стихов публиковались в «Glas», «Modern Poetry In Translations» (UK), «Przekladniес» (Польша) и др. Живет в Бостоне.

РУБИНС Мария (1967, Ленинград). Литературовед. Окончила ЛГУ, University of Georgia (США), Charles University (Prague); кандидат наук (Brown University). Работает в University College of London. Автор многочисленных статей по истории русской литературной эмиграции, по французской литературе, книг *Crossroad of Arts*, *Crossroad of Cultures*, «Русский Монпарнас: Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма». Печаталась в *Slavic East European Journal*, «НЛЮ», «Новом Журнале» и др. Живет в Париже.

СИНКЕВИЧ Валентина Алексеевна (Киев). Поэт, литературный критик, эссеист. На Западе с 1942 г. Сб. стихов: «Огни», «Наступление дня», «Цветенья трав», «Здесь я живу», «Избранное», «Триада» (В. Синкевич, Н. Файнберг, И. Михалевич-Каплан), «При свете лампы», «Поэтессы Русского Зарубежья» (О. Анстей, Л. Алексеева, В. Синкевич), «На этой красивой и страшной

земле», сборник эссеистики «...с благодарностью: были», «Мои встречи: русская литература Америки». Живет в Филадельфии.

СКОБЛЮ Валерий Самуилович (1947, Ленинград). Поэт, прозаик, публицист. Окончил матмех ЛГУ. Сборники стихов: «Взгляд в темноту», «Записки вашего современника», «О воде и воле», «За тайной печатью». Член СП Санкт-Петербурга. Публикации в журналах: «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева» и др. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (М., 2012).

СЛИВКИН Евгений (1955, Ленинград). Поэт. По образованию – инженер, Окончил Литературный институт в Москве. Защитил диссертацию по русской литературе XIX в. в Иллинойском ун-те; преподает на кафедре иностранных языков и литератур Денверского ун-та. Опубликовал пять сборников стихов и два десятка исследовательских статей по русской литературе XIX и XX вв. С 1993 года живет в США.

ХАНАН Владимир (1945, Ереван). Поэт, прозаик, драматург, Окончил Ленинградский университет. Печатался в СССР («самиздат»), а также в США, Англии, Франции, ФРГ, Австрии, Литве, Израиле и т. д. Автор книг: «Однодневный гость», «Аура факта», «Неопределенный артикль», «Вверх по лестнице, ведущей на подоконник», «Осенние мотивы Столицы и Провинций», «Возвращение», «И возвращается ветер...» (сборник статей), а также трехтомника Избранного. Живет в Израиле.

ШАБАЛИН Сергей (1961, Москва). Поэт, эссеист, переводчик. В эмиграции с 1977 года. Закончил в Нью-Йорке художественную школу. Автор трех сборников стихов. Публикации в журналах: «Континент», «Новый Журнал», «Время и мы», «Новая Юность», «Слово/Word», «День и Ночь», «Арион» и др. Живет в Нью-Йорке.

ЮРКЕВИЧ Анастасия (Москва). Музыкант, поэт, переводчик. Закончила консерваторию г. Детмольда (Германия) и «Моцартеум», позднее международную школу менеджмента в Зальцбурге (Австрия). Восемь лет работала в ООН. Публикуется с 2013 года в журналах «Гвидеон», «Плавучий мост»; финалист конкурса «Поэт года 2014». Живет в Берлине.

ЯСЬКОВ Владимир (1957, Украина). Поэт, прозаик. Окончил Харьковский университет (1978). Пишет на русском и украинском языках. Публиковался в ж. «Волга», «Звезда», «Новый берег» (Копенгаген), «Союз писателей» (Харьков), «22» (Тель-Авив), в антологиях и сборниках.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

General Sponsor of The New Review, Inc.: Zimin Foundation

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Benefactors: The Tcherepnine Society, Mr. P. Tcherepnine;

Sponsors: Russian Nobility Association in America; Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin; Mr. S. Hollerbach;

Fellows: Mr. G. Glinka; Mr. & Mrs. B. Pushkarev; Mr. & Mrs. V. Galitzine;

Friends: Mr. M. Averbuch; Mr. A. Moussaian; Mrs. Obolensky-Flam; Ms. C. Raeff.

It requires the support of loyal friends for year 2018:

Patron –	\$ 5,000 and up
Benefactor –	\$ 2,000 and up
Sponsor –	\$ 1,000 and up
Fellow –	\$ 500 and up
Friend –	\$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 902
New York, NY 10012

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Николай Сарафанников – тел.: 7-495-304-4879

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@gmail.com

Израиль: Альберт Фейгельсон: nikalbert@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2
Магазин «Фаланстер»: Москва, Малый Гнезниковский пер., д.12/27,
Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

на сайте журнала (кнопка: Подписка), через PayPal

Вы можете оформить электронную подписку на журнал.

Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)

www.newreviewinc.com

www.newreviewworld.com

www.rusdocfilmfest.org

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2018

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – \$ 145.00, за границу – \$ 190.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – \$ 76.00, за границу – \$ 110.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – \$ 5.00, за границу – \$ 25.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – \$ 315.00
за границу – \$ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:

The New Review
611 Broadway, # 902, New York, NY 10012

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
www.newreviewworld.com
newreview@msn.com
newreviewworld@gmail.com
